

УДК 94(47+57)"196/199"  
ББК 63.3(2)6-7  
В75

**Воробьев, В.**

В 75 Леваки / Валентин Воробьев. — М.: Новое литературное обозрение, 2012. — 544 с.

**ISBN 978-5-86793-963-2**

Валентин Воробьев, активный участник «второго русского авангарда», в начале 1970-х переселившийся во Францию, продолжает свои зарисовки прошлого. «Бульдозерная» выставка, подвалы-мастерские московских художников-«нонконформистов», судорожные попытки выживания в чужой советской идеологии, причудливые судьбы друзей... Среди его героев меценаты-коллекционеры Д. Верни и Г.К. Костаки, художники В. Яковлев, Л. Мастеркова, А. Зверев, М. Шемякин, О. Рабин, литераторы И. Холин, Э. Лимонов и др. Книга «Леваки» является третьей частью ранее изданных скандальных мемуаров «Враг народа. Воспоминания художника» (НЛО, 2005) и «Графоман» (НЛО, 2008), вызвавших самые противоречивые отклики.

УДК 94(47+57)"196/199"  
ББК 63.3(2)6-7

© В. Воробьев, 2012

© Оформление. ООО «Новое литературное обозрение», 2012

Второй русский авангард является  
единственно подлинным искусством  
нашего времени, и только оно уцелеет  
для потомства.

*Михаил Гробман*

Что такое прекрасное, этого я не знаю.

*Альбрехт Дюрер*



## 1. Казанский сирота

Летом 1958 года я проснулся на Трифоновке, в знаменитой общаге «Сурика» — высшей художественной школы страны. В старом бревенчатом бараке с кривым потолком ночевали мои земляки Стасик Шульга и Санька Сальников, поступавшие в этот институт. На четвертой койке лежал незнакомый блондин рыжего оттенка. Худой и мосластый. Красный нос. Ботинок 45-го размера. Сразу познакомились. Зовут Игорь Вулох. Приехал из Казани покорять Москву. Когда из кармана бежевых китайских штанов он вытащил пачку почтовых открыток с изображением его работы, я сразу признал в нем гения. Казанский абитуриент выставлял свои картины в Манеже, в главном здании искусств. Уверенная речь, знание столицы. Я тут же прилип к знатоку московских улиц, переулков и зданий.

Накануне я обедал у знаменитого гравера В.А. Фаворского, выгуливал борзых собак скульптора Ивана Ефимова, позировал дипломнику Дмитрию Жилинскому, но такого феноменального типа, как казанец Вулох, я еще не встречал.

Я им восхищался. В 19 лет висеть в Манеже!..

Академик Георгий Нисский тогда гремел как живописец. Он рисовал опрятные хаты на гладких, как зеркала, дорогах страны, с ровными столбами, уходящими в оптимистическую даль. Власть его носила на руках. Он занимал денежный пост инспектора высших учебных заведений, мог везде нагряться, напугать и обласкать. В фестивальные дни 1957 года он откопал в Казани гениального ученика последнего курса и привез на грандиозную выставку, посвященную сорокалетию Октябрьской революции.

Художник в законе Игорь Александрович Вулох!..

Я в «Сурик» не совался, не было охоты и смелости, из Полиграфа меня прогнал Андрей Дмитрич Гончаров. Так и болтался как говно в проруби, не зная, куда податься.

— Пошли во ВГИК, — сказал мне великолепный казанец, — нас должны взять как беспартийных.

Пораженный такой мудростью, я сразу согласился. Я никогда не слышал о существовании такого института и увязался с Вулохом, знавшим туда проезд. К моему удивлению, мы оба туда прошли, и с хорошими оценками. Он показал отборочной комиссии деревенский пейзаж, написанный широким и смелым мазком. Я нарисовал девичий хоровод на полянке. В новой общаге нам выдали матрасы и комнату на три койки.

Плохо или хорошо, но своим поступлением в привилегированное учебное заведение, куда принимали по путевкам комсомола, я обязан казанцу Вулоху.

Люди врут, что провинция губит гений!..

«Старик-ты-гений!»

Учились мы весело и без проблем.

Хозяин декоративного факультета Федор Семенович Богородский ставил нас в пример всем ученикам, с утра до вечера мы смотрели ворованные иностранные фильмы, в курилке трепались о любовных победах. Жили впроголодь, а кто из студентов жирует?

По воскресеньям, прыгая от счастья, мы выбирались в Москву. Там толкались на сборищах у «Маяка», где ту-неядцы читали стихи и спорили о рабочем контроле на производстве, в музеях изучали работы великих мастеров и посещали злачные места.

В первый зимний семестр я особенно отличился, сделал 250 гуашей за ночь. Обо мне стали поговаривать в институте как о некоем феномене ловкости и быстроты.

У студентов нет дурацкой привычки задавать вопросы о происхождении, родителях и прочей чепухе. Такое выясняется постепенно и невзначай.

Игорь Вулох родился не в простой советской семье. Его родители были столбовые дворяне и служили в железнодорожной фирме «врага народа» барона фон Мекка. В эпоху больших чисток их загнали в Сибирь, откуда они не вернулись. Маленький Игорек очутился в детдоме, где жил и учился до совершеннолетия. В художественном училище, куда его направили, обнаружив страсть к рисованию, царил «либеральный дух» эмигранта Николая Фешина, мастера «самого широкого мазка» и «самого лихого рисунка» в русском искусстве. Сам Фешин жил в Америке, но его картины и рисунки украшали советские музеи.

В начале 59-го нас развели по разным комнатам. Я попал к киноведу Игорю Ворошилову, великану, игравшему на баяне, он — к режиссеру Тольке Заболотскому, снимавшему фауну и флору.

На летней практике в незабываемой Тарусе наши койки опять оказались рядом. Втроем — к нам пристал паренек высокой культуры по имени Володя Каневский — мы неразлучно слонялись по зеленым улицам поселка с карандашами в руках. Один из первых, если не первый в России, я стал фабриковать ассамбляжи, подмешивая в композицию речной песок, траву, спички, окурки, тряпки, газеты, получая пятерки, к удивлению моих сокурсников. Вулох тоже распоясался этим летом и подавал пейзажи в строго геометрическом стиле.

— Ребятки, прекратите хулиганить! — шутил Ф.С. Богородский на просмотрах.

Отдыхающий академик Ю.М. Непринцев, посетивший нашу выставку, был потрясен падением «святого реализма» и дисциплины в нашем институте. Наши академики не меньше его удивлялись таким издевательством над школой — народ поднимает целину, возводит плотины, а пара беспартийных хмырей с заросшими рожами pochивает на лаврах.

Наше «хулиганство» до поры до времени сходило с рук, но блюстители академической чистоты готовили неприятные сюрпризы.

Вулох иногда исчезал по своим нуждам и раз появился с прелестной женщиной по имени Ксения Павловна. Больше всего меня поражало, что она не выходила из дверей, как все люди, а выпрыгивала из окна. Увлечение этой оригиналкой оказалось серьезным, и они поженились.

В новой роли главы семьи я обнаружил его в самом центре Москвы, в огромном доме, населенном военнослужащими высокими чинами. Ксения Павловна отвела ему жилплощадь, похожую на длинную кишку, где он рисовал, сидя у тусклого окна. Ходить в институт он прекратил и жил вольным художником. Нисский устроил его в неприступную твердыню МОСХа — Московское отделение советских художников — и аккуратно подбрасывал заказы. Такое солидное членство ограждало парня от ареста за тунеядство и ссылки на целину.

Что такое МОСХ?

Начинающему художнику Советского Союза был уготован один загон с корытом — «изофронт» — армия в двадцать тысяч кистей и резцов, с отделами по большим городам.

Твердыня вечного реализма! Московские живописные ценности! Чистота питерской формы!

По древней системе профессора П.И. Чистякова в России выращивали особую породу собак, способных на-

рисовать все, что угодно, сколько угодно и если вам угодно. Эта вековая традиция без особых изменений, по крепкой семейной линии, доползла до наших дней и будет держаться еще тысячу лет. Деятели этой школы не замечают ее отсталости и провинциализма, но пока твердыня велика и крепко держится на ногах, то любую критику встречают в штыки, а то и обухом по черепашке.

За ними патриарх и Кремль, Минин и Пожарский, Царь-пушка и Царь-колокол, Кончаловский и Фаворский, а у тебя ничего, кроме цепей.

Цветут луга, сияет солнце, журчат ручьи!..

В борьбе за народное просвещение эта школа занимает важное идеологическое место. Ее образцовые произведения гуляют по городам и селам обширной страны. Ими восхищается провинциальное начальство, по ним учатся жить и работать рабоче-крестьянские массы.

Малейшее искажение «вечного реализма» карается законом. Попытки двурушников ночью работать для себя, а днем — на государство всегда кончаются жизненной катастрофой.

Зрелый и хищный адвокат этой твердыни, княгиня Мария Николаевна Чегодаева, не нуждается в фактах и доказательствах, чтобы определить врага. Она его чувствует нутром. В 1962 году, после показательного битья несчастных модернистов в Манеже, она в содружестве с академиком Фаворским затоптала княжеским копытом беззащитных реформаторов, как шайку малограмотных графоманов, выдающих себя за художников. Да как они посмели сунуться свиным рылом в калашный ряд!

Традиция и ремесло!..

Да здравствует княгиня Мария Николаевна!

Тихой сапой Игорь Вулох втерся в МОСХ и принял все условия этого учреждения, что меня смущает до сих пор.

В барাকে Центрального парка (1961) мы снова оказались на одной стене. Он выставлял прекрасный пейзаж для отчетности в линии Фешина—Нисского, а я — моего



слабенького «Дровосека» без всякой линии, с намерением пролезть в Союз. Обмыли встречу в пивном баре и разбежались на год или два.

Весной 63-го он обнаружил меня в Звенигороде, где я окопался на даче Анны Ильиничны Толстой, внучки самого великого писателя.

Воистину, «кто ищет, тот всегда найдет»!

Он разыскал мое убежище без адреса и телефонной связи и привез с собой болгарку Лилию Гаранову, ценившую мою живопись.

Мой казанский кумир с почтовой открыткой чуть-чуть потускнел. Казалось, он стал ниже ростом, нос еще краснее, китайские штаны прохудились. Таким я и нарисовал его тогда.

Его линия жизни и линия творчества, как две железнодорожные рельсы, шли не совпадая. Пьяная жизнь в подпольном мире, в то время как творчество там никогда не объявлялось.

За семнадцать лет прямого с ним общения я почти безошибочно могу описать его блуждания.

В институте его содержал академик Нисский, богатейший и влиятельнейший художник Советского Союза, затем настало время нужды и недостатков. Ксения Павловна, с ее тощими доходами «военных алиментов», отказала ему в постели, и жили они «всяк себе особняк».

Заковыристый вопрос: на какие шиши жил молодой человек?

Ответ: подаянием!..

Я не помню, чтобы он ел по-человечески, с прибором за столом, а всегда на ходу, занюхивая кулаком.

У меня в Звенигороде, со стола, заваленного жратвой и питьем, он взял корку хлеба и понюхал, блаженно улыбаясь от удовольствия.

С поэтом и отчаянным пьяницей Леонардом Данильцевым они составляли очень гармонический дуэт, особенно за буфетной стойкой. Круг их блужданий не ограничи-

вался Военторгом, а простирался до «безумных сборищ» Ильи Кабакова, «академии шизофреников» Васьки-Фонарщика и пивных баров Сретенки.

Почему на предложение показаться в клубной или квартирной выставке, что-то передать чехам или полякам, продать картинку дипломату Вулох отмахивался, как от надоедливой мухи?

В свое время Нисский рассказывал, как в молодости, в родном Полесье, он пытался делать супрематизм под Малевича, но поскольку на него не было покупателей, то быстро переключился на заказные и платные рисунки в журнале «Безбожник у станка».

Нечто подобное случилось с Вулохом. В «кишке» на улице Фрунзе он показывал десяток стандартных картонок с живописными опытами. На одной условным контуром изображалась некая маска, на другой — букетик ромашек, на третьей — абстракция неизвестного происхождения.

Упругая кисть, смелый мазок, уверенный рисунок, но где мировоззрение? В ромашках или в абстракции?

Вещи, далекие от меткой стрельбы в одну цель. Автор в творческом поиске.

Однажды я шел по Кузнецкому Мосту и в витрине Выставочного зала художников увидел картину, подписанную Вулохом. Там изображалась церковь в степи. Свое участие в заказах МОСХа он тщательно скрывал от подпольных товарищей, а когда появлялся на люди, крепко выпивши, то всем видом давал понять, что он владеет такой высокой творческой тайной, от которой скоро мир ахнет от удивления. Время шло, никаких откровений не поступало.

Через посредство нашего общего знакомого Ворошилова, кадрившего приезжую чувашку, он сошелся с поэтом Геннадием Айги. Поэт был слеплен из сплошных парадоксов. Он переводил французскую галантную поэзию Верлена на чувашский язык, но не умел пользоваться ножом и вилкой. В его избе, куда нас привез Ворошилов, воняло

коровым навозом и за столом хлебали из одной кастрюли, как в пещерные времена. Он проповедовал «трезвость таланта», апил вонючую бормотуху, от которой лопался желудок. Он презирал народное быдло, а спал на соломе не раздеваясь. Знал назубок заумную поэзию, а складно говорить не умел и боялся людей.

Их многое роднило. Земляки, волжане. Большое знание авангардных течений. Выпивка. Вулох разыгрывал перед Айги роль знатока больших и важных истин. Чувашский поэт, живший в гнилой русской деревне, разинув рот слушал великого земляка. Тот лично знал православного епископа, тайно исповедующего католицизм, в каком «укривище» спасается писатель А.И. Солженицын и что значит обратная перспектива в толковании Павла Флоренского.

Перебравшись в Рижский район, Вулох оприходовал мастерские местных художников.

Я очень смутно помню супругу рыжего поэта Володи Алейникова, что-то очень славянское, с голубизной в узких глазках. Не знаю, чем она приворожила Вулоха, скорее всего отдельной однокомнатной квартиркой с проточной водой. Уж очень исстрадался парень в «кишке» Ксении Павловны, мычавшей по ночам с очередным любовником в лампадах. Его повадки шатуна не изменились. По утрам, если звенела мелочь в кармане, он продвигался к пивному ларьку, затем уверенной поступью пересекал Рижский мост и упирался в огромную фабрику скульптора Славки Клыкова, работавшего по-крупному — монументы для заводов и монастырей, выпивка рекой и закуска от пуза. В отсутствие знаменитости уверенно стучался в студию тарусского друга Боруха Штейнберга на Троицкой и, заглотив стакан заморского виски, легко покачиваясь, навещал беспутного дурака Вальку Воробьева, принимавшего ничтожных иностранцев. Там допоздна продолжался философский разговор на тему, есть совесть у Костаки или нет, или бесконечная игра в шашки с бродячим живописцем Толей Зверевым.

На показательной стенке моего подвала, над резным дубовым диваном, висела композиция Вулоха, где условно покрашенные небо и землю разделяла волнистая полоса красного цвета.

— Игорь, ты знаешь, приехал черножопый грек, понюхал твою картонку со всех сторон и сказал: «Не вижу лица, не знаю, что этот художник рисовал вчера и что он нарисует завтра».

— Вещь не закончена, — мудро заключил Вулох, — красную полоску надо замазать.

Забегая наперед, сообщаю, что эта картина висела у меня на стене до 1976 года, пока «бомбила» Герасим не утащил ее к себе. Обнаружив свою вещь у налетчика, Вулох торжественно выкупил ее за стакан водки и продал в Третьяковку как образец раннего минимализма в России!

Раз в 69-м, на Кузнецком, у большой картины Дмитрия Жилинского, изображавшей двух художников — Бориса Свешникова и Олега Кудряшова — в беседе, появился дядька с усами как у моржа.

— Это наш главный хозяин, Петр Михайлович Сысов, — шепнул мне Вулох, — он у нас решает, быть или не быть искусству.

Интересное дело! Пожилой дядя с усами решает за меня, что рисовать сегодня, а что завтра!

Вулох молча принимал такое положение и не пытался возражать. В твердыне «изофронта» критика начальства не поощрялась.

В июле 1971 года я поселился с семьей Айги на даче в Кратове. Он — на веранде, я — в мезонине. Мы занимались не творчеством, а с утра до вечера разгоняли ветками комариные тучи. Приезжали и гости. Для них накрывали стол во дворе, резали чесночную колбасу и разливали по граненым стаканам самогон. Сидели: сексуальный мистик Мамлеев с женой, подпольный мыслитель Шиманов с любовницей, муж, жена, сын Айги, я с собакой Чук, безработная хозяйка дачи Рубина Аратюнян

и Вулох. После обильной выпивки злободневный разговор прыгал, как мячик пинг-понга.

...Эмигрантская лихорадка охватила интеллигенцию... Эротика в православном монастыре... Атональная музыка Шёнберга... Изготовление спиртных напитков в домашних условиях... Переход Владимира Соловьева из православия в католицизм... Сексуальная жизнь породистых собак... Язык африканских пигмеев... Есть ли каннибалы на Марсе?..

Игорь Вулох, крикая и ухмыляясь, давал понять слушателям, что знает мистические тайны поглубже, но объявлять их пока не собирается.

Пустая болтовня кончалась дракой и появлением милиции.

В начале 70-х пустили слух, что Вулох стал своим человеком в загорской лавре, столице русского православия. Не то фантастический церковный заказ на роспись стен, не то бесплатная дегустация на монастырской винокурне. Несмотря на загорские заказы, он не забывал заглянуть и в мой темный и опасный подвал.

Утром 15 сентября 1974 года с большого похмелья он схватил меня за руку:

— Знаешь, Валя, не ходи под дождик, это гнусная провокация, а не выставка!

Подъехал немец Арно Майер с китайцем Яном Чжоу. Сыпал мелкий дождик. С Вулохом мы расстались на перекрестке, и, как вышло, навсегда. Он накинул короткое пальто и, без шапки в любую погоду, скрылся в густом тумане. Мы понеслись на мокрый пустырь драться с коммунистами за свободу творчества.

Он что-то знал или предчувствовал?

Ничего безобразнее этого побоища я в жизни не встречал. На грязном пустыре собрались около ста участников дикого перформанса. Одни бегали и прыгали, не разворачивая картин, другие охотились за ними с лопатами наперевес, третьи, разинув рот, наблюдали, кто кого победит.

Из двенадцати нарушителей спокойствия девятерых лишили выставок, у двоих отобрали советские паспорта и лишь одному, тихому и стоворчивому Володе Немухину, обеспечили жизнь на родине.

Народ побил меня палками и отпустил в Париж.

Сначала с Вулохом мы установили переписку, быстро заглохшую по моей вине. В письмах он постоянно и патриотически ныл: «Валя, быстрее возвращайся, мы тебя ждем с нетерпением», а в это время его собутыльники грабили мой подвал.

Меня не удивила его первая персональная выставка в 1979-м, в год глубокого общественного маразма, естественно, не под дырявой крышей модернистов, а в твердыне МОСХа, на благородном Кузнецком Мосту.

Подарок за молчание, что ли?

Что он показал народу? Монастыри или абстракции с красной полоской?

Потом доходили слухи. Вулох еще раз женился. Растит дочь. Побывал с выставкой за границей. Картины в цене и нарасхват. Знаменит и богат.

Себе я задавал вопрос: а где мой Игорь Вулох, казанский сирота, уходящий в густой туман?

## 2. Братья Штейнберги

В летний сезон 1959 года нас повезли на практику в поселок Таруса на Оке. Двадцать студентов декоративного факультета ВГИКа. Руководитель группы Ф.С. Богородский совмещал приятное с полезным. С давних пор он снимал там дачу с видом на окские дали и писал этюды с натуры по методу академика Н.М. Крымова: чем мрачнее, тем лучше. Большие картины он делал исключительно на госзаказ: например, «Слава погибшим героям» (1946), получившая Сталинскую премию. Его супруга Софья Васильевна Разумовская писала биографии великих художников, а сын Митька стрелял из рогатки по воробьям.

Лето выдалось солнечным, рисовали мы охотно и упорно. Чаще всего на природу я выбирался с друзьями, Володькой Каневским и Вулохом. Лучезарное будущее нам рисовалось впереди.

В общагу повадился ходить местный парень. Сначала я не понял, чем он занимается, то ли ловит рыбу, то ли что-то сторожит. Пригласил нас к себе. Жил он в крохотной комнатухе у некой Варвары Ивановны, вдовы мес-

тного попа. Посредине стоял треножный мольберт, и на нем одна картинка с изображением двора и фигуркой в глубине. Нечто от малых голландцев, сказал бы грамотный критик, ничего от современной, декоративной манеры, которой мы тогда увлекались.

Изда его родителей была гораздо шире, с резной верандой и заросшим бурьяном садом. Ее настоящий хозяин, полярный летчик, надолго улетел в Заполярье, и родители парня по имени Эдик, Аркадий Акимович и Валентина Георгиевна Штейнберги, где-то отдыхали на рыбалке. Шкафы были забиты книгами. В углу — расстроенная фисгармония. На стенах — картины, рыболовные снасти, рамы и подрамники, большое полотно с изображением женщины в средневековом костюме, автором которого оказался Борис Свешников. На огромном столе возвышался допотопный «Ундервуд» и фотографии поэтов и писателей прошлого — Бунин, Блок, Мандельштам.

— Мой отец — поэт и переводчик, — лукаво ухмыляясь, сказал новый знакомец.

По вечерам там собиралось много молодежи, туристов и местных чудаков, до бесконечности споривших обо всем на свете за бутылкой болгарской перцовки. Когда приходила работница Маруся чистить дом, молодежь смывалась танцевать в бывшем саду Марины Цветаевой.

Однажды, опрокинув стул, на веранду влетел выразительный мужчина с зычным голосом.

— Я вас приветствую со страшной силой!

Аркадий Акимович, а для близких Акимыч, родился не в кособоком еврейском местечке, а в большой Одессе, в каменных хоромах с лакеем в подъезде. Его дед был известный на Юге России банкир, с Поляковым и Бродским на «ты». Ребенок рос под присмотром французских гувернанток, с оглядкой на просвещенные страны Европы. Квартиру украшали хрустальные люстры, китайские вазы, персидские ковры и фламандские картины в позолоченных рамах. Его отец, с дипломом венской академии меди-



цины, решил делать мировую революцию вместо денег. Он лечил бунтовщиков и закончил карьеру орденосным врачом государственного санатория. Акимыч занимался рисованием в московском ВХУТЕМАСе, где профессор Тауберг учил составлять ненужные пролетариату конструкции, потом увлекся поэзией философского уклона, давно вышедшего из моды. Акимыч стал духовным средоточием кружка, в который входили Семен Липкин, Арсений Тарковский, Георгий Шенгелия, за что поплатился первой тюрьмой.

Два лагерных срока, с перерывом на войну, разрыв с семьей и друзьями на целые десять лет не сломали оптимизма Акимыча. На бесчисленных пересылках и лагерях он обрел новый круг знакомств, повязанных тяжелыми испытаниями. Он писал: «Я вернусь молодым чудодеем, не сегодня, так завтрашним днем. Пусть однажды мы дело затеем, десять раз, если надо, начнем».

В 1954 году в Тарусе появилось еще два бывших зэка.

Художник Борис Петрович Свешников в лагерях под влиянием Акимыча создал поразительный по тонкости исполнения мир человеческих блужданий в безымянном аду. Молчаливый мастер, с пронзительным, стальным взглядом, отлично знал искусство и его возможности, но намеренно шел против суетливой и быстротечной моды, подкармливая свои персональные опыты иллюстративной работой высокого качества.

В гостеприимный дом «молодого чудодея» приходил и краснобай Лева Кропивницкий, подельник Свешникова по «дворянскому кружку», стоившему им по восьми лет лагерей. Он умудрялся рисовать никому не нужные абстракции и выставлять их в Америке.

Постоянным посетителем дома поэта был Толя Коновалов, живший на поселении. Он рисовал яркие акварели и приносил великолепных судаков.

Кончилась летняя практика, студенты ВГИКа уехали, а я застрял в Тарусе. По предложению Эдика и Коновалова

мы перебрались в глухую деревню Лодыжено, поставили палатку, ловили рыбу и рисовали с натуры. Они цветными карандашами, я маслом. Вечером мы варили уху у большого костра. Часть богатого улова я таскал в деревню и менял на хлеб и водку. Как только подули осенние ветры, мы расстались, но ненадолго. В декабре я позвонил Штейнбергам в Москве. В трубку говорил незнакомый мне, хорошо поставленный голос. Отвечал старший сын поэта со странным именем Яс или Ясик. Эдик был в Москве. Они меня ждали в гости.

В то время, как грибы после дождя, росли и плодились «салоны» и «кружки», куда можно было прийти, послушать крамольные стихи, напиться самогону и там же завалиться спать под рояль. В «кружки» проникали иностранные эстеты. Их принимали с распростертыми объятиями и не ошиблись в их верности. Несмотря на грозные милицейские налеты, мы вели молодецкую жизнь богемы, успевая побывать и на сборищах у «Маяка», на джазовых фестивалях, на модных выставках, каковой была американская осень 59-го, и осушить десяток кружек чешского пива.

В квартире Штейнбергов на Басманной я привел целый косяк вгиковцев: Никиту Хубова и Игоря Вулоха, Сашку Васильева и Володьку Яковлева, Игоря Ворошилова и Жанну Болотову.

Спорили до потери голоса о русской иконе и американской абстракции, об итальянском кино и негритянском джазе. Застольные беседы сопровождались показом картин. Одни и те же люди передвигались из кружка в кружок, где обязательно встречался «цветок» Яковлева, «портрет» Зверева или «композиция» Мишки Кулакова, всплывшего после погромной статьи «Двурушник у мольберта».

Я тайком от начальства красил натюрморты в ташистских брызгах. Они нравились интеллигентам. Их покупали за трояки и вешали на стенки.

Связанные дружбой и едиными интересами, мы оказались в самой гуще артистического подполья, в сердцеvine московской богемы, где определялась судьба современной культуры.

Горластый Володя Вейсберг, в своем белом халате похожий на больничного санитаря, создавал теорию хроматического сфумато.

Пожилой живописец В.Я. Ситников, по кличке Васька-Фонарщик, держал подпольную академию, где все из-под палки рисовали один и тот же шар кисточкой толщиной в один волосок.

В поселке Лианозово творили сразу пять или шесть художников в лагерных бараках. Выделялся тощий очкарик со звучной фамилией — Оскар Рабин.

Юный Володя Пятницкий, рано сгинувший от наркотиков, пробовал торговать своими голубыми картинками на улице. Дело совершенно немислимое на русской земле. Когда он попадал в милицейский участок, там не могли сообразить, что с ним делать.

Буйный шизофреник Толя Зверев, неуловимый, как ветер, бродил по квартирам, оставляя на месте преступления очень красочные портреты хозяев.

Первый кинетист страны Лев Нусберг, работая на балконе, приспособлял мотор к бочке из-под сельдей. Она крутилась, как девка в хороводе.

Начинающий поэт Миша Гробман сочинял «еврейский стиль», размазывая сапожную ваксу на оконном стекле.

Остроумный крепыш Димка Плавинский, лежа, коптел над большой абстракцией из гречневой крупы и тряпок.

На задворках Москвы красил амбициозный, претендующий на мировое величие Олег Целков. Он писал большие картины с тщательно нарисованными и забитыми в фиолетовых мутантов гвоздями.

Молодые экспериментаторы, порвавшие с фарсом официальной лжи, не составляли стада под руководством одного идеолога. Их раздражала убогая драка футуристов с глупыми манифестами и револьверами, с помощью которых они пытались навязать темным массам свое творчество.

Из троих братьев Штейнбергов рисовали двое.

Первый сын поэта Яс, личность незаурядная во всех отношениях, был старше братьев лет на пять и от какой-то монголки. Подтянутый, модно одетый, похожий на Ива Монтана лицом и силуэтом, но с большим жировиком на макушке, что мало испортило его выразительную голову, он отлично играл на гитаре и лихо напевал густым баритоном блатные песни.

В 30-х годах, когда Акимыч женился, большую квартиру его отца разменяли с сестрой Дорой, но разъехались недалеко, их квартиры разделял садик с тополем. После кончины тетки Ясик перебрался в ее комнату и жил там по-холостяцки, но очень опрятно, зарабатывая на жизнь черчением технических схем, в очень сложных ортогональных разрезах. Его подруга той поры, Вера Иогансен, жила в дачном поселке Пушкино, куда он раз повез и меня.

Как все старые постройки, дача вросла в землю и покосилась, крыльцо сгнило, но внутри, у самовара, хлопотала подруга Ясика, а на диване спорила ее родня, Люда и Лева. Ясик пел, играл, развлекал анекдотами и остался ночевать, а мы втроем возвратились в Москву. Через год эту щебетавшую всю дорогу Люду я обнаружил в постели Эдика Штейнберга.

— А что особенного, — сказала она, потягиваясь, — мой муж импотент, а Эдик старается вовсю.

Мы много болтали и остались хорошими друзьями.

С Ясиком сразу возникла взаимная симпатия. Меня забавлял его сочный голос с вопросом: «А я почему знаю?» Повадки столичного ловеласа, ухватки опытного сутяги,

знаток уголовного кодекса, живая и образная речь. Не знаю, чем я ему приглянулся, но однажды он предложил мне совместную графическую работу в журнале «Москва». Мы не раз выезжали на стройки, и там я карандашом набрасывал новые кварталы, а Ясик переводил в черную тушь и сдавал в печать. Мы часто рисовали до поздней ночи, метро закрывалось, и мне приходилось ночевать на голом полу, подстилая газеты и укрываясь плащом.

Раз он представил мне чернобровую девицу и сказал, что женится на ней. Брак оказался коротким и неудачным. Эта чернобровка обзавелась любовником, завладела комнатой и выставила мужа на улицу. Наш творческий союз распался, но виделись мы в различных обстоятельствах, всегда дружески и горячо. Он сменил фамилию Штейнберг на Палев, фамилию жены, и в такой ипостаси стал чуть-чуть другим. Выпирало не искусство, а фарцовка.

Все наши собирались, пили, пели, спорили и не клялись в вечной дружбе, как Герцен с Огаревым на горе. Нас разводила география, семья, судьба. Одни рано умирали, другие исчезали, как пешеход в тумане, потом снова сходились, чтобы разбежаться.

Лет через пять мы пересеклись на людном перекрестке. Он — мне: «Ну, ты где и как?» Я арендовал подвал на Сухаревке, он оказался соседом. В тот же день я зашел и обалдел. Жил он в огромном, потемневшем от старости, бревенчатом доме с мезонином и дубовыми воротами. За углом бушевал проспект Мира, а здесь тишина и барский покой. Эта усадьба считалась частью музейного хозяйства знаменитого классика живописи В.М. Васнецова, числилась на реставрации, но за тридцать лет никто не брался за работу. Под открытым небом, в саду, без присмотра гило музейное имущество: зеркала и кровати, велосипеды и шкафы, детские коляски и тазы былых времен. Завхоз музея сдавал это запущенное помещение исключительно «своим людям», и теперь там хозяйничал Ясик. Чертежи ортогональной проекции он давно бросил и занимался

торговлей русскими древностями. Весь пол огромного помещения с окном во всю стену был завален расписными вологодскими прялками, самоварами и штабелями икон. Зимами он навещал заповедные северные края и привозил оттуда горы русского антиквариата.

— Попробуй, — сказал он, — оттопырь карман.

Мой палец не пролезал. Он ловко выдернул оттуда каток денег, похожий на большой булыжник.

Зашел скульптор Славка Клыков, курский мужик, похожий на римского императора. Он молча отобрал пару огромных икон и потащил к себе в Астраханский тупик.

Каким образом Яс избежал тюрьмы — не знаю, но работал он открыто и нагло.

Последний раз я видел его на вечном банкете, у гранитного камина Клыкова. Он сидел на столе, брэнчал на гитаре и подмигнул мне на прощание.

\* \* \*

Свободный художник — преступник, тунеядец, враг народа.

Трудовой книжки у меня никогда не заводилось. В 62-м от ареста и ссылки в Сибирь я спрятался на даче в глухом лесу в качестве сторожа. Подолгу выгуливал черного пса по кличке Рекс, в двух домах топил печи и рисовал для себя и для журналов. Компанию мне составлял младший сын Акимыча, мой одноклассник по кличке Борух, неуч и задавака, соблюдавший моду в глуши. Он рано начал воровать, от суда сбежал в тундру, нажил там тяжелый фурункулез, вернулся в Тарусу, женился на местной девице, сидевшей за кассой промтоваров, и сочинял абстрактные стихи. Из стихов я ничего не запомнил, но товарищ он был компанейский, хотя большой забияка и фанфарон. Кто и как ограбил магазин, я не знаю, но в 61-м году его супругу Таюшку осудили на семь лет лишения свободы.

Они подали на пересуд и с грудным ребенком ютились по московским углам, пока, по моему не очень удачному расчету, не перебрались на дачу в Звенигород. Занимали они отдельный домик с печкой. Борух стучал на старом отцовском «Ундервуде», а его молчаливая супруга нянчила дочку. Присутствие осужденной с безработным мужем не упрощало, как мне казалось сначала, а усложняло жизнь на даче. Возможно, власти не знали, где скрывается осужденная, а скорее всего, смотрели сквозь пальцы — существовал закон, по которому мать с ребенком имели право ждать на воле окончательного пересмотра дела верховной инстанцией, — но постоянный страх ареста банды преступников, нужда и холод отравляли мое существование в зимнем лесу.

Питались мы картошкой из хозяйского погреба, заправляя ее прогорклым подсолнечным маслом. Раз в месяц, как привидение из фильма Абея Ганса, появлялась теща Боруха с ведром квашеной капусты. Помню, в декабре ударил сильный мороз и вышли дрова. Пришлось ржавой пилой свалить высокую сосну и колоть дрова из промерзших пней.

За несколько дней до Нового года Борух занял у меня последний четвертак и выбрался на поэтический суд к Анне Ахматовой, слывшей тогда за крупнейший авторитет русской поэзии. Не знаю, что сказала ему знаменитость, но из Ленинграда он вернулся голодным и мрачным. Свои абстрактные стишки он сжег в печке и принялся за сочинение очерков об архитектурных красотах Звенигорода, к моему удивлению, опубликовав их в журнальчике «Наука и религия».

Мне нравилось в нем отцовское чувство. К дочке Тане он относился с нескрываемой нежностью и воспитывал твердым, убедительным тоном. На девочку он не давил, не лупил без толку, а часами высиживал рядом, подмывая и подкармливая с прибаутками. Его глуповатой жене было чему поучиться у мужа.

Как-то, работая, я услышал шум на чердаке. Поднявшись по крутой лестнице к наглухо забитой двери, я обнаружил там невозмутимого Боруха с охапкой старых книжек.

— Старик, откуда литература? — спросил я у приятеля.

— С чердака, — ухмыльнулся он, — там ее груды гниют. Попробую показать Соньке Кузьминской, авось купит по дешевке.

После постной встречи нового, 1963 года мы распрощались, но ненадолго. Верховный суд утвердил приговор. Борух сдал жену в тюрьму, упаковал «Ундервуд», взвалил на закорки дочку и исчез в зимней пурге.

Представительный малый с лапами дровосека бросил якорь у старой подружки Галки Поляковой. Там он не ужился. Сдал дочку маме и смылся в Казахстан, оттуда перебрался в поселок Лосиный остров под Москвой, в дом «кинетки» из группы Нусберга.

Подобно своим братьям, Борух изредка брал карандаш и что-то рисовал на бумаге. Тогда он не знал, что в искусстве можно припеваючи жить, не владея академическим знанием. Зимой 1968 года я навестил его столярную мастерскую и обнаружил, как он ловко строгаёт доски, сбрасывая стружки на пол.

— Старик, залей клеём мусор, вот тебе и модный ассамбляж!

Почти каждый день он приходил ко мне в обеденный перерыв. Что-то ел, пил пиво и дремал в огромном кресле немецкой работы. Доску со стружками мы повесили на стенку. В тот же день видный бразильский дипломат Гидо Суарес купил у меня две картинки и напоследок спросил:

— А это кто?

— Это начинающий гений, — расхвалил я стружки.

Когда бразилец отстегнул сто рублей, что в два раза превышало месячное жалованье столяра, Борух стал неузнаваем. Месяц спустя на приеме у бразильцев я обнаружил целую стенку его ассамбляжей. Используя хорошо нала-



женные связи черного рынка, новоиспеченный гений быстро купил дачу на Валдае, автомобиль и женился на образованной художнице Татьяне Левицкой.

Быть — значит иметь!..

Не со всеми художниками дипарта у него сложились отношения расчетливой конкуренции. Влиятельный член лианозовского клана В.Н. Немухин, или Немуха среди коллег, и Борух возненавидели друг друга не по расчету, а нутром. Между ними началась не просто конкуренция дипартистов, а истребительная война до конца, не затихшая и после смерти Боруха в 2003 году.

Мистика русских душ!..

В бульдозерном перформансе (1974) Борух занимал крайнюю позицию конфронтации с властями и голосовал за выход на Красную площадь, в то время как умеренный Немуха считал, что довольно и отдаленного пустыря. На мокрый пустырь Борух приехал как зевака, с женой, картин не развернул и благополучно просидел в автомобиле, наблюдая из окна за побоищем. На большом и торжественном сборище художников в парке Измайлово противники занимали видные места, но в начале 75-го настал час мести. Немуха постарался вывести своего недруга и с ним восемь бульдозерных героев со всех публичных профсоюзных выставок, несмотря на робкие протесты Оскара Рабина и коллекционера Леонида Талочкина.

В 76-м фанатик искусства Анатолий Крынский с семьей улетел в эмиграцию. Борух и Татьяна Левицкая въехали в его просторную, тщательно отделанную мастерскую. Туда зачастили иностранные дипломаты и московские фарцовщики с тяжелым багажом.

Мой доходный подвал на Сухаревке не был лавкой древностей, как, скажем, чердак А.Р. Брусиловского, но резным дубовым диваном с тайником я дорожил. В том же 76-м большая коллекция моих «обменов» — десяток «яковлевых», сделанных под моим присмотром, тридцатка «эдиковых», десяток «ворошиловых», несколько «ру-

хиных», рисунки и гравюры Немухина, Румянцева, Зеленина, Бордачева, Лешки Паустовского вместе с диваном исчезли в закромах грабителей.

Борух принимал самое деятельное участие в грабеже. Купленный им наводчик, по кличке Герасим, доносил о каждом моем шаге. Когда стало ясно, что я не собираюсь возвращаться из туристической поездки в Париж, мой подвал немедленно, в отсутствие сторожа, очистили от содержимого.

В постбульдозерное время Борух, жестоко наказанный Немухой, — «ты профессионально непригодный тип!» — ушел в теньевую экономику. Сложные отношения с профсоюзом, где коноводили враги: Дробицкий, Снегур, Нахапетян, не позволяли ему отличиться в выставочных списках. Свою неумную энергию и хитрость он направил в торговлю с иностранцами.

В 77-м его постигла крупная неудача. Неизвестные погромщики проткнули ему шилом печень, утащили мешок с червонным золотом и заточили на год в дом сумасшедших. Арест Боруха и его подельников, «бомбил» Герасима, Шварца и Барабанщика, основательно взволновал подпольный мир, но все обошлось благополучно. Отсидев полгода в дурдоме, где сделал свою лучшую графику, Борух вышел на свободу. Еще до этого выпустили подельников, как людей своих, но зарвавшихся на чужой территории. Барабанщик по израильскому вызову немедленно рванул когти на Запад, остальные присмирели на месте преступления.

Историк андеграунда Талочкин считал, что у Немухи были очень длинные и беспощадные руки.

В начале 80-х Борух и его супруга, сочинявшие композиции автомобильными лаками, круто развернулись в Германии. Они основательно насыщали немецкий народ, подмочивший свою цивилизацию преступным истреблением невинных масс. Наша общая знакомая Юта Рамм купила кучу их «объектов» по хорошим коммерческим

ценам. За ней шел некий коммерсант Ганс Матисон, устроивший супругам выставку в Кёльне (1982), главным образом из работ, сделанных в дурдоме.

Однако в 88-м их снова постигла неудача. Немуха постарался перерезать все пути к пирогу «Сотбиса», распределявшего доходные места на Западе. Пробить блокаду им не удалось и после выставки в Германии (Хаус Людвиг, 1991). Их ассамбляжи стали тоньше и красочней, но выдвиженцы «Сотбиса» с высокими ценами аукциона прибрали рынок в свои руки, не позволив Боруху и Татьяне пристроиться у немецкого корыта.

Огорченные супруги повернули оглобли назад, на родной Валдай, с рыбьими угожьями и необъятными далями.

Политическая перестройка страны уничтожила дипарт. Иностраннный покупатель исчез, появился русский олигарх, не соображая, где сено, а где солома, но цены на искусство поползли вверх.

В юбилейный бульдозерный год — 1994-й — Борух решил взять реванш над Немухой, всенародно обвинив его в фальсификации бульдозерной истории. Отлично зная закулису предприятия, Борух и примкнувшие Талочкин и Бордачев заявили, что инициаторами перформанса были не старики Немухин и Рабин, а молодежь — Комар, Меламид — и они, чем вызвали гневный протест адептов другой схемы. Я думаю, что такой вариант реален и возможен, но требует дополнительной проверки, особенно свидетельских показаний настоящих организаторов, до сих пор хранящих молчание. Вполне вероятно, что историческая встреча андеграунда с официозом на пустыре — творчество американца Романа Фельдмана, покровителя соцарта, а грандиозная выставка модернистов в парке Измайлово — деяние товарища Андропова, когда он проснулся от наехавшего бульдозера.

Апофеоз подпольной шизофрении!..

В 96-м старшая и любимая дочка Боруха Татьяна, мастер текстильного декора, погибла под колесами автомоби-

ля. Для него это был сногшибательный удар. Обострились болезни, подступила старость.

Непобежденный, он лег на дно.

Его яркие и самобытные конструкции из индустриальных отходов, но самого высокого художественного качества ждут своего ценителя и зрителя.

Он остается единственным и неповторимым мастером «художественных объектов» в России.

Борух-художник состоялся!..

\* \* \*

Советская система лжи глубоко укоренилась в сознании людей. Фальсификация и подделка исторических фактов стала неотъемлемой частью существования советского человека.

В 1975 году, очутившись в Париже, я обнаружил вольную печать русской эмиграции, где бывшие советские люди, причем не военные преступники, а даровитые мастера литературы, живописи, театра, музыки, без зазрения совести фабрикуют свои биографии, приспособлявая их к новым конъюнктурным обстоятельствам. Творческие люди врут о себе, о других, о прошлом и настоящем не моргнув глазом. Километры брехни не для истории культуры, а в мусорную корзину.

В журнале «А—Я» (1978—1986), издаваемом в Париже художником Шелковским, появилось высокопарное вранье о каком-то «фаворском свете» в иллюстрациях моего друга Эдика Штейнберга, самого даровитого сына Акимыча, позднее ставшего парижским художником.

Со дня нашего знакомства (1959) у нас сложилась не бурная и скандальная связь троих братьев с дележкой наследственных табуреток и рыболовных крючков, а дружба двух червяков в навозной куче.

Наш молодой художественный кружок 60-х, повязанный мечтами и нищетой, никогда не сбрасывал со счета такую твердыню, как Союз советских художников, где выдавали краски и холсты, заказы и командировки, мастерские и дачи. Нас не покидала мысль — не мытьем, так катаньем попасть в это учреждение и обрести легальное положение советского художника. Лиц, рискнувших на эмиграцию, вроде Володи Слепьяна, считали тяжелыми шизофрениками и тут же забывали об их существовании.

Читая биографию Эдика, я обнаружил, что целый кусок его жизни, тридцать лет хлопот и суеты — участие в молодежных выставках, командировки на стройки коммунизма, иллюстративная и театральная работа — факты, компрометирующие чистоту авангардиста, начисто вымарины.

Исчезла боевая и нищая юность. Ее заменил модный и доходный Казимир Малевич, «диалог» с которым Эдик якобы ведет всю сознательную жизнь.

Это ложь, но так выгодно!..

На большом расстоянии — он в Москве, я в Париже — у нас вспыхнула братская любовь и переписка, длившаяся около десяти лет. Я из кожи лез вон, чтобы красиво и толково описать жизнь на чужбине, он поучал меня духовной стойкости в мире зла и соблазнов.

— Твои письма мы читали, как Библию, — признался мне Илья Кабаков при первой встрече в Париже.

Эдик приносил мои письма на читку в кружок, где собирались московские любомудры.

В богемном мире Москвы попадались люди психически неустойчивые, потерявшие связь с действительностью, подменявшие живой мир бредовыми выдумками, но не они определяли ход событий. Крепкие натуры упорно и расчетливо, используя все средства, искали выход своего искусства в западный мир потребления и довольства.

В 1985 году парижский ангел Клод Бернар спустился в московское логово Эдика и скупил все картины. У ни-

щего москвича появились настоящие выставки и твердая валюта.

Всем нужны деньги, и немалые!..

26 марта 1988 года мне позвонили из парижского отеля. У телефона дрожал знакомый, прокуренный голос Эдика.

Супруга Эдика, моя сокурсница по ВГИКу Галя Маневич, отлично знала, как надо жить. Они мудро решили работать с парижской галереей, а не рваться на большую славу в постановке западных монстров мировой рекламы.

В Париже у нас сложились отнюдь не простые отношения. Во-первых, наши жены не влюбились друг друга; во-вторых, Эдик считал себя не эмигрантом, а большим русским патриотом на заграничных гастролях. Я был старым парижанином и, по московским меркам, выбывшим из русской культуры в неизвестном направлении. Штейнберги с удобствами поселились в Париже, но крепко держались за родные корни: квартира в Москве, дача в Тарусе, родня и прихлебатели, рыбалка и могилы. Встречались мы часто, но разговор шел в пошлом, дипломатическом стиле, а в присутствии московского туриста, паковавшего пухлый чемодан, или малахольного собирателя русских картин совсем терял человеческое содержание. Я сократил бестолковые и лживые встречи, и Штейнберги были не против.

С тех пор как Эдик повел «диалог с Малевичем», он работал не со зрителем, а с невидимкой, творил не на вечность, а на продажу. Врожденный дар колориста позволял ему варьировать цвет и композицию геометрических элементов — круг, квадрат, крест, земля и небо в условном виде — до бесконечности. Вся продукция, как камень в воду, исчезала у торговцев картинами.

Как-то в конце сентября 1993 года он вызвал меня к себе.

— Срочно приходи, у меня немецкие коллекционеры!

Вызов такого рода — редкость чрезвычайная в колю-

чем мире «святого искусства», а у моего друга Эдика — первый за сорок лет знакомства. В такой самобытной стране, как Россия, народ живет по упрощенному шаблону: человек полезен или вреден. В давние времена, когда мы работали бок о бок, в тесноте коммуналок и дач, показ картин и получка были общими, но в 68-м, когда он сбросил мою картину с балкона, мы разошлись, работая каждый сам по себе. В грязи подполья, где мы прозябали, выставок не существовало и никто не осведомлялся об источниках доходов.

Очевидно, советские артисты «вечного реализма», всякие братья Алимовы, Ткачевы и Голицыны, помогали друг другу с заказами и деньгами, а в подполье было так: спрашивает любопытный коллекционер: «А вы знаете, как найти художника Воробьева?» Мой ученик и друг Борух ему отвечает: «О таком первый раз слышу и, где живет, не знаю».

Супрематист Эдик завалил немцев под завязку и решил, что дружеский жест солидарности укрепит его славу гуманиста, тем паче что на поиски «потопленного и легендарного Воробьева» уходило ровно пять минут драгоценного рабочего времени.

У двух искателей так называемого «нонконформизма» я числился пропавшим без вести, их розыск всегда упирался в непроходимую Берлинскую стену экспертов: Стегин, Нусберг, Брусиловский, у которых я был «не художник, а плохой шрифтовик». Поправка нового эксперта подпольной эстетики Эдика Штейнберга — «художник нужен, и знаю, где живет» — произвела значительную перестройку в коллекции, заваленной примитивами давно не рисующих Потешкина, Бачурина, Курочкина.

Собиратели картинок — эка невидаль!..

Но это был особый, многострадальный еврейский народ. Он — Яков Бар-Гера из Львова, она — Кенда из Лодзи, уроженцы польских земель до передела европейских границ.

Осенью 93-го за широким столом Эдика сидела неприметная пара из толпы. Дядя, похожий на кладовщика овощной базы, и тетя, коротко стриженная дама с подкрашенной губкой. Без лишней болтовни они поднялись ко мне на чердак и, не торгуясь, купили две картины и десяток гуашей 60-х годов. Собирали они и редкие памятные фотографии для выставок по Европе и России. Я помог им и в этом деле. В обширном каталоге мой вклад в нонконформизм занял очень много места, потеснив более тощих коллег. За услугу Эдик попросил невозможное — верность Москве!

— Брось фанфарона Гробмана и приходи к нам. Мы строим кооператив на Трубной — Немуха, Янкиль, я, — купи площадь рядом с нами.

На такой колхоз я не годился, никогда в нем не состоял и презирал. На вернисажи этой коллекции, где меня лживо представили в качестве ученика Эдика, я не ездил.

Наши общие парижские друзья не могли понять сущности наших разногласий, пытались устроить «встречи мира» за обильной едой и питьем, но ничего не поправили. Об одном и том же мы говорили на разных языках и разошлись по своим углам.

Почему мы живем по законам пещерных дикарей?

Врем, крадем, разоряем, убиваем.

А как жить иначе?



### 3. Васька-Фонарщик

С художником Ситниковым меня свела стена Ксаверия Дуниковского, польского абстракциониста, показанного в московском Манеже осенью 1959 года. Как всякие высокомерные идиоты, я с пеной у рта защищал скульптуры и картины поляка, отбиваясь от резкой критики мужика в черной шляпе, окруженного красивыми девицами. Затем подошел министр культуры Н.А. Михайлов со свитой и, следуя либеральному течению той поры, спросил у человека из толпы, что он думает о таком упадочном искусстве. И тут незнакомец стал на мою защиту. Мужик в шляпе лихо повернулся на скрипучих каблуках и громогласно заявил: «Зачем ослу объяснять искусство, ведь осел в нем не нуждается!»

Я сжался от ужаса. Министр побледнел и повел свой официальный табун к выходу.

Такой крутой поворот нас и сблизил. Я поплелся за мужиком с толстым носом к торговым рядам ГУМа. Со стороны Никольской улицы мы спустились в глубокий, древней кладки, оледеневший подвал. Печки я не

заметил и сел в угол, не снимая пальто. Лишь в этом помещении скульптора Цаплина Дмитрия Филипповича я услышал имя и отчество бородатого храбреца — Василий Яковлевич Ситников, «профессор всех профессоров», как он представился.

До этого я бывал в мастерских скульпторов. В доме академика Меркурова было просторно и светло, среди статуй Сталина гулял огромный пес, сновали каменщики и прислуга. В мастерских Ивана Ефимова, Кардашева и Шаховского статуй вождей не было, но было уютно и тепло. Такого же ледяного подвала, заваленного бюстами Владимира Ильича Ленина, мне не попадалось. Я робко спросил хозяина, почему эти бюсты различных размеров и материалов стоят на стеллажах, — один походил на калмыка, другой на Сократа, третий на рабочего в кепке, — а не в скверах и рабочих клубах, на что Цаплин ответил: «У меня не тот канон». В моей голове не укладывалось, почему человек, никогда не выдавший Ленина в глаза, упорно и многие годы подряд режет его в дереве, лепит в глине, куёт в железе.

О прошлом скульптора стоит упомянуть. Молодым он приехал в Москву из глухой пензенской деревни. В начале 20-х по путевке комсомола его отправили за границу изучать шедевры мирового искусства. Не знаю, где и как он жил на Западе, наверное, плохо, как все бедные иностранцы. Говорили, что его выставки «с большим успехом» прошли в Париже, Мадриде, Лондоне, но я очень сомневаюсь в этом успехе, потому что скульптор спешно вернулся в Москву и попал на самое дно советской жизни. У него брали на выставки мелкие вещи, а бюсты Ленина — никогда!

— Ну, что вам сказать, реализм бессмертен! — заключил скульптор, разливая жидкий чай по грязным стаканам.

Кой черт дернул меня тащиться в подвал Цаплина?

Что за дурак мне попался на пути в блаженный рай?

Не морочь мне мозги, старик!..

С В.Я. Ситниковым же мы пересекались на разного рода «квартирных выставках», куда он приходил смотреть картинки, обмениваясь ничего не значащими фразами: он — «Ну, вы все учитесь?», я — «А вы все учите?», а по-настоящему сдружились лишь в 67-м, когда стали соседями по кварталу: он на Лубянке, я на Сухаревке. Моим учителем искусства он так и не стал, но наставником в жизни — несомненно. Общие интересы в дипарте повязали нас навсегда. Короткое знакомство не прерывалось и в эмиграции, где возникла регулярная переписка. Из Америки, куда В.Я. Ситников перебрался в 80-м году, письма приходили реже, но я за ним присматривал издали. Его кончина в декабре 1987 года окончательно меня убедила, что я потерял драгоценного человека и необходимо сохранить о нем прочную память. Творческой биографии художника я не составлял, у меня нет под рукой его произведений, но данных собралось достаточно, чтобы создать его портрет.

\* \* \*

Василий Яковлевич начинал первым. Он родился за два года до русской революции. Вот его автобиографическое начало: «Отец мой, Яков Данилович, взял мою мать за 25 верст от родной деревни Новые Ракиты, что на верхнем Дону. Пять лет не было детей. После несложного вмешательства деревенской колдуньи по прозвищу Ведениха моя мама забрюхатела мною, а когда я явился на белый свет, 18 августа 1915 года, об этом знала вся округа до Лебедяни».

Так видит свое начало сам Василий Яковлевич Ситников.

Папа (1889—1949) из села Новые Ракиты (360 дворов), 3 километра от Лебедяни Тамбовской губернии, был призван в ряды русской армии, три года воевал в 9-й роте

148-го пехотного черноморского полка, демобилизован ефрейтором в 1918 году.

Мама, Дарья Семеновна, в девичестве Богословская (ум. 1951), из села Зуева — дочка мельника.

Крестьяне разных сел.

Ох эта Лебедянь! Ох этот Ситников!

В 1843 году молодой охотник Иван Тургенев сразу попадает к «известному барышнику Ситникову». Позднее в читальне имени И.С. Тургенева (1930) московский школьник Вася Ситников зачитался.

«На другой день пошел я смотреть лошадей по дворам и начал с известного барышника Ситникова» («Записки охотника», «Лебедянь»). Писатель не перепутал и не стал придумывать. Лебедянские торговцы лошадьми почти все были Ситниковы, и художник сохранил породу предков. «Ситников заломил цену небывалую» (И.Т.) — навсегда остается его торговой политикой. «Сколько?» — спросил князь. «Для вашего сиятельства пять тысяч». — «Три». — «Нельзя-с, ваше сиятельство, помилуйте...»

Голод. Мякина. Тиф. Людоеды шалили дальше, не на Дону, а на Волге. Крестьяне разбегаются кто куда.

Отставной ефрейтор Яков Ситников атаковал Москву, столицу первого в мире пролетарского государства, осенью, на исходе 1920 года. Работа нашлась сразу. Завхоз детдома в конфискованном дворце князя Юсупова. Жилье в подвале. Там ефрейтор не ужился. В 21-м сменил потертую шинель на мундир швейцара при гостинице «Гельсингфорс», что на Сретенке, Рыбниковский переулок, 3/13, подвал.

Базар. Больница. Школа. Учись. Торгуй. Живи.

В 1922 году Васю определили в школу общеобразовательных наук в Большом Козловском, где учился спустя рукава, а точнее «в школе учился плохо» (брат Николай Яковлевич, со слов матери). Это значит, что дважды сидел. В пятом — «я прогуливал ебанскую коммунистическую школу весь 27-й год, шляясь по колоссальным рын-

кам Москвы», в седьмом (1930) — «я имел представление наиболее полное о вашей рыночной системе предпринимательства на практике» (В.Я. американцу Игорю Миду, 1978).

В пролетарской стране не было гвоздей и мыла. В очередях давились за пестрым ситцем. В кинематографах спорили футуристы. В музеях выставляли кубистов. У Сухаревой башни, где когда-то жил колдун Яков Брюс, постоянно кочевала огромная толпа старьевщиков, воров, беспризорников, бродяг. Воспрянувшая духом буржуазия торговала офицерскими сапогами и картинами мировых классиков. Школьник Ситников как замороженный простаивал перед лавками антиквариетов, рассматривая холсты Архипа Куинджи, Тропинина и Фердинанда Бракера.

У московских старьевщиков он приобрел завидную способность собирать интересные вещи.

«Мои карманы той поры были переполнены множеством замечательных вещей, от конфетной оберточной бумаги, пуговиц, дамских брошек до обыкновенной проволоки и разноцветных камешков. Я сейчас не в силах перечислить эти мальчишеские сокровища, которые я рассматривал как материал, из которого можно преинтереснейшее построить!..»

Еще хуже и дальше. В десять лет он сам взялся за краски. В 25-м, летом, в Лебедяни он нарисовал картину «Луна в облаках», краем глаза посматривая на Архипа Куинджи.

В 28-м гостиницу «Гельсингфорс» ликвидировали. Швейцар Яков Ситников «каморку под лестницей» сменил на комнату третьего этажа, разделив ее на две части, детям и родителям. Комната под номером четыре (4), «в которой раньше жила хозяйка гостиницы, а за ней управляющий, уже присланный советской властью», — уточняет Н.Я.

Швейцар Яков стал кондуктором курьерских поездов.

Моряки нас чуть не обокрали!

Робинзон Крузо! Армянин Анастас Спендиаров!

«Он увлек Василия мечтой о море, и оба решили поступить в Ленинградское мореходное училище, но без минимального стажа плавания матросом не вышло, и молодой человек за два года закончил Московский судомеханический техникум, Большая Ордынка, 19, освоив всю программу по навигации, лоции, судовождению и парусному делу», — не без гордости за брата вспоминает Н.Я.

(По другим, не менее серьезным сведениям, юный любитель моря прошел сокращенный курс мотористов «Красный водник», ФЗУ — в 33-м и уже весной 34-го получил катер номер 63 с окладом 100 рублей в месяц и закончил карьеру моряка, окончательно уволившись 15 сентября 1934 года, на что есть точное указание Управления московского пригородного сообщения в семейном архиве.)

Сам Василий Ситников говорит о суровом предупреждении ГПУ летом 34-го, не называя точной причины допроса на Лубянке. Брат же Н.Я. связывает этот опасный разговор с немецким эмигрантом Геккером, обвиняемым в шпионаже в пользу иностранной державы.

«Уже в 34 меня вызвал такой же жирный разьебай, как эта харя (речь идет о «харе» 1974-го), с двумя шпалами, тютелька в тютельку вот именно такая харя», — вспоминал В.Я., не объясняя, зачем его вызывала «харя с двумя шпалами» .

Дружба с немецким шпионом и его сестрами Марселлой и Ирмой — «кобыла невероятной красоты» (В.Я., 1987), которую окрутил более удачливый соперник, «полукарлик из-под Калуги, Ванька по имени, и по характеру тоже, а по сути — уголовник-аферист» (В.Я.), продолжалась, несмотря на суровое предупреждение прекратить.

О поездке в Питер осенью 34-го можно только гадать. Академический опыт молодого москвича равнялся нулю. В бастионе русского реализма под руководством Исаака Бродского людей с колючим темпераментом не разводи-

ли. В это учреждение принимали граждан с основательной подготовкой, отсутствующей в опыте московского туриста. Очарованный Эрмитажем — какие сокровенные голландцы: Яков ван Рейсдаль, Адриан ван Остаде, Герард Терборх и главный чудотворец Рембрандт, «мой учитель Рембрандт» («Даная»!), — москвич покинул квартиру знакомого инженера Блумберга не простившись.

Сестра художника Тамара Яковлевна рассказывает, что ее брат по возвращении из Питера «впадал в черную меланхолию и всю зиму не выходил из дома».

Рисунки того времени носят вспомогательный вид чертежного типа. Технические тетради Леонардо чаще всего приходят на память при виде этих сухих, бесцветных набросков простым карандашом.

Весной 35-го неудачник рисования круто меняет маршрут и свой графический дар вручает мастеру трюковых съемок, киношнику А.Л. Птушко, руководителю пятой киностудии.

Муляжи. Макет. Обманки. Сценический обман. Человеческое кино. Курсы кукловодов. Там он себя находит очень быстро и создает удивительные вещи.

«Отличительной чертой его характера в это время стало упрямство в достижении поставленной себе цели. Увлеченный чем-либо, готов был на все, лишь бы добиться результата», — замечает Н.Я.

«Дети капитана Гранта», «Сказки А.С. Пушкина», «Путешествия Гулливера», потом легковесная байдарка и «рыба», которой посвящены восторженные строки брата Н.Я.: «Биологи МГУ попросили Василия изготовить модель головы рыбы, по которой студенты могли бы усвоить последовательность движений ее челюстей и жаберных крышек. Прежде всего Василий прочитал учебник по ихтиологии и просмотрел в библиотеке МГУ все соответствующие альбомы, затем купил в рыбном магазине большого карпа, отчленил и полностью разварил его голову, очистил от мякоти и тканей все кости и, отобрав самые

главные, по которым было видно, как последовательно двигаются они, стал вырезать из березовых чурок их увеличенные в размерах аналоги. Когда же вся модель была собрана на подставке и соединена с помощью проволочных тяг и кривошипным механизмом, при вращении ручки все ее детали начинали двигаться в полном соответствии с тем, как это происходит в природе».

Весь в чрезвычайном ремесле, весь в прелести совершенной, ручной работы!

Казалось, что беспокойный молодой человек нашел себя в эфемерной работе «кукловода», но в 36-м опять, и с благословения отца, мечтавшего о его карьере живописца, В.Я. пытается сдать экзамены в Академию художеств. Он провалил все обязательные предметы — рисунок, живопись, композиция — и как побитая собака вернулся из Ленинграда домой.

Почему неудачи, почему провалы?

Освоение академических дисциплин — прямая перспектива, анатомия, моделировка объема, компоновка на плоскости глубины, расцветка планов — требует внимательного и безупречного подчинения установленным правилам.

Опытные профессора Академии брались выучить не только бездарного студента, но и послушную собаку!

Бесчисленные тренировки, повторение пройденного, строгое подражание раз и навсегда принятому шаблону дают желанный результат.

После десятилетий разброда и кратковременного владычества футуристов образцом для подражания стал художник XIX века, реалист Илья Ефимович Репин.

Всякая модификация утвержденной модели считалась если не преступлением, то ничем не объяснимой глупостью. Такой реформатор терял доверие власть имущих, прекращались заказы, выставки, награды, всероссийская слава. Послушный и толковый получал путевку в жизнь и право на искусство.



Ситников прошел все официальные «курсы подготовки» под руководством заслуженных академиков, куда, по его словам, «приходили более ста человек, люди всех возрастов и разных профессий, обоего пола. Все старательно рисовали, работая по принципу тяп-ляп. Я из кожи лез, чтоб не отставать от соседей».

С такой подготовкой любая бездарность проходила в искусство, но его провалы особого свойства. Он чужой! Он чужой, психологически не совместимый с «сотней» и лезет туда, где ему нет места. Его постоянно несет туда, где возможен скандал, неизвестность, нищета. В его неуклюжих, корявых рисунках и акварелях таится бунт. Его «Шар» (осень 1939), выполненный сапожной щеткой при помощи черного гуталина, — это не ученическое упражнение. Опытный реалист сразу определит, что этот «объем в пространстве» — особое видение мира, особая метафизика непослушного и одинокого художника.

В этом же 39-м академические мытарства В.Я. раз и навсегда прекратились невероятным конфузом, основательно надломившим психику. Его по ошибке приняли в Московский художественный институт и тотчас же отчислили в разряд вечных вольнослушателей.

Отдав должное «кукловодам» кинематографа, изобретателям речных байдарок и неприступному Ленинграду, В.Я. надолго связал свою судьбу с ненавистным московским институтом.

«В это время испытывал беспредельные муки зависти и отверженности от официального искусства» (В.Я.).

Положение вечного студента, а затем ассистента на кафедре искусствоведения с окладом в 70 рублей лишь усугубляли «муки зависти и отверженности», в то время как деградация учебного дела, о которой он отлично знал, привела к полному разложению и упадку русской культуры.

Двадцать лет спустя (1958) мне довелось побывать на выпускном балу этого института, с 46-го года ставшего

имени В.И. Сурикова. Выпускники института по-прежнему рисовали картины с оглядкой на творчество И.Е. Репина, но походили не на студентов высшего учебного заведения, а на стойбище пещерных дикарей, темных, грязных и спесивых. Коммунисты и методисты Академии художеств добились своего, вырастив два или три поколения идиотов, послушных указке заказчика.

Ситников, студент без будущего, по словам его брата, «чувствовал себя большим талантом, старательно создавая свой особый стиль».

Его творческий багаж той поры набит работами учебного склада. Это бесконечное изучение техники старых мастеров. Попадаются копии работ Рембрандта, Дюрера, Брейгеля. Все они не закончены, на середине. Страстное увлечение стариной попеременно с робкими натурными опытами — сельский пейзаж, вид реки, городской дворик, портрет. Вещь за вещью, исполненные на обрывках оберточной бумаги, картонах и фанерках, ложатся в сундук до «лучших времен». Редкостная бережливость основателя «восхитительной дымки». Трудодни фонарщика искусствоведения в своем монотонном беге не предвещали решительных перемен в его жизни.

В Париже пировали немцы, а большая Москва убеждала своих придурков, что войны никогда не будет. Слухи о финских «кукушках» и паническом бегстве поляков сурово пресекались. Потом на Москву посыпались бомбы, и опомнились: немцы в Царском Селе, немцы на Волге, немцы в Химках. Ректор института И.Э. Грабарь всех погнал на земляные работы, спасая убогий мир коммунизма.

Арест В.Я.С., вольнослушателя окопных работ, окутан мраком неизвестности.

Кто донес? И был ли донос вообще?

Брат художника, уже задним числом и со слов покойной мамы, утверждает, что был донос бдительного гостя. Неубедительная версия о немецких листовках и идейном «подонке из Института иностранных языков». Доносчик

жив, имя его, естественно, не оглашается, но при встрече Н.Я. «выложит всю правду в глаза». Сам художник, слегка преувеличивая, пишет: «Один энкавэдэшник нес мешок оружия, а другой — приемник и связку антисоветской печати». Здесь уже подходящий материал для ареста и расстрела в военное время, но несчастного хранителя оружия не расстреляли, а просто «списали как психа» в далекую Казань.

Проповедник безыдейного искусства, ничтожный фанатик без кафедры, очутился на нарах Лубянки, где «облизывал тарелки арестантов», затем, с января 42-го, на нарах Таганской тюрьмы, где главным образом читал книжки: поэмы Гомера, «Князя» Макиавелли, «Торговлю» Гвинчардини — и читал их семь месяцев подряд, пока длилось следствие. Психов с вялотекущей шизофренией, дебилов с манией величия и политических шутников отправляли в Казань, где они тихо умирали от голода на четвереньках, кто «царем», кто «чертом», кто «пауком». Психбольной Ситников рисовал, выдавая себя за художника «ради смеха».

«Моя работа пользуется большим успехом, — писал заключенный родителям, — доктора видели мои работы, они имеют успех».

Осенью 1942 года В.Я. получил первый и единственный в своей жизни официальный заказ на украшение стен военного госпиталя. Шесть художников психбольницы особого типа взялись за работу.

«Ни красок, ни кистей, ни холстов нам не выдали, — с горечью вспоминал он, — я начал гигантскую работу, как первобытный неандерталец. Из дохлой собаки я сварил клей и тщательно загрунтовал стены. Пару кирпичей затер на моче, и получился отличный сурик, как у древних греков на вазах, красновато-золотистого тона. Им я раскрашивал оптимистические знамена первого плана. Весь пейзаж степей и купола церквей на горизонте пришлось тонировать мазутом и мелом, употребляя сапожные щет-

ки. Глубокий бархатистый тон фона, весь в снегопаде, и передний план, с людьми, хорошо связались между собой. Между прочим, многие пожилые солдаты, отправляясь на фронт, крестились на эти огромные панно, как на святые иконы».

На стенах военного госпиталя города Казани безымянный шизофреник оставил работу без поправок заказчика, огромные стенные фрески, содержание которых трогало утомленных войной людей: «десять изображений по 4, по 6, по 2 и 3 квадратных метра ото всей души, и здорово я их сделал» (письмо В.Я., 1975). Живопись, единодушно утвержденная начальством, открыла художнику двери «больницы специального типа» (тюрьма!). Ему милостию позволили бродить по городу без охранника и питаться за свой счет. Он ловил лягушек, собак, кошек и варил суп. Явилась шальная мысль бежать в заволжские леса и жить пустынником, вдали от людей. Бегство не состоялось. «Я бежал ночью из колонии за 60 км от Казани и заблудился в лесах» (В.Я.).

Грузчик. Кухонный мужик. Портретист. Лесоруб.

Красная армия стояла на Висле, обстреливая Варшаву. Отважные немецкие летчики еще прорывались к Москве и бомбили, но их уже не боялись. Летом 1944 года «тяжело психбольного» пациента выписали в Москву, под надзор и уход родителей.

«Тогда я качался от ветра и поноса. Медсестра Екатерина Михална, ведьмоватая старушенция, привезла меня из Казани и сдала под расписку маме, как телка» (В.С., 1980).

«Из Казани он привез нанизанных на шнурок множество собачьих зубов и, демонстрируя их, без всякого смущения говорил, что это то, что осталось от съеденных им жучек и шариков», — вспоминал Н.Я. (1995).

Кроме собачьих зубов на шнурке в дорожном мешке голодного шизофреника лежало потрясающее открытие, художественный снегопад на синей клеенке!

Вскорости он обрел тягу к рисованию и монотонным занятиям у профессора искусствоведения М.В. Алпатова.

Опытный живописец Фальк, Роберт Рафаилович, перенес все искусства современности. Он знал в лицо основателей импрессионизма и футуризма. Он внедрил кубизм в русское искусство. Он десять лет рисовал Францию, пытаясь выдвинуться в Европе, а в 38-м вернулся в Россию, где его никто не ждал. Ни жилья, ни заказов, ни кубизма. Могущество Рембрандта накрыло его творчество на склонах лет. Престарелый авантюрист кормился преподаванием частным образом. К нему приходили Марселла Геккер, Майя Левицова и Нина Завадьё, увлеченные мистикой подлинного творчества.

— Я ученик Рембрандта, — сказал Фальк вошедшему «телку» из Казани.

— Дегельдера я ценю выше Рембрандта, — отбил «телок», расстилая синие клеенки на полу, — он скрость стакан с зеленым чаем!

— Мне нечему вас учить, — добавил ученик Рембрандта, внимательно осмотрев работы Ситникова, — сапожной щеткой и черной ваксой вы сделали то, к чему я стремился всю жизнь.

Знакомство равных.

Биография русского художника составлена не из выставок, а из этапов. У одного это коммуналка, у другого — тюрьма, у третьего — психушка. Творчество художника не выходит за пределы этих учреждений, оно обращено к одному лицу, автору, когда он и создатель, и зритель, и хранитель.

Дегельдер оказался моложе и проворней Рембрандта. Молодой «телок», обраставший жирком бычка, увел к себе цыганку Нину Завадьё, положив начало особой академии в Рыбниковском переулке, 3/13, 3-й этаж, комната 4. Профессор всех профессоров Васька-Фонарщик! Первая ученица Завадьё и послушно училась, и «любила меня понастоящему» (В.Я., 1977).

В 1945 году Ситников написал (сделал!) картину «Жена». В ней представлена обнаженная женщина в поле, на воздухе (цыганка Завадье?) по колено. Никаких живописных или графических качеств. Такое впечатление, что вещь сделана гвоздем по штукатурке. «Жена» в дырках, пятнах и буграх, но производит впечатление могучего шедевра.

Любовь цыганки. Песни Сандро Вертинского. Величие православного Бога. Необычные мечты о счастье.

Несовершенство человеческой природы.

На пятки авантюристу Фальку наступал лукавый, но нищий акварелист Артур Фонвизин. Он жил и творил в коммуналке «на Мясницкой» (улица Кирова, 19) и там же принимал учеников.

Профессиональная деятельность А.В. Фонвизина (1880—1973) по всем параметрам совпадала с ритмом XX века. Он с молодых лет, с 1901 года, состоял членом всех артистических кружков и объединений, изъездил весь мир, говорил на всех европейских языках, а выбрал русский, русскую кашу и русский беспредел. Жил он частными заказами. В комнате, где спали, ели, болели, по настоянию чувствительной супруги, тяжелый творческий труд был сокращен до изысканной акварельной техники. Фонвизин писал с натуры, усаживая модель в яркий угол, по воображению летающих гимнастов и по фотографии знаменитостей балета безликого времени. Разбалованные заказчики платили мало и неохотно. Акварелист хитрил, переманивая полезных учеников у Роберта Фалька.

Встреча Васьки-Фонарщика с акварелистом закончилась катастрофой.

Верный ученик Фонвизина, талантливый и независимый Володя Мороз, невразумительно рассказывая, дал неопределенную характеристику своего нового приятеля. Фонвизин и его чуткая супруга решили, что к ним идет герой французского Сопротивления вроде Олега Толстого, а не душевнобольной художник.

По рассказу Тамары Васильевны, принимавшей участие в беседе, их ждал хорошо сервированный стол. Фонвизины стерли пыль с фамильного серебра, выставили хрустальный графин с водкой и не поскупились на вазу с диковинными фруктами. Видавшие виды Фонвизины с порога смекнули, что к ним привели не героя цивилизованных манер, а сумасшедшего, постоянно голодного пролетария без царя в голове.

От водки Вася отказался, но, когда принесли суп, он поинтересовался, что последует за этим блюдом. Узнав о котлетке и пирожном, попросил кастрюлю и сложил туда все три составляющие обеда. Пораженная Фонвизина исполнила пожелание, а Вася так прокомментировал: «В желудке ведь все равно все перемелется!»

Страна чудес и абсурда!

Частную академию в Советской стране — «частник» неправдоподобно режет слух, да еще в годы незаконных репрессий и погромов космополитов, — «тяжело психбольной с детства», любитель рисования Вася Ситников, прошедший казанскую психтюрьму, 1941—1944 годы, открывает на дому. Безумную авантюру не задушили налогами, как швейное ателье моей матери в 48-м, не прихлопнули уголовным кодексом, а пропустили жить без разрешения.

Первые ученики академии, придурки войны и начинающие любители, не прятались от властей и людей и рисовали открыто на коммунальной кухне, на лестнице, в проходе, во дворе. Дворники резались в домино. Дворовые сплетницы вязали шапки, полужгивая семечки. Участковый милиционер охотно делился своими взглядами на искусство, не зная, как поступить с нарушителем порядка.

К Ваське-Фонарщику тянулись обездоленные люди и скучающие вольнослушатели, как Лидия Вертинская, жена знаменитого барда. Поговаривали, что учитель — жестокий деспот и гипнотизер, навечно лишенный гражданства.

Психиатр Виктор Райков усидчиво рисовал шар по воображению и записывал мысли учителя: «Начинать надо с конца работы не методом академиков, запутывая результат, а быстро располагая планы с передними точками, обращенными к зрителю, а затем, отбрасывая все выпуклости форм по порядку сверху донизу, выправлять мелкие детали в различных местах, даже не связанные между собой единым рисунком».

В это вшивое и опасное время, начало 50-х, сложился и выразительный облик, яркая внешность В.Я.С.: густо заросшее щетиной лицо, крупный нос и ястребиный взгляд, пружинистая походка физкультурника, обтягивающие крепкие ноги штаны, красная тенниска со множеством дыр, куча ключей, брэнчавших на шее.

Бывшая ученица Пюзель Амальрик вспоминает: «Это было для меня чудо, спущенное с небес, а может быть, из самого ада».

«Искусство — это лечение от поноса!» — любил повторять В.Я.С.

Это была не только школа рисования, а особый институт труда и жизни, терапия для одаренных и бездарных психопатов с манией величия и тяжелыми сексуальными комплексами, курсы практической тренировки, психанализ на службе искусства и наоборот. Один прямой как палка метод — день и ночь рисовать «волшебную дымку», и никаких книг и рассуждений.

Василий Яковлевич собирал вещи. Профессиональный барахольщик. Он ташил к себе ржавые гвозди и ковры, иконы и обувь, корейский вельвет и японскую чесучу, речные байдарки и вологодские прялки, пустые бутылки и старинные книги, жевательную резинку и ватманскую бумагу.

О Владимире Алексеевиче Морозе, ставшем его долголетним опекуном и духовником, следует рассказать отдельно.



Сын выдающихся советских чиновников, он постоянно крутился в верхах столичного общества, среди видных военных, музыкантов, танцоров, журналистов. Обладая очень привлекательной внешностью хорошо ухоженного голубоглазого барчука, с приятными манерами и необходимым набором познаний, он везде был нужным и проверенным человеком. И в салоне Генриха Нейгауза, и на даче маршала Тимошенко, и в ресторане «Националь» он считался своим в доску.

Что привело молодого советского парня в логово шизофреника Ситникова, остается малоизученным феноменом, но, пренебрегая фактами, рискнем объяснить романтически.

Когда в казенную мастерскую живописца солдатских обносков и тряпья не входит, а влетает, как вихрь, молодец с «литым, сделанным из бронзы телом йога» (по Гюзель Амальрик), то первокурсник Володя Мороз обомлел, как обомлела Гюзель.

Любовь с первого взгляда!

Студент «Сурика», где В.Я.С. состоял завфонарем профессора Алпатова, не спускал с божественного фонарщика взгляда, копируя повадки, говор, работы. Стоило божеству заикнуться о канадских сапогах, как они стояли в Рыбниковском. Любой каприз, любой приказ кумира выполнялся сразу и беспрекословно. Студент Мороз бросил посещение «Сурика», превратившись в раба деревенского деспота. Дружба перешла в деловое сотрудничество. В голову влюбленного раба пришла еретическая идея: показать произведения академии для публичного обсуждения. Первую выставку они сделали в клубе Института труда и гигиены. Поглазеть на деятельность способных шизофреников пришли известные ученые, отцы русской психиатрии: академик А.В. Снежневский, врач Цецилия Файнберг, профессор И.Г. Иткин, представитель «Сурика» М.В. Алпатов — и вся московс-

кая знать, где отличилась поэтесса Агния Барто, повсюду повторявшая: «Какой эпический талант! Нет, вы посмотрите, — какой эпический талант!»

Врач Райков — «гроша мне не заплативший Иуда» (по Ситникову), — покровитель московского новаторства, самыми яркими красками описывает появление Васьки-Фонарщика в закрытом клубе: «Вася не вошел, а ворвался в зал. На нем блистали хромовые голенища сапог, пальто заморского покроя он опоясал пеньковой веревкой, а на голове красовалась черная шляпа времен Пушкина. За ним плелся выводок девиц, похожих на пестрых матрешек. Как нож, он рассек толпу начальства и не переставал выкрикивать непристойные ругательства».

«Это сквернословие, — объяснял В.Я.С., — от счастливой и безумной радости бытия».

1955 год стал поворотным в жизни художника и педагога. Посещая сокровища Дрезденской галереи с «бездарным тупым долбоебом Сезанном» и «божественного происхождения Леонардо», он познакомился с парой необычных людей.

\* \* \*

В середине 30-х годов оренбургская комсомолка Нина Бондаренко приехала в Москву учиться, а вместо диплома выловила в столице американца, влюбленного в русскую цивилизацию, икру и водку. Они поженились. Американец Эдмунд Стивенс спас Нину Андреевну от советской нищеты, а она открыла ему заповедные места советского общества. В политическую «оттепель» 50-х эта пара, не выходявшая за пределы официальных приемов, вышла на прямую связь с артистическим и политическим подпольем. Знакомство с оригинальным живописцем Васей закрутили быстро и в игривом духе. Сперва пили виски, потом поехали смотреть его карти-

ны. Встреча закончилась тем, что подвыпивший Эдмунд без обиняков спросил:

— Вы же русский художник, где монастыри?

Подобных заявок Вася никогда не слышал. Профессора «Сурика», где он заряжал фонарь искусств, обычно спрашивали: «Где положительный герой, где светотень, где блик?»

Позднее Вася вспоминал: «Сам Господь Бог приоткрыл мне занавеску».

Это был первый иностранный заказ.

Художник обещал американцу «монастырь», но просил не торопить. Он обошел все музеи Москвы, перелистал все доступные книги и каталоги. В стране монастырей монастыри не рисовали. Иногда кусок монастырской стены (Репин), иногда кресты небрежными мазками (Васнецов), иногда погост на горизонте (Левитан).

Американец знал, о чем говорить.

Терзайся, кретин!

Раз ученик Сашка Харитонов, «чернорабочий хам и алкаш Сашка», принес на урок селедку, завернутую в плакат с изображением токарного станка. Засаленная картинка «для меня оказалась дороже мешка алмазов, — вспоминал В.Я.С. — Чертежник изобразил станок с птичьего полета, и на его месте я сразу увидел свой монастырь».

Яркие купола, оживленная толпа, стая ворон и сверху «гладь вышивального, наигустейшего, одуряющей красоты, мельчайшего снегопада» (В.Я.С.).

В доме Стивенсов, где картину повесили для обозрения, постоянно толпились изумленные иностранцы. Ничего подобного советские живописцы не производили.

«Мой первый монастырь оказался враз бестселлером!»

Шизофреник без паспорта стал знаменит.

«Обломилась краюха счастья!»

На ажурные «монастыри» образовалась очередь желающих. За них платили хорошие деньги. Зажиточные иностранцы вносили свои рыночные поправки в товарообмен

и торговлю. Купеческий дом Стивенсов на Зацепе стал модным салоном Москвы. В посольствах и журналистских бюро об американце и его русской жене говорили как о людях бывалых и знающих. Гвоздем салона стал русский юродивый по имени Васька-Фонарщик. Туда устремились не только официальные лица, но и пьяная богема. Остроумный муж не раз повторял жене: «Нина, ты вышла из колхоза, но колхоз из тебя не вышел».

В середине 50-х о Ситникове уже слагали легенды. Сочиняли небылицы о его несметных богатствах, о содомских оргиях, даже о шинели полковника КГБ, которую он примерял по ночам. На самом деле он работал до первых петухов, годами не выезжая за пределы Москвы.

Иностраннный успех сопровождался отечественной катастрофой. Его ограбили, причем воры утащили не только ковры, иконы, прялки, но и незаконченные картины. Министр культуры распорядился отчислить наглеца со службы в «Сурике», где он работал 15 лет, заряжая фонарь на кафедре искусствоведения.

Пенсия 28 рублей, за гибель отца — 15 рублей, и фонарь — 40 рублей.

В декабре 59-го его лишили основного жизненного дохода.

Выходка кривой судьбы!..

Нелегальный журналист В.Н. Осипов («Бумеранг», 1960) спросил об артистическом кредо художника.

«В степи едет телега, я лежу на спине, задрал ногу на ногу, и горланю веселую песню — вот мое кредо искусства».

Отставного фонарщика спас дипарт.

В 60-х годах в Москве образовался уродливый рынок подпольного искусства, главным образом связанный с иностранным покупателем. Кучка враждующих кружков, обливая друг друга грязью, устремилась на дешевый и запретный торг. Покровительство грека Г.Д. Костаки, изредка покупавшего акварели Зверева, основательно под-

стрекало к соревнованию коллекционеров. Васька-Фонащик стал многолетним консультантом Стивенсов, собравших огромное количество трущобных произведений.

Впервые его заметили не на родине, в России, а за океаном, в Америке. Бесконечные поиски новых «измов» не задевали его воображения. Диктатуру соцреализма он определял следующим образом: «К примеру, висит в музее картина Рембрандта, и хунвейбины не ацетоном, не серной кислотой поливали, а положили ее наземь и все по очереди в течение недели обоссали и затоптали».

И не дар вольного педагога, гипнотизера и врачавателя, и не знаменитое собрание русских редкостей составляли главное очарование его личности. Он оставался замечательным выдумщиком и практиком живописи. В 60-х годах он создал свои лучшие картины особой техникой сфумато, известной лишь посвященным.

«...глянь не в пределы тысячелетий, а в миллиарды!.. каково? Пожалуй, следует строить жисть не так, как строят ее “мудрецы”, и многие человеческие ценности следует переоценить, и то, что казалось ненужным, выйдет ценным, а то, что казалось ценным, выйдет обман, грезы, блеф и мишура!.. Я стал понимать это еще до войны (то есть в 1937 году) и постепенно имел случай из года в год убеждаться в своей правоте...» (запись В.Я. 03.11.1959).

Ни разу в жизни он не свернул с избранного пути.

В 1963 году у него начался затяжной роман со школьницей Ликой Крохиной, с «блядством при первом удобном случае» (дневник В.Я.С. от 02.06.1963). Он одевал ее в дорогие меха и фирменные шмотки. Ее сумка и карманы были набиты деньгами. В 20 лет она гоняла на автомобиле в пешеходной Москве. У нее начисто отсутствовало чувство страха, свойственное всем подпольщикам без исключения. В гости к иностранцам она приезжала с такой наглостью, что постовому милиционеру казалось, что явился не проходимец без паспорта, а посол иностранной державы с молодой женой.

Почитатели советской власти чаще всего преувеличивают репрессивное могущество Кремля. Старомодная, многолюдная, неповоротливая разведка грубо опутала андеграунд, коллеги по искусству охотно доносили друг на друга, чтобы удержаться у кормушки дипарта подольше и загрести побольше, но промахи дряхлого режима были так велики, что его вождей надо было не награждать, а убивать за разложение пролетарского государства.

Миф о духовном и физическом слабосилии подполья раздули актеры «вечного реализма», академики и бюрократы официального изофронта, на своем брюхе испытывавшие голод равноправия.

Васька-Фонарщик и его опекун В.А. Мороз, не прерывавшие деловых связей, обладали самостоятельной и совершенной сетью сыщиков и стукачей, приносивших самую сверхсекретную информацию московских салонов и тайных дыр, — от лодочной станции в Химках и самочувствия Эдмунда Стивенса до последней зарплаты Костаки и любовных походов Святослава Рихтера.

Приобретение и перепродажа древностей приняли размеры циклопические. Не было ни одного «порядочного дома», где бы не возвышалась «иконная стенка». Выход иностранца с таким товаром обещал хорошую прибыль, и ключевое положение чемпиона дипарта подходило для этой цели как нельзя лучше. За короткое время В.Я.С., владевший «пугающих размеров» складом русского антиквариата, заработал большие суммы денег, орудуя на черном рынке с помощью подставных маклаков.

Вот тебе и сухая кисть и ребром щетина!

Третья особая академия, 1969—1975, началась с решительной чистки сотрудников и жен. Юлий Ведерников был освобожден от рабского подчинения. После чудовищного скандала с битьем посуды уехала и Лика Крохина, прихватив с собой часть имущества. Сначала ученица, а затем жена Ирина Ивлева принесла суровый монастырс-

кий уклад в быт художника. Прямая и сухая, как тростинка, молчаливая, как сфинкс, на самом деле пылкая и вредная особа, пять лет портившая кровь своему сожителю. Она лично вербовала учеников и готовила пищу, совершенно несъедобную и страшную на вид. В подъезде постоянно дежурил «топтун», вскорости ставший учеником. По ночам к нему приходил американец «балда Смит», страдавший бессонницей. Они обсуждали все мировые проблемы до тех пор, пока Смита не выдворили в Америку.

Подлинным шедевром 1970 года была картина «Земля и небо» — год семейной работы в тридцать слоев точками!

В дневнике В.Я. от 2 ноября 71-го года записано: «... я отдаю свои знания. Добыл я их тяжким 25-летним трудом проб и переделок бесчисленных и закрепительных упражнений без руководителей... “на ощупь”. Взамен все работы руководимых мною учеников принадлежат мне! Это абсолютно и кате-гори-чески!!!»

Многотысячная армия «инженеров человеческих душ» оставила после себя кучу навоза вместо духовных ценностей, а шизофреник русского андеграунда Васька-Фонащик оказался нам «нужным и ценным».

«...Абсолютное сходство с забросом спиннинга с инерционной катушкой и плетеной фильдеперсовой леской», — довольный, повторял руководитель работ.

Еврейское возрождение в Москве начиналось под новым, ранее неизвестным знаком — эмиграции на историческую родину, в Израиль; причем в этот неуправляемый поток вливались обыкновенные русские советские граждане — вещь, немыслимая раньше, — граждане без определенных политических взглядов, с одним страстным желанием посмотреть недоступный Запад, пощупать его мир, испробовать свои силы. Заключалось огромное количество смешанных браков, часто фиктивных, только до Вены, а там разбегались кто куда. С толкучки у синагоги приносили последние новости. «Князь Андрей Вол-

конский ищет еврейскую невесту. Художник Олег Кудряшев женился на рижской еврейке и уже в Лондоне. Эдик Кузнецов угнал самолет, в Израиль улетел ученик Вени Волох».

Ивлева, замечавшая мечтательный вид супруга, подолгу смотревшего с балкона вдаль, за леса Измайловского парка, запрягла его в тяжкое, изнурительное и неблагодарное строительство дачи, да еще «финской», на своей родовой земле под Дмитровом. Рабочие пили с утра по-черному, растаскали гвозди, доски, оконные стекла, кирпичи, окончательно разрушая психику В.Я.С. Сезоны меняли друг друга, а дача номер 259 так и стояла без крыши.

В начале 1973 года таможня конфисковала закупки и подарки слависта Поля Секлоши. После унижительного допроса с угрозами американца отпустили, но вызвали Ситникова. С повесткой он показался у лечащего врача (В.М. Думанис, психдиспансер № 5, ул. Кирова, 42). Владимир Михалыч сказал, как приказал: «Не валяй дурака, уезжай!»

И началось время на износ, пытка родного и ненавистного отечества «среди березок ебаной матери России».

Философия «куда кривая вывезет», обычно работавшая в два конца, сорвалась. В мае 74-го, пока он колготился в Ялте, в пустом и дорогом пансионате, куда его затащила Ивлева, был арестован В.А. Мороз с жутким обвинением в саботаже советской экономики. Следствие по делу Мороза протащило сотни свидетелей. В разгар допросов В.Я. получил беспрепятственно приглашение «двоюродного брата» Вени Волоха воссоединиться в Израиле.

— Я хохотал и обоссался, когда прочитал вызов моего родственника!

Пылкая Ивлева, объевшись дикой травой, бросилась с 12-го этажа, и лишь ловкий сосед с 11-го, куривший трубку, спас падающее тело. Бунт Ивлевой закончился ее позорным изгнанием.



На стол В.М. Думаниса лег израильский вызов.

— Как быть, — спросил В.Я., — ибо я не личность?

— Нет, вы личность, — сказал довольный психиатр, — ваша недееспособность не установлена судом, а это означает, что вы еще дееспособны! У вас будет паспорт без проблем.

\* \* \*

Эмиграция для советского человека 70-х годов означала полный и окончательный разрыв с отечеством, с детством, зрелостью, языком, близкими, культурой, работой, бытом. Люди уезжали без права возвращения на родину. Известный московский художник Юрий Титов в порыве отчаяния рискнул вернуться, но власти лицемерно и подло предложили ему для жительства таежный поселок в Сибири и работу шрифтовика. Все кандидаты на эмиграцию внимательно следили за успехами и неудачами земляков на Западе. В свои 60 лет В.Я. не был подготовлен к такой радикальной перемене. Он никогда всеерьез не учил языков. Его отношения с иностранцами носили сугубо декоративный характер: торговая сделка, застольный треп, хиханьки-хаханьки. Россия его выталкивала на верную гибель на чужбине. В начале 1974 года он вдруг попятился, сробел покидать насиженное место и просрочил израильский вызов. Снова появились ученики и ученицы. Видимость спокойствия и новая любовь.

В «бульдозерном перформансе» (15 сентября 1974) он благоразумно не участвовал (строил финскую дачу!), но позорная расправа с беззащитными художниками снова подстегнула на решительный разрыв с преступным режимом. Он сдал в музей имени Рублева византийский шедевр XIII века и 600 икон XVII. Роздал все свои денежные сбережения и порожняком, с пустой авоськой,

30 октября 1975 года сел в самолет, окончательно отряхнув прах людоедской жизни.

«Я совершенно охуел от Европы, — писал мне В.Я. в начале 76-го из Вены (пансиона Беттина, Хардигассе, 32). — Представь себе ласточку, родившуюся и выросшую в тесной комнатухе, и вот ее выпустили, а куда, не просто на волю, а в рай!»

Стать австрийцем или американцем он не мог. Работал и доживал иностранцем, русским эмигрантом.

Исторически — богатый художник не существует.

Трудно представить богачом безымянного гения Средневековья. Где бы он ни трудился, в Китае, России, Греции, Италии, художника приравнивали к трудовым людям особого ремесла. Современность разбила некогда единый цех на зажиточных и нищих. Одних засыпали почестями, других травили и топили в дерьме. Русское искусство при дележе мировой славы не получило своего куска по достоинству. Оно уходит незамеченным огромным косяком, от Ореста Кипренского в XIX веке до Казимира Малевича в XX. Запоздалая слава последнего ничего не меняет в негативном отношении к русскому художеству.

Всякий знает, как живет европеец. Удобно, скучно и благопристойно. В 76-м Васька-Фонарщик заключил контракт с австрийским фабрикантом мебели Фердинандом Майером и выехал в курортную деревню Китцбюль, что в Тирольских горах. Получив от храброго австрийца сарай, матрас и «солдатскую пищу», он принялся за сооружение новой жизни. В сердце Европы он возводит «необитаемый остров», логово в полном соответствии со своими вкусами и привычками. Неумную страсть к выдумкам, созидательный пыл и талант русский художник притащил в скучный Китцбюль. Он огораживает сарай колючей проволокой и тащит на отвоеванную территорию все, что содержит европейская помойка: ящики, доски, ведра, журналы, тряпье. Обалдевшие обитатели

курорта идут поглазеть на русского художника. Желаящих купить картину он выстраивает в очередь, по записи.

«Связи возникли, как погода» (В.Я.).

Безымянный сарай Европы превращается в процветающее хозяйство. Необычную мастерскую с огромной картиной «Снегопад для Майера» посередине посещают пронырливые репортеры и знатоки живописи. География жизни расширяется. В.Я.С. осмотрел музеи Мюнхена, Венеции, Вены. Художник писал самую большую (6 кв. метров) и самую лучшую картину в жизни.

Мы знаем картины, бьющие по человеческому сердцу, — это Босх, Рембрандт, Гойя и, очевидно, пресловутая «Герника» Пикассо. Это иной мир, сочиненный на куске холста и гением его создателя превращенный в неотъемлемую часть человеческой культуры, продолжение жизни во времени и пространстве. В.Я. Ситников называл себя не живописцем, а картинщиком.

Что такое картинщик?

В 1944 году в казанском дурдоме Васька-Фонарщик изобрел необычный изобразительный метод «снегопада», отработанный мелкими кистями, и геометрически четкие снежинки оптического разнообразия. К многофигурной композиции он шел не спеша. Она появилась в конце 50-х годов, робко сочиненная по сюжету, но стойкая по исполнению. Художник не рисует картину, а строит, как спектакль. В ней нет совершенного, лихого рисунка, рафинированного колорита и классической компоновки в золотом равновесии. В лучшем случае в композиции присутствуют вечные статисты искусства: земля, небо, толпа, здания, животные, птицы. Картина строится кулисами, отчего взбесится любитель строгой античности. Из русской жизни В.Я.С. выжимает этнографию кривых зеркал, смешных мопсов и бульдогов и церковную архитектуру, опрокинутую в небо в три четверти. Вторая кулиса — «снегопад», ажурная ткань снежинок, наброшенная на изображение, как вуаль на лицо. Третья кулиса — первый план.

Он кочует почти неизменным из картины в картину, постоянный герой — мускулистый персонаж с кистью в руке, как две капли воды похожий на веселого Ваську-Фонарщика с деньгами. Он страшно доволен проделанной работой и ставит точку над «і».

Набегая друг на друга, эти механические планы создают неповторимый оптический и живописный эффект, напоминая старый персидский ковер.

Большая картина, выполненная кистью в один волосок, где каждое прикосновение драгоценно, через три года стояла перед европейским зрителем. Врожденный эстет в недоумении разводит руками, недалекий авангардист скулит от зависти к изобретателю, подражатели неловко ухмыляются, но все разом удивлены. Равнодушных нет!

«Я эмигрировал с целью доказать хамам советской власти, что я не последний психбольной, а хороший дорогой художник» (В.Я.С.).

Владелец заказной картины Фердинанд Майер оценил картину в 240 тысяч австрийских шиллингов, цена невыносимая для современного, никому не известного русского художника.

Письма В.Я. любил и умел их писать, с необычайными оборотами просторечия, меткими сравнениями и крылатыми словами. С августа 75-го по ноябрь 85-го я получил от него в общей сложности сто двадцать страниц произведений высокого эпистолярного творчества.

В 1977 году, глубокой осенью, мне удалось побывать у него в Китцбюле. Мой старый друг похудел, осунулся за два года эмиграции, но по-прежнему горел желанием написать самую большую, самую лучшую картину в мире. Мы проговорили всю ночь напролет. Говорил он не прекращая, жалуясь на предательство любимой женщины, застрявшей в Москве, скупость хозяина и глупость соседей.

Давняя мечта — «плавать по необъятному миру, как рыба в океанах и в реках тоже» — сбылась.

В середине 1980 года В.Я. покинул гостеприимный курорт, чтобы в Вене попасть в тупиковое положение «устроенного человека», а не нищего беженца. Америка, куда устремился он — со страстным желанием прославиться и «если я Робинзон Крузо, то создам нечто на пустом месте», — охотнее впускала эмигрантов без «бумаг», чем эмигрантов с бумагами под названием «хрендепас».

Венские бюрократы благотворительного фонда имени Л.Н. Толстого полагали, и не без оснований, — контракт с галереей Майера, очередь на заказы, выставки в Кунстхаузе, — что эмигрант Василий Ситников хорошо устроен, и дали понять своему генштабу в США, что он не нуждается в материальной и административной поддержке с официальным «хрендепасом».

Иначе думал сам художник. Не вдаваясь в подробности лицемерных пассажей красиво написанных писем, В.Я. попросту, по-крестьянски, хитрил, намереваясь сохранить заработанные в Австрии деньги — остается неясным, выдал ли он обещанный фонду дар в 5 тысяч долларов! — и бесплатно проехаться на Америке. В конце концов, после полугода бесконечных хлопот во все стороны — американским поклонникам, князю Багратиону-Мухранскому в генштаб, правозащитникам, — трюк сработал. Он получил визу в Америку, в славный город Нью-Йорк («как я говорил, первому сообщу вам о моем переезде с пересадкой во Франкфурте... Леня встретил... щас у него в плохих условиях...»), но сообщил мне через месяц, 1980.5.17, суб., 23.55, а открытку в два цвета — красный и голубой — опустил 17 июня, с сугубо перечеркнутым адресом Леньки Милруда и своим новым жильем Е 12 ст. дом 410, кв. 14, где он и умер через семь лет в «дурацкой формы квартире» за 150 долларов в месяц.

Ленька Милруд был нашим общим московским знакомым. В Нью-Йорке снимал комнату и в свою очередь сдавал квартирантам нары по 100 долларов с рыла. Кочники — Лимонов, Стукман и Ситников. Нары напоми-

нали Таганскую тюрьму, но там плохо, но кормили. Ленка не кормил, а только брал.

Озорство духа и прием грубого насилия!

У меня сохранились письма русских эмигрантов, осевших в Нью-Йорке и принимавших деятельное участие в судьбе «кочника» Ситникова.

«Вася живет заброшенным и никому не нужным в Нью-Йорке», — писал ночной таксист и журналист Николай Гридин 12 ноября 81-го года.

Поэт Эдуард Лимонов, бывший «кочник» Милруда и сам нищий, говорил, что «Вася ничего не рисует, а только собирается».

Остается неразрешимой загадкой жадное, страстное, неудержимое желание художника, в общем-то не склонного к перемене мест («от счастья счастья не ищут»), попасть в Америку, хотя был выбор: роскошное предложение кожевника Иосифа Ботмана «поработать в Мюнхене», где и музеи, и помойки, и тихо, и заказчики. Тирольский затворник более года хлопотал, добиваясь «американского приглашения», а когда его получил от слависта из Калифорнии Игоря Мида, то застрял в Нью-Йорке, где «все, как на Сретенке в 27-м году, — толкучка, и помойка, и школа высшего мастерства».

Город Нью-Йорк стал центром современного искусства и торговли, но В.Я. не принимал участия «в гонке», он, если хотите, вообще не художник, а рисующий инвалид с пособием в 350 долларов и талонами на проезд. Большая русская колония. Есть заказчики. Мясники. Кожевники. Мебельщики. Могильщики.

Торговец похоронными принадлежностями Владимир Смертенко, пораженный талантом Васьки-Фонарщика, — В.Я. привез с собой один-единственный «второстепенный пустячок», все пятнадцать картин (фотосъемка Ботмана, 1980) были проданы в Австрии! — заказал мастеру большую картину «Пышные современные похороны а-ля Репин». Картина создавалась на заднем, грязном дворе,

среди памятников могильного зодчества, и художник быстро затосковал.

«У меня сорвано настроение!.. Вообразите себе Пушкина, сидящего в деревне за сараем и пишущего стихотворение “для берегов отчизны дальней он покидал сей край чужой”, а бешеная собака, пробегая мимо него по грядкам моркови без разбора, на глазах у Александра Сергеевича, с пеной у рта молча набросилась на соседского подростка, и тот, визжа, извивается, лежа на спине и отбиваясь от нее ногами и руками» (В.Я.).

Исполнитель устал. Неизвестно, какая бешеная собака его отвлекла от дела, но картина осталась незаконченной.

В Советской России начиная с 34-го, с первой попытки в «органах», художник прошел все круги ада, от психтюрьмы в Казани до унижительного подпольного образа жизни с приводами в милицию и остракизмом всемогущих академиков реализма. Его новые педагогические приемы изучали не в Академии художеств, а на семинарах по труду и гигиене душевнобольных людей. Официальная, консервативная, академическая гильдия, выжившая при всех политических режимах, считала его не художником, а проходимцем от искусства и валютным спекулянтom. В Москве, в тех же академических кружках, повязанных родством и ремеслом, распространяли слухи, что В.Я. плохо приняли в Европе, — как будто они хорошо принимали! — и не выставляют в Америке! Выставочную деятельность, о которой так ретиво хлопочут академики, Васька-Фонарщик считал занятием пустым, нудным и ненужным настоящему художнику, публичный успех — опасной для творчества химерой и ядовитым вирусом на халтуру. Соответственно своим взглядам, которые можно оспаривать и уважать, он лениво, спустя рукава, трудился в Нью-Йорке.

После похоронного эпизода («Василий проклял Смертенко, — утверждает Николай Яковлевич, — и отринул от

себя») «жертву американской помойки» подобрал сибиряк Некрасов, художник и домовладелец.

Владимир Гаврилович Некрасов закончил архитектурный факультет Академии художеств, но, не найдя себе применения в России, в 1976 году с семьей круглолицых голубоглазых «славян» по израильскому вызову эмигрировал в Америку. В Нью-Йорке, сколотив артель оформителей, быстро нажился, купил доходный дом в мрачном, но перспективном квартале, запустив туда бездомных земляков. Возник русский «остров» в американском городе, населенный поэтами, художниками, журналистами, ворами, проститутками.

В конце 1983 года «Вася, в которого я влюбился в Вене» (В. Некрасов), начал рисовать для домовладельца В.Г. Некрасова картину «Столбы в степи».

«Любовью и усердием священного старания превратить в эпический гимн» (В.Я.).

Не глядя на грядущее увядание (68 лет), художник влюбился в квартирантку «некрасовки» Лерку Сусанину, намереваясь сделать из нее художницу и жену.

Картину он написал (год работы!), но с хозяином не ужился.

«Рисовал он с прохладцей, — вспоминает В.Н., — но с большим воодушевлением учил мою жену варить кашу, что выводило ее из терпения до белого каления».

Получив отставку придворного художника, В.Я. не порвал с обитателями «некрасовки». Питерский локомотив андеграунда, поэт и журналист высокой пробы Константин Кузьминский, снимавший нижнюю квартиру, возобновил квартирные показы с торговыми оборотами, как бывало в питерском подвале. В нью-йоркском «подвале» Васька-Фонарщик занял место главного праздника, и ехидный Генрих Худяков, квартирант с «крыши», не смог его заменить ни по внешнему виду, ни по заслуженному авторитету самого старого шизофреника России. Осенью 85-го благодаря неумной энергии



К.К. состоялся фестиваль В.Я. с показом его произведений и четкой абстрактной поэзии.

Холст «Телега» и рисунок «Жена», рисунки Лерки Су-саниной, подписанные учителем, и, конечно, коронный номер «Столбы в степи», собственность Некрасова, были с треском изъяты из воровской коллекции Александра Глезера (Нью-Джерси). Генрих Худяков показал расписные бисером мужские пиджаки и прочитал стихи по-английски, чем вызвал восхищение фарцовщика Вовы Каплунова, мечтавшего о больших деньгах. Постоянный посетитель «фестивалей» Белла Езерская высказалась лучше всех: «А с блаженного какой спрос».

Политические перемены в России основательно всколыхнули надежды на быстрое возвращение в свободную страну. Появились кружки поддержки, говорили об амнистии невинно осужденных. На жалких эмигрантских праздниках показались советские культуртрегеры, ранее не замечавшие их существования. Часть людей, не нашедших себе места на чужбине, паковала багаж назад. Письма младшего брата Коли были полны оптимизма и фантастических планов на будущее, в то время как В.Я. жаловался: «Периодически меня изнуряют невыносимые судороги ляжек от подколенки до дырки жопы, то одной, то обеих, пошел поссать ночью, схватила судорога, я взвился как ужаленный» (22 июля 1985).

К зываю брата Коли обитатель нью-йоркской «восточной деревни» (Ист-Виллидж), трущобный эмигрант относился чрезвычайно скептически.

«Допустим, я вернусь в Новую Ракитню!.. Но ведь это можно было во времена земной жизни Иисуса Христа, да и то пришел бы кто-нибудь и спросил: “Ты откуда взялся?..” А теперь? Поселиться на кладбище в палатке, но явится участковый милиционер, сын отпрыска Сереги Митюхина ай Петьки Офчуха, я сразу их узнаю по бандитским ромам, и полный допрос “часа на три” обеспечен».

Он умер, как заснул, 27 или 30 ноября 1987 года. «Его нашли в постели, лежащим навзничь и уже с явными следами тления, — освещает кончину своего соседа Нона Каток, — медики, приехавшие с полицией, определили, что смерть наступила от сердечного приступа во время сна».

Россия и ухом не повела.

Кто ты такой? Где золотая медаль? Где Нобель? Где валюта?

«Дай бог так умереть многим, — протестует Кузьминский, — после празднества с друзьями, у себя в артистической норе, от мгновенного сердечного приступа».

Дело не обошлось без глубокой мистики.

В 1992 году верный хранитель «американского архива» Ситникова, тот же Кузьминский, предложил России в свойственной ему торжественной форме, с пухлым досье подробнейших комментариев, в безвозмездный дар и на вечное хранение двадцать картин «незаконченных» и восемьдесят «второстепенных пустячков». Русский народ (Третьяковка, Русский музей, отдел частных коллекций) с брезгливой небрежностью дар отклонил!

В.Я. Ситников — никто!

Не богач и никому не нужен!

Подумаешь, висит или лежит в американском музее! Запад нам не указ!

Отпрыски «Сергеи Митюхина», «майора Васи», «рожи с парой шпал», «распределитель Пушкарев» прочно сидели на своих исторических местах. У В.Я. Ситникова нет места в культуре. Он вне моды, в антикультуре, в астральном пространстве, за кадром современной эстетики и политики, со своим неподражаемым уникальным искусством. Как ветер, он рассыпал и разбросал по миру свое творчество, по квартирам анонимных частников, часто очень далеких от артистических кругов, в запасниках психбольниц, в западных музеях, а в России их считанные единицы.

Русское общественное сознание, несмотря на множество либеральных указов, остается глубоко реакционным, академическим и отсталым. Люди ненавидят западное искусство и презирают эмиграцию. Защитников дела В.Я. Ситникова и его замечательной школы «волшебной дымки» и «снегопада» просто нет, но они придут в большой силе и поставят все на свое место.

## 4. Чемпион дипарта

До поездки в поселок Лианозово зимой 1960 года я познакомился в Тарусе (ох этот русский Барбизон!) с художником Львом Кропивницким. На гостеприимной даче поэта Аркадия Штейнберга тогда собиралось большое общество. Помню Алика Могилевского, Левку Певзнера, Тольку Хазанова, Вовку Каневского, Игоря Вулоха, бывшего зэка Коновалова и, конечно, самого хозяина и троих его сыновей, Ясика, Эдика и Борушка. Заходил туда и Кропивницкий с пожилым писателем Федором Михайловичем Пудаловым, автором прекрасного романа «Лоцман кембриджского моря».

Поглаживая крепкий бритый затылок и мощные бицепсы, Кропивницкий на всю катушку распускал свою богатую эрудицию, о чем бы ни заходила речь: о творчестве Пикассо или кладке русских печей, итальянском кино или ядерной физике, китайском искусстве или библейских притчах. Мы с благоговением слушали столичного краснбая. Я видел в нем великого учителя, теоретика, гуру. За его плечами была война, тяжелое ранение,

тюремное заключение на восемь лет, ссылка в Казахстан, выставки за границей. Как у всякого смертного, у него были существенные странности. Я не мог удержаться от смеха, когда в самом ответственном философском общении он поддегивал сползавшие с тошей задницы штаны.

— Между прочим, я выставляюсь в Америке, — небрежно бросал он.

Такого я никогда не слышал от живых людей. Меня, рядового студента декоративного факультета, совершенно сбивало с толку, каким образом советский человек может выставлять свои работы в американском городе Сан-Франциско?

Осенью 59-го я снова увидел его на выставке американцев. Он приходил туда ежедневно, как на службу, и дежурил у большой картины Джексона Поллока «Собор», трактуя ошалевшим зрителям скрытый смысл абстрактного произведения.

— Пикассо — пройденный этап, — вещал Лева, — сейчас в моде ташизм, очень серьезное метафизическое направление в искусстве.

Он бесстрашно входил в сношения с приезжими иностранцами и дарил им свои артистические опыты.

Тогда в абстракции был особый шик. Ею занимались считанные единицы, и первенствовал там Лева Кропивницкий. В 57-м, в бараке имени Максима Горького, или «палаточном закуте», как высокомерно обозначает международное ателье его участник Анатолий Брусиловский, — я-то обожал сбитое из досок без потолка строение 20-х годов для выставок цветоводов! — Лев работал бок о бок с американцем Колманом и замечательным московским живописцем Толей Зверевым.

— Милости просим в гости, по воскресеньям у нас показ картин, — приглашал он всех встречаемых и поперечных.

— А где это, Лева?

— Станция «Лианозово», барак номер 2, квартира 2, повторяю, по воскресеньям с утра до вечера.

В Советской России, в самой огромной и богатой стране мира, гражданин с пропиской получал 9 метров жилплощади в городе и клочок земли в деревне, где можно посадить кочан капусты и морковку. В случае неуплаты налогов, неверно поданного голоса на выборах депутата, долгого отсутствия жилплощадь конфискуется вместе с капустой и морковкой.

В исправительно-трудовых лагерях (ИТЛ) существовала прослойка вольнонаемных служащих, врачей, инженеров, артистов, шоферов. Как правило, эти люди быстрее иногородних жителей получали жилье и продуктовые талоны. Селились они неподалеку от работы, за лагерной зоной с часовыми и собаками, и, навечно приросшие к лагерному быту, заключенных совсем не замечали, а колючую проволоку принимали за кисейную занавеску.

Семья художника Евгения Леонидовича Кропивницкого, потомка польских гетманов, с 20-х годов обосновалась под Москвой в качестве вольнонаемных лиц. Глава семьи вел кружки рисования и стихосложения, его жена Ольга Ананьевна выдавала книжки в богатой лагерной библиотеке. В местной школе учились дети: сын Левка 1922 года рождения и дочка Валя 1924-го. В 46-м Левка, студент художественной школы, получил тюремное заключение за участие в нелегальном кружке, где без ведома начальства кучка его друзей изучала историю искусств. Семья жила в лагерном бараке очень тесно, вповалку, без проточной воды и санитарных удобств, а в 50-м там прижился дочкин ухажер, латышский рабочий Оскар Рабин. Бездомный парень женился на Вале, имевшей годовалого ребенка от прохожего молодца, и молодая семья из четырех ртов — в 52-м родился сын Сашка — в свою очередь получила отдельное жилье в той же лагерной зоне. В 56-м из ссылки вернулся Лева и расположился на полу у родителей. В подобном бараке через овраг жил и рисовал герой

войны Коля Вечтомов, друживший со всеми. Все рисовали, все зазывали к себе, но судьба распорядилась так, что не барак Кропивницких, не барак Вечтомова, а барак Рабина стал всемирно известным, историческим местом.

Барак — это Рабин, и нет барака без Рабина.

В своих мемуарах (1980) Рабин пишет, что на «воскресники» в Лианозове он решился после посещения «вторников» Юрия Мона, бывшего военного летчика, зазывавшего к себе народ на посиделки. Очень может быть, но безошибочный выбор времени (1958) — года «оттепели» и литературных митингов — и места — лагерная зона, гнилой барак, мольберт, картина — это гениальное чутье тридцатилетнего живописца со звучным именем, священным и огнестрельным, как «раввин» и «карабин».

Сначала приходили из любопытства, как в зоопарк, поглазеть на диковинного зверя. Хвалили, критиковали, самые решительные поклонники предлагали краски и кисти в обмен на картинку, но людям в голову не приходило прицениться и купить любимый этюд. Первым посетителем, купившим картину за 50 рублей, был Георгий Дионисович Костаки, московский грек буржуазной заправки, и повесил на стенку рядом с каким-то Малевичем.

Реклама — мама!

Маститый писатель Илья Эренбург, прошедший огни, воды и медные трубы, ехал в Лианозово не на «гениальную живопись» — такой он насмотрелся в Париже, — а на невиданный социальный феномен, к легендарной горе, на которую карабкался пророк Магомет. Стоило ему посетить «воскресник» в лагерьном бараке, как туда повалили советские литераторы. За Святославом Рихтером ринулись лабухи и музыканты, за ученым Капицей потянулись физики закрытых институтов.

Лианозовцы не составляли компактной эстетической школы, как парижские кубисты или русские конструктивисты. Они работали каждый по-своему, кто в лес, кто по дрова. Глава кружка, симпатичный старичок с усами, Ев-

гений Леонидович рисовал женские головки цветными карандашами, его супруга Ольга Ананьевна лепила абстрактные коврики, дочка Валя сочиняла композиции с ушастыми чертями, сын Лева каждый сезон менял манеру письма, так что определить его индивидуальное лицо невозможно, зять Оскар осваивал технику корпусного мазка для изображения окружающего мира.

Любительский кружок рисования?

На дипарт они не рвались, иностранцы к ним шли сами.

Барачные возмутители спокойствия не сразу запустили к себе иноземных любителей живописи и холодных сортиров. Опасались за себя и за близких. Правда, за встречу с бесами уже не расстреливали без суда и следствия, как в суровых 30-х, но продолжали пакостить по мелочам: лишали путевки в оздоровительный лагерь, в окна били стекла, в кастрюлю бросали крыс.

Близкий друг, начинающий поэт Холин, первым сломал стену недоверия и страха. В политико-литературном салоне Людмилы Николаевны, супруги американца Генриха Шапиро (ЮП), он прикадрил журналистку Алину Мосби. Любопытная женщина согласилась «погулять» с советским человеком по значным местам советской столицы. Запаслись виски, жвачкой и рванули в лагерную зону.

Секут мусора — плевать!..

Гуляем, господа, все вздор!

Советские академики рисовали картины, полные оптимизма. В бараке Лианозово, куда Холин привез Алину (1959), рисовали кривые фонари и грязные помойки под черным небом. И тяжелый пессимизм советского быта — бутылка водки, хвост селедки, краюха черного хлеба. Такого натюрморта американка никогда не забывала. По буржуазной привычке она приценилась к картине, артист смутился и отдал за смехотворную бутылку виски, чтобы опробовать невиданный американский напиток.



«Сначала я стеснялся приглашать иностранцев, потом привык и постепенно набивал цены на картины», — вспоминает бывшее Рабин.

Барак советской цивилизации, нелегальная живопись, барачные стихи, самогон с огурцами, сортир с навозными мухами — где, в каких тропиках такое увидишь?

Для зарубежной моторизованной публики к бараку вела дорога с густой грязью по колено летом и снежными заносами зимой. Первый кинетист страны Лев Нусберг рассказывал, как его друг, француз Поль Торез, застрял на своей машине в такой глубокой яме, что его дергал лагерный трактор за солидный выкуп. Но такие мелочи, как сугробы и ямы, не пугали легкомысленных фирмачей. Во избежание неприятностей они брали с собой москвичей — и опытный гид на русском бездорожье, и верный заложник при аресте.

Игорь Холин привез в барак Алину Мосби, Олег Прокофьев — Камиллу Грей, Сосинский — Ольгу Карлейль, Нусберг — Тореза, Виктор Луи — Эсторика...

И чем выше поднимались сугробы, тем больше набивалось гостей.

В те заповедные 60-е распоясалась молодежь. Стиляги угрожали штурмом взять Кремль и устроить там пивной бар с танцами. Студенты без цензуры распространяли крамольные стихи. У «Маяка» как оглашенные оралы двурушники и соглашатели. Тунядцы и фарцовщики, ямщики и бомбилы роились у больших отелей, вылавливая фирмачей. Враги народа плодились, как черви. Слабонервные дипломаты и министры до неприличия сузили штаны и по ночам слушали негритянский джаз. Мусора нюхали, где и как корчевать заразу: сослать лабухов на химию, оторвать художникам руки, разогнать писателей — не годится, опоздали! Остается одно верное средство: приручить заблудших овец и чужую валютную выручку завернуть в кремлевский карман.

К священному бараку в подмосковном поселке зимой 1960 года мы шли втроем: тарусский кочегар Эдик Штейнберг, студент университета Алик Гинзбург и я, студент ВГИКа. Пробирались туда извилистой тропинкой, занесенной по пояс снегом. В оледеневшее помещение пролезали, согнувшись в три погибели. По длинному коридору барака гулял свирепый сквозняк. Дверь под номером 2, обшитую тряпками, открыл сухощавый очкарик в суконном пиджаке и берете. Знавший его Алик сказал: «Привет, Оскар», из чего я заключил, что он и есть автор воскресных показов. В темном, прокуренном и набитом людьми помещении сидел знакомый мне Лев Кропивницкий. Модно одетый мужчина по имени Игорь Холин читал стихи: «Я в милиции конной служу, / За порядком в столице слежу, / И приятно на площади мне / Красоваться на сытом коне».

Вроде ничего особенного, стишки под Михалкова, а люди с восторгом хлопают в ладоши.

Знаток поэзии Кропивницкий что-то доказывал двум девицам, подкрепляя свои доводы выразительным взмахом рук. На мольберте возвышалась картина с фронтальным изображением барака в снегу. Из трубы валил густой дым, в кривом окошке висела лампа, в небе — большая луна. Занятная композиция, атмосфера безысходной тьмы, персональное видение мира, невысказанное на выставке официального оптимизма. Ее автор, похожий скорее на счетовода сберкассы, чем на богемного артиста, сменил «барак» на «фонарь», потом на «помойку» и все композиции с тяжелыми небесами. Я успел разглядеть его жилье. Оно походило на логово простого работяги. Круглый стол, с потертой клеенкой, супружеская кровать за ситцевой занавеской, примус на табуретке. Книжек, не говоря о библиотеке, я не заметил, если не считать школьной тетрадки с учебником «Родная речь» за 4-й класс, из чего выходило, что в бараке кто-то учится в школе. Конечно, никакой телефонной связи и коммунальный сор-

тир во дворе на две дыры, мужскую и женскую, где сразу замерзала жопа на морозе.

Впечатление студента, взросшего на западных идеях и фильмах, было восхищение с отвращением, как при виде крокодила или кенгуру.

Кто он, этот очкарик: чудак, дурак, гений?

Тогда я не задавал хозяину воскресников вопросов — когда и где он родился, с кем и чем живет в бараке. Лишь позднее, по рассказам и хохмам его близких, узнал, что его родители, латышские большевики, в 20-х годах бежали из отсталой Латвии строить коммунизм в России. Столичная школа на Арбате, пионерское счастливое детство. В 38-м их расстреляли как немецких шпионов, а сироту 1928 года рождения пригрела латышская тетка. Судя по всему, она не пострадала при немцах, сохранив имущество и квартиру, буржуазные замашки и связи. В советскую оккупацию устроила племянника в Рижскую академию художеств и обеспечила питанием. Мирный разрыв с влиятельной теткой и академией я объясняю свойственным всем юношам романтизмом, жадной странствий и приключений. В суровой и неприступной Москве учиться любимой профессии было сложно. По всесоюзному конкурсу отбирали самых усидчивых академистов, а приблизительный рижский стиль не подпускали к порогу. Латышский романтик без крыши над головой нанялся рабочим в лагерной зоне, где в конторе сидела красавица Валя Кропивницкая. Любовь, женитьба, семья, барак, посетители, иностранцы, недовольство властей и глухая слава упрямого нонконформиста.

В Москву мы возвращались веселой ватагой. Всех смешил чернобородый и длинный Лешка Быстренин, предлагавший свои карманные абстракции пассажирам электрички. Горластый теоретик «критического отношения к действительности» Толян Рахметов очень красноречиво и с историческими примерами убеждал нас бросить абстрактную мазню и клеймить недостатки советской жизни с

кистью в руках, как это делает Оскар Яковлевич Рабин. Расстались мы дружески, но следовать указаниям нигилиста Рахметова я не стал, продолжая безыдейную мазню.

После летних каникул, уже в сентябре, в курилку факультета прибежал мой великий сокурсник Сашка Васильев, сын знаменитого кинорежиссера, с газетой «Московский комсомолец». В ней какой-то Роман Карпель в статейке под названием «Жрецы помойки № 8» прокатил Сашку и ряд знакомых «жрецов»: Рахметова, Игоря Губермана, «горе-художника» Витьку Кулагина и «некоего Рабина». Я их всех встречал в Лианозове.

Этот корявый и грязный фельетон оказался замечательной рекламой для лианозовцев. К ним хлынул народ, как монголы в мавзолей Ленина.

Победа света над тьмой!..

Лев Нусберг вспоминает: «Старик, я картин не рисовал, ты неизвестно где скрывался, и всех иностранцев — а их у меня, сам знаешь, было немало — я гнал в Лианозово».

И гнал не он один.

Бедовый лондонский торговец искусством Эрик Эсторик раздобыл адреса московских модернистов у супругов Виктора и Дженифер Луи, говоривших с ним на родном английском языке.

Бывший советский зэк Виталий Евгеньевич Левин, по кличке Виктор Луи, женатый на британской подданной и сломленный бравыми чекистами, с большим успехом выполнял выпавшую ему роль — отоваривать фирму нелегальной сенсацией.

Доверенные бойцы «идеологического фронта» показали британцу чердаки Масловки, подвалы Сретенки и Смоленки и, конечно, модный барак Лианозова. В 62-м Эсторик выставил англичанам пятерку светил нонконформизма, где выделялся автор со звучным именем Оскар Рабин. Через три года неизвестный русский живописец стал всемирно знаменит. Выставка его картин в 1965

году принесла хороший коммерческий оборот. Над каталогом трудились супруги Луи. Заработали все участники нелегальной операции. У Рабиных появилась долгожданная квартирка в Москве. Из рабочего сословия Оскар перебрался в шрифтовики «комбината оформительских работ», что не считалось чистым искусством, но членство в профсоюзе советской культуры спасало от ареста за тунелажство.

«Теть вашу меть!» — сказал бы поэт Холин.

Картина «Мой паспорт» (1964) не фальсификация «анкетных данных», свойственная уголовному миру, бунтовщикам и революционерам, а изобразительный прием, пластическая метафора, принесшая хороший заработок. Рабин, не имея никакого отношения к еврейству, за исключением фамилии, унаследованной от отца неизвестного происхождения, решил разыграть острый политический сюжет живописными средствами. Он нарисовал в увеличенном виде страницу якобы своего паспорта, где в графе национальность «латыш» самочинно перечеркнул и надписал «еврей». Художник схитрил, но такая композиция имела большой успех среди советологов разных стран.

На нашей общей выставке в рабочем клубе «Дружба» (1967) я сказал Рабину, что его картину «Еврейский паспорт» в Москве не поймут, на что он ответил: «Здесь не поймут, поймут там!»

Модное поветрие на крещение в православие у попа Дмитрия Дудко, отсидевшего срок в ГУЛАГе, а теперь работавшего с «гнилой интеллигенцией», не миновало и мира искусства. У прогрессивного священника крестились Путов, Рухин, Жарких, Рабин... Зачем они шли туда, где вместо псалмов Давида поп читал лекцию на тему «Русская идея и современность», — поправить духовное здоровье, отличиться? — не знаю, но в картинах О.Р. появился новый образ — «Распятие», естественно не в жаркой Палестине, а на фоне грязного снега и северного неба.

Советские «физики и лирики» в то время не отличались утонченными вкусами и твердостью убеждений. Держать нос по модному ветру — вот было кредо советской образованщины. «Распятый» пришелся им по душе, как тульские самовары, иконы и расписные прялки.

«В феврале (1970) нас посетила ужасная женщина по имени Дина Верни, — записал в своем дневнике Михаил Гробман, — и с нею был Нусберг и Шемякин с женой».

«Ужасная» парижанка забраковала картинку Гробмана, но заметила скандальный «паспорт» Рабина. В Париже советологи выли от восторга, созерцая сатиру на тоталитарный режим.

Сразу возникает вопрос: а что такое халтура в искусстве?

Считается, что халтура — это небрежное авторское повторение, заказная штамповка вождей и святых, социалистический реализм как таковой, но оказывается, халтуры полно у самых великих артистов прошлого, не говоря уже о настоящих. Любой «гений» слабеет от старости, тупеют мозги, сохнут руки. Старческие работы Ренуара, Пикассо, Шагала, Коровина можно без стеснения считать халтурой, несмотря на дутые цены.

С «паспортов» у Рабина началась поспешная расфасовка в порядке живой очереди. Эстеты среди советологов не попадались, а вот охотников до дешевых сенсаций — навалом.

Нищих коллекционеров искусства в Москве можно было пересчитать по пальцам, не более десяти. У лиянозовцев появился верный собиратель и толкач, маршан и дилер — поэт Александр Глезер, своеобразная личность на горизонте полного безлюдья. Он начал развозить выставку нонконформистов по городам и весям обширной страны, в одном месте ее пробивая, в другом проваливая дело. Такой ознакомительный, рекламный вояж с боем походил на агитпоезда 20-х годов, но ка-

кой-то шумок получался, в провинции узнавали о существовании не только реализма, но и других течений.

Черная тень страха и отторжения постоянно сопровождала артистическое подполье. Впереди маячили не выставка и слава, а арест и тюрьма. Осенью 1974 года кучка отверженных во главе с Глезером поднялась с четверенок во весь рост. Вооруженная власть оказалась не так страшна, как ее малевали. В этом героическом противостоянии под дождем Оскар Рабин, помолодевший и влюбленный в героиню Надю Эльскую, выглядел Гераклом, готовым сокрушить любой бульдозер. На московском пустыре не выставлялись, а дрались беззащитный андеграунд и вооруженный официоз.

А.Д. Глезер, сочиняя новую биографию О.Р. (1975), был абсолютно прав, назвав его «лидером нонконформистов».

Барак победил бульдозер!

\* \* \*

Всерьез эмигрировать Рабин не собирался. Потом — куда? Паковаться в Израиль он побаивался. Православного художника загонят в кибуц шрифтовиком, и не выберешься. Из Европы и Америки, где оказалось много друзей, доходили неутешительные вести.

«От добра добра не ищут», — сказал он мне на «проводах» математика Виктора Тупицына.

Однако в 75-м на Запад улетел подвижник Глезер с кучей картин. В 76-м в питерском подвале недруги сожгли верного соратника по дипарту, полиглота Евгения Рухина. В 77-м на богемной попойке зарезали любимую ученицу Эльскую.

Люди, окружавшие его в то тяжелое время, замечали в нем упадок сил и безразличие ко всему на свете. От бывшего бульдозерного героя не осталось и следа. Он начал попи-

вать и прятаться от людей в деревенской глуши. Запустил профсоюзные сборища, где членам дозволялось выяснять отношения с бутылкой в руках. В начале 78-го раздался неожиданный телефонный звонок — ему разрешалось посетить город Париж. По приглашению знакомых французов выпускали всю семью — случай небывалый во времена постоянных отказов.

В 77-м в Париже я посетил его выставку. Верный Глезер в просторном помещении собрал лучшие работы 60-х годов. Хозяин галереи содрал с него как с иногороднего новичка кругленькую сумму за аренду стен, объявлений не дал, и поражало полное отсутствие посетителей. В Москве на подобные выставки давились в очередях, а в стране капитала и эстетики — шаром покати, и ни одной проданной картины.

Ах, Франция, нет в мире лучше края!..

В мае 78-го Саша Глезер подтвердил слух о приезде Рабиных, Оскара, Вали, Сашки, и дал их адрес. После трехлетнего перерыва мне очень хотелось повидать советских туристов в европейской обстановке «свободы, равенства и братства».

Рабины появились инкогнито, без договора с галереей, с жалкой подорожной подачкой Госбанка. Семья сняла жилье у Северного вокзала, и я их вскорости навесил с бельгийской делегацией.

Оскар успел завести прочный мольберт и по привычке стоял у картины не советского барака, а африканских бананов на фоне Эйфелевой башни. Я его не узнавал, как не узнают генерала, несправедливо разжалованного в солдаты. Вместо прямой и ясной речи, отличавшей его на московских сходках, — обрывки невнятных фраз и вид просителя милостыни. Гости, потрясенные переменой, скупно расхвалили новую картину, ничего не купили и уехали.

Где влиятельные люди Запада, топавшие по сугробу к бараку?



Где Лувр, Бобур, Версаль?..

Советская власть, лишая Рабина «совгражданства», подогрела интерес к бездоходному нонконформизму. Газетный шумок, поднятый штатными советологами, принес свой скромный доход. Парижский издатель заказал мемуары о бульдозерной битве, быстро состряпанные верной Клод Дей, вне очереди пробили мастерскую, записали в соцбес, обещавший пенсию за хорошие взносы. Бытует мнение, что образование вредит творчеству. Теоретические загибы убивают непосредственность выражения, тормозят живую практику и как образец природной непосредственности подают уроженца России Хаима Сутина. Я покопался в его биографии и обнаружил, что этот деревенский «дебил» не только владел разговорным французским, но и писал на нем письма. Значительная разница с русскими эмигрантами третьей волны, и семьей Рабиных в том числе, для заполнения налоговых бумаг приглашавших грамотеев со стороны.

Подавляющее число русских художников отличалось полным отсутствием образования, общей культуры и знания иностранных языков.

Отсюда — тоска, одиночество, обочина.

Как и чем жили Рабины на чужбине?

А так: в Лувре за толстым стеклом — вечная «улыбка Джоконды», в Версале — давка и гвалт японских туристов, в витринах богатых галерей — всевозможные американские «измы», а русские изгнанники в анонимной толпе, в сторонке от жизни. Потом — что рисовать: африканские бананы, советский барак, парижских собак?

В эпоху сурового коммунизма свободный мир восхищался мужеством нелегального графомана, не пятнавшего творческой совести. В европейском пространстве, где исчезла необходимость «противления злу», вдруг открылось, что работы нонконформистов не представляют эстетической ценности, а гражданская доблесть без художественных достоинств никому не нужна.

Грубо, пошло, вульгарно!..

Лет семь подряд я виделся с Рабиным в буфете галерейщика Басмаджана.

— Я не могу найти подходящей темы для французов, — заглотив рюмку водки, рассуждал он.

Меня всегда умиляла старомодная живучесть эстетики русских «народников», откуда вышел Рабин. Такое впечатление, что перед тобой не современник, а сам Николай Гаврилович Чернышевский со своей теорией «правды жизни».

— Оскар, а в чем дело? — говорил я. — Добавь голубой краски, и картина продана французу. Вот англичанин без воды и лошади не купит. Американцу нужна шляпа и карабин.

— Ты так думаешь? — сомневался собутыльник. — А лица я не потеряю?

— Оскар, тут выбор невелик: или лицо, или потребитель.

И так день за днем, год за годом бесплотная и бессмысленная эмигрантская суэта. От околевания от голода спасли американские дантисты советского прошлого: Нахамкин, Комаров, Табакман, время от времени подбрасывая деньжат на хлеб и оплату помещения. Редко, но покупали парижане. Мои знакомые аристократы, давние русские патриоты, узнав, что Рабины нуждаются, купили по пейзажу с бурями небесами над кособокой избенкой.

Скромная вещица, а волнует русское сердце!..

Стилизация, деформация, фабрикация.

Сорокалетний сын Сашка, в Москве мечтавший покорить Париж, непрерывно глушил самогон на лимонных корках, изредка рисуя никому не нужные картинки вне времени и пространства. Жена Валя своим угрюмым молчанием основательно сгущала атмосферу. Глянцевый журнал «А—Я» ни словом не обмолвился о работах лянзовцев.

В 87-м московский кооперативщик Леонид Бажанов пытался показать картины О.Р. на общей выставке, но они попали под цензурный запрет как антисоветская пропаганда, и любопытный народ их не увидел.

В разгар припадочной «перестройки» (1990) в Париж нагрянула родня, сытые и довольные «совки» — Лев и Галя Кропивницкие. Они с утра до вечера толкались по музеям, посетили и галерею Басмаджана, где я их увидел после двадцатилетнего перерыва.

Лев давно покинул лианозовский барак. Он женился на богатой москвичке и стал уважаемым советским гражданином в законе — член Союза художников, штатный консультант Музея В.А. Тропинина. Через его руки проходила оценка и закупка художественных произведений, и часть шедевров, особенно авангард 20-х годов, оседала в его персональном запаснике. По субботам в его салоне собирались сливки столичных фарцовщиков, авантюристов и литераторов. Люди читали стихи, покупали и продавали. Златоуст Лева по-прежнему ошеломлял гостей роскошным воображением. Какие «измы» его увлекали в то время, я не видел, но то, что он показал в Париже, — тщательно отделанный под фотографию рисунок — нашло бы прием на любой официальной выставке. Правда, парижская галерея предпочла купить у него десяток советских плакатов 40-х годов, а не его персональное творчество.

Лев давно завидовал и пугался международной известности шурина: что это за слава, если в кармане кот наплакал и липовый паспорт, а у тебя выручка в твердой валюте и хорошие бумаги? Советский турист, как Мефистофель у Фауста, месяц капал на мозги, растрawляя старые болячки и требуя от сестры и непутевого племянника возвращения в демократическую Москву.

— Оскар, если тебе не очень удобно идти в посольство за визой, отпусти Валю и Сашку, они ни в чем не замеша-

ны. В Москве их ждет квартира, внуки и место в жизни, а не тухлое прозябание на парижской улице.

Рабин рассчитывал вернуться, но не таким трусливым и подлым путем. Потом, такого предательского нажима он не ждал от бывшего зэка, познавшего советские тюрьмы и лагеря. С наглым туристом пришлось навсегда распрощаться, удержав супругу и сына в неприступном Париже. За неуплату членских взносов Сашку выгнали из профсоюза на базар, в ларек «исскуств» на Монпарнасе. Раз я его навестил в этом ларьке. На фоне никудышных работ он сидел за складным столиком и пил самогон на корках в знойный летний день. Вокруг, на площади мэрии, по ларькам гудели подобные ему горемыки, знакомые деятели «артклоша», бродячие портретисты Коля Любушкин и Сергей Ходорович. Напившись до потери памяти, он поднялся на высокую башню и бросился вниз головой.

1993-й оказался годом долгожданным и переломным. По официальному приглашению Оскар с женой посетили Москву и Ленинград, ставший Санкт-Петербургом. По возвращении в Париж они пришли в русский клуб «Симпозион» и рассказали о поездке в новую Россию, где их встречали с выставками и музейными закупками, а чтобы уравновесить восторг, Оскар добавил:

— Ну а так все по-старому, в Третьяковке прохудилась крыша, в Русском музее штукатурка сыплется на картины Врубеля.

Непримиримые антисоветчики дружно похлопали в ладоши за объективное изложение дел.

Рабин отлично усвоил факт, что русские художественные ценности на Западе не имеют значения, надеялся, что его позовет отечество, и этот час настал.

Осенью 1994 года в Париже русский посол устроил грандиозный банкет в честь героев бульдозерного перформанса. Рабина и его ближайших соратников встречали с особым почетом. Бездомных расселили в здании посольского бункера, что невозможно было представить еще год

назад, развесили картины участников, пригласили важных гостей, завалили стол икрой, севрюгой, водкой. В Москве художник Немухин и коллекционеры Леонид Талочкин и Евгений Нутович дирижировали телевизионным «шоу», посвященным этому событию, ставшему историческим, а не «хулиганской выходкой тунеядцев».

Времена «ваш мегр» (тощих коров), как говорят французы, кончились. Началась эпоха славы, денег и достатка.

В России, как на дрожжах, поднималось поколение молодых и пронырливых богачей, скупавших европейские дворцы и самолеты, острова и футбольные команды. На украшение своего престижа они отбирали самый дорогой декор в мире. Матрешек и самоваров оказалось смехотворно мало. Вспомнили о загадочных нонконформистах и, естественно, о героическом Лианозове. Цены на творения антисоветчиков поднимались из сезона в сезон. На склоне лет Рабин обрел второе дыхание. Как доносил московский спекулянт Васа Антончук, старик охотно принимал у себя проворных маклаков и отдавал им картины последней манеры по разумным ценам, то есть раз в сто дешевле рыночных. Заметное местечко у мольберта заняли доброжелатели Маншаров, Цуканов, Семенихин и парижский эстет широкого профиля Марк Ивасилевич. Беспомощных супругов они обеспечивали питанием и общественным транспортом, кладбищенскими расходами и летним отдыхом, взамен забирая картины.

Замечательный живописец Анатолий Зверев, обладавший острым чувством юмора, не раз говаривал: «Иду на халтуру». На подобное обобщение своего труда О.Р. никогда не решался в силу своего сурового нрава, но халтура стала третьим, «кладбищенским» этапом его самобытной работы, рисовальной «страшилкой» без намека на порядочную живопись.

Грубо, пошло и вульгарно!..

Я видел картину, сделанную дрожащей рукой, под названием «Секс-шоп». Примитивная техника, рваный кон-

тур с бурными небесами, нависшими над развалинами Парижа. Внизу четкая подпись, как памятник о шрифтовой профессии автора.

Секс-шоп победил барак!..

Ушлые люди, поимевшие картины дипартистов за бутылку виски, тащили их на вселенский базар, выручая большие деньги. Поразительно, что в эпоху пышного русского патриотизма и героического реализма в искусстве эротические сны Рабина находили приют в государственных музеях бывшей Совдепии.

Мы встречались все реже и реже. Я пропадал в солнечном Провансе, вырабатывая свою персональную графоманию, но и туда доходили слухи о многочисленных рабинских интервью с резкой критикой западного образа жизни, где он постоянно повторял расхожую фразу: «Я человек русской культуры, следовательно, русский художник».

Нетерпимость к новизне в искусстве отличает людей ограниченных и завистливых. Вопреки здравому смыслу и времени Рабин клеймит инсталляторов и кинетистов, графитистов и компьютерщиков. Когда он заявляет, что «демократия — зло для творчества», то он не подыгрывает кремлевским директивам, а остается верен себе. Он никогда не был живописцем современной школы, а русским реалистом критического толка. Его творчество, при самом беглом осмотре, не живописного, а литературного происхождения. В авангардные времена употреблялось понятие «литературщина», но я избегаю его, потому что и такое направление имеет право на существование. Рабин — рассказчик, журналист, сатирик, а не живописец. Он делает не живопись, а литературу изобразительными средствами. Цвет для него не эстетическая «вещь в себе», а подсобный материал для дидактического сочинения.

Оскар Рабин — «передвижник» наших дней!..

XIX век — Перов, Маковский, Соломаткин — вот его истоки и семья.

«В Лианозове мы рисовали и жили полной жизнью, а в Париже не живем и рисуем, а доживаем на обочине жизни», — не раз повторял он.

Навязать Западу горький русский анекдот еще никому не удавалось. Художник родился в сугробе, а не на солнышке. Нестыковка климатов по всем параметрам.

Его политически корректный тон заметили в Кремле. В 2007 году Рабиных позвал в Москву Отдел личных коллекций при ГМИИ имени А.С. Пушкина, где богатый дантист Тимур Манашеров оплатил выставку своих любимцев — Оскара, Вали, Сашки. Он собрал «пол-Москвы», как писали газеты. Любопытный факт: исчез искренний и нищий почитатель их произведений. В книге отзывов писали: «А что означает эта крошечная тьма и потемки?» Благодарного зрителя и союзника заменил расчетливый покупатель и безмозглый журналист.

Лично меня смутили доверительные рапорты Рабина обнаглевшей прессе.

«Ну, у меня 60 метров мастерская в Париже, квартира в Москве и место для дочки в Нью-Йорке».

С каких это пор художник стал подсчитывать квадратные метры жилья вместо картин? Порядочные артисты так не рапортуют, как на допросе в уголовном розыске.

Да, изголодались мы, измучились по подвалам и баракам коммунизма!

К восьмидесятилетию Рабина (2008) Третьяковка собрала «всю Москву». Трещали газеты, радио, телевидение. Высокие цены, корм на убой, но есть и пить не хочется. Слаб желудок, дрожат ноги, умерла жена. И вообще: где они были раньше?

О пятидесяти годах тяжкого творчества в гнилом бараке ни одного порядочного исследования, если не считать дежурных клише — «сюрреалист», «экспрессионист», «соцартист» — да враждебного выпада искусствоведа Н.М. Молевой, записавшей его в «стадо крыс, бегущих с тонущего корабля».

После трагической гибели сына (1994) и кончины жены (2008) художника замучили болезни и одиночество. Париж не радует, крикливая Москва надоела, на люди выходишь с костылем, любить нечем и некого.

По приказу Кремля грузинский князь Зураб Церетели привез из «заповедника посредственности» — Российской академии художеств, по Сарабьянову, — красный колпак почетного академика живописи.

Рабин не раз и горячо выступал против официальных «институций» и продажных «музейных носов», но, когда ему принесли колпак подобной лавочки, он охотно его напялил и заявил, что гордится сидеть с классиком Перовым в одном клубе.

Кто же Оскар Рабин: чудака, плут, графоман?

Или сугубо русские делишки!..



## 5. Живописец Зверев

Моя первая и знаменательная встреча с бродячим живописцем Зверевым состоялась в феврале 1960 года в буфете Пушкинского музея. До этого пловчиха Люся, купившая у меня картину «Египетский стенд» за 40 рублей, позвала обмыть покупку. Там же оказался и Зверев, рисовавший посетителей в свой походный альбом. Этот небрежно одетый тип на подпольном дне Москвы занимал особое место. Его лично опекал московский грек Костаски, единственный меценат страны. Завхоз канадского посольства фарцевал по-крупному и внутри страны, и за ее пределами. От него несло запретным миром виски, жвачки, фирменных шмоток. Влияние грека, собиравшего древние иконы и русский художественный авангард, было таким мощным, что все средства массовой пропаганды бледнели по сравнению с его навязчивой, нелегальной рекламой. Грек возродил забытый рынок. Это был рынок «трояков» и «четвертаков», но это была капиталистическая культура живого заказчика и свободного исполнителя, неизвестная советскому обществу. Художник, уважающий

свою профессию, уже не жег свои опыты в печке, а хранил на продажу. Иностранец, как частный собиратель искусства, особенно подпольного, появился в это время. На приветливые огоньки московских мастерских потянулись дипломаты и целые косяки инакомыслящей интеллигенции поглазеть на запретный товар авангардистов. Деловой костяк нелегалщины состоял из хватких дельцов и политических хамелеонов, менявших свои взгляды в зависимости от вида клиента.

Слухи о пьяных проказах Зверева, избивавшего женщин и детей, доходили до меня, но вместо драчуна перед мной сидел жалкий бродяга в пальто с чужого плеча, с крючковатым носиком и допотопной кепкой, натянутой на уши. Он беспрерывно смолил махорку, звучно сплевывая в песочный ящик с окурками. Этот охламон в дырявом пальто на фестивальном сборище 57-го года замазал холст быстрее американца, за что схватил международные аплодисменты. В музей он приходил искать жену и греться от морозов. По словам Люси, он ее прикадрил на позировке и сразу предложил жениться, на что она храбро и согласилась. В буфет ввалилась пара иностранцев, и за пятнадцать минут Зверев сделал с них карандашные портреты, взамен получил гаванскую сигару и мировую известность.

Американский сенатор Александр Маршак в роскошном журнале «Лайф» с подзаголовком «Искусство России, которого никто не видит» описал потуги московских авангардистов, а обложку журнала украшал портрет работы Анатолия Зверева.

Расплывчатый декоративный мир, в котором я плавал тогда, — живопись располагалась в благородном уголке, лишенном света, — казался мне вершиной мировой эстетики. В двадцать два года я строил великие планы: красиво приодеться, прикадрить модную чувиху, посидеть в пивном баре — вообще выбиться из грязи в князи. Увлечение условным театром, постоянная оглядка на чужие

шедевры основательно расслабляли созидательную волю, но рисунки Зверева, сделанные в один присест, «а-ля при-ма», как в детской считалке «ротик, носик, оборотик — получается портретик», меня тоже смешили своим легко-мыслием. Он раздавал эти самоделки всем желающим позировать десять минут.

Смушал «серьезный» Костаки, собиравший его почеркушки, и мировая слава, но завязывать прочные отношения с таким диким оборотом я не собирался.

До меня докатились слухи, что Зверев женился на пловчихе и увез ее в тамбовскую глушь, жить и творить на родине несчастных предков. После бесчисленных склок с супругой и родней он вернулся в Москву и оккупался в подвале на Смоленке, у богемной поэтессы Нади Сдельниковой. Каждый день они дрались и выясняли, кто лучше напишет стихи типа «я кристален, как Сталин, и чист, как чекист», много и беспорядочно пили, непрерывно играли в карты и шашки и охотились за иностранным заказом.

В 1962 году в этой мутной и тяжелой богеме парижский эстет Игорь Маркевич откопал себе богемного гения.

Крупный иностранный заказ! Денежная халтура! Тако-го Зверев не пропускал, усадив за работу двух жен, законную Люсю и незаконную Надю. Ему оставалось подправить лихим жестом их рисунки и подписаться «АЗ». На встречу с маэстро в гостинице «Украина» Зверев приносил краски в авоське и бутылку водки. Владелец особого юродства, безотказно чаровавшего мистические и тонкие природы, он заставлял знаменитого композитора Маркевича, знавшего Дягилева, Стравинского, Пикассо, промывать стаканы до тех пор, пока тот не получал «пятерку» за работу. После выставок в Париже и Женеве (1965), организованных музыкантом, культ Зверева затмил потускневших Глазунова и Белютина. С Маркевичем прервали контракт, Костаки дрожал от страха, художник возвысился.

Такой заграничной рекламы было достаточно, чтобы образовалась нескончаемая очередь желающих приобрести набросок подпольного светила. Не имея конкурентов в портретном жанре, Зверев собирал урожай сразу с двух огородов, московского и иностранного. Неудивительно, что его экспрессивные «овалы» считают тысячами. У сотни моих близких друзей висели его работы, и не по одной, а по три в каждой семье. Жалкий бродяга навязал Москве безумную скоропись, подобной которой искусство не знало. Образ великого артиста, народного самородка отшлифовали, как золотой червонец.

Семья моего друга, прокурора Сергея Мальца, не избежала модного поветрия. Зверев срисовал всех поочередно. Я застал его в сеансе портретирования. В кресле сидела «фрау» Эстер в белоснежной блузке с бантом на шее. Живописец, стоявший напротив, смолил толстую сигару, сбрасывая пепел в ведро с водой. После часового перформанса на бумаге возник акварельный, расплывчатый фас, с едва уловимым сходством и жирным красным бантом посередине. Зверев сощурился, кухонным ножом сделал две-три дугообразные черты и расписался большими буквами «А.З.». Все пять портретов анфас, лихо сработанные в один присест, очень отдаленно напоминали живых персонажей, но представляли определенный интерес как упреждение экспрессивного характера. За ловкую работу Зверев получил 300 рублей наличными и предложил мне:

— Давай сложимся?

Я удивился. Человек заработал кучу денег и просил два рубля на водку, но дал. А.З. купил бутылку водки и шесть бутылок пива за свой счет.

— Пойдем к Ваське (В.Я. Ситников), посидим на кухне, — предложил он.

— Опять вы, Зверев! — сурово встретил нас В.Я.С. — Я ведь сказал вам, не приходите в пьяном виде.

— Сегодня у меня получка, Василь Яклич, угощайтесь, — пропустил он мимо ушей угрозы хозяина.

— Воробьев, с кем вы связались? Это же пьянчуга, и в живописи дристун! Зверев, оставьте мне бутылку пива, я сейчас вернусь.

Мы выпили по стакану водки и закусили солеными огурцами. Вернулся Васька-Фонарщик с книжкой в руках. Отпил из горла пивка и показал американскую книжку.

— Василь Яклич, — начал я, разглядывая ее, — что же вы меня поместили в анонимные художники?

— Мои ребята пошли к Егорию Дионисьевичу, а тот им дал мудрый совет: за молодых я боюсь, поставьте их анонимно. Так и порешили.

Васьки-Фонарщика грек боялся, а из нас он лепил великих художников на свой лад и вкус.

Гений невыносим.

Зверева быстро развезло. Со стола посыпались хлебные корки и огурцы. В.Я., сверкая очами, ворвался на кухню и заорал:

— Зверев, немедленно соберите корки и уходите. Вы пьяны и безобразны. Я не желаю вас видеть. Уходите оба!

Зверев как угорелый выскочил на улицу и побежал к стоянке такси.

— К Аиде, на Полянку! — приказал заказчик.

Таксист не моргнув глазом доставил нас на странное место назначения. Мне показалось, что все шоферы Москвы лично и давно знают Зверева.

Поэтесса Аида Тапешкина жила в огромном деревянном доме на снос с отчаянным пьяницей Батуркевичем, одним из собутыльников художника. Стены избы были увешаны его работами. Не выносившая пьянства Аида быстро выставила нас на улицу, и, прихватив ее сожителя, мы понеслись на Смоленку, в подвал Плавинского. Там уже давно пили, обсуждая ссылку в Сибирь Андрея Амальрика.

— А я ему говорил, — скрипел Плавинский, — Андрей, бери сертификаты, а не валюту. Мудак, не послушался и получил химию.

— Провокация! — ворчал А.З., разливая по стаканам водку. — Если меня поймают мусора, я выдам всех вас и еще добавлю. Я не люблю, когда меня бьют ногами в живот.

— Толя, некрасиво сдавать друзей, — мычал Куклис.

— Тихо, тетеря! — визжал А.З. — За нами следят! Я сменил три такси, а хвост висит. Посмотри в окна. Видишь, серая «Волга». Они едут за мной от прокурора. Ладно, сейчас главное — выпить и закусить, а потом сыграем в шашки.

Зверев пил взалхлеб, через силу. Водка текла по заросшему подбородку, по груди и засаленному пиджаку.

Я рыгаю, Куклис дремлет, Димка корчитя на диване. В луже мочи и хлебных корок храпит Зверев.

Опохмел начинается с пивного ларька. Потом капитальный сбор в подвале. Является Сашка Харитонов с воблой. Крики «ура» и игра в рифмовку, где Зверев непобедим.

«Сталин кристален!.. Чист, как чекист!.. Полина — польня!.. Таню в баню!.. Снег — нег!.. Шутя до дождя!.. Враг коньяк!.. Вокзал знал!.. Харакири в квартире!.. Берут Бейрут!.. Оба из гроба!.. Адам, не дам!.. Порог у ног!.. Купался и попался!.. Рак — дурак, а пиво — диво!.. Балдел не у дел!.. Старуха — муха!..»

И так все утро. Я не терялся, но побеждали тренированные в игре.

\* \* \*

Уроженцев Тамбовской губернии Зверевых с насиженных мест сдула пролетарская революция. В голодной Москве было не лучше, но работы хватало на всех. Пятый по счету ребенок московского дворника Тимофея Зверева и единственный сын, Анатолий родился 3 ноября 1931 года. Мать, Пелагея Никифоровна, кормила, обшивала и обсти-

рывала семью из семи ртов. В начальной школе Толя не отличался особыми успехами по общим предметам, а уличенный в постоянном рисовании, был определен в ремесленную школу на маляра. Там он научился и пристрастился рисовать с натуры, красить стены и заборы широкой кистью, но мечтал подняться выше, покорить академический диплом для настоящей работы в искусстве. Мечтам не суждено было сбыться. Призванный на службу во флот матрос Зверев проткнул штыком офицера и лег в психушку на излечение от вялотекущей шизофрении.

В развитых странах биография художника состоит из выставок. В стране победившего социализма жизнь артиста, особенно нелегального, всегда слагается из «этапов», и чаще всего зловещего содержания. «Тюремные этапы» в 7—10 лет прошли художники Борис Свешников, Лев Кропивницкий, Юло Соостер, Василий Ситников. Многочисленные приводы в психбольницы знали Володя Яковлев, Александр Арефьев, Володя Пятницкий.

Этапы Зверева сложились из дурдома и дипарта.

Знаменитый танцор Александр Румнев, гуляя по парку Сокольники, обнаружил декоратора в работе. Молодой человек украшал стены «детского городка», расписывая их красочными петухами и павлинами. Пораженный мастерством неизвестного живописца, Румнев пригласил его к себе на сеанс портретирования. Оттуда для шизофреника агрессивного направления открывалась узкая, но верная дверь на самую верхотуру образованного общества, куда не так просто забраться и с кучей академических дипломов.

Там сразу началась драка между чувствительным, но бедным эстетом Румневым и дальновидным и денежным Костаки. Расчетливый самородок переметнулся от танцора к греку и стал известен «всей Москве» как гений мирового уровня, не более и не менее.

Я не искал с ним дружбы, а скорее держался подальше от неумного алкаша грубых манер. В 1966 году по-

ложение изменилось. Я снял мастерскую на Сухаревке, и с сеанса у прокурора он потащил меня обмывать получку, а это означало, что человек желает сблизиться. Почти ежедневные его визиты были не простой случайностью, а тонким расчетом. В тот год (1967) он увлекся юной сотрудницей «Литературной газеты» Любой Боровик, а поскольку огромное здание «Литературки» стояло насупротив моего, то атака возлюбленной велась без остановки — засыпать цветами, затащить в ресторан или кино.

Брюнет, одетый как попало, со справкой инвалида второй группы, безошибочно определял, где разбить свой походный лагерь. Жил он одним днем, не заглядывая дальше опохмела. Утро начиналось шампанским, днем — пир горой, и вечером драка и вытрезвитель. Несмотря на врожденный дар выживания, он начисто отвергал регулярный домострой, казенный образ жизни с обязательной службой, и всех, кто там пасся, он казил и выжимал, как тряпку.

В России большой спрос на юродство.

Я не думаю, что ученые с мировым именем или знаменитые киношники были сплошные идиоты, неспособные критически мыслить, но их поклонения юродству русского покроя я объяснить не берусь. Вероятно, это давняя традиция загадочной русской души и сильный характер Зверева с примесью гипноза.

На моих глазах известный киношник Вульфович покорно вытирал за ним плевки на паркетном полу, и чем больше киношник старался спасти блеск своего паркета, тем гуще плевался знаменитый гость. Смирно держался и знаменитый виолончелист Валентин Берлинский, стоя за спиной живописца с подносом водки, пока тот рисовал его жену и дочку. Ученый переводчик Пинский, знавший Шекспира наизусть, прислушивался, что скажет о стихах английского драматурга Зверев, никогда их не читавший даже по-русски. Жена Костаки Зинаида Семе-



новна варила для живописца куриный суп, пока он рисовал американского сенатора.

Обладая большой энергией на выживание, Зверев на чисто отвергал бюрократическое общество, и люди, причастные к этой древней колеснице, словно чувствуя свою вину, спешили преклониться перед человеком, живущим вне официальной субординации.

Человек деревенской складки, он выглядел стопроцентным горожанином, никогда не выезжавшим из столицы, а если выбирался за город, то обязательно в черном костюме и дорогих туфлях, которые сразу разваливались от игры в футбольный мяч.

Этот необычный человек, пивший до белой горячки, рычавший, шипевший, визжавший, плевавший в присутствии почтенных людей, всегда был окружен выводком заступников и опекунов, от престарелых вдов до несовершеннолетних девиц, смотревших ему в рот, как на божество. Такой малообразованный, но очень чувствительный к культуре художник прижился в моем подвале и произвел значительные перетасовки в его рабочем ритме.

Братья Любы Боровик, пронюхав, что какой-то грязный юродивый ежедневно осаждаст ее букетами и телефонными звонками, устроили засаду на их тайную свиданку в Свибловском овраге и больно поколотили влюбленного живописца, так что он долго потом зализывал раны.

В 1968 году в квартире сестер Сinyaковых на Малой Бронной Зверев влюбился в одну из них, вдову поэта Асеева, Оксану Михайловну.

Вдова прочного советского быта — квартира в сталинском доме, дача в Перхушкове, генеральская пенсия.

Редкий случай, когда творчество и халтура шли в параллель. Казалось, что бесконечные портретные сеансы задавят его дар, но влюбленный в «старуху» Зверев создает на тихой даче замечательную серию «Лес на мешках», сплошь живописные шедевры.

Я, несмотря на преграды, карабкался из грязи на свет, покупал пиджаки и шляпы, мыл руки перед едой. Зверев угнездился в грязи навечно, как в неприступной крепости. Капризные люди зажимали нос, проходя мимо. Девять лет у моего подъезда парковались инострашки, и Зверев был тут как тут к их услугам. Серьезное увлечение Асеевой не мешало ему кочевать от одного доходного пастбища к другому.

Хорошо жилось придворным поэтам!..

Не знаю, какой гимн вождю сочинил Николай Николаевич Асеев, но взамен получил мрамор, бронзу и паркет с видом на кремлевские звезды.

Отужинав в кафе «Артистическое», мы поднялись на быстроходном лифте немецкой работы к вдове великого поэта. Сталинскую роскошь портили повсеместное кошачье присутствие, неистребимая вонь и разорение. За круглым столом сидели Оксана Михайловна и ее давний ухажер, «штыковой боец» Шманкевич, теребивший колоду карт. Оказалось, Зверев мне его подсунул в качестве партнера.

Я огляделся: стены трехкомнатной, просторной квартиры, коридор, кухня и сортир от потолка до пола были завешаны зверевскими шедеврами. Тощие и крикливые коты бесцеремонно прыгали на стол, заглядывая в карты, драли в клочья бордовый диван и высоко забирались на вешалку, обнюхивая каждую шапку.

Как брезгливый гений, любивший животный мир издавна, мог выносить такое кошачье царство?

И, несмотря на ловкую поддержку напарника, все партии подкидного дурака я продул, распрощался и больше в кошачий дом не появлялся.

В летние каникулы 69-го мы сняли дачи в одной и той же, красиво расположенной на зеленых холмах деревне Марфино. Зная, что он отлично прижился у «старух» в Перхушкове, я спросил, а для кого этот дом, а он, смутившись, отвечал: «Для Верки и Мишки». Своих де-

тей от пловчихи Люси он не забывал, несмотря на дикий, богемный быт.

Бродячего живописца не раз хоронили раньше времени, а он являлся с разбитой физиономией, сломанной рукой, но живой и пьяный. Очень часто от фантастических облав он прятался у меня в дубовом, резном сундуке. Однажды в подвал заехала известная сплетница дипарта Эвлин Баусман и с порога крикнула:

— А вы знаете, что умер Зверев?

В этот миг открылась крышка сундука и оттуда вылез растрепанный, но живой «мертвец». Дама с досады хлопнула дверью и уехала в другое место.

Я дважды приглашал его к Черному морю.

Наш общий приятель и большой его почитатель Рудик Антонченко снимал дом в Сочи, и дважды, в бархатный сезон 70-го и 71-го годов, туда залетал Зверев. Он никогда не видел моря и не знал, что такое пляж, а тут два его приятеля, да еще с девицами по бокам, нежатся на южном солнышке. Зверев в аэропорту Адлера заказал такси, вылез на пляже, одетый в черный костюм и белую кепочку, разделся на песке и, не снимая кальсон, пошел в море. Плавать он умел, но не очень шустро, по-собачьи. Поплывшись полчаса, вылез на берег, натянул костюм, кепку, сказал нам «Маразмируем помаленьку» и улетел в Москву в тот же день.

Я хорошо зарабатывал в то время и получки просиживал в кабаках с оркестрами. Очень часто присоединялся ко мне Зверев, а в Центральном парке я его свел с сумасшедшим и лучшим трубачом страны Андреем Товмосяном. Они обнюхали друг друга, как однопородные собаки, выпили и уже не расходились. Однажды я пришел к Товмосяну на просмотр фильма, а там, уютно устроившись и со «старухой» сбоку, сидел Зверев, разжигая сигару.

Покидая вечную Россию в мае 75-го, я собрал ближайших друзей на банкет в китайском кабаке. Был и Зверев,

смирно сидевший за роскошным сервированным столом. Больше мы не виделись.

После кончины «старухи» в 85-м году осиротевшего гения пригрела Наталья Шмелькова, химик по профессии и утешитель бесприютных талантов. И у нее доктрина Зверева — «выпить и закусить» — оставалась без существенных поправок. Его записали в профсоюз живописцев, публично выставляли и прославляли.

Поклонники монументальных произведений считали творчество Зверева комнатной мелочовкой, и вдруг на московских выставках появились большие картины, им подписанные. Тот же свободный и острый жест, ловкое распределение отбросных материалов, яркая окраска. Опытный живописец где-то отыскал себе дублера по имени Виктор Казарин. Этот ловкач сумел в совершенстве овладеть манерой своего учителя, увеличить размеры картин и выдавать их за новую «эру» в творчестве Зверева.

Очень редко, но он давал о себе знать.

Вот его очень выразительный «привет» от 83-го года:

«Следовательно, привет от всех

Привет от Мышкова и т.д.

От Михайлова и Левы

Привет от Сосновского и реалистов

Привет от старухи

Скоро напишу побольше, а сейчас нахожусь в положении переезда, ибо весна в самом разгаре и я спешу в писательскую деревню со старухой. Приезжай — выпьем — АЗ 83 — может быть — если что. Все страдают от непогоды — жара. С благодарностью привет!»

Каждая почеркушка моего друга — графический шедевр. Такие хранят, с ними постоянно живут. Чрезвычайная осторожность Зверева в выборе слов, а «старуха» — вдова поэта Асеева с дачей в деревне Перхушково. Под «реалистами» имеются в виду братья Борис и Сергей Алимовы, видеть которых мне пришлось в Париже.

Своими письмами я его не пугал, а расспрашивал других о его жизни. Справочной книжкой были Мышков, Михайлов, Сосновский. Последние годы своей суетливой жизни (умер в 86-м) Зверев постоянно работал в общине оперного певца Михайлова на Арбате, где в содружестве с Казариным сделал тысячи акварелей и рисунков.

Один раз нам довелось выставяться в Лондоне.

Я забыл спросить Аиду Топешкину, ставшую Сычевой, каким образом московский фарцовщик Саня Шпайзман очутился в Лондоне. В Москве он работал продавцом в валютном салоне, отсидел свои пять лет за незаконные валютные операции и смылся за границу. Поскольку он научился отличать картину от скульптуры, то быстро нашел место консультанта у английского маршана Жоржа Миро. Вернее, сам Миро был опытным международным адвокатом, а его жена Виктория от безделья держала галерею, чтобы общаться с художественным миром и писать людям письма красивым почерком.

Аида во что бы то ни стало желала избавиться от больших запасов «зверевых» и «яковлевых», и выставочный треугольник «Три экспрессиониста» пришлось очень кстати. Медведь еще не был убит, а на дележке непроданных корифеев галерея «Миро» просила половину, четверть — Сане Шпайзману, и остальную четверть получали Аида и я.

Конечно, без русской мистики не обошлось и тут.

К подготовке выставки подключились критик Жан-Клод Маркаде, художник и архивариус Мишка Гробман и собиратель «малевичей» Георгий Дионисович Костаки, переехавший из Москвы в Афины. В салоне Аиды появилась пара владельцев «зверят» и «яковлят», Римуля Городницкая (жена поэта Хвостенко) и пианистка Ирина Ермакова. Им тоже хотелось всучить англичанам свои вещи.

Осенью 1984 года квартира Сычевых превратилась в склад. Появились гуаши В.И. Яковлева конца 50-х и лучшие масла, лесные пейзажи, А.Т. Зверева конца 60-х.

Аида сияла от счастья.

— Вот это мой любимый Толечка лежит на полу, а это лучший Володенька стоит в углу!

Лондон называют торговым, морским и буйным. Вероятно, так и есть. Я же попал в роскошный квартал Кенсингтон и видел только садик под окнами, подъезд с парой белых колонн и чуть дальше Гайд-парк с гусями и собаками, гулявшими под дождем. В киоске сидел бородатый сикх в чалме и менял деньги.

Русская газета писала: «Главное событие января — открытие в Лондоне галереи Миро—Шпайзмана. На ее первой выставке, которая продлится до середины февраля и, как нам сообщили, проходит с большим успехом, принимают участие три художника: москвичи Анатолий Зверев и Владимир Яковлев и парижанин Валентин Воробьев» (Стрелец, янв. 1985).

На самом деле «большого успеха» не было. На вернисаж собралась русская колония Лондона, издатели, слависты, журналисты Би-би-си, художник Олег Прокофьев с женой. Явился и Г.Д. Костаки. Он облез и постарел. Лечился облучением. Он дал пресс-конференцию, захваливал «молодого художника Зверева» — хотя Звереву стукнуло пятьдесят, не упомянув ни о Яковлеве, ни о присутствующем Воробьеве. В придачу в галерею ввалился пьяный Гарик Басмаджан, его секретарша Ольга Симонова и виврист Толстый, облаченный в черную фрачную пару, высокий цилиндр и дурацкий монокль на щетинистой щеке.

Столкнувшись с хозяйкой галереи Викторией Миро и русским столяром Сашкой Шпайзманом, служившим по совместительству и «культурным советником», я сразу понял, что выставка не получится. Располагая значительными средствами все устроить «как надо», хозяева просто не умели распоряжаться деньгами, скупались на гвозди и веревки, трижды переправляли пригласительный билет, то искажая фамилии участников, то пропуская даты откры-

тия, то меняя формат, не говоря уже о толково организованной газетной рекламе, почти полностью отсутствовавшей в специальной прессе.

На вернисаже, не глядя на картины, все кинулись в буфет — единственное отрядное достижение галереи, с шампанским и лакеем в белых перчатках. Совершенно убитый провалом, я выпил как следует и чуть не побил знаменитого собирателя, сначала в его гостинице, а потом в доме Роберта Коренгольда, где состоялся небольшой прием.

Я спросил о причине его эмиграции.

Свой конфликт с соввластью Костаки объясняет так: «Я перестал спать по ночам».

В 1976 году, по его словам, дачу в Баковке ограбил и поджег «один советский гражданин, женатый на англичанке».

— Все ваши картины, Валя, и картины Толочки Зверева и Димочки Краснопевцева сгорели в пожаре.

Так меня обрадовал большой грек.

В середине 60-х он прекратил закупки своих современников. «Охладел» или «дерут ребята» — я так и не понял. Последним, всучившим ему пару своих лучших композиций, был проворный ленинградец Женя Рухин. В 69-м он проник в дом Костаки, прислонил картины к дверям его квартиры и скрылся. Хозяину ничего не оставалось, как подобрать подброшенных сирот и отвезти на дачу. И Рухин, и дача сгорели в один год.

Пять лет Костаки жил на Западе, его удивительное собрание русского авангарда 20-х кочевало из одного музея в другой, интерес к нему возрастал вместе с фантастическими ценами. Пожар пожаром, но Костаки сумел вывезти чемодан «зверят». Я задавал себе вопрос: когда же будет выставлен и продан этот чемодан? Мы надеялись и ждали «широкого жеста». Обладая «баснословными суммами», как писали газетчики, обширными связями в мире культуры, политики и финансов, он пальцем не двинул,

чтоб прославить своего любимчика «Толечку». Он прожил еще десять лет, но выставки так и не сделал. Он считал себя православным верующим, крестился на все углы, но Зверева не прославил и не поднял.

Страх или расчет?

Заложник «баснословных сумм». Ни дерзновения, ни чуда!

Вот прохвост!

В коротких мемуарах, выпущенных в 1994 году, Костяки постарался все перевернуть и запутать.

С выставки в Лондоне (1985) был продан один «Лесной пейзаж» А.Т. Зверева за хорошие деньги — 6 тысяч фунтов. Чек на полторы тысячи получила Аида.

Пишущие эмигранты пытались свести счеты с Сычевыми, но владелица «Лесного пейзажа» Городницкая и ее муж, поэт Хвостенко, пошли на попятную, отказавшись от показаний о присвоении выручки. Ведь могло быть и так, что деньги Аида забрала «за многочисленные долги Римули и ее мужа-бездельника», как она заявила.

Бард Хвостенко образно выражался об Аиде: «Не баба, а поганка», но смирился, на скандал не полез. Не получила своих великолепных «яковлят» и пианистка Ирина Ермакова. Они навсегда застряли в кладовке Сычевых.

А 9 декабря 1986 года в Москве, от кровоизлияния в мозг, на 55-м году беспокойной жизни скончался живописец высокого дара Анатолий Тимофеевич Зверев.



## 6. Поэт Холин Земного шара

Игорь Сергеевич Холин писал стихи следующего содержания: «Пригласил в гости. / Сказал: / Потанцуем под патефон. / Сам дверь на замок. / Она к двери, / Там замок. / Хотела кричать, / Обвинила его в подлости. / Было слышно: / Мычанье, / Урчанье / И стон. / Потом завели патефон!» Или: «У Сокола дочь мать укокала. / Причина скандала — дележ вещей. / Теперь это стало в порядке вещей».

Тунеядец, битник, враг!..

Пожилой поэт, живший по чужим углам, охотно согласился пожить у меня в подвале. Он привез пишущую машинку немецкого образца и бил одним пальцем по клавишам, сочиняя стихи и романы под условным названием «Музыкальная команда» и «Кошки-мышки». В 60-м он был стилигой: модное пальто с накладными карманами, туфли на микропорке — теперь подпольный литератор одевался под ээка: бушлат, грубые ботинки, рваный свитер. Стилига стал ээком. Деньги, заработанные детскими стихами, он экономно копил на кооперативную квартиру.

Мне он предложил строгий, тюремный режим жизни, и я охотно согласился, потому что никогда не испытывал тяги к роскоши и расточительству. Это не значит, что мы обрекли себя на голодную смерть, просто продуктовое меню свели к минимуму — крупа, картошка, капуста, кильки, подсолнечное масло. Водку и мясо приносили гости. Подруга поэта Ева Уманская иногда баловала нас пончиками с повидлом.

На Старый Новый год, то есть 13 января 1967 года, мы оповестили знакомых о подвальном банкете в честь открытия еще одной «нонконформистской» цитадели в Москве, с исключительно лагерным меню — картошка в тулупах, соленая капуста и водка. Стол накрывали Ева Уманская и Ритка Долинина.

Таким образом, мы дали заявку на «иностраннный салон» с большой еврейской примесью, или, как говорила влиятельная сплетница Москвы Аида Топешкина (тогда Батуркевич), «Воробей и Холин обвешаны жидами, как булка тараканами».

Назавтра в подворотне появился незнакомый «топтун», что было для меня большой новинкой, так как до этого, часто меняя место жительства, я ловко избегал таких непрошенных хранителей.

— Валя, — меланхолически сказал Холин, — теперь жди в гости искусствоведа в штатском, ты его заслужил!

Мой, купленный на корню, участковый милиционер Коля Авдеев на мои приветствия угрюмо отворачивал морду к стенке.

На банкете собрались Левка Гуревич с Ирккой Эдельман, Данька Фрадкин с Женькой Жаботинской, Женя Терновский с французенкой, Борис Доля с Танькой Федорович, Борух Штейнберг с Галкой Поляковой, прокурор С.И. Малец с супругой и пара американцев, журналист Роберт Коренгольд с женой, и «часовые родины стоят!».

К Холину потянулись его барачные соратники — трезвенники и алкоголики, живописцы и фарцовщики, стука-

чи и диссиденты, старые и молодые, друзья и враги — спорить и занимать деньги, воровать и меняться, читать свое и чужое, играть в шахматы и слушать патефон. Поток гостей был так велик, что я вынужден пропустить все имена, невзирая на лица.

В так называемом дипарте Холин, несмотря на ограниченные эстетические познания и полное незнание иностранных языков, принимал самое деятельное участие. Я много слышал о его деловых встречах с Камиллой Грей, англичанкой, составлявшей альбом искусства «Великий эксперимент» с помощью проворного и образованного Олега Прокофьева, о его культпоходах с Дженифер и Виктором Луи в поселок Лианозово, о вечеринках у Ольги Карлейль, составлявшей антологию нелегальных поэтов Москвы. Своим участием в скандальной выставке «12» — подпольных художников в клубе «Дружба», 22 января 67-го года, — в значительной степени я обязан хлопотам Холина.

Выставку прикрыли через два часа, и художников развезли по домам на казенном автобусе, что больше всего меня потрясло в этой аванюре. Через день в подвал явился австралийский посол со свитой и купил «Портрет в трех поворотах», «Орла» и «Свечу».

Обычно перед сном часа два мы гуляли по снежным дворам Сухаревки и Божедомки, но в ту ночь из-за сильного мороза решили вернуться с полпути, и каково было мое удивление, когда я обнаружил настежь открытую дверь подвала. Внутри сиял свет. Моя черная шляпа и кепка Холина висели на гвоздях. Исчезли две мои картины и заграничная авторучка поэта. Большие знатоки таких мистерий, Генрих Худяков и Генрих Сапгир, поэты не менее барачные, чем Холин, без промедления внушили мне, что картины изучаются официальными специалистами эстетики и коммерции.

Прошлое Холина скрывалось в густом тумане.

От моих прямых и наивных вопросов о его «детстве, отрочестве и юности» он отмахивался, как корабельный врач Лемюэль Гулливер от лилипутов, одним словом «ничего интересного». Я замечал полное отсутствие регулярного образования и повадки военного человека, но этого было недостаточно, чтобы составить представление о прошлом сорокалетнего поэта.

Сирота? Беспризорник? Зэк? Надзиратель?

\* \* \*

Установлена дата его рождения (1920), но не место (Орел? Москва?). Отец неизвестен, мать — белошвейка из-под Истры. Семилетнего Игорьька непутевая мама пристроила в «исправительно-трудовой профилакторий» и растворилась как дым. О школьных успехах детдомовца Холина ничего не известно, но в 34-м он числился стекольщиком на заводе.

Дата 1937 — год суровый, ничего поэтического, а неуклюжий и длинный очкарик Холин — монтер Новороссийской электростанции. 19 лет. Призывной возраст. Рубить и стрелять на «отлично», как маршал Семен Тимошенко. Грамотного юношу направили на «курсы особого назначения» в Харьков. Помнил парень, что сказал товарищ Сталин: «Мы все чекисты!» Куда бросили курсанта, на рубку леса или на отстрел пленных полейков, мы никогда не узнаем, — рутина, казарма, приказ. Величайшая бойня XX века, самая истребительная мясорубка тысячелетия, у Холина смазана одним небрежным мазком — «на войне мне хотелось жрать и ебать».

Хорош гусь, а?..

А вообще, капитан Холин — герой! Он не бросил револьвера, не сбежал к немцам, а, не замочив хромовых сапог, «прошел от Москвы до Праги».

Что значит «комендант трибунала»?

Это тот, кто следит, чтобы приговоренного как следует расстреляли, объясняют мне знатоки.

Старшая дочка поэта, метранпаж Людмила, мне как-то сказала: «Я родилась на Украине в 46-м году, где папа служил в МВД».

«Я вас, суки, в гроб заколочу!» — грозил комендант восставшим гайдамакам Украины.

Потом была скука лагерной зоны. Барак с тощей березкой под окном. Патефон на подоконнике. Жена Маня над примусом. Дочка Люда с букварем.

Что такое русский барак?

Советская власть здание легкой постройки из временного превратила в постоянное, вечное местопребывание войск, рабочих, крестьян и заключенных. Барак стал символом пролетарского государства, общим жильем человечества.

Место поэзии Холина в бараке. Барак — его неизменная муза.

В 1948 году капитан МВД Холин дал обнаглевшему солдату по морде и получил два года тюрьмы. Его не сослали в Сибирь, а разжаловали в вахтеры, где он пристрастился сочинять куплеты.

«Жди, и верь, и будь верна, / Счастье будет для тебя».

В избе-читальне лагеря «Долгопрудный» — опять случайное, но мистическое совпадение, там же бывал мой брат Шура! — библиотекарь Ольга Ананьевна Потапова, выдавая Холину книжки, спросила: «Вы поэт?» — «Да, поэт!» — отвечал вахтер. «Тогда приходите к нам и почитайте стихи».

Так состоялось историческое вхождение бесконвойного ээка Холина в мир русской поэзии, в семью барачных интеллигентов.

Где, на каком этаже живет русский поэт?

Тысячу лет Святая Русь во тьме кромешной мракобесия и юродства, при лучине, распевала славянские псалмы. Царь Петр издал первую газету и, говорят, знал силлабичес-

кие вирши Симеона Полоцкого. Потом были камергер Карамзин, камер-юнкер Пушкин, буревестник Горький и стая сталинских инженеров человеческих душ — Твардовский, Яшин и Маршак (выдернул, не глядя на лица), бойкие перья казенного оклада.

У Игоря Холина, начавшего сочинять стихи в 30 лет, была своя «дамасская дорога из Савла в Павла», из трудового поселка МВД в высшую эстетику русской речи. Его посвящение состоялось не в приемной Политбюро, а в бараке учителя рисования Евгения Леонидовича Кропивницкого и его супруги О.А. Потаповой.

Учитель родился в XIX веке, в благородной дворянской семье, где все рисовали, пели, вышивали и музицировали испокон веков. В благоприятных обстоятельствах хорошо подготовленный дворянин стал бы редактором либеральной «Стрекозы», с «Анной на шее» и приличным окладом, но «Великая социалистическая революция» перевернула вверх тормашками налаженную жизнь русского аристократа. Вместо накатанной дороги плодотворного творчества началась давка за мылом, пайками и билетами, чад и ад коммунального жития. Пятилетки в четыре года и поражения в правах. Столбовые бояре, «цвет нации», в грязи и тифу грызли каналы и валили тайгу, а культуру растили малограмотные чукчи, шахтеры и безродные космополиты. Дворянский отпрыск, не сумев прорваться в эмиграцию, благоразумно спустился на пролетарское дно и залег в незаметной щели, откуда никогда не выползал.

И не умел, и не хотел, и боялся.

«Я никуда в хорошие места не гожусь», — любил повторять Е.Л. Кропивницкий.

Столбовой дворянин жил, согнувшись в три погибели, на случайные заработки учителя музыки, учителя рисования или учителя стихосложения.

Местожителство учителя — барак номер 4, комната номер 17, поселок Долгопрудный Савеловской железной

дороги. Отхожее место на огороде, под колючей проволокой исправительно-трудового лагеря.

Отсюда забрали сынка Леву, ляпнувшего о своем происхождении.

Тихий зять учителя, десятник Оскар Рабин, рисовал березки и строил курятник. Зэк Холин помогал с доставкой стройматериалов. На таком прочном фундаменте завязались дружба и вечный мир.

В 51-м Холин вышел на волю с лагерной вахты и быстро нашел место метрдотеля в столичном ресторане.

...Пять модных этажей!.. Английский архитектор!.. Керамика Михаила Врубеля!.. «Принцесса Греза!.. Иностранная клиентура!.. Бывал Ильич!.. Оркестр Яна Френкеля!.. Кадры неоднократно проверены!..»

«Руки мерзнут, / Ноги зябнут, / Не пора ли нам дерябнуть!»

По воскресеньям с черного хода заходил учитель. Они выпивали по стакану водки и шли на ипподром, где ставили по маленькой на Бирюзу или на Самурая. К ним пристал неизвестно где ночевавший метранпаж талантливых стихов, Генрих Сапгир.

Сладкие беседы о пятистопном ямбе или пирихии на фоне изнурительного, если можно так выразиться, культа личности тов. Сталина выглядели невинной школой ликбеза, однако учитель преподавал — ведь честных людей гнали в уссурийскую тайгу.

Власть любить мало!

Орденоносный лирик Степан Щипачев, начальник советских поэтов, считал, что «трах-тах-тах» недостаточно для советского профессионала, и начинающему Холину закрыл двери в Секции советских поэтов.

Смерть любимого генералиссимуса Сталина (5 марта 1953) подняла вес подмосковного барака. Из далеких краев вернулся Лева, знавший в Москве всю приличную интеллигенцию, от Сони Файнберг до Горчилиной-Раубе.

Студенту Алику Гинзбургу пришла крамольная мысль распространить стихи Холина машинописным списком, в самиздате.

«Дело было новое, никто за это еще не сажал, и хорошо пошло», — вспоминает сам издатель.

Гинзбурга за тетрадки на год уперли в тюрьму, а поэт Холин стал так знаменит, особенно после газетного пасквиля 1959 года «Бездельники карабкаются на Парнас», что его буквально разрывали на части московские салоны.

Московские сборища, где поэты читали стихи, значительно отличались от литературных салонов княгини Волконской или Зинаиды Гиппиус былых времен. Никто не посылал приглашений с лакеем, сигары и ликеры не подавались. К заветному месту пробирались по сугробам, с бутылкой водки и хвостом селедки в авоське.

Изнемогая от славы, подражателей и поклонниц, Игорь Холин порвал с примерной семьей — женой Марией Константиновной, с ее жалкой получкой, стиркой и патефоном, дочкой Людмилой пятнадцати лет — и стал бродячим авторитетом нелегальной поэзии, снимая углы и подвалы у нищих покровителей и знакомых.

«Холин — это такая сука, / Это такая блядь!» (И.Х.)

Москва всегда славилась невестами.

Почему украинский художник Толя Брусиловский, красавец с пышными усами, не выбрал себе невесту с приличным приданым?

Разве Ирка Эдельман или Светка Купчик не имели почтенных родителей?

Любой дурак влюбится в красавицу, а если ты храбрец, то полюби и некрасивую!

Харьковчанин Брусиловский (Брусилов — звучит по-генеральски! — для издателей, Брусик — для своих в доску) полюбил дочку дворника, и она обрекла его на долгое московское подземелье. Он трижды менял подвалы. У него постоянно ночевали безработные и женатые земляки Крынские, Савенко, Бахчаняны. Дальний



родич из Белостока присылал польский листок «Пшек-руй» и кланчил взамен икону XVII века. Знаменитые алкаши со Сретенки по ночам прыгали в окошко и опустошали запасы вин.

Пьянство в подвале Бруска считалось символом отсталости и невежества, но часто бывало и так, что в подвал проникал грубиян вроде циника Иодковского («Едем мы, друзья, в дальние края»), и начинался кулачный бой с приводом в вырезатель.

Подвал славился современным ликбезом.

В подземелье, украшенном вологодскими прялками и картинками из польских журналов, усидчиво изучали иностранные языки, корчуя ненавистный сорняк в виде буквы «Г», выдававшей захолустное общественное положение.

Без мистики и тут не обходилось.

Слоняясь по московским дворам, у подвала Бруска я услышал возгласы сектантов «хаваю, хаваю, хаваю», что на воровском жаргоне означало «ем, ем, ем».

— Игорь Сергеич, — внушал работник ликбеза, — ударение не на первом слоге, а на последнем: «хав-а-ю», а не хаваю.

На древнерусской лавке сидел барачный поэт И.С. Холин в роговых очках, вытянув длинную шею, и упорно ликвидировал неграмотность под руководством жены Бруска.

В мои 27 лет (1965) за мной числилась скандальная выставка в Тарусе и Москве (1961), пяток густо иллюстрированных книжек и открытие Любы Поповой на подмосковном чердаке (1963) — весомые доказательства передовых взглядов с почетным прозвищем формалиста. Помню, в ноябре 65-го, у издательской кассы «Малыша» на Бутырке я встретил бывшего сокурсника по ВГИКу Юрку Богородского, матерого алкаша и превосходного рисовальщика детских книжек, холинских включительно: «В реке большая драка, / Поссорились два рака» или «Можно плыть на топоре / И купать слона в ведре». Пить

водку мы пошли в подвал Лиды Шевчук, собутыльницы художника. Дверь открыл обнаженный до пояса, в солдатских ботинках на босу ногу знаменитый поэт Игорь Холин. Пили вчетвером и слушали его космическую поэму, где несчетное количество раз повторялись имена прошлого и настоящего с титулом «Друг Земного шара».

В зиму с 65-го на 66-й год я часто виделся с Холиным у него на Кировской, у соседа Толи Брусиловского, у его соратника по перу Генриха Сапгира, в модном подвале Юло Соостера и, естественно, в Сандуновской бане, где собирались в одной воде друзья и враги.

Вот кусок дневниковой записи И.С. Холина с описанием подвального быта: «Проснулся у себя в комнате и зажег свет. Картина предстала передо мной такая: возле кровати — лужа блевотины. В ней мой костюм и настольная лампа. Простыня и пододеяльник тоже в блевотине. У стены раскладушка, в которой спит Хвостенко. Я встал, убрал блевотину, но и после этого в комнате стояла страшная вонь. Проснулся и Хвостенко. Мы сообразили на четвертинку водки и на шесть бутылок пива. Приехали Сапгир и Ян Сатуновский. Мы выпили все, что купили...»

В подвальном углу изящной словесности Сапгир, Сатуновский и Алексей Хвостенко представляют видные творческие образцы.

Вспоминает Хвостенко: «Каждое утро Холин исчезал изучать пожары, мне же выдавал железный рубль с наказом писать стихи, а рубль пропивать по своему усмотрению. В результате этой художественной и дружеской сделки множество стихов, тогда написанных, бесследно пропало. Сохранилось десять штук, с посвящением моему просвещенному другу».

Примеры: «Я собственный свой боб кладу в сугроб, / И всех вас ждет, зевая, гроб», «Покуда жопа не идея, / покуда девка, хорошея, в постель сама еще идет», «Отчасти уд, отчасти пуд» и т.д.

Мы в стране поэтических чудес.

Прозаический коллаж, названный им «Кошки-мышки», писался при мне. Я был первый слушатель этого бесконечного, густо стилизованного сказа, где проходили слабо законспирированные знакомцы: живописец Дверев (Зверев), вдова Посеева (Асеева), песенник Дымокуров (Винокуров), поэт Волин (Холин) и т.д. На мой взгляд и вкус, этот коллаж комических обстоятельств и персонажей, за исключением ярких заумных вкладышей — «брать вашу тать», «теть вашу меть» или «тить вашу дить» и «нить вашу пыть», — написан небрежно и без «силы, заложенной в словах», о которой говорил Даниил Хармс. Сам Холин не раз повторял, что «с сюжетом у меня нелады, да и слова хромают», однако роман пошел по рукам.

Великий поэт, отлично звучавший в поэзии, в беллетристике оказался беден на выдумку и ограничен в стиле.

Раз в месяц в подвал приходила его дочь Людмила, мясистая и рослая блондинка лет двадцати. Они усаживались в угол и тихо мурлыкали о своем. Она собирала большой узел грязного белья, а он ей запихивал деньги в карман, приговаривая: «Доченька, доченька, возьми», что меня всегда поражало в таком суровом на вид и неприступном дяде.

Люда училась в полиграфическом техникуме на метранпажа и перед уходом аккуратно исправляла синтаксис его сочинений.

Провокационный вопрос: что такое дипарт?

Решительный ответ: искусство для иностранцев!

Так называемый «иностраннный рынок» Москвы (славные столицы: Ленинград, Киев, Рига, Ереван таковым не располагали) возник в конце 50-х годов, при взаимном интересе московского производителя и заграничного потребителя. Потребитель был дипломат, журналист, коммерсант, реже бедный аспирант университета. Настоящий западный купец к нам не приезжал. Дипарт был уродли-

вым детищем советской политической «оттепели» с приблизительным настоящим и без всякого будущего.

Ко мне перебрался самый знаменитый дипартист Анатолий Зверев, искавший удобное пристанище для заказных работ.

Реклама его покровителя Костаки была в одну точку. За бойкой кистью А.З. охотились иностранцы. Слава неподражаемого портретиста, с выставками в Париже и Женеве (1965), достигла своего апогея. Три-четыре раза в неделю в подвал наезжали жены дипломатов, а А.З. лихо расправлялся с ними, сдирая по 300 рублей за гуашь, рисунок и лошадку фломастером.

Круг моих почитателей значительно расширился за счет А.З.

Мужья предпочитали композиции маслом.

Иногда из школы близоруких на Сретенке в подвал спускался Володя Яковлев, всегда аккуратно одетый и остроумный.

У меня лучший живописец планеты написал потрясающий пейзаж — бездонное небо широким, черным мазком, беспредельную землю зеленью и крохотный, белый цветок в правом углу жуткой картины конца света. Итальянец Франко Миеле, наблюдавший за работой гения, тут же вырвал ее непросохшей и увез в Рим.

Игорь Холин не гонялся за каждой юбкой, но старался обновлять свой гарем время от времени. Поэтессу Уманскую сменила Люба Авербах, знаток творчества Пушкина и отличная машинистка, стучавшая всеми пальцами, как пулемет.

Холин и любовь.

Его предшественники, футуристы, не считали эрос предметом, достойным вдохновения. Его заменили паровоз и клозет коммунизма. «Мария, дай!» — это все от эроса Вл. Маяковского. Стихотворец Юрий Верховский великодушно пыхтел: «Останутся полушки, / Куплю Маше подушки». Суждения Холина на эротический счет отлича-

лись лапидарностью военного приказа: «Полюби меня, сука!» Предсмертные стихи в духе «дзен» штудируют открытый русский мат: «Как чудесно звучит слово Хуй».

Комментарии излишни, не гимны любви, а бюллетень матерщинника.

Я помню горячее увлечение Холина красавицей Варей Филиной, променявшей его на московского богача, долгую связь с Евой Уманской, опять же предавшей его и ушедшей к иностранцу, помню и безуспешные попытки овладеть иностранным капиталом — Камилла Грей, Жанна Болотова, Ольга Карлейль, но яркой любви я не замечал. О женитьбе Холин говорил часто и охотно, особенно в обществе вечно влюбленного шизофреника Зверева, но всегда с ухмылкой бывалого воробья, мол, на гнилой мякине нас не проведешь!

В середине мая 67-го Холин, уставший от зимней спячки в подвале, позвал меня на «отдых» в Крым.

Из Симферополя дороги разбегались по волшебным уголкам побережья: Алушта, Артек, Гурзуф, Массандра, Ливадия, Гаспра, Симеиз, Мисхор.

На остановке троллейбуса номер 52 начинался кад্রেж отдыхающих чувих. Кадрить блондинок из Барнаула и брюнеток из Конотопа Холин умел, как никто. От его кобелиного гипноза сдавались самые неприступные кадры. «Ой, вы поэт! — таяла сибирячка. — А Евтушенку знаете?» — «Знаю, дуся, живем в одном высотном доме, — деликатно чеканил Холин. — Я вам все расскажу на веранде с калиткой». — «Ой, правда?» — и плелась за ним, как телка за ведром.

Я его спрашивал, как же так получается — одним взглядом снять бабу, а он, лукаво ухмыляясь, отвечал, что, «глядя на нее, даже палка у забора вставала!».

Будучи внештатными артистами, мы не имели права на заслуженный отдых организованного быта и работали дикарями без печки и воды, в ужасной тесноте татарского сарая, под грохот морского прибоя. Пляж на весь день

в уютной бухте, а ночью молодецкая ебля на ржавых раскладушках сезонных рабочих.

«Касаемся лепестков и проникаем в глубину этого охуительного царства», — записывал поэт в тетрадку.

Новый 1968 год мы встречали у Алены Басиловой, примерной ученицы Холина и «дамы с сюрпризами», как он меня озадачил. Дама держала модный «салон смогистов» на Садовой-Каретной, в похожем на тонущее корыто строении на снос.

Следует сразу заметить, что в бесконечной поэме «Умер Земной шар» (1965) среди двадцати пяти особ женского пола лишь одна Басилова не просто «друг», как поэтесса Уманская, художница О.А. Потапова, или художник Дина Мухина, или знакомая автора Марина Надрובה, или, по просьбе Сапгира, Таня Плугина, а «друг» с многозначительной приставкой «женщина»!

Библейское лицо. Глаза с поволокой. Зовет в бездну.

Накануне праздника к нам в подвал заглянул дежурный фаворит «женщины», дантист Коля Румянцев, три года отсидевший за содержание подпольного борделя на советской земле. Он забрал деньги на шампанское и, сверкая золотым зубом, покатил дальше.

За час до полуночи, в метель и ветер, с ведром кислой капусты мы вдвоем двинулись на встречу Нового года. У входной двери стоял приземистый живописец Эдуард Зеленин, сибиряк из чугуна и стали. Он прижал нас к стене и разъяснил содержание картин, покрывавших стены длинного коридора. Холин внимательно выслушал лекцию, похвалил сибиряка за смелый мазок и проник в тускло освещенную оранжевым абажуром комнату.

В густом табачном дыму люди провожали минувший год.

Сексуальный мистик Ю.В. Мамлеев шептал в ухо «мамке русской демократии», по кличке Лорик, о людоедах Замоскворечья. Матерый реформатор стиха Генрих Сапгир обнимал пышную и вечную невесту Оксану Об-

рыньбу, искавшую породистого ухажера. Личный архитектор «Исаича» (А.И. Солженицын), Юрий Васильевич Титов, молча чавкал над тарелкой квашеной капусты. Чернобородый сын знаменитого генерала Алексей Быстренин рисовал на столе абстракции. Меценат в рыжем парике Сашка Адамович ублажал девиц Эдельман и Жаботинскую армянскими анекдотами. Знаток французской лирики, чуваш Генка Айги, внушал заезжому португальцу Суаресу, что главное в поэзии «белое на белом», а остальное — дерьмо собачье. Самовлюбленный Генрих Худяков, переделавший Шекспира на русский верлибр, яростно спорил со стеной.

Вокруг стола с едой, как мухи над навозной кучей, роились «самые молодые гении» с гранеными стаканами в руках. Они прыгали с места на место, втыкали окурки в тарелки соседей, орали, пили и толкали друг друга по бокам. В темном углу на собачьей подстилке храпели двое самых видных «смогистов» Москвы, Ленька Губанов и Мишка Каплан. На черном троне неизвестной резьбы, вся в сияющих, фальшивых брильянтах, восседала «женщина» Алена Баилова с поклонниками по обе руки. Харьковский закройщик Лимонов чистил ей горячую картошку, а дантист с золотым зубом разливал по стаканам водку.

Мы присели на край истлевшего дивана, где острые пружины кусались, как змеи. За фанерной стенкой кто-то подозрительно громко трахался, не обращая внимания на общество.

Ровно в полночь, под бой кремлевских курантов, известивших о наступлении Нового года, из темного угла выполз поэт Губанов, ловко прыгнул на стол с объедками и как оглашенный завыл: «Ой, Полина, Полина, полынья моя!» Его прервал пьяный голос снизу: «А воспеть женщину ты не умеешь!» Смогист затрясся, как в лихорадке, опрокинул ведро с капустой и с криком «Бей жидов!» прыгнул на обидчика Каплана. Под звон и гам смогисты покатались по полу, кусая друг друга.

Гей, славяне!

Войну поджигали со всех сторон. Как только верх брал Каплан, то все хором кричали «Долой черную сотню!», как только выкручивался Губанов, то кричали «Дай, дай ему прикурить!».

Пьяный иностранец выл от восторга русского праздника. Мистик Мамлеев и Лорик закрылись в уборной, сославшись на боль в животе. Сапгир заказал такси и смылся с невестой в другое место.

Холин выпрямился, как ружейный штык. Из узких глаз полетели такие острые пули, которых я еще не видел. Командирским голосом он приказал:

— Тихо, дать вашу рать!

Жаль, что вас не было с нами. Народ затих. Драчуны расплозились по углам. Дантист и закройщик разлили шампанское. «Женщина» Басилова тряхнула брильянтами. Холин произнес новогодний тост:

— Не спешите в гроб, господа!

Я подумал, что Холин был не простой солдат, а боевой капитан в настоящей войне.

\* \* \*

Русские обожают памятники. Нищая страна возводит многотонные и дорогостоящие монументы вождям, военным, космонавтам, писателям, художникам, героям труда и войны. Памятники Александру Сергеевичу Пушкину, «солнцу русской поэзии», стоят повсюду, в бронзе, мраморе, гипсе, глине, дереве.

У Холина были свои счеты с Пушкиным.

Он шел к Пушкину узкой тропой нигилистов — «сбросить Пушкина с корабля современности» (Давид Бурлюк), но плевал не на «солнце», а в «многопудье» (Вл. Маяковский) казенных почестей.

Значит, по Пушкину, пли!



На православную Пасху (1968), у церковной ограды крестного хода, с торжественным «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ», Холин вдруг ляпнул:

— А вы знаете, что Пушкин был большевик? «К лукавому склонив на грудь главу, вскричала: ах, и пала на траву», разве Царица Небесная падала на траву?

Пушкинист Люба Авербах, новое увлечение поэта, вспыхнула как спичка от возмущения:

— Нет, Игорь Сергеич, Пушкин — свет, цвет и бог России, а вы — провокатор и бес!

Со школьной скамьи я, знавший наизусть три сезонных пушкинских куплета, с восхищением смотрел на Любу, разносившую неуместный и злой выпад Холина.

На совершенно неизвестных и поразивших меня примерах биографии поэта с цитатами: «Вхожу ли в многолюдный храм», «Анахорет молился Богу», «Бога глас ко мне воззвал» — Люба доказала бесспорное православие и церковность великого поэта.

— Закон Божий и церковные правила Пушкин знал изнутри и с пеленок, не читая книжек религиозно-философских кружков, — расходилась Люба Авербах. — Его поэзия — непрестанная молитва подвижника. Нам гениальный «сверчок» пел любовь и, значит, Бога! Вера и любовь, соблазн и раскаяние всегда вместе! И лежит он на Святой горе! Вперед к Пушкину, Игорь Сергеич!

Однако последнее слово оставалось за поэтом:

— Люба, ставьте памятник Холину, а не Пушкину!

Тут все дружно рассмеялись.

Холин начал новые стихи «Дорога Ворг»: «Дорога Ворг ведет в морг» — музыка абстрактных фраз и барачная заумь в ярком союзе.

Осенью 68-го на пустующем мольберте я обнаружил машинопись холинской «Эрики», не пробивавшей две буквы, стихи, мне адресованные: «Вал. Воробьеву: приходи ко мне в гости. Мой адрес: вселенная Фрезер, Галак-

тика 9, Планета 24 и дальше: Берегись автомобиля, / Пешеход! / Береги себя от пыли, / Пешеход! / Берегись от болезней, / Пешеход! / Витамины нам полезны, / Пешеход! / Вот в киоске авторучка, / Пешеход! / Вот кафе, зайди с полочки, / Пешеход! / Выпей водки, съешь сосиски, / Пешеход! / На заем идет подписка, / Пешеход!»

Слово «пешеход» в ритме маршей братьев Покрасс — «загудели, заиграли провода: мы такого не видали никогда» — повторяется восемь раз.

Образец холинского концепта.

Любой герой Холина, где бы он ни обрелся, остается барачным тараканом, не достойным сожаления.

По Холину, барак — не выдумка коммунизма, не шестая часть света, а вся планета, вся вселенная — барак, и никакие перестройки сознания не меняют этой сущности.

Игорь Холин съехал, но я недолго страдал от одиночества. На постой попросился ученик А.А. Штейнберга, водитель автобуса Виктор Сеницын.

В начале октября 71-го я зашел к Холину. Он мне сказал, что 30 сентября, в четверг, Мишка Гробман с Ирккой, сыном Яшкой и дочкой Златкой улетели в Израиль.

Культура в России — упрощенный вид спорта. Художник и поэт Гробман задохнулся в Текстильщиках коммунизма, антисемитизма и революционного барака. Он первым упаковал потрепанный чемодан: с семьей и легальным путем, с позволения власть имущих пролетариев, вылетел на «историческую родину».

За Гробманом, как за Петром Первым, прорубившим окошко в Европу, потянулись социально близкие туняядцы, евреи, поэты, танцоры и шахматисты.

Семейное тепло согревало Мишку Гробмана. Человек без профессии, он многим рисковал, отправляясь на Запад. Но у него была благородная цель: жить и работать среди своих, там, где тебя не будет тыкать жидом «великий русский народ».

Гробман черной ваксой рисовал натюрморты и сочинял стихи мистической интонации: «И лунный свет стучит в оконное стекло...»

Среди барахольщиков Москвы он занимал очень видное место. За годы упорного обмена и безжалостной торговли на износ противника он собрал внушительную коллекцию нелегальных рисунков, сотни редких книг, тысячи икон и грамофонных дисков. Сокровища размещались в кривой дыре с ветхим балконом.

Игорь Холин успел сменить одну «вселенную» на другую. Я его обнаружил в однокомнатном кооперативном логове в Кузьминках.

Важная деталь: у Холина жил негр. Денежный квартирант. Африканский демократ с твердой валютой. Негр занимал главную жилплощадь с видом на дикий лес, а хозяин спал на кухне, под газовой плитой. Зачем знаменитый поэт сдавал единственную комнату негру, показало время. Прямая связь с мировым рынком сбыта шла через чернокожего демократа.

Над газовой плитой я увидел обширный, шитый парчой и золотом фигуративный ковер с названием «Положение во гроб». Церковное украшение в келье свободолюбившего поэта меня удивило.

— Гробман научил меня меняться вещами, — коротко и содержательно сказал Игорь Сергеич.

Коллекция выше революции!..

Ни облавы, ни тюрьмы, ни штрафы не смогли победить собирателей почтовых марок, значков, ковров, прялок, самоваров, икон, книжек, картин, шкатулок.

Старьевщик победил большевика.

Художник, поэт и барахольщик Гробман, живший в соседнем барачном квартале Текстильщики — Третья улица, 17, корпус 2, квартира 7, поучал своего друга:

— Видишь ли, Холин, в каком убогом жилье и в какой дикой стране я живу, а все равно буду охотно меняться вещами!

Гробман быстро пристрастил Холина к новой и захватывающей деятельности с постоянными деловыми встречами. К Холину на кухню зачастили нужные люди черного рынка, маклаки с битком набитыми чемоданами, букинисты, старьевщики, фарцовщики, продавцы комиссионки. Приносили иконы, прялки, вазы, картины, кинжалы, стулья, а уносили японские транзисторы, голубые джинсы и фирменные диски.

Преступный сговор!

Значение черного квартиранта иностранной связи росло на глазах.

На первый и поверхностный взгляд фарцовка, или «незаконный промысел» уголовного кодекса, — занятие, далекое от эстетики, а если копнуть поглубже, то эти человеческие дисциплины поставлены на один и тот же фундамент искусства слова и дела.

Поэты Холин и Гробман не наживались, а играли в торговлю.

Холин, царствуй, лежа на боку!..

На лихорадочную эмиграцию земляков он смотрел с олимпийским спокойствием. В очень дождливую осень 73-го мы встретились на похоронах Гаяны Каждан, художницы, быстро сгоревшей от саркомы во цвете лет и творчества. Теперь он выглядел не эком, а английским лордом в непогоду.

Модный реглан «шако», клетчатая шляпа, роговые очки и дождевой зонт с резной ручкой.

В результате немислимых квартирных обменов он сумел обеспечить жилплощадью стареющую Марию Константиновну, замужнюю дочку с внучкой и сам обосновался в уютной квартирке уехавших в Израиль евреев.

И он снова мой сосед! Сухаревка, Ананьевский, 4, квартира 10. У себя Холин представил мне отлично сложенную женщину с выразительным конопатым лицом, в сапогах выше колен.

— Ирина, — смущенно представилась рыжая красавица, — Ирина Островская.

Мне показалось, что эта женщина занимает особое положение в жизни поэта, не временная «полюби меня, сука», а нечто прочное.

Женитьба? Семья?

В 75-м, покидая барак советской цивилизации, я забрел к Холину прощаться. Выпить по рюмке, обменяться адресами, всплакнуть и вспомнить былое. Двери, окантованные в броню, открыл старый Холин в пестром халате с китайскими драконами. Квартирка поэта, сверху донизу заваленная «вещами на продажу», походила на склад комиссионного магазина. На столе, прикрытом древним кавказским ковром, — неделю назад я видел его на стене у Лидии Мастерковой, улетавшей в эмиграцию! — возвышалась груда величественных фолиантов с медными застежками, вперемежку с залитыми лазурью крестами и кадилами. Сотни икон не висели в красном углу, а стояли рядами, как книжки в библиотеке, серебряные оклады метровой высоты, картины в облезлых рамах, колонны грампластинок с яркими надписями: «Величайший в России склад граммофонов», «Я ждал тебя», «Резвился ликующий мир», «Не весь я твой» и сотни названий в том же духе.

Поражал и обогащенный словарь барачного авторитета: «доска», «ковчег», «фуфляк», «оклад», «апокриф», «клеймо», «узор», «лик», «фомич». Иконографию Пресвятой Богородицы от XII до XX века он знал назубок, с ходу отличая какого-то Прохора из Городца от манеры Мишки Лозина, фальшивый сплав Трипольского от подлинной бронзы Сапожникова. Холин проникал в духовные глубины русского народа, как упорный забойщик в угольную шахту.

Всю Россию под суд!

Холин сел за стол, раскрыл фолиант и таинственным шепотом произнес:

— Крюковое письмо XVII века, двадцать цветных украшений ручной работы, ты понимаешь, старик?

Я понимал, что это ценная вещь, но я уже отлетел, мое сознание сидело в парижском кафе с Кандинским и Пикассо.

В бронированную дверь громко постучали. Весь в мыле, меча гром и молнии, ворвался барахольщик Игорь Санович.

— Холин! — взвыл он. — Меня обокрали! Кража со взломом, старик!

Предстоял нешуточный обмен опытом двух маклаков. По чьей наводке пришли грабители? Где могут объявиться вещи? Где найти верного слесаря? Сколько сунуть участковому?

Я допил импортный портвейн и отвалил подальше.

\* \* \*

Потом в Париж доходили слухи: Холин женился. У Холина родилась дочь. У Холина умерла молодая жена. Холин бросил писать стихи.

Акушеры спасли новорожденного ребенка, но не мать. Знаток барачного рая не сразу решился на отцовство. Три года сироту нянчили опытные бабушки. В 77-м, когда дочке сравнялось три года, он впрягся в должность воспитателя и кормильца. Пеленки, стирка, кухня, тетрадки, простуда. В 82-м он купил автомобиль «жигули» и собаку Тунгуса, потом избу под Рязанью, а это сад, огород, природа, педагогика, починки и хлопоты. Годы отцовства и фарцовки.

Политическая перестройка шестой части света свалилась на голову человечества, как бревно с потолка. Молодая демократия упразднила бездоходные тиражи «Блокнота агитатора», но не копнула глубже, в позор векового барака. Выгодные тиражи полицейского чтива попали в

руки заслуженных разбойников пера с многолетними «партийными» связями. За грамматические ошибки не сажали в тюрьму. В Кремле выступил коммунист с крестом на шее. Вор в законе и боевой генерал дрались за сибирское золото. Берлинскую стену растащили на сувениры. Прибалты опять сбежали к немцам. Вселенский барак покачнулся, но устоял.

В кооперативном ларьке Сашки Адамовича с вызывающим названием «Гном», где торговали запретным самогонном и матрешками, великого И.С. Холина встретила бурными, продолжительными аплодисментами кучка пузатых чуваков и слинявших от долголетнего подполья чувих.

Ликбез барака выбрался на волю.

— Смотрите, живой Холин! — орали любители барачной литературы.

Холин выправил офицерскую спину и зачитал сверхпоэму «Умер Земной шар», по ходу дела добавляя в текст имена визжавших от восторга поклонниц и поклонников — Сорокина, Седакову и Рубинштейна. По просьбе М.Я. Гробмана, позвонившего из Тель-Авива, в поэму вписали художника Шмуеля Акермана и поэта Кузьминского, по просьбе В.И. Воробьева в поэму добавили черноморца Олега Соханевича, кинетиста фон Нуссберга и поэтессу Кароль К.

В Златой Праге поэта встречал старожил города и давний «друг Земного шара» Виктор Дмитриевич Пивоваров. Художник, издатель, журналист.

Праздрой со шпикачками!

В вишневом саду русской эмиграции, в захолустном Париже, «среди деревьев неизвестной породы», как зло ковырнул бард Хвост, на подворье Казимирыча, где есть отдельный сортир с водосливом, Холин опять во весь голос читал «Умер Земной шар».

— Нет, Казимирыч, — уверял он старого товарища, — твое подворье не барак, а парижское кладбище Пер-Лашез, а барак — это я!

В давнем споре с Пушкиным — сатирической новелле «Памятник печке», где мишенью глумления служит сборная эмиграции, — Холин и, следовательно, Пушкин предлагают мудрое и гуманное решение: памятник ставить не им, а согревающей пищу и человечество железной «буржуйке» нищеты, горячей печке, за что я искренне аплодирую обоим поэтам.

«Теть твою меть!» (И.Х.)

К старому поэту пришел издатель глянцевого книги. Демократ и частник. До солидных денег еще далеко, но храбрецы выдают тираж читателю.

В прозаической новелле «Иерусалимский пересказ» — речь идет о барачном маскараде с участием чертей, солдат и Сталина — вдруг явились знаки особого, восточного зарева. В 77 лет поэт додумался, что составители библейского свода, допотопные герои человечества, жили на грешной земле неспроста, у них был свет и, возможно, цвет.

Поэт болел и много работал. В юбилейные дни социально близких бунтовщиков «бульдозерного перформанса» (1994) его вывозили на люди, как свадебного генерала, однако в отряд валютного авангарда, как ряд его учеников, он не попал — и стар, и не нужен, и непереволим.

Загадочную поэму «Великий праздник» он заканчивает: «Среди непришедших / Холин, / Среди умерших / Соостер».

15 июня 1999 года его не стало.

Я предлагаю человечеству увековечить память Друга Земного шара Игоря Сергеевича Холина следующим образом:

1. Установить бронзовый памятник Печке на пустующем цоколе свергнутого монумента Феликса Дзержинского в Москве.

2. Переименовать поселок Лианозово Московской области в городок Друзей Земного шара имени Холина.



3. Присвоить имя Друг Земного шара: ордена Трудового Красного Знамени первой образцовой типографии имени А.А. Жданова, гвардейской мотострелковой дивизии особого назначения, атомной подводной лодке, одному из высших учебных заведений, дворцу пионеров города Новороссийска, проспекту или площади в Москве и по одной улице в городах Орле, Истре и Харькове.

4. Установить мемориальную доску имени И.С. Холина на доме 4, в Ананьевском переулке Москвы, где он жил и работал в последние годы.

5. Установить мраморный бюст на могиле И.С. Холина у Кремлевской стены.

Да здравствует Друг Земного шара, великий поэт Холин!

(Бурные аплодисменты. Все встают. Возгласы с мест: «Да здравствует великий Холин!», «Да здравствует барак!», «Да здравствует Печка!», «Ура!» — «Интернационал!»)

## 7. Гений подпольного Хвоста

Мое знакомство с Лешкой Хвостом и его другом Ленькой Енотом состоялось летом 1961 года в славном «Барбизоне» — Тарусе на Оке. Питерские битники автостопом добрались на выставку модернистов в местном Доме культуры. Один (Хвост) — стройный и коротко стриженный, другой (Енот) — остроносый и корявый. Хвост брэнчал на гитаре, Енот мычал, девицы хлопали в ладошки. На вечеринке он пел: «Я говорю вам: жизнь красна / В стране больших бутылок. / Здесь этикетки для вина — / Как выстрелы в затылок».

Поскольку дом поэта А.А. Штейнберга, где готовилась выставка, был забит людьми, я предложил артистам сеновал. Погода стояла чудная, пахло сенокосом и близостью рыбной речки. Гудели катера, свистели пичуги. Естественно, у гостей денег нет и неразрешимая проблема — что выпить и закусить. Здорово поют, национальное достояние, но я не банкир, а нищий живописец, сплю на картинах в конуре. Тут они нарвались на мою

грубость: «На хуй нищих, Бог подаст!» Питерцы обиделись на такой прием, но мне было наплевать.

Значит, да здравствует сено-солома!..

Скандалная выставка с участием самых передовых художников Москвы закрылась. Директора сняли с должности за превышение полномочий, шрифтовик клуба Анатолий Коновалов сбежал в другой город, и зарядили дожди. Питерские гости, проклиная погоду и человечество, смылись в столицу нашей родины.

В наследство ребятки оставили нам девиц либерального поведения, готовых спать не только в сене, но и в любой мусорной яме.

С тех пор я стал традиционным проклятием Хвоста и Енота. При каждой встрече — а они продолжались более сорока лет и в Москве, и в Париже, где мы оказались в одной эмиграции, — они постоянно встречали меня одним и тем же словом: «Ну и грубиян, Воробей!»

Так с репутацией грубияна я оказался в рафинированном питерском обществе. И через сорок лет девушка иного поколения в клубе питерских встреч храбро высказалась: «Мы думали, что вы грубиян, а вы, вижу, человек внимательный к людям».

Я знал, что это о тарусской эпохе сена и соломы.

Хвост был прописан в Ленинграде, но постоянно навещал Москву с гитарой за спиной — отличный арсенал для завоевания неприступной столицы: песня и музыка! Ночевал он где придется, по знакомым, много пил, курил анашу и часто влюблялся.

Особый ветерок с берегов Балтики подпольная Москва приняла на ура. Он вошел в компашку нонконформистов на равных. Знаток стиха «батько Кока» (К.К. Кузьминский, издатель и поэт) определяет поэтическую линию Хвоста от Тредьяковского до Хлебникова. Пусть качество его ямбов и хореев разбирают литературоведы, а мы движемся вперед, заре навстречу.

Со времен царя Гороха пьянство в России поставлено на уровень особой доблести, пить по-богатырски ковшами и до потери сознания, потом опохмеляться, выясняя отношения и основные пункты русской метафизики.

Беспризорный и легкоранимый юноша пустился во все тяжкие пьяного и дикого разгула. Старшие собутыльники — Александр Арефьев, Михнов-Войтенко, Глеб Горбовский — основательно закрепились там. С ними Хвост из искры раздувал пламя самого свободного творчества в дикой стране. Ненормативная лексика блатного мира в нем с пеленок. Питер вошел в жизнь поэта не силуэтом Петра Великого, а пивными и задворками гнилого города. Московская богема — сброд тонких и деликатных душ, алкаши и наркоманы, тунеядцы и шизофреники — не уступала питерской, но поразительно, что Хвост иногда просыхал и сочинял замечательные гимны: «Хочу лежать с любимой рядом», «У гастронома», «Флейта», «Фараон», «Анаша», «Летчик».

«Привет, привет! — я говорю богине, / Укрывшей меня в своей корзине», «Я собственный свой боб кладу в сугроб» — мог написать только чрезвычайно одаренный поэт.

Опеку над питерским битником взял на себя барачный поэт Игорь Сергеевич Холин. Он уступил ему место в своем логове и выдавал по рублю за каждое стихотворение. У него Хвост создал ряд поэтических шедевров. Там же, на Абельмановской, высший ареопаг подпольной литературы — Холин, Лев Кропивницкий, Генрих Сапгир — провозгласил Хвоста поэтом, достойным уважения.

По словам моего друга, начинающего гения Мишки Гробмана, Хвост что-то рисовал, но вот это «что-то» будущий сионист изображал руками волны и добавлял: «Ну, нечто водянистое в английском вкусе, живопись его легковесна и поверхностна». Его «водянистых» рисунков той поры я не видел, а вот стихи были великолепны.

«Старик-ты-гений!»

Все двери московских шалманов открылись перед питерским беспризорником.

\* \* \*

Алексей Львович Хвостенко родился «на границе Европы и Азии» в 1940 году (по его словам) в семье известного переводчика и преподавателя английского языка. Каким образом и зачем семья переводчика оказалась на Урале, установить мне не удалось. Можно предположить назначение молодого специалиста в провинцию, принудительную ссылку, наличие уральского родства. Позднее проясняется детство в голодном послевоенном Питере и знаменитая «английская школа», прекрасно описанная Кузьминским.

«С Хвостом нас соединяла первая английская школа № 213 на Фонтанке, где английскую литературу преподавал отец Хвоста, Лев Васильевич Хвостенко. Он носил прозвище “хаш-хаш” (повторяя бессчетно по коридорам: hush, children, hush!), был подозреваем: английский шпион. Чисто выбрит, прилично одет, вежлив, корректен — ну, точно, английский шпион. Следили годами, чтобы донести (1950—1956), а доносить было не о чем, шпион и шпион. Наша школа была самой английской в СССР. Давали по 10 часов языка в неделю. Преподавали анатомию и географию по-английски. Корни абсурда. Воспитывались на Эдгаре Аллане По, Амбруазе Бирсе (нелегально) и Чарльзе Диккенсе (по программе). Директор школы, Федор Иванович, был дипломатом — бывший атташе в Японии, друг Рихарда Зорге, уволенный за пьянку — традиция алкоголизма. Школа была сугубо мужская до самого победного конца».

После 6-го класса Хвост уехал обратно в Свердловск, а когда в 60-м переселился в Питер, то жил и общался со старшей богемой: Горбовским, преждевременно созревшим Бродским, Аронзоном и художниками-абстракционистами.

Один семестр он протирали штаны в художественной школе, но не вынес академической рутины и забросил учебу навсегда.

Он попал не в дипломаты, а в дурдом. Справка об инвалидности иногда спасала от ареста за тунеядство, но хотелось пить и жрать. Проходилось таскать кирпичи, охранять зверей в зоопарке и писать советские лозунги.

Его песни распевали в тайге и в степи, однако у суровых советских властей он числился дармоедом, а не «инженером человеческих душ». В отличие от своих нелегальных коллег, сочинявших стишки на хлеб насущный, он не опускался до такой поденщины, предпочитая кормиться крошками с чужих столов. Намереваясь обосноваться в столице, он женился на москвичке, но очень быстро перебрался к ее подруге Римуле Городницкой. Московский быт не отличался от пьяной питерской жизни, но добавились выпивоны бесчисленных проводов в эмиграцию. Восстанавливать распорядок его московских лет, 70—77-го, нет никакого смысла. Они бецветны и пусты. Правда, родилась дикая и неотвязная идея: уехать на Запад, где всего навалом без очередей. Совдепию он покидал с женой и на русское «авось что выйдет»!

На вольный Запад поэт спустился «апатридом» (1977) и отметился в Израиле, где провел месяц, занимая деньги у друзей. Там в содружестве с каббалистом Анри Волохонским он написал удивительную песню «Голубое небо» — «Над небом голубым / Есть город золотой / С прозрачными воротами / И яркою стеной» — лучшее украшение их долгого поэтического содружества. В Па-

риже, куда Хвост приехал с женой, его поджидал «старший браток» Арех (Арефьев) с ящиком клошарского вина. Братки пили до тех пор, пока ослабевший Арех не отдал концы. Римуля вязала на продажу мохеровые шапки, а Хвост гулял. Их сваха, разбогатевшая Аида Сычева, милостиво сдала им квартирку, но, не дождавшись платы, описала все артистическое имущество — от картин Хвоста до шапок Римули. В паре с питерским земляком Владимиром Марамзиным бард рискнул угнестись в эмигрантской литературе. Журнальчик «Эхо» не пережил одного номера, а нужда постоянно дежурила у стола. Богемный быт в парижских обстоятельствах, жена и дочка, необычные расходы на аренду жилья, оплату таких природных вещей, как вода, мазут, кислород, выводили из себя, и, как издавна повелось, жизнь была пушена на самотек, куда кривая вывезет. Из щедрой Французской республики семейство старалось выжать все блага: дешевую квартиру и пособие по бедности. Хорошими советниками для такой осады государства были новые знакомцы, дальновидный фотограф Валька Тиль-Смирнов и ресторанный баритон Флор Кеслер, хорошо осведомленные, где расположено окошко республиканской заботы о немощных людях.

Не по книжкам, а на живых примерах я видел, что богемный стиль жизни не совместим с семейным благополучием. Разрушение драгоценного здоровья семьи, освященной веками человеческой мудрости, преступно, но очень часто супруга поэта Римуля звонила по ночам с одним и тем же вопросом: «Ты не знаешь, где Хвост?»

Поэт бросал якорь там, где был постоянный праздник. Песни, игры, выпивка. Он знал подход к чуткому женскому сердцу. Образцовые мещанки его сторонились, но артистические натуры души в нем не чаяли.

...Ася Муратова, Ольга Лурье, Татьяна Флавицкая...

«Хвост — мужчина общественный!» — любила повторять хозяйка парижского салона Аида Сычева.

Человечество он делил на две неравные части: на гениев и жлобов. «Например, я — гений, — разъяснял он, — и не обязан давать жлобам отчет».

Сочинитель стихов и песен брал в долг, чтоб не отдать. Надуть своего ближнего, православного или буддиста, дантиста или инженера, для него стало так же естественно, как обоссать два пальца.

Отряд избранных гениев! И Хвост — там!..

В прозе гений Хвоста сильно спотыкался. Его пьеса «Робинзоны» (1982), поставленная в декорациях Сергея Есяяна в студенческом театре Стокгольма, заслуженно провалилась после первого представления. В ней иностранный материал — британский подданный Робинзон Крузо с Пятницей изъясняется суконной, русскоязычной абракадаброй: «Ведь вы-то лучше других знаете, что неожиданная радость может остановить биение сердца». Там же: «подбадриваемый жестами», «набираем в легкие воздуху», «исполнить свое намерение», «манить его по направлению».

На одной из эмигрантских трапез я сказал Хвосту, что это не язык, а плоское косноязычие. Пьесу «Пир» он написал в стихах, где был намного сильнее.

Два-три года он сотрудничал с издателем бездоходной «Мулеты», артистом уличных перформансов Толстым (В.С. Котляров), издал десяток стихотворных сборников на шершавой бумаге, но по-настоящему нашел себя в изготовлении «ненужных вещей».

\* \* \*

Хвост всегда нехотя рисовал, а в 1988-м увлекся фабрикацией «объектов» из богатых отбросов капитализма. Лучшего места, чем скват, для такой работы не придумать. Раз посетив выставку скватских артистов на площади Италии, я обнаружил там его ловко строгавшим доски. На



стенах его ателье, затянутого пластиком, висел десяток отлично скомпонованных конструкций из старинной древесины. Тут же лежали пачки черно-белых коллажей.

— Старик, покажи все это Басме (маршан Басмаджан), он оценит твой благородный труд, — направил я его на путь верного успеха.

Галерейщик взял у него всю продукцию. С оптимизмом в кармане началась уверенная охота за клиентом по клубам, галереям, музеям.

Не всякий артист осознает свой шесток, свою нишу, одному мешает врожденная глупость, другому непомерное честолюбие.

Хвост чутьем определил свое место в культуре парижских скватов. Сначала анонимно, в общей куче, а затем авторитетно и достойно стал их выдающимся представителем.

По свидетельству бывалых эмигрантов — Слепяна, Шемякина, Бруя, — шовинизация, а с ней и упадок парижского авангарда, родилась в начале 70-х годов. Все попытки Володи Слепяна, владевшего языком Мольера с детства и работавшего в «духе времени», попасть в национальную команду Франции разбились вдребезги. Казалось бы, что наплыв эмигрантов из Африки, Восточной Европы и Латинской Америки обогатит Францию, а получалось наоборот: замыкаясь на выходах французской глубинки, искусство беднело и отставало от моды. Значит проблемы объясняют этот феномен резким изменением мировой экономической системы, многомиллионной эмиграцией и большим притоком талантливых людей, но от этого иностранцу не легче. В стране хоть шаром покати — ни «школ», ни «гуру», ни свежих «манифестов».

Один грубый шовинизм!..

К счастью, хороший мастер всегда находит своего частного ценителя.

Хвост много работал и беспорядочно пил. Его хрупкий организм не вынес такой нагрузки. В 89-м году его трижды

резали в больнице. Хирурги заменили сгнившие внутренности и поставили человека на ноги. Деловая дама эмиграции Ольга Лурье организовала всепарижский сбор средств на лечение великого артиста. Полгода Хвост держался сурового режима, не пил и не курил, а потом возобновил ежедневные праздники.

В начале 90-х он возглавил русское объединение под названием «Тундра». Любопытно, что в его списках я обнаружил имена Рабина, Жарких, Зеленина, Путова — видных участников московского подполья. Они выставались по кабакам и клубам, но беспризорное искусство русской банды не находило сбыта.

В артистическом сквате «Жюльетт Додю» Хвост стал ответственным лицом за группу русских художников. Постоянный завхоз, парижский анархист Рене Струбель, впустил в огромное помещение брошенного гаража африканцев, поляков, немцев, но русские давили количеством, и вскоре весь скват овладел русской речью.

Свобода, ностальгия, романтика!..

Сообщник Хвоста, питерский закройщик Матусов, быстро сообразил, что в скватах не следует стесняться и строить из себя гуманиста. Новую западную жизнь он начал со сбора членских взносов со всех обитателей гаража, не приученных к активному сопротивлению злу и насилию. Он умудрился собрать грузовик фирменных товаров для «сирот Ленинграда» и отправить их своей родне в Гатчину. Оборотистый и симпатичный портной легко и весело начал жить на горбу Французской республики, не забывая выколачивать денежки из наивных земляков. Он выписал из Гатчины жену и детей, получил от города квартиру и пособие. Матусов сменил иглу на кисть и в отсутствие Хвоста руководил «Тундрой». Такой проходимец был необходим трупсоватому вождю.

В перестройку в сквате образовался очаг неофициальных встреч эмиграции с представителями новой России.

Туда зачастили приезжие музыканты и поэты, экономившие командировочные деньги.

Жили весело и с музыкой!

На поклонение таинственной русской «Тундре» валили толпами. Коллекционеры злободневного искусства, пораженные дешевизной русских новаторов, скупали и вывозили на вес, с намерением нажиться как можно быстрее.

Голоса официальных снобов: «Противно смотреть! Сплошная глупая мазня! Непролазная грязь! Художники воняют, как козлы, и мычат, как пещерные дикари!» — тонули в море почитателей.

Адрес сквата продавали в Гатчине, Харькове и Бельцах.

У выдавших виды людей создавалось впечатление, что одна часть мира рисует, поет и танцует, а другая спит на деньгах.

Гении и жлобы, воры и шизофреники, мудаки и бляди — постоянные участники скватских тусовок вокруг стола с ядовитыми алкогольными напитками — олицетворяли собой подлинную творческую свободу или социальную неудачу слабаков?

Что заставляло фанатиков и придурков искусства собираться вместе? Бедность, одиночество, невежество?

Международный сброд артистов вышибал отряд жандармов. Для спасения громоздких артистических шедевров владелец гаража предоставил вместительный, многотонный грузовик.

Хвост спешит. Он в самых неожиданных местах.

Грандиозная выставка двоих парижских гуляк, Хвоста и Бруя, состоялась в здании бывшего борделя под названием «Хрустальный дворец» (1994), в двух шагах от официального центра искусств Бобур, и запомнилась мне навсегда. Посреди выставочного зала возвышалось огромных размеров корыто свекольного винегрета и русский посол над ним, рядом свора голодных эмигрантов и сотни работ, красота современного авангарда.

Эстетика Хвоста — не модный видеоарт, а универсальный конструктивизм, неисчерпаемое и глубокое направление искусства 20-х годов.

«Я не стилист, — говорил он, — я “геореалист”, меня вдохновляет бревно на пляже».

Финансового положения «геореализм» не поправил. Бордель стал магазином модных вещей. Хвост бросился на розыски нового сквата.

Владелец пустующей типографии за символическую плату уступил ненормальным русским свое помещение на Райской улице.

Русский клуб в Париже, на мой взгляд, стал высшим поэтическим достижением Хвоста, нерукотворным памятником его Судному дню. Клуб «Симпозион» навсегда вписался в культуру Парижа.

Хвост тщательно следил за своим артистическим имиджем. Битник, хиппарь, панк. В эпоху «Симпозиона» он обрил голову, сохранив на затылке косичку, «фенечку». Дырявые джинсы сменил на черные шаровары — этакий бандурист казачьих времен.

Подвал поднимала артель украинских мастеров в обмен на бесплатную ночевку. Воду, свет, огонь Хвост считал производством натурального вида, стало быть, бесплатными, а когда пришел первый угрожающий счет за услуги, его демонстративно разорвали, не намереваясь делиться с государством скудными доходами. Потом все эти «бездарные ксивы» отсылали владельцу подвала, страстно влюбленному в культуру России.

И, несмотря на финансовые преграды, русский клуб гордо держался пять лет подряд. Ежедневно там пили бормотуху, дрались и ставили спектакли. Работала дешевая обжорка для голодных шахтеров Донбасса. У меня не хватает бумаги, чтобы перечислить всех артистов метрополии и зарубежья, отметивших своим вниманием заповедное место на Райской улице. Туда заглянули «Митьки» и «Му-

хоморы», барды и академики, послы и жандармы, шахтеры и писатели, живописцы и закройщики, там проходили литературные читки самого лучшего уровня, на суровых, совершенно черных стенах клуба висели объекты из брошенной древесины.

«На Райской улице, друзья, не пить и не дышать нельзя!» — ублажал гостей хозяин.

Я не пропускал праздника «скорпионов» 14 декабря, а с 2001-го заходил не только по официальным «четвергам», а когда вздумается, потому что снял рядом «африканскую гробницу» и предпочитал обедать в обществе Хвоста.

Игра подпольного атавизма!..

Подземные глубины, крысиные норы, куст бузины над окошком, возня черных рабов. Весной 2001-го он заглянул ко мне с бутылкой портвейна.

— У тебя тут тихо, как на том свете, — сказал он, спускаясь в гробницу.

Хвост побывал в Израиле с концертами, был доволен поездкой, встречался там с нашим общим товарищем, сионистом Мишкой Гробманом, и привез кучу подарков, как он выражался, из Святой земли. В пору редкого отдыха он забрел ко мне и рассказал:

— Мишка, говорю я ему, — картины у тебя хорошие, но, на кой хуй, ты пишешь бездарные стихи? А он мне: что значит бездарные? А я ему: это значит, что таланту нету ни хуя, вот!

Возвращаюсь в Россию, — вдруг начал он, расставляя шахматные фигуры, — зовет дочка, почитатели. Воробей, я там знаменитый классик, «над небом голубым» поет вся страна.

Я молча разлил портвейн по стаканам и уткнулся в доску.

Как всегда, наша партия закончилась вничью.

— «Мое сердце огрубело, / Мое тело почернело», — напел я вещь, написанную им в содружестве с композитором Камиллом Чалаевым.

Этот «Симпозион» постигла та же участь, что и другие русские начинания, — его прикрыли за неуплату налогов. Хвоста разгром клуба основательно подкосил.

Летом 2004 года его вызвал русский посол и торжественно, и бесплатно, вручил паспорт гражданина Российской Федерации. Поездка в свободную и пьяную страну, естественно, была триумфальной. Взаимы давали все: и гении, и жлобы. Уважительные причины для гульбищ неисчислимы. То поминки, то крестины, то открытие, то закрытие. Пел и читал. Дотянул до осени, а 30 ноября умер от разрыва сердца.

## 8. Первый кинетист Совдепии

В Измайловском парке, в ничем не примечательном кирпичном доме, жил мой сверстник Лев Нусберг.

Осенью 1961 года мы с Эдиком Штейнбергом поехали смотреть его произведения. В крохотной комнате с балконом в лес поблескивали корешки книг Достоевского, Вл. Соловьева, Вел. Хлебникова, Бердяева, Бергсона, Канта, Фрейда, Ницше. В углу висел ярко окрашенный «объект», сфабрикованный из картонных отбросов и прессованных яичных упаковок. Вместо кистей и тюбиков на полу валялись веревки, ящики, проволока, гвозди, лампочки.

— Все эти раскрашенные ящики и шары должны петь, танцевать и светиться, — весело начал молодец в красной рубашке. — На ремесленную работу, правда, уходит уйма времени, а оно в обрез. Мне нужны грамотные и способные помощники.

Эдик закурил и поскреб в макушке. Я ухмыльнулся. Хозяин принес чай и включил радиолу. Над золотыми лесами, где еще мычали коровы, а по ночам бродили

пьяные разбойники, полетели звуки волшебной музыки. Финал был такой мощный, что казалось, что стены комнатушки разошлись и мир застыл в ожидании сказочных событий.

Среди груды запрещенных книг, папок, рулонов, картин, рельефов, скрестив на груди мускулистые руки бойца, стоял создатель новой эстетики и вдохновенно смотрел на мир озорными глазами победителя.

В том, что это было настоящее искусство, мы не сомневались, по крайней мере я. Лев Нусберг превосходно рисовал с натуры, легко и стильно деформировал изображение, обладал особым композиционным нюхом и лихо распоряжался красками. Не смутил меня и его таинственный «кинетизм» — тогда я уже знал, что «измы» меняются по сезонам, а подлинный дар остается невырубаемым, — смущало другое: каким образом это искусство, сработанное в подполье, вне официальных заказов, войдет в пространство коммунистической Москвы?

Кто он: чудака? мошенник? гений?

Путь, избранный Нусбергом, был на удивление прост, ясен и уникален: он не бросился как угорелый в прибыльную торговлю с иностранцами, где основательно закрепились коллеги — Ситников, Рабин, Зверев, Плавинский, Кулаков, — а пошел на открытый приступ главной цитадели советской эстетики. Прямолинейный, но опытный и хитрый вожак шел не один. За ним увязались горячие и юные последователи.

1962-й — год необычайный в истории русского искусства. В октябре на сходке у Нусберга собрались шесть его учеников, летом окончивших МСХШ. Они согласились с основателем русского кинетизма создать «орден московских кинетов». «Я завел разговор о новом характере коллективного творчества, о суровой отныне дисциплине в группе; но способный Миша Дорохов и симпатичная Таня Калинкина агрессивно высказались



против и никогда не участвовали в наших выставках, — вспоминает Л.В.Н. — А мы собирались и работали конспиративно, так как большинство моих учеников жили в нормальных советских семьях: за групповщину преследовали, да и “гэбуха” не дремала».

Вожак знал, что делал. Опасность делу грозила не столько сверху, где враг был на виду и давно определен, сколько снизу, из обывательской тьмы народных масс, оборотней и ловкачей коммунальных берлог, рядовых доносчиков пролетариата, беспокоящих и запуганных сталинскими временами родителей.

«Во спасение своих заблудших сынков особенно усердствовали в лживой информации “куда следует” маменьки Дорохова и Инфантэ».

Однако, несмотря на коммунальную блокаду, молодой коллектив тайком, в немыслимых для творчества условиях, без позволения родителей приготовил обширную выставку своих произведений.

Ударная вещь Нусберга той поры (1962) — полутора-метровый кинетический шар со светодинамикой, с музыкой и в движении.

Основательную помощь в сборке шара, названного «Марсом», оказал рабочий Леонид Талочкин, ставший известным архивариусом и коллекционером русского андеграунда.

«Я привез шар на допотопном “Харлее”. У Льва пришлось его на веревке поднимать на балкон четвертого этажа, так как в дверь он не желал пролезать. Лев сделал из него кинетическую работу, и она крутилась. Мой “Харлей” пошел на переплавку и сгнил в загородной куче металлолома», — писал потом Талочкин.

Но как и где себя показать?

Смелую заявку молодого кинетиста благосклонно принял член правления Клуба творческой молодежи Серафим Павловский, но с одним условием: чтоб усы-

пить мастодонтов соцреализма, группа выступит под шапкой декораторов-орнаменталистов.

Первое выступление, вечер «орнаменталистов» и выставка в помещении ЦДРИ прошли с успехом 25 марта 1963 года.

Физики и лирики, абстрактивисты и стилиаги, фарцовщики и лабухи, как умели, разряжали густопсовую атмосферу советского патриотизма.

Завистники распускали слухи о ренегатстве Нусберга. Охранники академического мракобесия открыли на него негласное дело. Малочисленные реформаторы и модернисты вроде декоратора-монументалиста Серафима Павловского и его сына-архитектора, предложившего выставку в молодежном клубе «Диск», и стали союзниками московского новатора.

Выход с открытым забралом, мужественный вызов власти имущим и неожиданный успех в оппозиционных кружках придали Нусбергу еще больше уверенности.

Стояла снежная зима 1964 года. Трескучий мороз и полущубки. Москва наполнилась слухами о таинственных «кинетах». Пригласительный билет один, а приходят пятеро. 11 декабря молодые любители новизны и скандалов — Миша Левидов и Ася Лapidус, Ирка Гробман и автор этих строк — вышли из гостеприимного дома поэта Аркадия Штейнберга и гурьбой побрели в Марьину Рошу (клуб «Диск», улица Большая Марьинская, 23), на выставку кинетистов-орнаменталистов. То, что мы увидели, превзошло все наши скептические прогнозы. Это были не орнаменты, а невиданный ранее и незабываемый праздник искусства в сермяжной Москве, а теперь кажется, что и в Европе. Все пространство клуба «Диск» Нусберг со своими учениками-кинетами превратил в единый художественный и музыкальный лабиринт, от пола до потолка, от стены к стене рассеченный ярким, ослепительным светом всевозможной конфигурации.

Невиданные геометрические структуры и ажурные конструкции сверкали, крутились, «пели», создавая гармонический мир нездешней красоты!

В отсеках запомнились работы Риммы Заневской, «Воло» Акулинина, Паки Инфантэ, Вити Степанова, Гены Нейштадта. Сам лидер представил полсотни геометрических абстракций, планы будущих «эстетических структур» и светящийся и поющий Марс, вращающийся под потолком.

«Кто они такие?» — обратился к нам суровый старик в потертом мундире. «Это кинетисты, это — Движение!» — отвечал все знавший Левидов.

«Що цэ такэ кинетизм?»

«Движение — это душа и сердце кинетизма», — непрекаемо определяет Лев Нусберг.

Знаменитый американский художник Александр Кальдер вышел из абстрактной скульптуры. Его металлические лопасти типа воздушных винтов, с применением цепей и тросов, в 50-х годах стали классикой мобильной конструкции. Венгерский эмигрант Николас Шоффэр, практик и теоретик движения в искусстве, мечтал о трехсотметровой крутящейся башне. Немец Хайнц Макк создавал динамические объекты из органических зеркал и синтетических материалов. Поляк Петр Ковальский отлично управлялся с неоновым светом. Функционализм Бакки Фуллера был строго прикладным и отлично вписывался в пространство индустриальной архитектуры. Швейцарец Жан Тингели внес в кинетику абсурд и юмор.

Коллектив Нусберга «Движение» шел плечом к плечу с мировыми экспериментаторами кинетизма, что было явлением чрезвычайно в твердыне вечного и нерушимого русско-советского академизма (хотя такое уже случалось в 1914—1920 годах).

Кинетизм Нусберга ворвался в искусство с черного хода, под прикрытием молодежных клубов (КТМ) и сра-

жался сразу на два фронта: за признание в советской культуре и за законное место в мировом искусстве, используя открытые и конспиративные формы действий.

В манифестах, пояснительных статьях, записях бесед с учениками Нусберг хитро и тонко применяет различную тактику. Советскому начальству он внушает мысль о якобы прикладном характере нового течения, способного украсить быт трудящихся страны, а в западной прессе «Движение» подается им как авангард новой культуры, как новое мировоззрение, «духовный костер будущих поколений», что для идеологов коммунизма звучало опасным бредом буржуазного утопизма.

«Мы ищем новые средства художественного выражения, мы хотим, чтобы наши пластические находки были использованы в эстетическом решении городских пространств», — говорит Нусберг советским людям, и в то же время (1966 год): «Вон дедушка Ленин не только российские, но и европейские университеты оканчивал, десятки лет не вылезал из библиотек, а как был духовным жлобом, так и остался черствым, бездушным душителем культурного авангарда».

Опасная игра в кошки-мышки с безжалостной и темной властью продолжалась.

Дом архитекторов Ленинграда предлагает выставку (1965) — опять аншлаг и успех! Дворец культуры Института атомной энергии в Москве (1966) — все говорят о кинетизме Нусберга!

Украшение города на Неве к пятидесятилетию Октябрьской революции (1967) — не первый, но самый грандиозный госзаказ в обход всех «союзов», «худфондов» и «комбинатов» — и неслыханный ранее успех тридцатилетнего кинетиста в России и на Западе!

«Человек широкого кругозора и чуткий к современности» (по Нусбергу), академик архитектуры Сергей Борисович Сперанский и главный художник Ленинграда,

архитектор Василий Александрович Петров («большой барин и тоже свойский человек»), доверились молодому, никому не известному московскому кинетисту, творившему со своими юными последователями то на голубятне гармониста Галкина, под недремлющим оком тети Пани, то на балконе измайловской коммуналки, то на квартире полковника спецвойск Акулинина, то в пещерах Крыма.

Первая просторная мастерская — «Инженерный домик» в Петропавловской крепости. Общественное прикрытие либеральными архитектурными кругами. Нескрываемый интерес ленинградских инженеров, художников и архитекторов к необычным опытам москвичей.

Год 1968-й — год политических волнений в Европе, а для Нусберга еще и чешский, с Пражской весной под советскими танками. В Праге — надежные друзья «Движения»: арткритики Душан Конечный, Пеер Шпильман, Мирко Ламач, Иржи Падрта, Арсен Погрибный, Индржих Холупецкий, Здэна Главова и другие. Каково им там? Подполье, бегство, изгнание, тюрьма?

Работы Нусберга и его учеников в этот памятный и проклятый год были важности чрезвычайной и судьбы печальной. Нет смысла распространяться, какими окольными путями получил Нусберг заказ на берегу Черного моря, но летом, в Туапсе, он теоретически разработал, с приложением эскизных набросков, главный проект своей жизни: футурологический «Макрополис», или «ИБКС» (игровая бионико-кибернетическая среда) вокруг города будущего, ориентированного на 2030—2050 годы.

Детский мир увлек кинетов. За восемь солнечных месяцев они оформили пионерский лагерь отдыха «Орленок»: Кинетический игровой городок, пространственный настенный объект «Пламя»; задники для театра и конструкция «Пылающая звезда» восемнадцати метров высотой.

Официальный эстетический шаблон в СССР постоянно обновлялся.

В 50-х годах это были опрятные, безликие картинки по всем дисциплинам ученья и развлечений : Решетников — «Опять двойка», Григорьев — «Вратарь», Налбандян — «Все на выборы». В 60-х суровый реализм гидроэлектростанций: Попков — «Братск», Салахов — «Нефтяники», Оссовский — «Гидрологи». В 70-х романтика космоса: Крандиевский — «Гагарин в полете», Тальберг — «Космодром», Королев — «Космонавты».

Прикладная кинетика совпадала с политикой официальной параболы равнения на космос. Начальство изо-сектора было отлично осведомлено о двурушничестве Льва Нусберга, тесно связанного с чешскими предателями, — на словах он предлагал «украсить быт советского человека», а на деле сотрудничал с врагами коммунизма, проповедуя «духовный костер кинетизма» как необходимый эстетический стиль будущего человечества, сбросив соцреализм с корабля современности как ненужный хлам, — поэтому идеологи советского искусства и не собирались с ним серьезно сотрудничать, так как радикальная замена идеологии означала бы гибель режима и семейного ремесла.

Директива на уничтожение «Движения» и его на-хального вожака по-фарисейски была спущена сверху. В документах, опубликованных в 1992 году, ясно обозначены крохоборы Кремля — Министерство культуры, руководство Академии художеств и Союза советских художников. С цепи спустили исполнительных псов — искусствоведов в штатском, агентов «конторы» и провокаторов подполья. Техника травли неугодных известна с древнейших времен: растащить людей, как угли в костре, а затем легко загасить по отдельности.

По указанию из Москвы гигантское декоративное сооружение «Пылающая звезда» было беспощадно и вар-

варски, в духе дегенеративных костров доктора Геббельса, снесено и уничтожено. Самого Нусберга, «как бабочку, булавкой к стенке» (Л.В.Н.), потащили на пытку в Особый отдел ЦК ВЛКСМ, откуда чудом удалось сбежать и скрыться в подмосковном лесу.

Разгром в «Орленке», допросы и конспирация в Москве сильно ударили по надеждам утописта, но не сломили, а ожесточили его характер. Пришлось повозиться и с членами «Движения». Одни (Кривчиков, Лопиков), сказавшись больными, ушли в черный рынок, другие тихо слиняли без объяснений (Акулинин, Антонов, Бутурлин, Галкин, Стрелкова), третьи (Колейчук, Степанов, Рыкунов) сбежали, прихватив дорогостоящие материалы и электронную аппаратуру коллектива. Вместо сбежавших Нусберг пригрозил на «новой научной основе» ленинградцев Саню Григорьева, Славу Бородину, Таню Быстрову и Наталью Прокуратову, инженера Валерия Глинчикова и других.

В начале 1969 года Нусберг и ряд кинетов решили непременно вступить в «добровольный союз советских художников», так сказать, полностью легализовать свою деятельность, создав в Союзе художников секцию кинетизма.

Людам, далеким от державной политики соввласти, необходимо объяснить, что значит этот «Союз» и подчиненные ему сателлиты. Это централизованное учреждение, с генштабом, Особым отделом и партбюро, возникло в 30-х годах совершенно добровольно. Несколько тысяч профессионалов всех жанров (в списке 1988 года он насчитывал уже 22 тысячи членов, включая 140 академиков), разрозненные групповщиной и обездоленные кровавой Гражданской войной, потерявшие возможность кормиться самостоятельно, под присмотром коммунистов собрались в одно стадо, в один «общак», где главный раздатчик — Кремль — выдавал заказы, распределяя

пенсии и премии, согласно заслугам членов Союза художников.

Национальные республики, края, области и города имитировали работу центра и подчинялись ему. Член Союза через специальный худфонд или комбинат, где годами заседали повязанные круговой порукой циники и жулики, постоянно получал «творческий заказ», необходимый для профессиональной отчетности и куска хлеба. Прочность такой пирамиды, полный разрыв с культурой Запада, глухой застой и единый шаблон рисования прекрасно устраивали династии ремесленников, целые семейные кланы, издавна захватившие ключевые позиции в русском искусстве и в работе Союза, действуя через подставных лиц с красивой, пролетарской биографией. Примечательно, что в этом Союзе состояли художники, сделавшие много полезного в прошлом, такие как Павел Кузнецов, Альтман, Кончаловский, Фаворский, Татлин, Родченко, Филонов, Суетин, однако, постепенно деградируя вместе с постыдной системой «соцреализма», свободное творчество они превратили в доходную лавочку своих многочисленных родственников и холуев.

Досье кандидата Льва Нусберга в 1969 году формально было превосходным. Что называется, комар носа не подточит: престижные выставки, декоративные работы, фильмы, статьи. И рекомендовали: ренегат Валентин Поляков (лауреат Сталинской премии 52-го года, а позднее абстрактивист!), живописец и профессор Дмитрий Жилинский (коренной мафиозник семейного ремесла!) и Владимир Иванович Костин (трус и пройдоха искусствоведения). Досье чужака Нусберга легло на стол худсовета, где заправлял академик К.И. Рождественский — простецкий парень Костя из Сибири, в свое время предавший К.С. Малевича и ставший верным слугой академических кланов. Все декоративное дело страны, все иностранные выставки и заказы монументальной



пропаганды проходили через его руки и руки верных его соратников: Эльконина, Ив. Бруни, Васнецова, Тальберга, Королева, Андропова — на подбор крупные дельцы, мошенники и подлецы!

Нусберговское досье долго изучалось снаружи и изнутри.

В послужном списке кандидата значилось: недоучка средней художественной школы, саботажник Советской армии, нелегальные встречи и сделки с чешскими предателями и французскими ренегатами; чемоданные выставки в Амстердаме, Праге, Загребе, Лондоне, Лугано, Цюрихе, Мюнхене; публикация антисоциалистических манифестов кинетизма в Европе, измывательство над образом Ленина, создатель ордена или секты подпольных заговорщиков, терема-борделя в Чертанове, Суздале, Крыму, какие-то волшебные лабиринты космических городов. Но главное: на заказы вышел сбоку, без нашего ведома, охмунив придурков из комсомола! А теперь лезет в Союз. Разложит его изнутри, одурачит простодушный русский народ своими кинетическими мигалками, а нас — куда?

Нусберг — чужой. Враг народа. Отказать!

Виновников подлости нам не найти. Там всегда коллективная подлость. Одна семья, свои люди. Сплошь и рядом несчастные чужаки ждали решения худсовета и получали «да» или «нет» инвалидами, неспособными поднять карандаш, ну а если ты родился в благословенном доме Васнецова, Голицына, Фаворского, то тебя записывали в Союз с колыбели, без дурацких рекомендаций, каким бы бездарным ты ни оказался.

Традиция, освященная веками!

Главные макиавеллисты Союза не ограничивались простым и быстрым решением, а пустили досье Нусберга на неопределенный испытательный срок, как обычно, выматывая жилы и нервы художника до предела.

Вертеж-крутеж, цветомузыка и мигалки кинетизма нравились технократам и высокому начальству. Главный конструктор авиации СССР Олег Константинович Антонов был в восторге от опыта московских кинетов и подтвердил это личным письмом Нусбергу, а года три спустя пытался помочь в Киеве в получении заказа.

Коммунизм в буйном движении! Вперед в космос! Но зачем тащить туда неисправимого, чуждого и непокорного Нусберга? Пусть он подождет или уматывает к своим западным покровителям.

Пока тянулось томительное время ожидания, год-три-пять на измор, он давал уроки свободы.

«Знакомства и ходы опять нашлись!» (Л.В.Н.)

Обновленный коллектив кинетов лихо оформил выставку «Советский цирк» прямо под стенами Кремля — Манеж, 1969. А при поддержке архитектора Иосифа Шошенского «Движение» получало солидные заказы от Комбината декоративных работ. Вместо чистого энтузиазма и сомнительных денег от дидарта кинеты сели на государственное жалованье и сделали несколько огромных кинетических ансамблей для промышленных выставок: Химия-70, Стройматериалы-71 и Электро-72.

«Пробить все это, да еще получить законные деньги, — вспоминает Л.В.Н., — мне стоило огромных нервов, крови и пота. Это был максимум, чего можно было достичь с нашим делом в СССР. Несмотря на успех, я окончательно понял и бесповоротно решил — хватит, это тупик, пора рвать когти на Запад из советского рая».

Как и следовало ожидать, руководство СХ СССР распорядилось по-своему. Талантливые кинеты Саня Григорьев и Галина Битт пропуск в Союз не получили, якобы «по молодости». Подходящим оказался лишь сын испанского коммуниста — Франсиско Арана Инфантэ. Способный, а главное, послушный. Современный. Женат на дочери заслуженного художника РСФСР П. Горюнова. Вот его взять и продвинуть!

Мы часто задаемся прозаическим вопросом: кто научил Запад жить по-человечески? Римский папа? Английский король? Вольтер? Наполеон? Вашингтон? Бисмарк? Почему нет давки за пайками и мылом, много удобной техники, никто не плюет в рожу в магазине, бездельники получают на жизнь пособие, старики нормально живут на пенсию, а все вместе, бедные и богачи, живут весело, постепенно исправляя промахи властей по ходу времени.

Да и судьба улыбнулась Западу. Ни длительных лютых морозов, ни коммунизма, ни сатанизма, ни советской «мистики». Культура размечена исторически и видна всем издалека.

Самые лучшие русские люди, и западники, и славянофилы, дравшиеся за водительство нации и государства, вытащить «святую Русь» из вековой отсталости, пьянства и разбоя так и не смогли.

В 30-х годах проход на Запад коммунисты закрыли навсегда, до полной победы коммунизма во всем мире, но через сорок лет наш старинный приятель, поэт и художник Миша Гробман, никогда не вылезавший дальше дачи в Тарусе, улетел в Израиль, а не к тетке в Конотоп.

\* \* \*

Что значит уехать из России навсегда?

Когда-то убегали евреи от погромов, уплывали на «кораблях Льва Толстого» русские сектанты, уходили от большевиков казаки и дворяне, прятались гонимые власовцы.

Еврейская волна 70-х не была сионистским движением, а пестрым политическим потоком с постоянными отказами на эмиграцию. Отказники секретных заводов и «почтовых ящиков», рискуя жизнью, захватывали рейсовые самолеты, отдельные смельчаки переползали границы, переплывали моря в надувном корыте, заключалось множество фиктивных браков «до Вены», а оттуда — кто

куда. Поток эмигрантов рос из года в год и захватил Льва Нусберга с его «движенцами».

С Ленинградом у него особая связь. Голодное детство и первые рисунки, «дед Роман» и артистический успех в 65-м, 67-м, 72-м и 74-м годах. Нусберг — часть Питера, прямого и размахистого города, с его неизбежными семейными тайниками и сюрпризами начала века и авангарда. Давняя связь с фрондирующим подпольем, плодотворное общение с культурной элитой города духовно обогащали и значительно расширяли эстетические и умственные горизонты художника.

В Питере доживали свой век обломки разгромленного авангарда 20-х годов: ассистент В.Е. Татлина, старик Тэвель Шапиро; верная секретарша К.С. Малевича Анна Лепорская; вдова Льва Юдина, сын Ильи Чашника, супрематисты из УНОВИСа Евгения Магарил и Лазарь Хидекель, ученики Павла Филонова... Без преувеличения можно сказать, что московского кинета, в практической работе связавшего пластические достижения той замечательной эпохи с родным кинетизмом, питерцы принимали как своего наследника и всегда желанного гостя, о чем свидетельствуют их письма, фотографии, магнитофонные записи.

Нусберг и сам стал знатоком, и собирателем, и пропагандистом русского авангарда.

В 1969 году, скрываясь от ареста в подмосковном Кускове, он написал киносценарий, условно названный «Смещение времен». В нем он подвел итог многолетним размышлениям об эстетике, философии, политике, истории, науке. В начале 70-х кинеты — Сергей Ицко, Ольга Бобровская, Саня Григорьев, Галина Битт, Татьяна Быстрова, Павел Бурдуков, Клава Неделько, Наталья Прокуратова, — оказавшись еще и способными актерами, возобновили съемки театрализованных сцен, главным образом на природе, в рощах Подмосковья, в архитектурном декоре Петергофа и Суздаля, в пещерах Крыма, и жарким ле-

том, и трескучей зимой, изображая исторических персонажей и фантастические сюжеты: пришельцы иных планет, скоморохи, придворная знать XVIII века и откровенно эротические сцены на мотив «Адам и Ева». Судя по многочисленным слайдам и фотографиям, костюмированные перформансы с участием великолепных борзых собак и кинетических объектов страстно увлекали участников, а для зрителя составляли особую эстетическую привлекательность.

Конечно, эти массовые театрализованные игры с переездами из одного конца страны в другой, дорогая съемочная аппаратура, прокат старинных костюмов и веселый быт стоили огромных денег, но Нусберг их находил.

«С весны 1973-го я устроился во Всесоюзный проектный институт туристических и торговых комплексов — есть и такие лавочки на Руси! — на должность главного архитектора проекта с окладом в 175 рублей и постепенно перетащил туда пять членов своей кинетической “бригады” с зарплатой по 90 рублей на нос», — вспоминает Л.В.Н.

Весь спектр современной жизни страны, погрязшей во лжи, невежестве и гордыне, был ему известен не понаслышке, а изнутри и в упор.

Московский грек Георгий Костаки, владелец несметных сокровищ русского искусства и знавший Запад, предостерегал молодых художников: «Вы никому там не нужны!»

Любого иностранца москвичи встречали как посланца недоступных небес. Чешского студента и миланского коммерсанта, французского слависта и британского журналиста обхаживали и ублажали, как кинозвезду, министра или банкира. Они привозили в дикую Россию американскую жвачку в красивой упаковке, блоки сигарет и вокзальные брошюры, а увозили чемоданы дареного русского антиквариата.

Лев Нусберг утверждает: «О Западе я знал почти все!»

Фестивальные поцелуи 57-го года, идейная переписка с французенками и немками, рассказы чешских друзей, нелегальные сделки с заезжими туристами, убогие выставки с тощими каталогами, репродукции рядом с мировыми светилами в искусстве и призрачная европейская слава первого кинетиста России — вот и все знание западного мира.

Нашумевшие дикие выставки подпольных художников 74—75-го годов: Москва, спровоцированный «бульдозерный перформанс» и однодневный фестиваль в Измайлове, «Газоневщина» в Ленинграде и скандальные бесптолковые квартирные выставки у литератора Кости Кузьминского не остались без внимания Льва Нусберга. Он сразу разгадал фальшивую сущность либерализации и лукавый обман власть имущих. И действительно, все организаторы этих выступлений вскоре получили израильские вызовы и покинули страну, за исключением В.Н. Немухина и сгоревшего в своей мастерской Евгения Рухина. Питерские смутьяны, часто не знавшие, где расположен Восток и Запад, тоже один за другим эмигрировали.

Нусберг получил тринадцать вызовов через старинного друга, художника М.Я. Гробмана, ставшего в 1971 году гражданином Израиля. Значит ли это, что весь последний состав «Движения» готов был перебраться на Запад?... Выехали только Галина Битт, Павел Бурдуков, Валерий Глинчиков, Галя Головейко, Анатолий и Люда Путилины, Яков Фрейдин с семьей... Остальные — Александр Григорьев, Таня Быстрова, Наталья Прокуратова, Сергей Ицко, Люда Орлова и другие — по неясным причинам застряли в советском раю.

В год бесповоротной эмиграции (1975) Лев, копаясь в архиве своего отца в Ташкенте, вдруг обнаружил, что он не просто «гражданин Нусберг», а «курляндский дворянин фон Нуссберг»!

Смешно: ха-ха-ха! Но документ — упрямая вещь.

«Из древнегреческого “нусс” означает сердцевину

чего-то, суть яблочного зернышка, генетическое ядро в грецком орехе, — толкует Л.В.Н., — ну а “берг” — это по-германски “гора”».

Лев Нуссберг не «прибавил себе второй буквы “с” для важности», как болтали сплетники, а ему без его ведома восстановили в Вене, в Централполицайамте, историческую справедливость.

Проливной дождь и холод 30 июня 1976 года. Аэропорт Шереметьево. Провожали восемь друзей и приятелей. Небольшой чемодан, но набитый до отказа — фотографии, рисунки, письма, работы авангарда, рубашка, бритва, зубная щетка. Рыдает любящая «Лариска» с почты К-12!..

Позади советский рай и кукиш с перцем, а впереди — манящая и полная неизвестность.

Или — свобода, равенство, братство?

В творческом багаже русского утописта были концептуальные проекты: традиционный кинетизм русской закваски и футурологическая мечта — «Макрополис», или «ИБКС».

А в Европе привередливый западный заказчик день ото дня терял интерес к гремевшему в 60-х годах кинетическому течению в искусстве, напрямую связанному с промышленным бумом электроники и синтетических заменителей. Поколение 68-го, поколение цветов, наркотиков, любви и мира, бежало в природу, в нирвану, в экологию. Длинноволосые бородачи начисто отвергали потребительский мир капитализма. На модной волне экологизма поднимались акулы «концептарта». Один итальянский герой нового «изма» дорого продавал на выставках свое консервированное говно в банках. Парижский концептуалист Кристиан Болтанский торговал пробитыми билетиками метрополитена и быстро прославился. Немецкая знаменитость Йозеф Бойс, бывший летчик Гитлера, приходил в лучшие музеи мира с топором в руках, чтоб разбить на щепки десяток буржуазных телевизоров. Двое британских

нудистов, Жильберт и Джордж, просто показывали публике голые жопы, разрисованные ромашками!..

Ну а русская артель в Европе?

Во-первых, эстетическая программа эмигранта Нуссберга с его кинетическими играми, с коллективным творчеством и действием запоздала, а во-вторых, русское присутствие в искусстве главари бизнеса начисто отвергали. К лихорадочным хлопотам (без языка, без денег) устройства в совершенно новом мире прибавилось неприглядное поведение западноевропейских друзей. Влиятельные Виктор Вазарелли, Пьер Рестани, Франк Поппер, Николас Шоффер, Гюнтер Юккер и Понтюс Хултен (директор национального Арт-центра в Париже — Помпиду), трубившие хвалу русскому новатору, пока он сидел в дерьме советской России, вдруг поджали хвосты и ничем не помогли.

Франция, город Париж всем русским снился в лучах Луи Каторза: Версаль, сады, фонтаны! Потом ослепительный блеск изящных искусств, где впереди всех Ван-Гог, Сезанн, Пикассо, как тайна, шок и призыв!

В конце 70-х, периода скопища советских эмигрантов, Париж был не «городом света», а окраиной артбизнеса. Как всегда, хорошо кормились специалисты «вечного реализма»: «портретники», «жопники», «букетчики», «кошатники», «пейзажники» и т.д. На людей с высокими идеями, да еще приبلудных, с Востока, смотрели как на сбежавших из дурдома сумасбродов.

Парижское жилище Нуссберга, словно в насмешку, заполнялось типично русским декором. На полках стояли не зачитанные до дыр сочинения Бергсона, Сартра, Хайдеггера или Ницше, а книжки Авторханова, Солженицына, Синявского, иконы и самовар. Странное отступление в тыл России? Лукавый переход из западников в славянофилы?

Интерес иностранцев к России он явно преувеличивал. За свои 40 лет он ни разу не бывал за границей — не пускали! В музеях Парижа поражало полное отсутствие



русского искусства. Его просто никто и никогда не покупал и не собирал. Советская Россия оставалась белым пятном отсталости и бескультурия. Груды каталогов и словарей со статьями о «Движении» оказались ненужными. Фантастического плана русского футуролога об усовершенствовании человечества посредством киберромантической эстетики и коллективного творчества спесивый Париж не принял. Крупные фирмы и знаменитые музеи, швырявшие бешеные деньги нудистам с Британских островов, экологистам с топорами и говном, с большим подозрением смотрели на грандиозные и наивные романтические замыслы русского утописта.

«Мы обогнали в своих работах весь мир лет на 30—40, и не только по идеям, но даже и в проектах», — уверенно писал Л.В.Н.

Робко поддержали итальянцы.

Итальянские еврокоммунисты, заправлявшие культурой в Венеции, охотно шли навстречу советским диссидентам. Лишний раз разворошить мешанское болото руками совков.

ГУЛАГ! Дурдом! Нонконформизм! Звучит!

Лев Нуссберг отлично знал о предстоящей манифестации в Венеции, но такие мелочи, как составление списка участников, необходимый выставочный материал и каталог, поручались «Монжерону», претендовавшему на это дело. Итальянцы очень смутно представляли положение нонконформизма в Советском Союзе. Они знали два-три имени, а здесь им предложили досье на сотни имен, причем центральное место занимала совсем неизвестная группа «Санкт-Петербург», где числились сразу трое Шемякиных — Михаил, Ревекка и Доротея. Они обратились за справкой к известному им Льву Нуссбергу, и, естественно, вся несуществующая группа, и в ее числе и Михаил Шемякин, были исключены с венецианской выставки.

Так сразу, одним ударом и чужими руками, Лев Нуссберг отомстил Шемякину за позор Парижской выставки

1976 года в Пале-де-Конгре, где видная группа кинетистов не была представлена.

Диссидентское биеннале, или «бздинале», как выражался Васька-Фонарщик, ублюдочно организованное, выявило невиданные склоки и маразм русского лагеря, совершенно немислимые даже в захоластной Совдепии.

В безвкусно состряпанном черно-белом каталоге, куда не попали неугодные «Монжерону» художники Кабаков, Шварцман, Инфантэ, Чуйков, Рогинский, Куперман, очень четко определились самодельщина и групповщина парижских диссидентов и лицемерие их итальянских покровителей, присвоивших городские деньги. Кинетическая инсталляция, над которой Нуссберг трудился на месте, в день вернисажа, 3 ноября 1977 года, рухнула на глазах обалдевших зевак. По его словам, саботаж устроили Глезер и Шемякин, ночью отвинтившие главные гайки.

Венецианский обман вместо представительной выставки!

Неугомонный московский кинетист внес дополнительное напряжение в парижскую войну. Его независимая и разрушительная деятельность началась сразу после оскорбления, нанесенного «Монжероном» в 76-м, когда русские кинетисты намеренно были унижены.

Богато одаренная и сильная натура, чувствительная к современности, Нуссберг первым в Москве открыл значение русского авангарда 20-х годов и плечо к плечу шел с первыми кинетистами мира, что казалось абсолютным бредом в стране без гвоздей и хлеба. Годами неукротимая энергия «отца русской кинетики» тратилась на бессмысленные диспуты с властями, нерадивыми учениками и неверными женами. Призрачный успех, постоянная грызня последователей, милицейские облавы принудили к эмиграции.

У командиров «Монжерона» он сразу попал в черные списки опасных противников.

Надо было быть последним тухой-матюхой, а Нуссберг был из породы бойцов, чтоб терпеть за спиной коварных обидчиков, тянувших на себя всю одеялку русско-го авангарда.

— Я «Монжерон» сотру в порошок! — выкатив грудь колесом, заявил он.

Момент дурдома!

В эмигрантской игре я его ценил выше всех. Мне не совсем понятен «русский выбор» европейца до мозга костей. Мне казалось, что это временное расслабление, чтобы потом ударить по верхотуре мировых величин, и лишь позднее мне открылась правда: Запад Нуссберга отверг!

Он был как мой любимый Гулливер, очутившийся в стране Гордость Вселенной, где ученые долго его разглядывали в увеличительное стекло и нашли решение, что он не зверь, так как ходит на двух ногах и владеет членораздельной речью, — сходство с человеком есть, но величины разные!

С приездом семьи Рабиных монжеронский вояка Глезер стал мягче и деликатней.

— Слушай, — звонит он мне, — ты знаешь типографию Березняка? Ну вот рядом уютное кафе с самоваром. Приходи, надо серьезно поговорить. Будет Оскар, Шемякин, Нуссберг и Пашка. Жду!

В кафе с декоративным самоваром, сдвинув столы, сидели Глезер, Оскар и Шемякин. Я поздоровался со всеми и сел напротив. С опозданием и грохотом в кафе ввалился Нуссберг с Пашкой Бурдуковым, но без борзых собак.

Я не видел Рабина четыре года. Он постарел и осунулся. Мишка Шемякин молча застыл над пивной кружкой.

— Ну вот что, здесь собрались все свои, и я предлагаю вечный мир вместо войны, — начал Глезер.

Шемякин, сверкая тусклыми очками, нелепо осклабился. Рабин полез за сигаретами.

— За углом типография с готовым журналом. Я закрываю все обвинительные материалы, но такая операция

обойдется нам в сорок тысяч франков. Думаю, что в чемодане Левы Нуссберга не убавится, если он оплатит все расходы!

— Нет, вы слышали, что он сказал! — резко вставая, прервал кинетист. — Я сплю на чемодане с золотом! Глезер лезет в чужой карман без зазрения совести! Вместо того чтобы трясти богатую Францию, он трясет несчастных эмигрантов! Паш, Валь, Оскар, вы слышали речь этого дурака? Мне плевать на твои документы! Иди печатай, а от меня ты не получишь ни единого сантима!

Главный кинетист опрокинул гнилую табуретку, кликнул Пашку, завел мотор и со свистом укатил со двора.

С передвижной выставки по городам Франции кинетисты «Движения» были начисто вымараны. Более этого, старейшина питерского нонконформизма Александр Арефьев не был приглашен. Обвинительные материалы, о которых говорил Глезер, рассчитанные на доверчивого читателя города Чухломы, так никогда и не вышли.

Затяжная партизанская война перекинулась в «независимые профсоюзы» Москвы и Ленинграда, где за кормушку дипкорпуса дрались «семерки», «двадцатики» и «сотни», то и дело выпихивая за границу обиженных и гордых.

Директору Музея современного искусства в Бохуме (Германия), д-ру Петеру Шпильману, уроженцу Праги, пришла в голову мысль устроить юбилейную выставку нонконформизма.

Заручившись словом коллекционеров, я обещал для выставки Вейсберга, Немухина и Рухина.

Верный друг истины и свободы, чех Шпильман отлично знал русские дела. В 60-х годах молодой искусствовед написал ряд статей в похвалу московских кинетистов. После разгрома Пражской весны, в 68-м году, неторопливый и знающий историк культуры перебрался на Запад, то и дело продвигая русских художников в люди.

Составить выставку авангардистов оказалось нелегкой задачей, но д-р Шпильман, отлично знавший подводные

камни этого направления, храбро бросился в авантюру, полагаясь на многолетний опыт возни с русским народом.

Ни частные, ни общественные учреждения не располагали картотекой андеграунда, простым перечнем нелегальных авторов. Например, никто из немецких знатоков не ведал, где родился Владимир Яковлев: в Горьком, в Москве, в Балахне, в Балашихе? — и кто такой Владимир Котляров: краснодеревщик, реставратор или общественный деятель, попавший в списки художников?

Д-р Шпильман явно преувеличил могущество немецкой мысли и не учел глубин русского маразма.

«Юбилейная выставка» русских авангардистов вылилась в чудовищное безобразие и маразм, где роль обиженных бездарно разыгрывал «Монжерон» и его временные союзники, а роль хранителей благопристойного единства кинетисты Нуссберга с попутчиками.

В итоге выставка была спасена привозом из Израиля коллекции Михаила Гробмана, где были все передравшиеся или неучтенные имена. Располагая значительным собранием картин В.И. Яковлева, Гробман первый открыл серию выставок в Израиле и Германии задолго до московского Профсоюза и парижского «Монжерона», не забывая и прочих первопроходцев нонконформизма, никому не известных ни на Западе, ни на Востоке. Враждующие лагеря безуспешно пытались перетянуть Гробмана на свою сторону. Приехавший в Бохум М.Я. Гробман употребил все свое влияние и дипломатию, чтобы успокоить возмущенных и примирить их с дирекцией музея.

3 февраля 79-го на вернисаж явилась банда протестующих. Она пробилась в зал пресс-конференции к удивлению официальных лиц. Из толпы выскочил недовольный литовец Адам Самогит и по-немецки с балтийским акцентом зачитал протест. Неуклюжий оратор разбросал в народ листовки с протестом и бесплатно переночевал в теплом полицейском участке города Бохума. Над очередным русским юродством несколько дней потешалась немецкая

пресса, забыв об искусстве в музее, где было представлено четыреста картин.

В 80-м судьба преподнесла Нуссбергу чудный подарок в виде Берлинского фонда.

Немцы дали ему возможность хорошо представиться. Они выдали деньги на постройку пробного кинетического «Лабиринта», главной частью которого явилось восьми-метровое объемное сооружение из красочно освещенных отсеков, в атмосфере космической тайны и музыки, названное «Ихтио». В реализации проекта принимали участие члены «Движения»: Галя Битт, Павел Бурдуков, Дика Головейко и Вова Берман. Помогал, наезжая из Мюнхена, инженер Валерий Глинчиков. Месяцы упорной работы — «Лабиринт» в космическом духе был выстроен сперва в Висбадене (1979), а затем в Берлине (1980).

Да, были обзорные выставки коллектива «Движение», были две стипендии немецких фондов и Академии, были хвалебные статьи известных критиков в Амстердаме, Венеции, Висбадене, Берлине, Бохуме, Кёльне, Нью-Йорке, Париже, Турине и др., но Его Величество Капитал, главный финансовый распорядитель заказов, угрюмо молчал. «Космическую киберрыбу» Нуссберга под аплодисменты продажной прессы упрятали в темный подвал немецкого музея.

В Берлинской галерее современного искусства с 20 сентября по 25 октября 1980 года состоялась персональная выставка художника Льва Нуссберга.

Внимание зрителей привлекла пятиметровая панорама, похожая на древний китайский свиток и состоящая из десяти самостоятельных сцен. В этом горизонтальном «свитке» (картон, темпера, коллаж) автор на метафорическом уровне дает структуру Вселенной, используя различные символы восточного происхождения.

В построении композиции «свитка» употреблен метод «рассеянной перспективы», пространственные планы разбиты «супрематическим» орнаментом, сознательно иска-

жено измерение глубины, и повсюду монтируются то живописно, то графически трактованные пиктограммы.

Художник до предела насыщает космогоническим смыслом объекты изображения: воду, камни, облака, деревья, пещеры, птиц, здания, людей, цветы. Живопись панорамы полихромна с нарочито «ядовитым» цветом, далеким от лирики.

По сути дела, подобных художественных произведений мы еще не получали от современных русских художников. Чтобы объяснить их появление, необходимо обернуться назад и бегло обозреть жизненный путь Нуссберга.

\* \* \*

Лев Вальдемарович Нуссберг — азиат. Он родился в сердце Азии, в славном городе Бухаре, заросшем вековыми кипарисами, среди древних камней мечетей и жгучего солнца. В восточном захолустье мирно уживались китайцы, персы, узбеки, турки, евреи, армяне, русские, немцы. Этот яркий сброд племен, их одежда, речь, вера, обычаи навсегда запали в память художника. Потом были большие города: Ташкент, Ленинград, Москва. Юный Лева в 1954 году сочинил свою первую живописную «утопию» и получил Гран-при из рук президента Индии Неру.

Одним из первых в мире начинающий художник обратился к прерванным традициям «русского конструктивизма» начала XX века, заново открывая творчество Татлина, Габо, Лисицкого, Родченко, Малевича.

На ветхом балконе унылого московского дома в 1960 году он собрал свой первый кинетический объект, запустив в ход испорченный граммофон и лист ржавого железа.

В энциклопедии современного искусства, вышедшей на всех языках мира, кроме русского, появилось русское слово «Движение» с короткой справкой, содержание ко-

торой сводится к следующему: «В 1962 году русский художник Нуссберг организовал в Москве группу “кинетистов” под названием “Движение”». Далее идет перечень многочисленных выставок и манифестаций группы как в СССР, так и за границей, вплоть до эмиграции части группы на Запад в 1976 году.

В СССР Нуссберг не нашел своей территории. Он не раз пытался убедить соввласть в лояльности своей работы, но государство, запускавшее в космос миллиарды рублей, не находило для него мотка обыкновенной проволоки. Художник с большим творческим размахом, неистощимой выдумкой и талантом превращался в рядового добытчика.

Здесь уместно привести выдержку из статьи французского критика искусства Мишеля Рагона: «...участники выставок не были приняты как “чистые художники”, но как “оформители-орнаменталисты”. Благодаря этой увертке первые русские кинетисты могли публично выступать, и с большим успехом».

Призрачный успех и постоянные увертки. В СССР Лев Нуссберг жил как кузнец в пустыне. Ему вечно не хватало гвоздей, клея, картона, красок, электричества, музыки. Однажды советский начальник предложил ему вылепить кинетический объект из снега!

Художник уезжает на Запад, туда, где много гвоздей и беспредельная воля. И сразу же каскад городов, стран, выставок: Вена, Париж, Рим, Флоренция, Кассель, Амстердам, Лондон, Нью-Йорк, Висбаден, Бохум, Берлин. На Запад Нуссберг пришел как к себе домой.

Ориентализм как термин ничего не выражает в применении к творчеству Нуссберга — художника европейских художественных традиций и, как подчеркивает сам автор, «русского конструктивизма». В его произведениях нет ни азиатской утонченности, ни наперед известных красот, однако у русских кинетистов с середины 60-х годов появилась заметная тяга к культуре Востока, к эзотерическим ценностям Индии, Тибета, Китая, Японии, и к сакрально-



му искусству дзен в частности. Нуссберг и его последователи в «супрематический», традиционный мир чистой пластики, унаследованной от Малевича и Мондриана, решительно вводят главную тему восточного искусства «Небо-Земля», с культом Воды, Огня, Камней, Деревя, Знаков, Цветов.

В начале 70-х годов прекращается и дискриминация человеческого образа в искусстве кинетиков. Он появляется в своеобразном символическом преломлении. Социально-этическую значимость человека кинетисты находят не в живописных образах безымянных современников, а в известных исторических моделях. Эти Лики изображаются в окружении многозначительных пиктограмм, камней, конкретной музыки и телекамер.

«Утопии» Нуссберга, в особенности раннего периода, не всегда убедительны, потому что слишком навязчиво-дидактично толкование мира, персонажи переигрывают, и очевиден восторг автора перед могуществом техники.

Появление «Космической рыбы» — биокинетического произведения высокого класса! — показало, что художник овладел чувством меры в таком сложном жанре искусства, как трагедия.

Прирожденный колорист в ранних своих работах, теперь он прибегает к нарочито дисгармонической окраске поверхностей. Выбор оправдан. Художник орудует со «вселенной», а это труд, далекий от любования мотивчиком — лес, пруд, мостик. Зеленый, фиолетовый, желтый, белый, черный — ядовито-яркие цвета повсюду и в самом неожиданном сочетании. Набор космогонических и социальных символов, супрематические разрезы и фотомонтаж, яростная схватка Тьмы и Света, Звука и Движения. Теперь Нуссберг близко подошел к тому пониманию мира, которое образно выразил его любимый поэт Блок: «Так мчится в бешеной истерике все, чем мы живем и в чем видим смысл своей жизни».

Можно подумать, что такую печальную песню затянул

изможденный и злой изобретатель, всем миром забытый неудачник и пессимист.

Богатырь в овчинном полушубке выходит на берлинский бульвар. Никому и в голову не придет мысль, что такой удалец верит в безысходность мира.

Художник удачлив и верит в свою звезду.

В компании художников громкий хохот и соленая русская речь. Прохожие оборачиваются, шепча: «Русские идут!»

\* \* \*

Американское начало Нуссберга, 1981—1983 годы, было пустым и даже суетливым. Доверчивый футуролог сразу спустился на русское дно Нью-Йорка с жалкими интригами вокруг «фонда Доджа» — хитроумного чудака, собиравшего мусор советской культуры, списывая с налогов доходы, — с грызней подпольных светил, с дурацкими выходками редактора десяти патетических томов русской поэзии Кости Кузьминского, перебросившего свой генштаб из питерской коммуналки в американское логово, с воровством в «еврейском фонде поощрения художеств», с изнурительным жлобством героев соцарта.

«Все выпендречно и страшно фрагментарно», — лаконично обобщил он свое участие в русской суете.

После европейского демарша с рядом заметных и успешных выставок (Дюссельдорф, Париж — 76-й, Венеция, Голландия и Лондон — 77-й, Бохум, Турин, Кассель, Нью-Йорк — 78-й; опять Бохум, Висбаден — 79-й, Берлин — 80-й), после двух капитальных кинетических сооружений — семиметрового «кибера» для Италии в 77-м и лабиринта «Космическая рыба — Ихтио» для Германии в 80-м — нам трудно объяснить его американское затишье, странные хождения новатора по эмигрантским кружкам и тусовкам.

Очередная перестройка России, к удивлению всего мира, открыла границы огромной, полвека закрытой страны. Оттуда повалил новый и веселый народ: воры в законе и вне закона, московские бляды, казнокрады братских компартий, торговцы водородным топливом и множество не очень талантливых, но напористых и алчных артистов. Наоборот, туда, в Россию долгожданного борделя, бешеных денег и разбоя, кинулись проворные и оборотистые эмигранты.

Главный русский кинетист и футуролог не дернулся.

Грузовик с выставкой капитулянта Игоря Захарова-Росса сожгли под Смоленском. Парижского собирателя русского искусства Басмаджана убили в неизвестном месте, а ценные картины растащили. Скульптора Неизвестного отправили в тундру, в Магадан, где вместо долгожданной славы его ждали комары, голод и безлюдье. Честолюбивый Шемякин выставлялся за свой счет и основательно разорился.

Убогие выставки на фоне заказных убийств, воровства и разбоя. И бюрократия, и мздоимство похлеще, чем в советские времена.

Русские собратья изящных искусств, ревниво оберегающие свои насиженные места, обдирали эмиграцию как могли, но дальше вокзала не пускали. До теплых отношений еще далеко!

А в «белом доме» опрятного городка Оранж, в штате Коннектикут, в окружении пышных цветочных клумб, весело живут, говорят и едят по-русски папа Лев Вальдемарыч, мама Дика и четверо цветущих жизнью и талантами детей: Дмитрий, Иван, Наташа и Арина — цветоводы, художники, музыканты, спортсмены, компьютерщики.

И — «звуки ласковых зверей»!

«Я послал всех к е-матери и ушел от современной суеты всех этих выставок, тусовок и грязных, циничных торговцев искусством, выламывающих руки и души», — говорит Нуссберг.

Почему программа киберромантизма и великий план «ИБКС» повисли в воздухе?

Почему разбурелось «Движение», а его создатель разводит розы? И где институт футурологии? Где рабочие модели «ИБКС»?

Преуспевающие академики неистребимого реализма, трусливые эпигоны артефактов и прикладного кинетизма, бездарные завистники русской эмиграции, зашоренные спонсоры быстрой наживы, небрежно полистав заявку Нуссберга, пугают нас очередным «египетским рабством» его концепции и плана, скрытым тоталитаризмом и даже гибелью демократии.

Правда, в объяснительных текстах наш футуролог наивно обходит подводные камни эстетизированного кибергорода. Нас настораживает безрассудная вера утописта в высший разум иных миров и галактик, в гармоническое будущее человечества, сегодня калечащего нашу планету. Чрезмерное его доверие к науке и техническому прогрессу, до сих пор не решившему проблем голода, болезней и стихийных бедствий, нам кажется несколько поспешным и не продуманным до конца. А как быть с пиратами компьютерных игр, ворующими планы военных кампаний, и каннибалами Тасмании, живущими по законам неолита? Да и adeпты академической серости или прошлого поп-арта добровольно не войдут в романтизм игрового и творческого Нуссбергленда. А куда сбыть парочку британских нудистов Жильберта и Джорджа с их всемирной славой новаторов культуры?

Для русских олигархов, как и для советских идеологов, проект Нуссберга — обычная маниловщина, грандиозные и бесплодные мечты о красивом, гармоническом мире искусства, игры и знаний.

В 1991 году в открытом письме, адресованном Вячеславу Колейчуку, прагматисту русской жизни и кинетисту, получившему доброжелательную прописку и поддержку в

России, Лев Нуссберг эмоционально шутит: «А ты, Слава, напейся холодной воды и начни читать мои тексты. Сперва пойдет туго, но потом будет легче».

Мы прочитали открытое письмо, где изложена футурологическая концепция. Добрый гений Нуссберга, заботливого семьянина, садовода и собачника, предлагает не «бомбардировку Марса» и не египетское рабство, которыми нас пугают Колейчук, Инфантэ да и Захаров-Росс, его непримиримые и завистливые оппоненты, а необходимый землянам веселый и притягательный художественный и игровой городок со множеством воспитательных и увлекательных мест гармоничной и красивой пластики в музыке, цвете, движении и фантастических образах.

В нуссберговском литературном эскизе будущих игровых эстетизированных зон архитектура всего ансамбля рисуется в виде кружевного, узорчатого, разветвленного контура, где природный ландшафт органически переплетается с рукотворным творчеством, так что господа экологи могут спать спокойно — травить природу и зверей не будут, а внутри — веселые или опасные приключения, познавательные ситуации и овеществленный четырехмерный мир фантазии!

Мир очарования, знаний и просвещения!

В полемическом задоре наш футуролог отвергает современное искусство, целые коммерческие направления и «измы» с помойки в пользу кибернетизированного «общепланетарного пластического языка». А разве единообразие на протяжении двух тысяч лет и могущество стиля Древнего Египта не покоряет нас и сегодня?

Трагедия России — в культуре державы, центра, академии. Там нет места проектам и планам чужаков и экспериментам маргиналов. Американская же демократия требует от любого проекта быстрой наживы. Заговор скептиков, карьеристов и спекулянтов всех уровней и положений плотной стеной непонимания и остракизма окружил творчество могучего художника, мыслителя и футу-

ролога, но хоронить оригинальный проект рано — он нужен всем.

...Игровая Бионико-Кибернетическая Среда — в постоянной разработке!

...День за днем, год за годом...

«Следующий век — наш!» (Л.Н., 1966).

## 9. Черноморец Сах

Два питерских авангардиста, Арех (А.Д. Арефьев) и Сашок (В.А. Леонов), ровесники — 1931 года, — но разные по творчеству, мою московскую мастерскую считали частью своих территориальных завоеваний. Отгрузив свои произведения, как в камеру хранения, они названивали иностранным покупателям и занимались торговлей.

Но я их уважал. Отсидевший два срока, Арех имел солидное прошлое. Два класса Академии художеств. Три года медицинских курсов. Один, а затем второй дурдом. Тюрьма за употребление и торговлю наркотиками. Автор серии экспрессивных картин под названием «Бани и пивные».

Сашок вылез из «школы Филонова», сумасшедшего большевика, рисовавшего абстракции из мельчайших геометрических элементов. Ученик сумел преодолеть такое тяжелое давление и рисовал огромные холсты на воображаемые космические темы.

В октябре 1967 года они ворвались ко мне с криком:  
— Слушай, дед, Соханевич в Турции!

Люди, убежавшие на Запад вплавь, да еще морским путем, считались большой редкостью, а побег простого художника следовало считать поступком не преступным, а героическим. Я усадил буйных гостей в глубокие кресла, конфискованные в нацистской Германии, и выставил бидон свежего пива. Всегда вдохновенно вравший Арех, отхлебнув пивка, закатил в потолок глаза и поведал нам о жизни героя, переплывшего Черное море на надувном матрасе советского производства.

\* \* \*

Сын почтенных панов, колесивших по Шестой части света в поисках длинного рубля, Олег Соханевич родился в захолустном Тульчине глухой январской ночью 1935 года — «умер Малевич, родился Соханевич», — как он сам говорит.

Косяки нечистой силы кинулись в плясовую. Тяжелые зимние тучи, склонившись над пригорками и болотами, низвергая град и гнев, ломали стройки коммунизма, унося скотину, птицу, урожай. К утру природа стихла. Старинные знаки просторной страны — нищета, убожество и бесправие — снова подняли смущенные хвосты. Туземцы нехотя принялись за строительство лучезарного будущего.

Враги народа, шпионы, диверсанты, двурушники, маскируясь под ударников социалистического труда, ша-стали по стране, как у себя дома. Гнусные изменники, соглашатели и капитулянты, клеветники и оппортунисты, ренегаты и фальсификаторы шли по улицам советских городов, ехали в трамваях и метро, сидели в конторах и школах, колхозах и больницах. Они заседали в Кремле и на пограничной заставе. Если на то пошло, то каждый строитель коммунизма был фашистским бандитом и британским шпионом.



Чего там греха таить, на священной для всех пролетариев мира Красной площади лежал немецкий шпион в plombированном вагоне.

Космические силы зла незримо вошли в русскую жизнь, в то время как новорожденный гений сосал лапку в родном Тульчине. Играть и рисовать он начал с пеленок и, естественно, был определен в артистическую профессию.

Первый этап гения — Киев, «мать городов русских». Школа называлась именем Тараса Шевченко, но Саха влекло все допотопное, доисторическое. Не проспекты украинской столицы, а все, что было задолго до них: каменные «бабы» степей, курганы скифских царей, мифический Днепр, где купался его пращур Геракл. Студент не фрондирует академические дисциплины, наоборот, он всех однокурсников превосходит в их освоении, но читает не Тараса Шевченко, а Гомера, где все и давно сказано, и рисует дорические колонны.

В 55-м отличник киевской школы метит в одно-единственное, достойное атаки место — в Академию художеств имени И.Е. Репина в Ленинграде. Со второго захода он там. Питерское время Саха шло под знаком общаги, где были свои вожди и преступники. Шествие возглавляли отборные живописцы сибирских школ. Рекордсмены академических дисциплин под звон медалей продвигались к заветным высотам Ленинских премий, демонстрируя солидарность родному правительству. За ним шли группы усидчивых украинцев, украшавших социалистическое содержание картин фольклорной пестрядью.

Тульчинский богатырь побил сибиряков на их законной территории картиной «Поморы» (диплом, 1962), а украинцы выдали ему место трудовой деятельности в солнечном Туапсе.

Сах уверяет, что он прямой потомок Геракла и хохлушки. Якобы грек дезертировал с корабля «Арго» и лето кантовался на русском пляже, предаваясь любовным утехам.

Очень похоже на правду — те же повадки, та же психология странствий, — но греческий герой совсем меня не убеждал. Я его считал скорее уголовным преступником, чем полезным членом общества.

То, что он придушил пару ядовитых змей, простительно ребенку, но зачем убивать учителя музыки гитарой по голове? Молодой преступник (18 лет) в порыве ярости убил юную жену с ребенком, что не лезет ни в какие ворота. Он пытался загладить свою вину бесплатной работой на благо обществу — двенадцать деяний с чисткой конюшни у молодого короля Авгия (пятая работа) — ничего не прибавляет к отвратительному поведению грека. Он женился еще раз, но жену бросил и покончил самосожжением на горе Хета. Взлетев на Олимп, он опять женился на красавице божественного происхождения и никогда не вернулся на землю.

Академист Соханевич — пасынок питерской культуры. Его пятилетняя общага не совпадала с тусовками подпольного авангарда — Гаврильчик, Голявкин, Михнов, Арефьев, — а в «приличные дома» его не пускали — Иогансон, Ветрогонский, Каменский, — потому что там подавались фамильный фарфор и серебро, а Сах не владел этими инструментами, загребая пищу горстью, как и его дикий предшественник Геракл.

Кровь древних греков звала его на подвиги.

Но где бесстрашные аргонавты?

Я бывал в Ленинграде. В этом забытом богом городе на воде, смехотворно хранившем имперский вид, по крысиным углам ютились великие артисты, не зная о существовании друг друга. На улице Рубинштейна, где я был в феврале 63-го, в одном доме творили Евгений Михнов-Войтенко и Сергей Довлатов — и никогда не встречались. Иностранной кормушки в Питере не заводилось. Местные эстеты, вроде Льва Борисовича Каценельсона или Вали Новожилова, не имели средств скупать картинку подполь-

ных гениев, а иностранец туда заглядывал лишь за дешевой водкой. С большими трудностями питерские новаторы — Рухин, Шемякин, Леонов — пристроились к базару московского дипарта. В полярном Питере пили по углам, творили на вечность и под кровать.

Город призраков и нечистой силы Сах определил по своему — «никаких перспектив!».

«Я хотел быть самым сильным, самым ловким благородным рыцарем, — здесь значительное расхождение с программой бесшабашного Геракла, угробившего законную супругу? — и неустрашимым путешественником, личностью с железной волей, которую сама смерть не в силах остановить» (Мемуары. 1970. «Посев»).

С такой программой, превосходящей в благородстве самого Геракла, человеку нечего делать в советском искусстве.

Какой нечистый его попутал?

В Питере нашелся один аргонавт, студент театрального факультета Генка Гаврилов.

В августе 1967-го, спустив с рейсового парохода «Ялта—Сухуми» надувную лодку, скорее похожую на подушку, чем на плавучее морское судно, два аргонавта отчалили в открытое море, не за Золотым руном в Колхиду, где есть отделение милиции, а подальше от него. Семь дней их надувное «Арго», как черепаха, гребло к турецким берегам. 300 километров морской, соленой воды, палящий зной днем и холод ночью.

«Мы и лодка — кажется, ничего больше нет в мире. Наш мир — круг зеленой воды, накрытый куполом неба, солнце, звезды, неумный шум волн» (Мемуары. О.С.).

Лишь на восьмой день советские аргонавты увидели землю и людей.

Что такое аргонавт для американского капитала?

Иностранец черноморского заплыва с подозрительным прошлым!

Коммунизм, колхоз, ботинок Никиты Хрущева.

Комсомолец со стальной мускулатурой. Америка предпочитает своих плюгавых и горбатых, а не мускулистых иностранцев.

60-е годы выбросили из своего чрева, как лягушка головастика, множество эстетических «измов», совершенно невозможных в колхозной России.

Например, «концептуализм»!

Советский беженец Сах, «балдея от мании величия», как заметил историограф русского авангарда Константин Кузьминский, стал американским гражданином, но не американским художником. Большая Америка оказалась узкой для его размаха. Американское общественное сознание, несмотря на примеры отчаянных одиночек, оставалось глубоко реакционным и отсталым. Сах, используя древние рычаги Архимеда, укрощает железо, из железнодорожных рельс завязывая английские галстуки. Попутно он раскрашивает чрезвычайно экономные геометрические композиции, оценить которые по достоинству никто не решался, а мнение просвещенных и завистливых коллег, как известно, в расчет не берется. Он превзошел всех нью-йоркских новаторов, но зарабатывать на денежных, кладбищенских бюстах он считал ниже своего достоинства. В начале 70-х, при первой встрече с нью-йоркскими запрвилами, он сразу их забраковал как существа, не достойные внимания. Полгода он заколачивает деньги благородным трудом сварщика, а полгода бродяжничает по миру, отдавая предпочтение европейскому ландшафту. Из бесцельных походов по материкам и архипелагам нашей несчастной планеты Сах привозит поэмы, слог которых напоминает самого Гомера.

Моя первая встреча с героем Черного моря вышла очень славной посиделкой в сквате «Артклошинтерн» в 1983 году. Он там разбил свой кочевой шатер, осваивая соседние страны — Грецию, Италию, Испанию, Германию. Эти цивилизованные земли он изучал очень тщательно и

самым извилистым маршрутом допотопных пещер и дольменов, пользуясь быстроходным велосипедом для передвижения.

За столом сидели Сашок Леонов, Вова Бугрин — однокурсники Саха по питерской академии, Толя Путилин, Коля Павловский, беглый матрос Игоря. Мы мало походили на героев Олимпа, но Сах так разошелся после первой бутылки вина, выступая за всех сразу, что все признали в нем достойного потомка греческих ораторов.

«Гул отдаленный  
шум непонятный —  
потянут ушами  
чуткие кони  
мерных ударов  
гром неустанный —  
долгое эхо  
битвы незримой».

Опытный стиховед обнаружит и музыку славянских виршей.

Почему созидатель такого полета не закрепился в мировой славе? Если задать такой же вопрос покойному Гераклу, долгое время служившему трусливому Еврисфену, то можно понять и Саха. Он бросается в море и чистит американские конюшни бесплатно, подавая пример нерадивому человечеству.

На Американском континенте его выставял Франк Марино в Нью-Йорке, о нем писали лучшие критики искусства, но играть с ними и мелочиться он не стал. Потомок Геракла решил завоевать Старую Европу, где американцев до сих пор считают дикарями.

В питерской общаге Сах ходил по стенам. На Западе он кочует в шатре, пренебрегая светскими салонами, где вилки, ложки и манеры обращены в культ вместо костра.

Вечная, непреходящая общага — вот его мир!

Мою парижскую мансарду он облюбовал в качестве гаража для парковки своих многочисленных велосипедов.

Сначала это был визит вежливости на велосипеде городского типа. Тяжелый инструмент, с позволения консьержки, застрял во дворе, потому что Сах в тот вечер воспользовался знаменитым парижским метро. Через несколько дней он появился на новом велосипеде с необычными скоростями и, как буханку хлеба, поднял его на чердак, спасая от воров. В тот раз черноморский герой исчез на греческих островах в поисках могилы Геракла, вернулся огорченный, но на походном байкикле с толстыми, по-видимому пылью столетий шинами.

Не всегда понимают причину разногласий хороших людей. Что сказать другу, повесившему велосипед тебе на голову?

Сах повесил мне сразу три!

Наш дом запирался и охранялся буржуазным сторожем. Во дворе имелся угол для стоянки велосипедов, и велосипед стал камнем преткновения в нашей дружбе.

Держать у себя под боком такой транспорт, да еще в большом количестве, я не собирался.

Мой приятель Толстый, не страдающий комплексом мифологии, говорил мне: «Старик, гони в шею!»

В русском просторечии незваных гостей называют наглецами, но приложимо ли это к герою, переплывшему Черное море на «подушке»?

Жизнь, пушенная на самотек, сама выправляла острые углы.

В 1997 году, изучая древние дольмены в Центральной Франции, черноморец набрел на развалины с таким резным камином, куда свободно въезжал не только велосипед, но и грузовик с дровами. Пораженный шедевром средневековой архитектуры, Сах его купил не торгуясь и остался там жить.

«Если хочешь жить вечно, занимайся строительством», — поучал он меня в письме.

## 10. Подворье Казимирыча

Более двадцати лет гостеприимный дом Стацинского, великого иллюстратора детских книжек, был русским островом в парижском море.

Считалось, что Париж не только Эйфелева башня, Лувр и шмотки, но и подворье Казимирыча. Если вы устали от французских красот, отдохните в замечательном, райском уголке, у Казимирыча. Хозяин подворья Виталий Казимирович Стацинский хранит русские сокровища: петуха с красным гребешком, картинную галерею, православную часовню, черного пса Гришку и комнату для гостей под названием «Отель де Руси», где вы можете бесплатно переночевать, если приглянетесь хозяину, человеку удивительному во всех отношениях.

Как получилось, что в ста метрах от могилы Модильяни, в квартале парижской бедноты, очутился коренной москвич Стацинский?

«Я задумался на проводах Мишки Гробмана в 1971 году, — вспоминал бывшее Казимирыч, — на Запад меня

вынесла “еврейская волна”. После долгих размышлений я понял, что Париж ждет меня с нетерпением».

В.К.С. не прятался от милиции в подполье Совдепии, не гонялся за иностранцем с запретным товаром, а руководил журналом «Веселые картинки», где, по его словам, кормилась целая орава нелегальных знаменитостей. Высокое положение в издательском мире и сочувствие инакомыслящим ставили его в сердцевину артистической элиты оформителей, живописцев и авторов книжек для советской детворы. По свидетельству скульптора Александра Злотника, его любили женщины. У него было множество верных друзей и подруг. Он любил командовать и рисовать. На языке советского искусствоведения график Стацинский «реформировал стиль детской книжки, отправляясь от богатой традиции русского лубка». Преуспевающий советский гражданин жил припеваючи до того странного игрового ритуала, когда поднялась эмигрантская волна и, смывая налаженный быт, на харьковских велосипедах хлынула на вольный Запад, где, по слухам, всего было навалом.

В 1978 году Казимирыч явился в Париж, в забитую невежеством и гордыней крохотную русскую общину, неспособную принять французскую культуру. Бывшего московского командира не покидала заветная мечта стать знаменитым и богатым издателем, прославиться на западный лад. После короткого, но примечательного разговора, разумеется с помощью наемного толмача, парижский банкир отфутболил пожилого изгнанника в компанию русских рабочих, где на хлеб зарабатывали упаковкой газет. По ночам он горько плакал, вспоминая наставления мудрых москвичей: «Витюша, тебе пятьдесят пять лет, куда тебя несет нелегкая?»

Однако как некогда начиналась Московия с деревни Кучкино на Москве-реке, так и упорный Казимирыч собирал очаг русской культуры по крохам. Подворье родилось из комнатки, купленной на средства сестры, с давних



времен живущей во Франции. Отчаянные попытки штурмом взять книжный рынок приносили сплошные разочарования. Чопорные издатели не спешили дать место приезжему оформителю, но Казимирыч не сдавался. За мизерное жалованье упаковщика и обороты с продажи прялок он начал издавать русскую литературу и увеличил жилое пространство сначала до двух комнат, а затем и до пяти, с четырьмя входами, курятником и вишневым деревом.

В то время как Казимирыч расширял свои владения, местный арабский пролетариат, трусливо бросая камни в огород, отступал на холмы с холодными сортами.

«Русский победил арабов в самом Париже!» — любил повторять хозяин подворья, поднимая на забор ряд колючей проволоки.

В конечном счете Казимирыч осуществил свою мечту. Он завел издательство, где всем делом заправлял один человек — Витя-Блюм-Стац, — то есть сам Казимирыч. Одновременно с бездоходным изданием, когда тетрадки под названием «Русский болтун» приходилось самому разносить по магазинам, он развернул и музейную деятельность. Для сбора произведений актуальных искусств, как, бывало, в старину купец Третьяков, он обратился к парижским толкучкам и скватам, где творит международная богема. За сходные цены он приобрел замечательные вещи современной пластики, сработанные из старой ветоши, гнилой древесины и малярных красок.

Стены и углы подворья, построенного в виде буквы «Г», украшали инсталляции безымянных гениев, небрежно komponуясь с окружающей пролетарской нищетой. Если по будням хозяин встречает гостей «чем бог послал», то по большим праздникам подается изысканная еда в древнерусском стиле — горячая картошка, селедка, водка, — и гости напиваются и нажираются до непотребного вида. Ни одна артистическая тусовка не обходится без захватывающих драматических склок и гнусного мордобоя. В народную память навечно врезалась дата 6 октября

1983 года, совпавшая с днем рождения Казимирыча и официальным открытием подворья. После основательной самогонной выпивки на стол, заваленный обедками, вскарабкался грузный детина, бывший московский мебельщик Вовик Толстый (В.С. Котляров), и завизжал нечеловеческим голосом: «Господа, мне здесь плохо!» Приглашенные, разбившись живописными кучами по дому и саду, замерли от ужаса. Всем было плохо, но как посмел никому не известный нахал испортить праздник? Знаменитый бард Лешка Хвост, словно оглушенный громом, упал на гитару и захрапел. Эстеты Юрий Купер и Женя Новиков спрятались в ванной. Литературный хулиган Эдик Лимонов на всякий случай снял штаны. Писатель Юрка Мамлеев сунул селедку в карман. Поэтесса Кира Сапгир усидчиво глотала картошку в тулупе. Казимирыч, одетый в красный русский костюм, выскочил с кухонным ножом и закричал благим матом: «Бей провокатора!» Известные силачи Ленька Милруд и Олег Соханевич сдернули смутьяна со стола и положили в лужу. Питерский авангардист Юрий Жарких храбро бросился на выручку товарища, приняв на себя ножевой удар. От его красивого костюма небесной синевы полетели клочья. Особенно старался приبلудный швед, не знавший русских законов. Он рвал костюм на мелкие куски и вешал их на вишневое дерево для красоты. Милруд двинул его по уху слева, потом справа, чтобы не вмешивался в дела великой державы. Кровавая разборка продолжалась до первых петухов. На рассвете Казимирыч обнаружил, что с его невестой спит приезжий график Кирилл Дорон, провокатор Толстый ночью исчез, как тать, а модернист Жарких умирает от ран.

Новый вид парижского пейзажа вносил значительные поправки в человеческие отношения.

На юбилейный праздник десятилетия «бульдозерного перформанса» (1984), организованный собирателем подпольного творчества Александром Глезером в шато Монжерон, шли все, кому не лень ехать за город. Не успел

Казимирыч присесть за стол, как вихрем, пылая от гнева и величия, влетел Глезер, ловко выбил табуретку из-под тошого зада Казимирыча и воскликнул: «Вон отсюда, гэбистская сука!» Не моргнув глазом Казимирыч отрезал классическим: «Бей жидов, спасай Россию!»

Стацинский числился у Глезера не художником, а коммунистом, засланным Кремлем для подрывной работы в эмиграции.

Идейные противники сцепились и принялись колотить друг друга по бокам и спине, пока драчунов не растащили храбрые женщины.

Беспокойное воображение московского эстета не ограничилось издательской деятельностью и драками. Неистощимый на выдумки человек осенью 1985 года потряс русскую общину, полвека страдавшую хронической нищетой и манией преследования. Во славу чудотворной русской цивилизации на месте сгнившего курятника Казимирыч возвел кумирню во имя святого Георгия Победоносца. Первый денежный взнос строитель получил от грека Георгия Костаки и за дальнейшей помощью обратился к русской и мировой общественности.

Наглый план изобретательного артиста взбудоражил всю русскую эмиграцию, от «белой» до «еврейской» волны. Великий комбинатор обещал духовное излечение за хороший вклад в постройку священной кумирни и проклятие и отлучение от подворья в случае отказа.

Люди копали ямы, корчевали пни, закладывали камни, латали крышу, тащили иконы и самовары.

Я не кормился в «Веселых картинках», но Казимирыч решил меня оприходовать на всякий случай — ведь в хорошем хозяйстве все сгодится, от ржавого гвоздя до старой газеты. Он решил, что я ему «должен».

«У меня Борис Васильевич Спасский и Женька Соловьев за шахматной доской, поспешай, говнюк, ты должен посмотреть, как играют чемпионы у Казимирыча».

«Сегодня барон Павлик Бенигсен поет под гитару, ты должен принести бутылку», или «Приходи вечером на читку Домбровского в присутствии его супруги, ты должен ей что-то дать», или «Читает Генрих Сапгир, ты должен притащить знакомых с деньгами», или «Воробей, художники подрядились украсить мою часовню. Вот Лида Мастеркова стоит рядом и не даст соврать, сделает “Хождение по мукам”, Оскар Рабин обещал “Распятие с предстоящими”, Олег Целков — “Вседержителя”, Сашка Леонов — “Мучение святого Георгия”, Сергей Есаян — “Избиение младенцев”, Боря Заборов — “Положение во гроб”, Эдик Зеленин — “Изгнание из рая”, Юрка Куперман — “Разрушение Вавилона”, Юрка Жарких — “Бегство в Египет”, Сашка Злотник — вообще говнюк, не отдает должок, — взял на себя “Святое семейство”. Ты должен написать мне “Страшный суд”. Краски и скипидар есть. Захвати свои любимые кисти, ясно?»

Куда яснее? От таких великих имен у любого закружится голова. Я, отлично зная, что ничего ему не должен, тащусь на подворье с любимыми кистями.

После решительного протеста грамотной части эмиграции под водительством княгини Зинаиды Шаховской жульничество Казимирыча выставили на всеобщее осуждение. Землекопы, кровельщики и живописцы разбежались, но неунывающий хозяин подворья дары русского православия спрятал в сундук, а в кумирню запустил злого петуха и несушек — подарок польского народа, по его словам.

Народная любовь не угасала, а разгоралась к живому артисту.

Вне всякого сомнения, кроме еврейской бабушки у Казимирыча был и татарский дедушка с богатым гаремом. Мысль жениться на богатой, красивой и умной девушке никогда его не покидала. Жизнь пожилого разведенца в пределах Французской республики превратилась в сплошной свадебный перформанс.

К зависти мужчин, лишенных воображения, борода-тый очкарик, не знающий иных наречий, кроме московского, собирал у себя лучших невест Парижа. В гостеприимный дом, воспетый бардами и скандалами, не раз пытались вселиться невесты с приданым, и всегда свадьба кончалась драматически. Воинственные претендентки, вцепившись друг другу в космы, портили праздник, и тогда через забор с колючей проволокой они летели вместе с собаками и чемоданами.

«Изгнал за сварливый характер», — заключал Казимирыч, уже расположенный к очередной свадьбе.

Может быть, это неисправимый хапуга, эгоист и скряга, лишенный гуманизма?

Мало кто знает, что этот легкоранимый человек без шума и показухи делился последним куском хлеба с попавшей в беду парижского подполья Лидией Алексеевной Мастерковой. Брошенная всем миром, предательски попавшая в западню небытия, великая художница нашла у Казимирыча достойный и бескорыстный приют и возможность творить в искусстве. Около года прожила Мастеркова на подворье, под неназойливым присмотром коллеги, искавшего для нее связи с торговцами картин.

В 1991 году рухнула огромная Советская империя. Поражает ее бескровная кончина, банальность и серость «исторического события». Ну, задавили несколько прибалтов, а так все расплзлись по сталинским границам. Новая Россия внесла значительные изменения на подворье Казимирыча в Париже. Вместо осторожных столичных искусствоведов появились бесшабашные «совки», готовые ночевать в курятнике. В дом пришла настоящая русская хозяйка, способная кормить петуха и орошать вишневое дерево. Она потянула законного мужа назад, на Волгу, в тенистую рощу, где поют соловьи, но и жизнь на подворье не затихала. Кричал петух, кипел самовар, ночевали дорогие гости.

Кудесник русской культуры не стал французом. Арабский пролетариат по-прежнему бросал камни в огород с вишневым деревом, а всемогущая строительная компания намеревалась возвести небоскреб на месте священного русского оазиса. Тяжба тянулась годами, и небоскреб победил, основателя храма добродетели выдворили за город. Но не ищите его там. Драгоценный свидетель прошлого уже не расскажет, как убивали в России искусство, как выгодно жениться и выстоять на чужбине. 1 ноября 2010 года он скончался.

Слава Казимирычу!..

## 11. Тетка московского чердака

О парижской тетке в Москве знали. Она выставяла эмигранта «первой волны» Сергея Полякова и считалась своей в доску.

Да и честь открытия России принадлежала ей, галерейщице Дине Верни.

Торговля искусством, веками служившая предметом развлечения и наживы сильного пола, обрела новый ослепительный блеск с появлением женщины библейской красоты, невиданной храбрости и пронизательного ума.

Парижский славист Саша Звигильский изучал творчество И.С. Тургенева и летом 1959 года собрался на родину великого писателя в Спасское-Лутовиново, на Орловщине. С ним увязалась его молодая тетка Дина Яковлевна Верникова, торговавшая картинами модернистов.

«Запрягла меня таскать чемодан», — выразительно вспоминает А.З.

Саша имел один верный московский адрес — Бориса Ионыча Бродского, известного знатока мирового искусства. Бродский побывал в Париже, осмотрел дачу Тургене-

ва в Буживале, где Саша собирал музей писателя, вместе они посетили вдов Бунина, Кандинского, Леже. Везде были приняты по высшему разряду, с уважением и почетом. В советской столице, где «Бора» обещал встречу со «всей Москвой», знакомство ограничилось родней искусствоведа, наголо раздевшей его «на память о Париже».

Москва, где Дине раньше не доводилось бывать, не вылезала из дремучего невежества. Война давно кончилась, но народ ходил в лохмотьях, на прилавках магазинов — шаром покати, в музеях — портреты рабочих и колхозников. Художников много, а смотреть нечего. К Костаки их не пустили, картинок А.Т. Зверева она не видела. Поездка к профессору Белютину не состоялась, Софка Бродская не рекомендовала: «Присвоит иностранца и спасибо не скажет». Рисунки белютинцев и статуэтки Неизвестного, висевшие на стенке у Бродских, Дина сразу забраквала. Одна туристическая находка — Сашка влюбился в племянницу Бори, и дело клонилось к свадьбе.

Так, ничего не повидав на родине предков, кроме застывшей бронзовой пары — Минина и Пожарского, Дина вернулась в Париж, огорченная и уставшая.

Молодым — Сашке и Тамаре Бродской — после упорных бюрократических хлопот разрешили поселиться во Франции. Тамара родила двух хорошеньких мальчиков, Сашка стал доктором русской литературы и лучшим знатоком Тургенева в Европе.

Второй раз Дина побывала в Москве, где многое изменилось, лишь через десять лет.

\* \* \*

20 января 1995 года в чрезвычайно торжественной обстановке, в присутствии президента Франции и «всего Парижа», состоялся триумф Дины Верни, связанный



с открытием Музея изобразительных искусств имени Аристида Майоля, созданию которого посвятила всю свою жизнь парижская галерейщица.

Дина родилась в Кишиневе в 1919 году в семье музыканта Якова Айнбиндера, симпатизировавшего меньшевикам. Из румынской Бессарабии родители перебрались в революционную Одессу.

Одесса 20-х годов походила на большой вшивый рынок, где вчерашние победители «Антанты» и Белой армии скупали валютные ценности, торговали фальшивыми паспортами и создавали эфемерные тресты типа «Рога и копыта» вперемежку с постоянными облавами, судами, расстрелами и высылкой за границу.

В семейном архиве Дины Верни нет телеграммы, подписанной товарищем Лениным, но красочная легенда об освобождении Якова Айнбиндера из тюрьмы, очевидно, возникла на основании Указа СНК от 6 февраля 1922 года с пометкой первого вождя — «произвести серьезные умягчения».

Ленинские «умягчения» коснулись и многих одесских социалистов, вместо Сибири высланных за границу. Вождей русского социализма — Юлия Мартова (основателя РСДРП и с Лениным на «ты»), Михаила Скобелева, Ираклия Церетели — выпроводили осенью 22-го года.

Семья Айнбиндер прошла классический путь политических беженцев того времени: Одесса, Варшава, Берлин, Париж. Париж 30-х годов принимал сотни тысяч эмигрантов всех мастей и оттенков. Молодая и совершенно нищая семья сразу сообразила, что надо вкалывать, учить язык, а не толкаться на сходках Одесского землячества, где точили ножи крестового похода на Советскую Россию.

Юная Дина росла в квартале международной богемы, изучала химию, пела цыганские песни и слонялась по букинистам, собирая занятные вещицы, навсегда подхватив вирус коллекционирования.

В 1934 году прекрасно сложенную артистку увидел художник Дудель и отвез ее в мастерскую всемирно известного скульптора Аристида Майоля. Старый мастер был поражен красотой натурщицы. Она стала его последним идеалом, вдохновившим его на ряд блестящих ваяний и цикл живописных полотен.

О своей партийной принадлежности Дина Верни предпочитала не вспоминать, но ее крепкая дружба с бунтарями и мятежниками «левого лагеря», такими как высланный из России Виктор Серж-Кибальчич, организатор 4-го Интернационала Давид Руссэ, Фред Зеллер, Лев Седов, говорит о близости к позиции Льва Троцкого.

Люди, знающие Дину, отмечают ее бесстрашие и смелость. Близкая связь с Аристидом Майолем, имевшим дачу на испанской границе, в морском поселке Баниульс, позволяла ей переправлять в осажденную фашистами Испанию сотни добровольцев, готовых умереть за республику.

Пожалуй, русский кабак 30-х годов был единственным перекрестком, где сходились несовместимые пути великих бояр, анархистов и сионистов, художников и проституток. Владелец ресторана на Монпарнасе, питерский эмигрант Лев Адольфович Аронсон (Доминик), не раз рассказывал, как Дина пела у него русские песни с такой удалью, что разношерстные посетители кабака стоя аплодировали девочке с гривой черных, рассыпанных по плечам кудрей.

Мужчины в ее жизни многое значили.

Авантюра с первым мужем русского происхождения, кинооператором Александром Верниковым, сократившим фамилию до Верни, быстро кончилась. Муж не вынес бешеного темпа жизни, взятого его супругой. Из «испанской авантюры» 36—39-го годов Дина вынесла закаленную в кровавых боях дружбу с людьми, никогда не оставлявшими ее в трудное время.

Расправа над сторонниками Троцкого была чудовищным, планетарным наступлением владык Кремля на ина-

комыслящих коммунистов. Агенты Москвы убили в Париже Льва Седова, сына Льва Троцкого, а в 40-м от топора наемного убийцы погиб и сам вождь Октябрьской революции. Дина уцелела.

1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война. Яков Айнбиндер добровольцем ушел на фронт, попал в немецкий плен и не вернулся. Дина оставалась у Аристида Майоля, лепившего с нее лучшее свое произведение под названием «Гармония». Дружба с великим скульптором и одновременно подпольная работа в отрядах Сопротивления на юге Франции. Одно дело позировать художнику или с огоньком спеть цыганский романс, другое — под дулом оккупантов переправлять в Испанию беженцев, а если при аресте обнаружат фальшивые документы и родство с одесским раввином, то не миновать расстрела, которого она избежала дважды.

В 43-м году она попала в лапы гестапо. Ее засадили в известную тюрьму Фрэн в одну камеру с Женевьев де Голль, племянницей мятежного генерала. И здесь чудо спасло ее от гибели в печах Освенцима: ученик Майоля, известный немецкий скульптор Арно Брекер, лично вмешался в щекотливое дело и вытащил храбрую разведчицу из фашистского застенка.

В 44-м умирающий Майоль завещал Дине свое творческое наследие. Дина по-своему отметила день освобождения Парижа от немецких оккупантов, положив букет цветов к работе покойного покровителя, установленной в Тюильри.

Художник Сергей Поляков родился в Москве, но жил в Париже, зарабатывая на жизнь гитарой и пением в русских кабаре. Несомненный дар этого художника-авангардиста заметила проницательная Дина Верни и предложила Полякову первую выставку в своей галерее, открытой в 1946 году на улице Жакоб, 36.

Если не считать галереи Пегги Гугенхейм, год или два работавшей в Лондоне, это была первая галерея в

Европе, руководимая женщиной, и этой женщине было всего 27 лет!

Сергей Поляков получил премию Кандинского в 1947 году и прекратил играть в кабаках, развернув широкую международную деятельность художника высокого класса.

Культурная политика галереи отличалась ясно выраженным эклектизмом. Дина не выставляла и не продвигала определенной «школы» или «изма», а, работая с разными авторами, собирала одну духовную семью — от наивного примитивизма Вивена до сюрреализма Зитмана, абстрактивизма Полякова и романтизма Шемякина. Финансовый гений Дины Верни обеспечивал достойное существование избранным мастерам.

В конце 50-х годов отношения с Советской Россией стали улучшаться. Парижская галерейщица с возрастающим интересом следила за переменами на незабываемой родине, где она собирала разноцветные стекляшки на одесском пляже и влюбилась в пять лет. Сначала племянник, потом знатоки русской культуры, как Жан-Клод Маркаде, установили нужные контакты с влиятельными людьми России, не забывая спускаться в артистический андеграунд пролетарского государства.

В 1963 году сбылась заветная мечта Дины. Французское правительство и, в первую очередь, министр культуры Андре Мальро, приняв драгоценный дар — ряд бронзовых скульптур работы Аристиды Майоля, установили их на лужайке Луврской площади.

Дорога от натурщицы в преуспевающие бизнесмены не была усыпана розами. Дина дважды выходила замуж и разводилась с большим треском и мучительной дележкой семейного имущества.

Мужчины, традиционно заправлявшие рынком искусства, сочиняли небылицы о сексуальной жизни прелестной галерейщицы, но постепенно сдавались, уступая место бесстрашной женщине выдающихся способностей.

Дина стала постоянным участником знаменитых ярмарок искусства в Европе, Америке, Японии.

Посетив Россию в 70-м году, Дина мгновенно схватила сущность режима. Вожди одевались как все культурные люди Запада. В модных ресторанах танцевали твист. Процветал черный рынок. Художники рисовали не только рабочих и колхозников, но и занятные абстрактные каракули. В модных «салонах» на стенах висели картины Малевича, Шагала, Зверева. Деловая и храбрая Дина посетила десятки подвалов и чердаков нелегальных и таинственных творцов, бесплатно работавших на вечность.

Вейсберг, Ситников, Краснопевцев, Рабин, Архангельский, Неизвестный, Белютин, Соостер, Кабаков, Нуссберг, Брусиловский.

Во фрондирующем и глухом Ленинграде, где несомненным вождем подпольного творчества был Евгений Рухин, лепивший по десятку абстракций в день, Дина выбрала одного молодца, Мишулю Шемякина, рисовавшего занятные завитушки древнего Петербурга, очень упорного и свободомыслящего художника. Молодому человеку с обликом кавказского героя самой судьбой было предназначено атаковать спесивый Запад.

После изнурительной торговли с советскими властями, бумажной волокиты и неотразимых финансовых средств парижанки молодого авангардиста 17 октября 1971 года отпустили в Париж. «Провожали его я и Илья Кабаков», — вспоминает бывшее поэт Кузьминский.

Союз Дины с гордым питерским артистом закончился разрывом. Житель захолустного Питера просил больше и больше. Скромная и сытая жизнь под боком у хозяйки его не устраивала. Он прочно стоял на ногах. Через год они с боем расстались.

Московские избранники оказались стоворчивей. Они не рвались в Европу и на совесть трудились по домам. В 1973 году галерейщица устроила Архангельскому, Кабакову, Булатову, Янкилевскому, Рабину выставку с ярким ка-

талогом. Благодаря отлично налаженной экономической машине Дины Верни началось триумфальное шествие так называемого «Сретенского чердака» Ильи Кабакова.

Мишуля оказался на редкость завистлив. Казалось бы, радуйся славе друга — нет, он сек и топтал друзей за отсутствием человечности в искусстве. Дина, построив музей своей мечты, отчислила его из рядов «великих художников». Обиженный Шемякин при всяком случае допекал ее самыми негодными средствами, вплоть до публикации мутной фотокарточки военного времени, где Дина снята под руку с немцем.

Психбольное искусство современности!

В самостийных затеях эмигрантов, нахлынувших в Париж в 70-х годах, Дина Верни не принимала участия. Лишь изредка она давала взаймы одну-две картины из своей коллекции для выставок нонконформистов. Вся энергия галерейщицы уходила на строительство музея, начатое в 1977 году на старинной улице Гренель. Постепенно, комната за комнатой, квартира за квартирой, Дина скупала старинный особняк с фонтанами питьевой воды.

После кончины сына скульптора Майоля коллекция стала еще больше. Сын доверил Дине не только работы отца, но и свои произведения.

В 79-м скульптор Игорь Шелковский затеял издавать журнал по искусству, пропагандируя новые веяния под названием «советский концептуализм», где основное место занимал «Сретенский чердак». Дина Верни охотно помогала ему деньгами. Вышло всего шесть номеров журнала «А—Я», но он сыграл свою роль в русской культуре.

В 85-м, словно чувствуя решительные перемены в Советской России, Дина Верни организовала первую выставку Кабакову, замечательному художнику-концептуалисту, работавшему с материалом бытового абсурда Москвы. Пожалуй, в первый раз французская, а затем и европейская пресса всерьез обратила внимание на художественные достоинства русского художника, а не на

политическое инакомыслие. Через два года, уже с помощью официальных организаций СССР, его выставка с большим успехом прошла в парижском Доме художника. Главная часть произведений поступила из собрания Дины Верни.

Еще в 60-х годах лондонский галерейщик Эрик Эсторик скупал произведения советского запрещенного искусства. После незаметных выставок 65-го года картины Оскара Рабина, Дмитрия Плавинского, Эрика Неизвестного гнили у Эсторика в запаснике. Дина Верни их выкупила и перевезла в парижский музей. Составляя персональную выставку в Русском музее Ленинграда, Оскар Рабин, проживающий в Париже, воспользовался ее собранием, где были лучшие его вещи 60-х годов.

Концептуальная конструкция Владимира Янкилевского, выставленная сейчас в музее, имеет не менее замечательную историю.

Сын известного французского коммуниста Поль Торез был одним из первых пропагандистов и покровителей советского нонконформизма, верным другом творцов подпольного искусства, защитником их интересов в западной прессе. Дина Верни сразу заметила Янкилевского, и в 78-м в наемном грузовике Поль Торез вывез на Запад его огромную инсталляцию, разобрав ее по частям, как ненужный хлам. Ленинградская таможня, удивленная странным багажом француза, пропустила его, не взяв ни одного рубля!

Произведение собрали в Париже. Теперь оно украшает отдельный зал музея Дины Верни.

Москвич Эрик Булатов — автор сатирических композиций, где реальное изображение пересекается с шрифтовыми лозунгами типа «Опасно», «Входа нет» и т.д. Используя известную картину Эжена Делакруа «Свобода на баррикадах», он сделал свою смешную и благородную композицию большого размера с русски-

ми буквами, что совершенно меняет смысл картины французского художника.

Собрание работ уроженцев России первой половины XX века — Кандинского, Пуни, Шаршуна, Полякова — следует считать лучшим в Париже. Галерейщица покупала большое количество работ эмигрантов «третьей волны», и, очевидно, на стенах музея появятся новые имена, неизвестные широкой публике.

Двадцать семь залов дворца вмещают не только картины, скульптуры, инсталляции, графику, но и отдел старинных кукол, и каретный сарай, где собраны резные и пестро раскрашенные экипажи домоторной эпохи.

В детстве Дина мечтала стать химиком, потом актрисой кинематографа, но стала первой галерейщицей Парижа, а возможно, и всей послевоенной Европы.

Ее маленькая галерея в Латинском квартале не менялась с 46-го года. В ней по-прежнему сидит верный слугитель и постоянно проходят выставки.

Дочка русских евреев, собиравшая стекляшки в Одессе, стала выдающимся культурным деятелем Франции, организатором и строителем Музея изобразительных искусств в Париже.

Дина Верни скончалась (2008), но слава ее никогда не померкнет.



## 12. Счетовод подполья

Это первая и неполная попытка осмыслить деятельность великого подвижника русской культуры Леонида Прохоровича Талочкина.

Архивный ящик гонимого искусства пуст — легенды и хохмы, разговорчики и грек Костаки, не подумавший обо всем. Сорок лет с невероятным упорством он создавал музей и архив современного искусства от А до Я.

Первую тренировку глаза и вкуса инженер Леня Талочкин прошел у Бориса Козлова (1962), ныне пропавшего без вести, а уж дар собирать и определять картины в одно место у него оказался врожденным. Его супруга Татьяна Колодзей, не менее мужа увлеченная делишками андеграунда, в свою очередь опекала никому не нужное, особо презируемое официозом творчество. Они не были потребителями одного артиста, как, скажем, Святослав Рихтер — Краснопевцева, и приятие распространялось на всех, от начинающих до известных. Дружба с Евгением Рухиным, питерским «локомотивом», ставшим их домашним другом, принесла бы свои бо-

гатые плоды, но он рано погиб в своей ленинградской мастерской.

Знаменательная для России выставка «Другое искусство» (1990) и двухтомный каталог к ней — детище моего друга Лени Талочкина. Он не сделал, а выстрадал ее долголетним, каторжным трудом собирателя, документалиста, фотографа и рабочего.

С этим удивительным человеком я познакомился в 1964 году в Москве, в клубе «Диск», где выставлялись кинеты Льва Нуссберга. Мне показалось, что этот широкоплечий, плотно стоящий на земле инженер трубного завода очень близок к кинетам, но понять, каким образом, я сначала не мог. Он не принимал участия в экспозиции, а руководил установкой кинетических объектов всей группы «Движение». Его рослая и хлопотливая жена Татьяна, казалось, навечно прикручена к неофициальной суете.

Супружеская пара старалась показать людям в частных квартирах или «комсомольских клубах» произведения молодых талантов или совсем забытых художников. Кинетов Нуссберга они протолкнули в клуб «Диск». Советские люди, десятками лет запертые под замок коммунизмом, не выдавшие и не знавшие, что творится в ином мире, как замороженные часами глазели на образцы свободного творчества и с жаром, до рукоприкладства, спорили на тему «что есть истина».

Почему дипломированный инженер спустился на дно подпольной безумщины, художественной шизофрении и бытового маразма, с его беспробудным пьянством, наркотой и вечным борделем по подвальным мастерским? Потому, что на дне было ярче и чище, чем на лакированном, но подлом верху. На дне зрело будущее новой России.

До меня дошли слухи, что Талочкин развелся. Бросил свой завод и фотографирует картины любимых художников.

Фотограф Талочкин брал все, что давали художники. Вертеж-крутеж и мигалки кинетов Нуссберга, натюрмор-

ты Рабина и Рухина, рисунки и монотипии Гробмана и детские картинки Булатова и Васильева, объекты Боруха и Бордачева, абстракции Штейнберга и Ковенчука.

Я очень рано попал в лавочку дипарта и жадничал дарить картинки верным друзьям. Леня Талочкин меня охаживал, особенно после однодневной и очень скандальной выставки «12» в клубе «Дружба», и выпросил сделанный с него портрет гуашью.

В 70-м я не принимал участия в выставке в доме Стивенсов на Арбате, не нуждался в такой рекламе, но навестил ее со своим учеником Сережкой Бордачевым. К сожалению, картинки, висевшие на заборе, такие разные и такие слабые, не привлекали денежных посетителей. Накрапывал дождик, мы втроем бегали вдоль стены и собирали подпольный товар в одну кучу.

Затем нелегальным путем Талочкин отправил выставку в Данию, но и там она не имела успеха. Люди потешались над провинциализмом молодых советских авангардистов.

Деятельность Комара и Меламида, начинающих и мыслящих художников, он поддержал первым. Их перформансы начала 70-х не обошлись без его горячего участия.

Завистливый конкурент А.Д. Глезер голословно обвинял Талочкина в сотрудничестве с органами безопасности — и есть чему завидовать: у Талочкина две тысячи картин, а у него пятьсот штук! Причем всего запаса он не распродал в свою пользу, как это сделал Глезер, а подарил Москве.

Его пытались лягнуть и очернить конкуренты, но клевета слетала с него как с гуся вода.

С 29 сентября 1974 года учет и контроль дикого подполья осуществлял Талочкин. Его потрясла корпоративная узость Немухина, получившего в профсоюзе власть и потребовавшего исключить с выставок девять «бульдозерных

героев», в их числе Комара и Меламида как людей, по словам Немухина, непригодных к искусству.

Перед отъездом в Париж (1975) я обещал ему аккуратно писать и сообщать, что творится в искусстве, и честно делал это более двадцати лет, собрав большой эпистолярный архив.

Переписка Талочкина со всем миром была чрезвычайно обширной. Невольно он стал единственным координатором «русской зоны», как Гробман израильской, а Кузьминский американской.

Весь успех «профсоюзных выставок» 70—80-х плотно связан с именем Талочкина. Он не только составитель каталогов, но и душа всех квартирных и клубных выставок последних лет, наделавших много шума во всем мире, начиная с грандиозной выставки в Измайловском парке, в сентябре 1974-го до выставки «Другое искусство» в новой, либеральной России 1990 года.

В 1976 году ему удалось зарегистрировать свою личную коллекцию через Минкультуры, навязав ее в «безвозмездный дар советскому народу».

Он сходил и расходился с женами и продолжал жить на жалованье, а затем на пенсию ночного сторожа.

1987 год — «жену выдал замуж за ирландца» — было и такое!

Его эпистолярное наследие огромно. Я храню ящик, набитый его письмами, написанными ярким, сочным, содержательным слогом.

Леня Талочкин охотно брал подарки и взамен делал фотографии на память, что ли?

Футурист Давид Бурлюк сотрудничал в Америке с русской газетой советского пошиба и жил, забытый всем миром, на деньги зажиточной супруги. Каково же было мое удивление, когда Анатолий Копейко, художник «Отчизны», где я в 65-м работал приходящим рисовальщиком, шепнул, что с минуты на минуту редакция ждет Бурлюка.

Я застрял поглазеть на легендарного футуриста и революционера.

Вскороги он появился в сопровождении старика Никанорова, почитателя из Тамбова, собиравшего его творчество. В актовом зале издательства поставили микрофон и усадили президиум. «Отец русского футуризма», одетый в твидовый пиджак и затянутый в буржуазный галстук, что-то мычал о величии русской культуры, породившей Пушкина и Маяковского.

В первом ряду как замороженные сидели московские знаменитости — поэты Семен Кирсанов, Генка Айги, Николай Иванович Харджиев, два или три неизвестных мне пузача. Для меня оставалось тайной, что могло связывать этих людей с зевавшими издательскими работниками. Тогда, осенью, я навсегда забраковал футуризм с его вождями и современными адептами.

В первом ряду сидел Леня Талочкин.

Он что-то совал Бурлюку на памятную подпись. Мы вышли вместе к метро.

В Советском Союзе, как и во времена Петра Первого, ношение бороды категорически запрещалось. Это был неписанный закон, но ему следовали все беспрекословно, как солдаты устава Красной армии. Среди высшего начальства в моде были усы «а-ля Сталин», «а-ля Гитлер», и лишь престарелые академики могли позволить себе вольность носить бороду.

«С появлением кубинских бородачей, Фиделя Кастро и прочих (1960), на священной Кремлевской стене бороды объявились и в Москве. К ним относились снисходительно, с насмешками в общественных местах. Бывало и так, что совсем чужие тетя или дядя подходили к бородатому молодому человеку и говорили: «Сбрей бороду, не позорься!» Леня Талочкин отрастил густую черную бороду на удивление блюстителям советской чистоты. Его импозантный вид среди стриженных «кинетов» производил сильное впечатление. Татьяна Колодзей, высокая, строй-

ная женщина, тоже не соответствовала партийным стандартам славянок с широким лицом и круглым задом.

Сторожа́м и кочегара́м низкого жалования́ боро́ды прощались, а в 65-м Талочкин уже служил сторожем в Историческом музее.

Я не понимал его. Раскусил, но не принимал.

Мой дух был развращен бесами, а суета чернобородого сторожа казалась слишком мелочной и бесплатной.

Умение уживаться с людьми «невозможного характера», где каждый — невыносимый гений, воплощение зла, подлости и коварства, превратило Талочку в информационный штаб искусства. Всегда в гуще событий, он составил полную картотеку московского андеграунда, собирателей и критиков. Он принимал и имена мимолетной моды, и неизвестных, и мелких. И те и другие получали полное информационное обеспечение.

Информационное бюро — Талочкин! Других нет.

Хлопоты о выставке он начал в советское время. «Назвали выставку “Другое искусство” — правда, мне название не нравится, два года назад это еще звучало, а сейчас уже нет, не то время», — писал он мне в 91-м году.

Конечно, название было спущено сверху начальством «изофронта», испуганным переменами, и Талочкин принял его, потому что любой прорыв на волю был для него победой.

Почему «другое», а не «дегенеративное»?

Хитрожопые устроители постеснялись назвать ненавистное рисование его подлинным именем, как их более прямые немецкие единомышленники, но напоследок решились лягнуть андеграунд, смешав его с мусором московских мафиозников.

Уверяю вас, мы не «другие», мы — «дегенераты».

Наши паспортные данные и манифесты надо искать не в академическом столе, а в Институте психиатрии имени Сербского. Товарищи устроители забыли туда обратиться.

А наш архив там.

Талочкин вынужден был обратиться к официозу, со штатными искусствоведами и дипломированными критиками.

Ведь один в поле не воин!

Был отличный фотофонд, но ни одной строчки на актеров подполья. Надо было найти сотни людей, опросить и записать данные, лично отмерить две тысячи картин и сотни со стороны. Драка за место в книге и размер фотографий — кому побольше, кому поменьше — началась сразу. Надо было обладать адским терпением, чтобы работать бок о бок с самозванцами и провокаторами.

Леонид Талочкин разбился в лепешку, чтобы составить достоверный каталог выставки, но московские цензоры старались затереть одних и возвеличить других, подходящих к их шаблону. Собрать картины «предателей родины», живущих на Западе, оказалось чрезвычайно трудно. Их представили в самом унижительном виде, без освещения и названия. Каталог выставки вышел в двух книжках и, как водится, с опозданием на полгода. В нем выделялся никому не известный самозванец Юрий Злотников, выдавший себя за теоретика и практика андеграунда, неуклюже обобщая и проектируя «провалы и достижения другого искусства».

А мы не «другие», а настоящее и гонимое искусство.

Академики братья Никоновы загорали на римской даче, когда нас колотили лопатами на московском пустыре. Теперь эти жулики примазались между Мишкой Кулаковым и Оскаром Рабиным!

Счетовод Талочкин не обошел эмиграцию, как это сделали питерские организаторы, вымарав самого «главного» — Михаила Шемякина.

«Вот держу каталог выставки “Искусство Петербурга 50—80-х”, и меня там просто не существует!» — с горечью изрек изгнанник.

Да, есть перекосы и легко придраться, но Леня Талочкин крепко держал штурвал в бушующем море интриг.

Смешно выглядит в моем ракурсе, но лифтер Талочкин — выдающийся деятель русской культуры, сравнить которого просто не с кем ни в прошлом, ни в настоящем, создатель первого в России музея современного русского искусства.

Я представлен у него одной незначительной натурной работой — портретом с Талочкина (1969), но это по моей вине. Я жил и живу по старой вере и даров не делаю, особенно музеям, где бы они ни находились.

Пещерное мировоззрение. В светлую память Павла Михайловича Третьякова, даров не принимавшего, а покупавшего даже у начинающих живописцев.

Официальная культура строится на известных явлениях, следовательно, извращена. Ведь никто не знает, что будет с ней завтра, если неизвестные обществу явления и лица меняют ее ориентиры.

Известность приносит достаток, что немало для человека.

Кто бы мог предсказать, что Казимир Малевич, умерший в 35-м году в полной безвестности, сотрет с карты Евгения Кацмана, блиставшего орденами в официальной культуре.

Талочкин — уникал! Он собрал несколько тысяч картин, не заплатив ни одной копейки! Бесплатный музей никому не известной современной культуры!

Первая, московская часть апостольского периода подполья достоверно представлена и на выставке, и в каталоге.

Постоянный музей его имени, образованный в Историко-архивном институте (РГГУ), — достойный памятник почившему 2 мая 2002 года московскому подвижнику искусств Леониду Прохоровичу Талочкину.



### 13. Советский мусор выше Лувра

Судьба Ильи Кабакова мистического происхождения.

Его выставка в «Бобуре» (17 мая 1995) — Центр Жоржа Помпиду, Париж — представляла грандиозное зрелище с «тотальной инсталляцией», которую сразу прозвали «Норильском» за барачные постройки жилых комнат и библиотеку, украшенные дидактическими картинками. Сам автор принимал гостей, стоя у ворот музея. На его груди висела зеленая медаль французского ордена «заслуженного деятеля искусств». С одного боку, в черном, — торжествующая Дина Верни, с другой стороны — его супруга. Крепкое рукопожатие, дежурная улыбка дипломата, уставшего от постылого протокола.

На обсуждении, или «форуме», выступил соиздатель и попросил улучшить жилищные условия своего ученика и зятя Паши Пепперштейна — «условия, в которых живет мой ученик Паша, действительно невыносимы».

В толпе не поняли и рассмеялись. Что это? Попытка решения жилищно-коммунального вопроса на «форуме», элементарная нескромность или хохма?

Нет пророка в своем отечестве!

Большого художника мировых стандартов русская критика, изгаляясь вовсю, старательно, часто зло и немилосердно била, вместо того чтобы возвеличить восходящее «планетарное солнце».

Кабаков сказал: «Куча советского мусора выше Лувра!»

И доказал это на практике. А критика трещала: «ничего нового», «метранпаж», «не художник», «море расхожих трюизмов», «этакий Салтыков-Щедрин брежневской эпохи», «элементарная нескромность» (литературовед Александр Шадуро, Санкт-Петербург, 01.06.95).

За Кабакова я обиделся и ответил этим критикам по-своему, дифирамбом и мемуаром одновременно.

\* \* \*

Петербургский туняец Александр Пушкин, сосланный в Екатеринослав за сочинение возмутительной оды «Восстаньте, падшие рабы», купаясь в Днепре 10 июня 1820 года, жестоко простудился и надолго слег. Лечил его еврей с Мандрыковки лимонадным напитком.

Летом 1960 года московский художник Илья Кабаков, «умирая от тоски» в той же Мандрыковке, лечился лимонадом домашнего производства.

Лимонад Пушкина!

Лимонад Кабакова!

Соблазнительная, мистическая лимонадная связь двух гениев — поэта и художника — на берегах Днепра!

Что мы знаем о Екатеринославе и Мандрыковке, с 1926 года ставших Днепропетровском?

Это первая «потемкинская деревня» в России, «тотальная инсталляция» XVIII века. Затем сплошные трубы и печи чугунолитейных, рельсопрокатных и ракетных заводов, «помойка-стройка» в кабаковском творчестве. Это родина и колыбель «днепропетровской мафии» — Цвигун,

Цуканов, Блатов (самый главный мафиози подразумевается!), — надолго, на двадцать лет захватившей Московский Кремль.

30 сентября 1933 года в бывшей Мандрыковке родился Илья Иосифович Кабаков, будущий великий художник.

Отец — слесарь, мать — счетовод.

Бывший туняец Михаил Гробман, придающий особое значение этногенезу в культуре, безоговорочно заключает («Левиафан», 1981), что «Илья Кабаков — еврейский художник».

Сам художник, прошедший долголетнюю школу русского академизма и тридцать лет московской конспирации, возражает: «Я не могу связать то, что я делаю, с каким-то особым, дополнительным, еврейским компонентом».

Не вдаваясь в бесплодную полемику вокруг «этноса и культуры», мы полагаемся на забавное самоопределение Кабакова: «Я — советский художник!»

Со своей стороны, мы считаем Кабакова великим русским художником, какими были и остаются для нас Феофан Грек, Федор Бруни, Архип Куинджи, Исаак Левитан, Лазарь Лисицкий...

...40-е годы... Маршруты беженцев... Днепропетровск... Ростов... Махачкала... Кзыл-Орда... Самарканд... Ленинград... Пачкая страницы русского букваря Л.А. Карпинской, одобренного всесоюзной правительственной комиссией, сын слесаря лез в чужой огород. За рисунки получал затрещины и двойки. О будущем начинающего рисовальщика позаботилась мать — счетовод Бейса Юделевна Солодухина.

В Москву, в 45-м году, его привезли «бог знает откуда», как выражался писатель Н.В. Гоголь, чтобы сделать художником. Чужака определили в общежитие художественной школы, или «попросту в детский дом», по словам самого Кабакова, откуда начинался самый длинный, извилистый и тернистый путь в искусство. Первую «пятилетку» посто-

янного недоедания, унижений и вшей подросток Кабаков с честью выдержал.

Во второй, академической «пятилетке», 1951—1956 годы, у приезжего отличника Кабакова появился московский покровитель, богач Леонард Данильцев, с 3-го курса ушедший в актеры, а позднее — в глубокое самогонное подполье.

По выходным дням студент Кабаков разглаживал суконные брюки, напяливал кепку и шел в гости, в генеральскую квартиру на Садовой-Кудринской. Гранитный подъезд, быстроходный лифт, проворный денщик, прислуга в белом переднике и полно картин, конфискованных в побежденной Германии. Там он отъедался такими разносолами, от которых голова кружилась тридцать лет спустя.

«Вот мне бы такой дом и таких родителей!»

...Рассольник с потрохами домашней птицы... Форшмак из сельди... Пахучие зразы... Чебуреки... Компот из персиков... Ватрушки, блинчики, коврижки...

Разумеется, все учебные задания закадычного друга Данильцева, хлеставшего водку из генеральского графина, выполнял отличник Кабаков.

Суровый 1953 год.

Да здравствует Иосиф Виссарионович Сталин!

Двадцатилетний Кабаков служил примером для подражания.

Но одно дело заехать в столицу и получить образование, а другое — добиться места в столичном искусстве, а не в техникуме города Пензы, куда обыкновенно загоняли детдомовцев.

Чтобы понять, что творилось в искусстве советской державы, объяснимся издалека.

Рабочий метод, «социалистический реализм», с 1932 года объявленный единственным шаблоном творческой деятельности, сразу стал достоянием известных фамилий, свято хранивших академические традиции в семье. Кучка

питерских и московских деятелей, с давних времен связанных родством и круговой порукой, наподобие коза ностра, беспощадно расправилась с приبلудными чужаками, рискнувшими приблизиться к жирной казенной кормушке. Попасть в неприступный заповедник вечного богатства и подчинения таким чужакам из «детдома», как Кабаков, все равно что верблюду залезть в иголку, но время от времени кланы обновлялись новичками безусловно реализма и браками по расчету.

Например, женитьба деревенского чужака Федора Решетникова («Сталин у окна», 1948) на дочке академика Исаака Бродского («Ленин в Смольном», 1939) была явлением чрезвычайным и доступным лишь беспринципным проходимцам.

Деятельный член московской коза ностра, академик Дмитрий Жилинский, внук сестры академика Вал. Серова и двоюродный племянник академика В.А. Фаворского и Симонович-Ефимовой, невинно заявляет: «В “творческий союз” меня взяли со школьной скамьи, а в академике записали, не спросив».

Автор помнит (я помню!), как в деревянные бараки у Рижского вокзала, где располагалось студенческое общежитие с танцевальным залом, навевались шаловливые московские невесты на розыски талантливых женихов. Пышная и плотоядная Машка Дервиз, дочка известного мафиозника «соцреализма», висела, как хомут, на шее дипломника Кабакова, божественно танцевавшего аргентинское танго. Заманчивая наружность иного бездомного художника привлекала отборных отпрысков великих фамилий — Соньку Зеленскую, Оксану Обрыньбу, Любку Решетникову.

Студент Кабаков пошел иным — и темным — путем. Красавец парень женился на бесприданнице, чем обрек себя, мать, семью на бесчисленные страдания в коммунальном аду Москвы, в густом мраке страха, склок, доносов, смерти.

Мать художника, прописанная в Бердянске без воды и дров, пятнадцать лет не снимала пальто, разыгрывая опоздавшую на поезд провинциалку. Все тряслись от стука в дверь и проверки паспортов!

Нечеловеческий быт Илья Кабаков принял как неизбежное зло и на жизнь зарабатывал поденной разгрузкой товарных вагонов.

Потом, вопреки здравому смыслу, выпускник советской академической школы, да еще имени Василия Ивановича Сурикова, выбрал подозрительный литературный материал для дипломного оформления — роман еврейского писателя Шолом-Алейхема «Блуждающие звезды». Конечно, писатель критикует царские порядки, конечно, перевод прошел суровую цензуру, но стоит ли высокоодаренному, но еще незрелому иллюстратору лезть в болото мелкобуржуазной и, прямо скажем, сионистской стихии? Утвердил ведущий академик Борис Дехтерев! А кто, собственно говоря, такой Дехтерев? Торчком подкрашенные усы, голубой бант через плечо, вызывающе пестрый пиджак и противоестественные связи! Он был на острове Капри у «самого Горького»! А не провокатор ли и не мошенник ли ваш Максим Горький? Почему бы молодому Кабакову не взяться за оформление передового и революционного романа Николая Островского «Как закалялась сталь»? Там комсомол Украины не за страх, а за совесть строит новую жизнь, а не плюет с высокого этажа, как это делает местечковый прохиндей Шолом-Меир Муравчик. Там по-настоящему можно развить свое дарование. Вот отличный прыжок в «творческий союз», на дачу в Рим, на курорт в Абхазию! Нет, молодого человека сбили с панталыку, свели с бездомным эстонцем Соостером, безродным харьковчанином Брусиловским и запихнули в облезлый подвал прохвоста Юрия Соболева.

К началу XX века академическая школа искусства на Западе вымерла, как вымерли допотопные животные. Ху-

дожники не умели рисовать с натуры, компоновать фигуры и вещи, «привязать» голову к туловищу и туловище поставить на ноги. Художественное видение мира подменили общедоступным маньеризмом — приемчиком в двести краски, процветающему до сих пор под названием «лирическая абстракция».

Последних мастодонтов суровой академической школы сохранила советская власть. Илья Кабаков застал в живых Кардовского, Кузьмина, Конашевича — людей, начинавших в XIX веке.

В совершенстве владея академической техникой, Илья Кабаков стал оформителем детской книги, где много рисовали и лучше платили.

Издательская деятельность художника еще ждет своего особого исследования, потому что русская книга той поры, а детская в особенности, достигла высочайшего художественного качества, неизвестного Западу.

Педагог, искусствовед, живописец Элий Михайлович Белютин, советский гражданин, чувствительный к европейской моде, с 1954 года вел «курсы повышения квалификации» начинающих и любопытных артистов, главным образом женского пола. В студии учились шпаклевать мастихином краску «относительной глубины» и проходили уроки хорошего тона.

Над модным дамским кружком, как муха над медом, кружилась элита московских гуляк: Слава Зайцев, Феликс Збарский, Марк Мечников, Боря Жутовский, Вова Галацкий, Эрик Неизвестный и глухонемой лауреат Сталинской премии за 1952 год («Поль Робсон поет»), симпатичный дядька Валька Поляков.

Профессор Белютин храбро выставлялся не только в дружественной Варшаве, но и в таинственном буржуазном Париже. До него в 1961 году никто из московских модернистов не решался высунуть нос за пределы своей берлоги.

Итак, конспиративный ликбез!

Техникой мастихина Кабаков владел давно, кад্রেжка манекенщиц его не прельщала, но ближайшие единомышленники Юло Соостер и Юрий Соболев выставлялись с «белютинцами».

«Говно! Пидирасы! Расстрелять их!»

В шумной склоке, организованной провокаторами коза ностра 1 декабря 1962 года, стравившими несчастных «белютинцев» с верховной властью, Илья Кабаков — вопреки мнению некоторых искусствоведов — участия не принимал.

«После эпизода с Хрущевым, — вспоминает скульптор Эрик Неизвестный, — я на десять лет был выброшен из обращения как профессиональный художник». Дамские курсы Э.М. Белютина прикрыли. На отстрел художников не решились.

Первые его опыты восходят к конструктивной традиции русских футуристов, хорошо представленных в частном музее Георгия Костаки.

Иностраннных подданных, проникавших в безумие московского андеграунда, можно пересчитать подряд: Камилла Грей и Эрик Эсторик, Александр Маршак и Поль Чеклоха, Игорь Маркевич и Поль Торез, Арсен Погрибный и Иржи Халупецкий, Энрико Криспольги и Франко Миеле...

Итальянский аспирант Энрико Криспольги с удивлением обнаружил, что в Москве не продают, а дарят хорошие картины, причем чем больше хвалишь автора, тем туже набит чемодан подарками.

Московское подполье, разбитое на враждующие группы, понятия не имело, что такое настоящая выставка и продуктивная торговля искусством. Любое начинание в этом направлении превращалось в давку и склоку без царя в голове и профессиональной гордости. Редкие авангардисты, забывая о грозной статье 88 УК РСФСР, от трех до восьми лет с конфискацией имущества, решались драть с иностранца валюту.



Чешский студент и миланский фарцовщик, парижский славист и британский разведчик привозили пригоршню американской жвачки, а увозили багаж драгоценных вещей. В лучшем случае такая чемоданная выставка с каталогом, изданным на чешской оберточной бумаге, кочевала по Европе, реже — по Америке.

В это двусмысленное время, осенью 1965 года, «советский художник» Илья Кабаков впервые засветился на Западе, на выставке подпольной графики, организованной Энрико Криспольти.

Выездной грек Г.Д. Костаки каркал по Москве: «Вы никому там не нужны!»

Правильно говорят: от судьбы не скроешься!

Почему в 1964 году победила не сибирская, не вологодская, а «днепропетровская» мафия?

Орденосец по ремонту паровозов Иосиф Бенционович Кабаков воспитал не одну плеяду толковых слесарей. Умные люди знали, что Семен Цвигун, Жора Цуканов и Толя Блатов, взявшие Кремль без единого выстрела, — его прилежные ученики.

По свидетельству редактора журнала «Колобок», Виталия Казимировича Стацинского, появление Ильи Кабакова в издательстве встречали шепотом: «Тише! Он видел Семена Цвигуна!» Ответственные люди, коммунисты, такие как Юрий Поливанов, Сергей Алянский и тот же Виталий Стацинский, отлично знали, что такое землячество. Московская коза ностра ворчливо потеснилась, уступая место чужаку из «потемкинской деревни» — Днепропетровска.

В тот полный чудес год он стал членом Союза, побывал в спецпоселке «Сенеж» и получил приличные гонорары сразу в четырех издательствах, где платили по качеству иллюстраций.

Завистникам художника и в голову не приходило, что за ним — десять лет иступленного творчества для «русского языка в картинках» и коммунальный сундук с пас-

сажиром без московской прописки. Родиться в Днепропетровске стало таинственным и доходным промыслом!

Карнавальная игра с мертвыми душами!

Осенью 66-го года автор дифирамба (я, Валя Воробьев!) увидел торжествующего Кабака в Художественном фонде СССР, у начальника главной советской кормушки, товарища Льва Мазура.

«Я лезу на крышу!» — сказал он обалдевшим коллегам, потрясая бумагой с печатью.

Московский андеграунд стоял на «салонах», как земля на китах.

Вхутемасовка Мария Вячеславовна Рауде-Горчилина, крепкая старуха, рисовавшая чертей в огне, славилась «философским салоном». Верующий горбун Максим Архангельский из дырявых самоваров кроил металлические абстракции особого духовного напряжения. Древний дед Комиссаренко составлял доклад о философском наследии Михаила Бахтина. Бродячий мистик Юрий Мамлеев сочинял новеллы о русских «кровопивцах». Постоянными членами кружка были сын «белого» генерала Алексей Быстренин и дочка «красного» генерала Елена Строева. Сейчас нет времени устанавливать, кто бегал за водкой и кто носил в «органы», но философские слушания превращались в поголовное пьянство, как в «говорильне» мадам Фриде на Арбате, где пили отборный самогон, так и в подвалах Смоленки, где в рекордные сроки людей превращали в законченных шизофреников.

Любого жулика из парижской подворотни «салоны» встречали как высшее существо с того света.

Чердак Кабакова и Соостера в доме номер 6 на Сре́тенском бульваре не избежал подпольного увлечения. По ночам велись «разговоры о разговорах», как заметил искусствовед Василий Ракитин, а еще точнее — «безумные сборища», согласно Кабакову.

«Вы читали “Собачье сердце” Михаила Булгакова? Почитайте — шедевр!..» «Разве где-нибудь у Карла Марк-

са сказано, что 2-й подъезд Калабуховского дома на Пречистенке следует забивать досками и ходить кругом через черный двор?..» «Ты считаешь, что стоит довериться Дине Верни? Не важно, что распевает блатные песни, спроси у Тореза — у нее огромное собрание Майоля!..» «Вы слышали, евреи разбили арабов в пустыне? Сразу жить стало веселее!..» «Предлагают выставку в кафе “Синяя птица”, но говорят, что там пьют водку из карманов, дерутся, на картины не смотрят!..» «Вы слышали? Какой-то чех сгорел на площади!.. Он что, буддист или протестант?..» «Слышали, Женька Бачурин влюбился в дочку министра и запел под гитару!..» «Кто бы мог подумать, что поэт Эдик Кузнецов угонит самолет в Израиль!..» «Говорят, Олег Кудряшев легально уехал на Запад?..» «Легально, но по “израильскому вызову”, мой дорогой. Я тоже об этом думаю, но протестует жена!..» «Жаль Юло Соостера. Много курил, старые раны. По-настоящему и не пожил, царство ему небесное!..» «Вся Москва говорит — Гробман уезжает, и не в Прагу, а в Израиль, навсегда!» «Конечно, в Израиль! Я приглашен на проводы!..» «Говорят, Кабак заново перечитал Гоголя и открыл помещика Плюшкина с особой стороны! Интересно посмотреть, с какой!..»

«Я был наполнен ядом, и все мои работы носили черты критики и отрицания», — вспоминает Кабаков то время.

В 1971—1973 годах художник окончательно «засветился» как опасный саботажник советской культуры. Французский журнал «Арт виван» (Жанна Никольсен) дал исчерпывающую информацию о его творчестве с обозначением чердачного адреса. Парижская галерейщица Дина Верни достойно его показала — с приложением роскошного цветного каталога. В оккультных списках подполья Илья Кабаков, несмотря на протесты Костаки, занял прочное, «генеральское» место.

От так называемой «бульдозерной» выставки под дождем 1974 года художник лукаво уклонился, как и большин-

ство почетных «генералов» андеграунда. На мокрый пустырь высыпало дерзкое поколение авантюристов, искавшее быстрой популярности и доходов.

Дилетантский блуд? Урок свободы? Смеховая культура?

В какой игровой зоне крутится Гариг Басмаджан, армянский вояжер из Парижа? Возможна ли «русская галерея» на Западе, как ее предлагает эмигрант Юрий Куперман? Серьезны ли успехи Миши Шемякина во Франции? Почему коллекционер Саша Глезер ломает в Европе дрова, как медведь в сибирской тайге? Чем объяснить интерес шоколадного короля Людвига к гнилой этнографии русского коммунизма?

Долгие годы общественного маразма живые вопросы оставались безответными.

Кремлевские макиавеллисты, крохоборы и валютчики, мастера потемкинских деревень и загребать жар чужими руками не отказались заработать на подполье.

Эмигрант Игорь Шелковский и группа близких Кабакову художников и публицистов были втянуты в авантюрную затею с изданием русского иллюстрированного журнала за границей. Художник сразу раскусил секретные планы советских пропагандистов, подключивших к благородному делу фарцовщика Алика Сидорова и «швейцарского капиталиста» Бориса Аракеяна под видом «романтического концептуализма»...

Однако выбраться из переплета нечистой кремлевской силы, куда попались москвичи, добровольно сочинявшие журнал «А—Я», было невозможно. К счастью, стареющие советские «органы» в отношениях с непослушными московскими смутьянами ограничились «дружеским собеседованием» в духе «Пушкин в гостях у Бенкендорфа», или «Кабак в гостях у Семена Цвигуна».

До насильственной ссылки на берега древнего Днепра не дошло, но переполох и травля были нешуточные.

Пусть грамотные и добросовестные искусствоведы, лучше всего немцы, потому что русским доверять нельзя, разберут богатство творческих этапов Ильи Кабакова — от первых книжных обложек до «тотальных инсталляций». В концепцию дифирамба и спонтанной похвалы не входит подобная ученая задача. Нас волнует «мусорный человек» в личности Кабакова, зенит и сущность его неподражаемого творчества.

В «безумную пятилетку» 1981—1985 годов, когда казалось, что страна задыхается во лжи, когда режим корчился от старости и застоя, художник Кабаков чудесным образом превращает тоталитарную кучу мусора в энциклопедию высокого знания, в художественное произведение высокого класса.

«Я археолог советской жизни», — заявляет И.К.

Большой крючоквор русской словесности Алексей Ремизов нас уверяет, что помещик Плюшкин из романа Н.В. Гоголя «Мертвые души» — «венец человеческого хозяйства» («Огонь вещей», 1954, Париж). Художник Кабаков в литературном этюде под названием «Ноздрев и Плюшкин» доходит до восторженного преклонения перед гоголевским героем. «Крыша как решето... бревна как фортепьянные клавиши... мусор и грязные разводы... всякие связки... копанье в чепухе... диалог между вещью и памятью... удушающее самопогружение... постоянный поток теплой, страшной и сладкой жизни», и вся эта чепуха — «не хуже Лувра»!

Решительное программное заявление! На такое русские художники еще не посягали!

Куча мусора из России — «не хуже любого Лувра»!

Не герой Павка Корчагин со своим «комсомолом Украины», не театральная режиссер Шолом-Меир Муравчик со своим «наплевать с этажа», а мусорщик и скопидом Степан Плюшкин стал верным путеводителем художника по бесконечным лабиринтам «тотальных инсталляций».

«Веревка жизни», «Коммунальная кухня», «Мусорные романы», «Пейзаж с кастрюлями», «Перемещенный человек», «Помойка-стройка» и т.д.

Подоспевшая перестройка внесла полезные поправки в «классических интровертов» Плюшкина и Кабакова.

Они выехали на Запад.

Осенью 1986 года мне довелось видеть инсталляцию Ильи Кабакова «Веревка жизни» в парижском Доме художника. Над усыпанным опилками паркетом висели старые бельевые веревки с множеством никому не нужного, но драгоценного «мусора». Неистощимое изображение артиста, граничащее с безумием, свело цвет, объем, графику, «русское слово» в одно гармоническое, глубоко одухотворенное, заповедное пространство русской жизни. «Веревка жизни» в постановке Кабакова вызывала безотчетный, дурацкий смех!

Веселое хождение по стране смерти.

В 1987 году раздался протест-манифест Ильи Кабакова, безукоризненно аргументированное выступление «известного художника»: «Нельзя замалчивать целое направление в искусстве!»

Перемена места — перемена счастья.

В Саратове нет гвоздей. В Рязани кончилось мыло. В Тарусе съели черный хлеб. Развалилась культура. Искусствования нет. Его заменяет припадочная публицистика с тяжелым и мутным смыслом, похожим на воровские директивы.

В современной России имя Кабакова — имя колкое.

Чем круче успех художника, чем ярче его мировая слава, тем озлобленней вой партийной прессы. Богатый официоз и бедная оппозиция упорно цепляются за голоса безмозглых масс. Журналисты всех направлений и уклонов не сказали ни одного ласкового слова в адрес художника, прославившего русскую культуру. Неистребимое раболепие публицистов не позволяет им громко и честно сказать о выдающемся вкладе Ильи Кабакова в мировое искусство.

во. Триумфального шествия художника по Европе и Америке Россия просто не замечает.

Русские обожают памятники.

Писатель Ильф, посетивший Одессу в 1927 году, обнаружил там не три статуи, как было при Пушкине, а не «менее трехсот скульптурных украшений — мраморные девушки, медные львы, пастушки, играющие на свирелях, урны и гранитные поросята», — о бюстах вождей писатель во избежание неприятностей с цензурой не упомянул.

Сегодня нищая Россия продолжает возводить бронзовые монументы святым, маршалам, космонавтам, афганцам.

В стране очень много денег — триллионы! Одной все-российской лотереи достаточно, чтобы оплатить сотню самых смелых «инсталляций», но Россия, как помещик Плюшкин, сгноит триллионы в навозе, а Кабакова не позовет!

Смеховая культура России!

Всемирно известный Илья Кабаков предлагает красивую победу над временем и пространством, и Россия обязана поставить ему роскошное, огромное, светлое здание — Музей Кабакова над Днепром, над Потомаком, над Иорданом. Назвать площадь имени Кабакова, улицу имени Кабакова, броненосец имени Кабакова!

Потемкин! Пушкин! Кабаков!

Какие славные, гармонически звучащие имена!

Ура великому художнику Кабакову!

Да здравствует Илья Иосифович Кабаков!

Все встают! Мощные, несмолкаемые аплодисменты, переходящие в продолжительную овацию!..

## 14. Петрович и Володя

О кончине двух хорошо мне известных художников Петровича и Володи я узнал из газет осенью 1998 года.

Я отлично знал Петровича (Борис Петрович Свешников) и Володю (Владимир Игоревич Яковлев), необходимые биографические данные у меня были, образцы произведений тоже, и тут же я решил набросать их литературные портреты, не вступая в полемику с авторами припадочных газетных статей, помещенных в русской прессе, где каждая политическая группа обрабатывала их на свой аршин. В черносотенной газете «Завтра» появилась похвала Петровичу — ох, подумал я, как распелись армейские соловьи, бросая камни в дипарт и «зловонную богему», где покойный художник обретался долгие и сознательные годы. В такой похвале адептов ГУЛАГа (лагеря в их понятии — «дома трудолюбия»!) невинный художник, отбарабанивший восемь лет во льдах Заполярья, не нуждался.

Покойного инвалида Володю Яковлева ни к селу ни к городу засыпали затрепанным до безобразия титулом



«старик-ты-гений величайший», присовокупив репродукции в цвете с надписью: «У нас его оригиналы, у других фальшаки!»

Не оспаривай чужое, подумал я, а гни свое.

Успехов вам, друзья!..

Наберись терпения, не спорь, не горячись, не учи, а расскажи свое.

Россия не прибрана, народ осатанел, но всех не запихнешь в дурдом, и лучшее средство и лекарство — терпеливый и тщательный обзор больного явления. Картин живописца мне мало — подавай физику творца, породу и семью.

1927-й — год рождения Петровича — ничем не блещет, разве что окончательным закрепощением России и концом экономических послаблений. Московский мальчик рос в семье с существенным изъяном: отец — русский дворянин, а мать — немецкая баронесса. От расстрела их спасло столичное многолюдство. Вместо просторной квартиры — коммунальное уплотнение и налеты на чужие души. Они копали оборонительные рвы и получали пролетарские пайки тихого советского помешательства.

Боря здорово рисовал — но все по порядку.

Он рос послушным и тихим мальчиком, прошел «трудовую школу второй ступени», не опаздывая в класс и не выделяясь в отличники.

Подкрался грозный военный год — 1941-й — и коммунальный шумок: слышали, немцы напали на Россию?

Ждала ли семья Свешниковых прихода немцев — вот интересный и неразрешимый вопрос. Вполне возможно, сказал бы я, ведь немцев ждали братья Кончаловские, актер Блюменталь-Тамарин, литератор Иванов-Разумник. Надвигались могучие освободители от тирании большевизма. Свешниковы аккуратно гасили авиационные фугаски в песке и ждали, чья возьмет. Когда немцев отогнали от Кремля, хорошо рисовавший

Боря поступил в Институт декоративных искусств, где главным был А.А. Дейнека, самый спортивный артист тоталитарного режима. Рядом сидели дети благородных фамилий: Вася Шереметев, Димка Жилинский, Иван Борисов-Мусатов, ученик с немецким именем Людвиг Сай и самый опытный, двадцатидвухлетний инвалид кровавых боев, потомок польского гетмана Лева Кропивницкий.

Итак, лучшие на курсе, читавшие не речи товарища Сталина, а мысли Эммануила Канта в подлиннике. Дорогие товарищи, да ведь это банда недобитых фашистов, а не советские комсомольцы!

Меня интригует присутствие в кружке совсем не пострадавшего «дворянина» Дмитрия Жилинского.

Звучит классика!..

Говорят, Анастас Микоян, долгожитель Кремля, был бакинским комиссаром в 1919 году. 26 расстреляли англичане, а 27-й — Микоян — сел на велосипед и укатил в Москву.

Под видом общеобразовательного кружка собирались «враги народа».

Отряд избранных! Какое высокомерие!..

Тогда, в 46-м, это было не смешно. Тут пахнет не Алексеевской лечебницей имени Петра Петровича Кашенко, а бери выше — Лубянка и расстрел.

По рассказам Кропивницкого и Петровича, на допросах на Лубянке никто из них не строил из себя убежденных дворян и чистосердечно сознался в содеянном преступлении, хотя вопросы следствия были сплошной казуистикой, например: «Кто вас завербовал?» Если честно, то никто — но тогда получишь по зубам и карцер, потому что честный и правдивый ответ не соответствует планам следствия. План следствия надо чувствовать и помогать ему, тогда не бьют по соплям и срок скостят наполовину.

Прокурор республики был не дурак, а великий диалектик.

Почему эти безмозглые заговорщики, выдающие себя за художников, сидят в пролетарском тылу и читают Канта? Почему граф Шереметев прячется в сыром московском подвале, а не гоняет такси в Париже? Почему гетман Кропивницкий не командует бендеровцами, а протирает штаны в советском вузе? Где скрывался Свешников, когда депортировали немцев из Москвы? И прочие в подобных капканах.

Ребятам крупно повезло. Им лепили по восемь лет И.Т.Л. с последующей ссылкой в провинции. Один «враг народа» Жилинский получил перевод на живописный факультет, чтобы через полвека я подозревал его в предательстве. Повезло парню, и все!

Мягкое наказание я объясняю либерализмом прокурора. Через пять лет его расстреляли как опасного космополита.

Ребятки вышли на волю, а мужик сгинул ни за что. Конечно, прокурор — сволочь, посадил невинных студентов. Я не мазохист (привет, герр Зигмунд Фрейд!), а, скорее, «давлю», как выражается мой друг Вася Полевой (Южная Каролина), но мне жаль прокурора, а не пятерых молодых людей, получивших сроки.

Выпей с нами, товарищ прокурор!..

Вижу стальной взгляд на длинном сухом лице осужденного Петровича.

Заводила кружка, идейный вожак, орденоносец войны, словоохотливый и спесивый Лева Кропивницкий — бушует кровь древних сарматов! — больше всех трепался на следствии, но получил и отсидел, как все, свой восьмилетний срок заключения.

Так было и так будет!..

А вот и лагерный пейзаж: заполярная тьма, отощавший землекоп, «немецкий шпион» Петрович украдкой

рисует летающих голландцев, на него спускается архангел Гавриил, одетый по-зимнему — коверкотовое пальто, канадские бурки, меховая шапка, — и басом говорит: «Старик, ты гений, плюнь на все и рисуй!»

Зэк в канадских бурках, лагерный фельдшер Аркадий Штейнберг, стреляный волк и тертый калач. Полковник Красной армии и «враг народа», поэт и живописец, тянет второй срок по политической статье.

С общих работ, по протекции влиятельного фельдшера, Петрович попадает в будку ночного сторожа и рисует там по ночам при керосиновой лампе.

«Такой полной свободы творчества я не испытывал никогда», — вспоминает бывшее художник.

Один из первых перовых рисунков Петровича, помещенный 50-м годом, я видел в доме Акимыча в 59-м году. Захватывали изображенный простор и крохотные персонажи, блуждающие в небытии: кто-то карабкается на стенку, кто-то запрягает лошадь, кто-то пилит дрова, кто-то дерется с мертвецом. И повсюду небесные силы в неограниченном количестве и птицы, улетающие на край света. Композиция без сюжета, сделанная тонким пером лагерного мастера.

Синдром Босха у него врожденный. Случай не уникальный, но чрезвычайно редкий в русской традиции, и мне не приходит в голову имя, работавшее в этом направлении. Настоящего, подлинного Босха в России нет, а черно-мутные репродукции былых времен, застрявшие в лагерной библиотеке, вряд ли оказали прямое воздействие на молодого художника.

Иероним Босх работал по заказу европейских королей, Петрович — только для себя. Такой эгоизм совсем не соответствовал шаблону пролетарского идеала, но лазейка нашлась на воле. Графическое перо получило применение в книжной иллюстрации. Альбом с летающими зэками доставляли в Москву уходившие на волю заключенные.

Куда двинулся Петрович, отсидев срок? Конечно, в Тарусу — быть рядом с лагерным спасителем Акимычем.

Ах, какие замечательные люди вырастают за колючей проволокой!..

Пафос высокой культуры.

Книжка чешских сказок в его оформлении (1957) сразу получила признание академиков, и бывший «враг народа» стал официальным членом общества графиков.

\* \* \*

Мой сокурсник Александр Васильев, меценат, коллекционер, книжник, эстет, показал мне гения своего выбора, живущего у стены Бутырской тюрьмы, в бараке, с кривым потолком и черными от клопов стенами. Нас встретил низкорослый малый, постоянно жмуривший глаза. Говорил он с невероятными словесными сдвигами.

«Сашка пришел, а с ним студент-воробей — не гоняй голубей, прилетел и сел в мое кресло».

Вздыбленные ежиком черные волосы, необычное устройство лица, взгляд не от мира сего — первое, что бросалось в глаза.

Инопланетянин в человеческом образе, зовут Володя Яковлев.

Что касается искусства, то ничего подобного я раньше не видел. Володя наклонялся над листом бумаги, как ювелир над драгоценным камнем. Если прямиком его глаз на что-то спотыкался, то боковым зрением он видел все и далеко. Особый глаз безгрешного созидателя. Анатолий Тимофеевич Зверев, с которым он часто пересекался, считал, что «Яковлев видит лучше нас с тобой и только хитрит, чтобы побольше заработать».

В темном кривом коридоре стояли большие холсты, прислоненные к стенке. Оказалось, что дед Володи рабо-

тал вместе с К.А. Коровиным, учившим его писать широким мазком.

Гений непознаваем. Он невидимка. Оpoznанный гений сразу попадает в дурдом, как социально опасный преступник. У него нет рядовой жизни с заслуженным отпуском. Рисовать сутками напролет, без отдыха на безделье — разве это жизнь? Володя рисовал по ночам на коммунальной кухне, когда спал рабочий барак, а утром соседи топили его живописью общую печку. Художник часто впадал в меланхолию и спасался от регулярной жизни в психиатрической лечебнице, где люди ближе к Богу.

Мое зимнее знакомство с Володией Яковлевым с 58-го не обрывалось до его кончины.

Происхождение его гения не менее гремучее, чем у Петровича. Дед его Михаил Николаевич, нижегородский старовер и ловкий живописец левитановской школы, до эмиграции во Францию (1922) служил в Императорских театрах ассистентом Коровина. Супруга Феодосия Францевна, женщина немецких кровей, шила театральные костюмы, однако жить достойным образом им не довелось. Тысячи российских беженцев меняли профессии на ходу. В Одессе — капитан, в Белграде — грузчик, в Париже — шофер. Кровожадные казачьи атаманы превращались в смиренных швейцаров, знаменитые адмиралы — в уличных рисовальщиков. Левитановского мазка нижегородца никто не оценил, семья жила впроголодь и на вечном чемодане. Сын Игорь посещал не сборище «белых воинов», а коммуну университета и рвался строить коммунизм. Вернулся в Совдепию с приятелем. Приятеля сразу расстреляли как британского шпиона, а фанатика коммунизма послали копать каналы. Добровольцу, скажем прямо, крупно повезло.

Пожилые труженики святого искусства вслед за сыном вернулись на историческую родину.

«Приветствую вас с новым небом и новой землей. Ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет», — как правильно выразался апостол.

Строитель Игорь Яковлев успел жениться на уроженке солнечной Бессарабии Вере Техельбаум. «Не баба, а газировка», — как о ней выражалась свекровь Феодосия Францевна. 15 марта 1934 года в глухом бараке Балашихи родился головастый мальчик, названный, естественно, в честь главного вождя Владимиром.

«У нас в Балашихе росли мальвы», — вспоминал деревенское детство Володя.

Дед Михаил Николаевич скончался в 1943 году, а бабушка и молодая семья строителей перебрались в московский барак, на грязную Тихвинскую улицу. Володя не смог закончить начальной школы, два года просидев в третьем классе, — и надоело, и заболели глаза. Смотрел на дедовские пейзажи и мечтал стать живописцем. В издательстве «Искусство» ему поручили растушевку черно-белых фотографий, но до встречи в 57-м году с «профессором всех профессоров» В.Я. Ситниковым Володя не знал, что и как рисовать. Гипнотизер изящных искусств Ситников водил ретушера по фестивалю молодых художников, объясняя, что хорошо и что плохо для живописи. За год палочной тренировки Володя вырос в живописца первой величины.

То, что я увидел, было сделано с оглядкой на китайцев школы «гохуа». На мой вопрос художник, играя словами и образами превосходной и смешной связи, говорил: «Это я придумал новый стиль гохуаташи».

Сильно сказано, не правда ли?

За ним сразу началась охота редких собирателей и поклонников: музыканты Вадим Столлер и Андрей Волконский, поэты Геннадий Айги и Миша Гробман, книжник и киношник Сашка Васильев, психиатр Виктор Райков, ученые физики Работнов и Новожилов.

Салон влиятельных людей Москвы!..

Современное общество высоко ценит рисование глубоких шизофреников, изучает и содержит в особой папке «артбрут». Об этом отлично знал Райков и постоянно вводил в свои книжки по психиатрии иллюстрации Володи Яковлева как примеры рисования душевнобольных и очень одаренных в искусстве людей.

Яковлев — чемпион московских квартирных выставок. Их кто-то раскручивал за него. Осенью 62-го я осмотрел сразу три в один сезон: рабочий клуб «Дружба», квартира писателя В.А. Бугаевского и квартирка «князька» Волконского. Организаторы доставали стекла, резали паспарту, обрамляли изоляционной лентой и вешали. Вещи обретали чистый и товарный вид — на продажу довольным эстетам. За годы московских блужданий я посетил десятки квартир и везде видел «цветок» Володи Яковлева, висевший на главной стенке.

Игорь Михайлович и Вера Александровна сияли от счастья, когда за почеркушки сына посыпались денежки. Возникли счет в сберкассе и кооперативная квартира.

Ленинский проспект, дом 152, корпус 1, квартира 121, телефон 434 084.

Туда я часто звонил и направлял покупателей.

\* \* \*

Свое «членство» Петрович отрабатывал акварельными набросками с натуры. Писал зиму, осень, лето и весну. Трижды работал при мне: в 61-м весной, в 65-м и 67-м летом. Сначала он замачивал лист ватмана широкой кистью, а затем вводил натуральный мотив в виде дубрав, стволов, травы и далей, на глазах расползавшихся красивыми, тонкими разводами. Такие вещи считались проходными и выставлялись в официальных залах.

В 1961 году мы жили коммуной в Тарусе, и мне удалось сделать с него набросок черной тушью. Суровый и непри-



ступный человек с тюремной академией художеств не говорил, а цедил слова, постоянно уклоняясь от прямого ответа. Он всегда уходил от горячего и сумбурного трепа юности, где «искусством не пахнет», а лишь грубо распределяют места на туманном олимпе святого искусства. В ту весну мы готовили выставку в городском клубе, и его картина с мужиком в снегу фигурировала в списке владельца этой вещи, поэта Аркадия Штейнберга.

В лагерьном бараке, где свободно творил Петрович, не было возможности работать красками, и перовые композиции, переведенные в масляную технику, теряли графическую остроту. Он их не писал, а раскрашивал, как делают все графики. Техника старых мастеров уже не волновала XX век, а перебросить мост в XVI было сущим безумием графомана. Петрович следовал этой странной линии, но в начале 60-х модернизировал технику, вводя дробный мазок вместо старинных лессировок. В композиции появились театральные персонажи с длинными телами и манерными жестами, на мой взгляд, ничего не значащими и сомнительного вкуса. В таком ошибочном уклоне глубокая струя его оригинальности просыпалась, как крупа в дырявом мешке.

В 65-м, после долголетней тяжбы с первой супругой, которой я никогда не видел, летом он нагрязнул в Тарусу с новой семьей. Его тощий пасынок Сашка всюду курил гашиш, а новая подруга жизни, некая театральная дама Ольга Алексеевна Мамченко, постоянно изучала православный календарь со святыми и готовила очень вкусные и забытые русские блюда. Уезжая куда-то, они поручили мне присматривать за юным наркоманом, и я впервые удостоился от Петровича тепленького словечка — «спасибо, голубчик». С пасынком мы курили гашиш, по вечерам ходили в танцевальный клуб, а днем слушали поднадоевших «битлов» из коллекции моих пластинок.

До 67-го года Петрович был невинным утопистом искусства, работая под кровать. Я совратил его в дипарт.

Однажды ко мне залетел, как ураган, бразильский капиталист, владевший гостиницами в Рио, и купил штук шесть картин из абстрактной серии «Ворота» для украшения своих офисов. Он желал побольше, у меня было пусто в заголке, и я направил настырного покупателя с немецким именем Отто Браун к Петровичу, в деревню Коптево, имея в виду многочисленные сезонные акварели, годные для украшения любых гостиниц. Бразилец наотрез отказался ехать в русскую деревню без русского заложника. Мне пришлось мыться, менять штаны и сопровождать.

Иностранным страхом болел и Петрович. Мы ехали к гордому и осторожному ээку, без всякой надежды на положительный исход дела, но каково же было мое удивление, когда Ольга Алексеевна очень ласково и просто, без заминки, пригласила к себе: «Заходите, мы вас ждем».

Хозяйка малогабаритной квартирki с низким потолком приняла нас по-царски. Поскольку день был «постным», на столе появились заливной судак с хреном, квашеная капуста с мочеными яблоками, грибные разносолы, горячие пончики с повидлом и особый чай из пыхтевшего самовара.

Капиталист отобрал десяток акварелей, отвалил Петровичу 500 рублей и запомнил постный обед в России на всю жизнь, до своей кончины в 95-м году.

Уверен, что это был первый иностранец в деревне Коптево и, еще точнее, у картин художника Свешникова. Возможно, вихрем проскочил пронырливый Г.Д. Костаки, ну а какой он иностранец, если знает, где расположено Коптево без гида, заехал и пропал, не купив первого рисунка.

Петрович, вперед в дипарт!..

Ольга Алексеевна, пораженная неожиданной получкой и моей бескорыстной помощью, решила навестить мой доходный подвал на Сухаревке с молчаливого согласия мужа.

На пороге 68-го года супруги постучались ко мне, отряхиваясь от пушистого снега. Сияющая, краснощечная Ольга в оренбургском платке, за ней Петрович, в огромной ондатровой шапке, но как только радостная пара переступила порог, то сразу сникла. В громадном судейском кресле храпел пьяный Зверев, а за стеной стучал на машинке романист Игорь Холин, давний противник Петровича на романтическом поприще. Вслед за ними ввалились якутский писатель А.И. Шеметов и Лешка Паустовский с авоськой водки и пива. Мои Свешниковы, не снимая шапок и ссылаясь на срочный фильм в кинотеатре «Форум», как пробки выскочили из подвала и больше не появились. Женившись на Ольге Мамченко, зэк Петрович попал в порядочный московский «домострой» сытости и строгих правил.

Православная хищница Ольга Свешникова тащила мужа на иностранную славу. Петрович рисовал тощих, высохших от страстей скрипачей и фокусников. На фоне домов без украшений и стиля. Сиреневое, фиолетовое, много желтого. Он влез в дипарт по шляпку. Его хрупкие фантазии иностранцы разбирали с мольберта, едва просохнет картина. Мои поездки в Коптево продолжались. В 73-м немца Юзефа Ридмиллера, по уши влюбленного в русскую цивилизацию, я провожал к Петровичу. Был не Великий пост, а мясоед, богатое меню и видные гости. Стол украшал улетавший в эмиграцию искусствовед Игорь Голомшток и соломенные жены художников Зверева и Плавинского, Люся и Зана. Как обычно, велась беседа о какой-то чепухе, связанной с рецептами русской кухни, где гостеприимная хозяйка выступала большим экспертом. Жены художников согласно кивали, уплетая расстегай с мясной начинкой, а мой немец, очарованный гастрономическим могуществом России и ее широкой душой, сиял от счастья и, не торгуясь, купил картину Петровича под названием «Благая весть».

Чернобородый и суровый Голомшток считал картины и рисунки Петровича особым искусством, невозможным на коммерческом Западе. Такая оригинальная версия мне очень нравилась, но углубить духовную беседу за обильной едой и питьем нам не удалось.

Диссидентство 60-х составили юные мечтатели, недоучки и фарцовщики из советских вузов. В 70-х появились инакомыслящие академики и писатели, проснулся Запад, и качать права стало видным делом.

Я заметил спуск бывшего ээка Петровича в неудобные, но прибыльные ряды московских диссидентов. Я бы не удивился, если бы появилось «открытое письмо» в защиту писателя Солженицына с подписями Ольги и Бориса Свешниковых.

2 сентября 1974 года, на приеме в бразильском посольстве, известный чемпион дипарта Оскар Яковлевич Рабин полушутя-полусерьезно предложил кучке художников принять участие в выставке на пленэре. Ольга Алексеевна, услышав, что картины надо выставлять в непогоду, сказала с удивлением:

— Оскар, ну это совсем не для Бори, у него очень хрупкие картины.

— А я покажу, — лукаво заметил О.Я.Р., — надо поддерживать молодых художников.

Я без условий присоединился к аванюре Рабина.

Свешниковы в открытую посещали иностранные посольства и уже не нуждались в свидетелях незаконных сделок.

Незадолго до кончины Петрович ослеп и впал в черную меланхолию безделья, смертельную для художника. Осенью 1998 года он умер, так и не повидав Иеронима Босха.

Неповоротливую Россию художник жестоко наказал, лишив ее своих гениальных альбомов и картин.

\* \* \*

Яковлев сбежал из психбольницы имени Ганнушкина и желал работать маслом.

Его нежная дружба с Гробманом — особая статья под названием «старик-ты-гений», но ни тот, ни другой не владели техникой масла. Гробман жил на балконе без света. Яковлеву «масло» не разрешали родители, не выносившие запаха керосина. У меня в подвале воняло керосином, стояли чистые картонки и холсты, навалом кистей и красок.

— Слушай, Воробей, — начал Володя с ходу, — возьми меня в ученики... Люблю учиться, хотя ненавижу математику... Люблю мальвы и солнце... Без солнца жить нельзя, это доказал доктор Эйнштейн, да я без него давно об этом знал, когда хорошо видел в детстве... Солнце пытался рисовать Ван Гог, но ничего не вышло, сошел с ума... Солнце съедает цвет... Солнце — это диктатура света, а не цвета... Я светоносный художник...

В конце 60-х в московском подполье появилась мода на геометрическое искусство — Потешкин, Троянker, Штейнберг. Я показал Володе «красные квадраты» Потешкина, и он тут же отрезал: «Квадрат — это не живопись, а геометрия. Живопись — это ветер, а не квадрат».

Школа рабочей молодежи для отстающих располагалась в Ананьевском переулке, в двух шагах от моего подвала. С тетрадкой ученических каракуль Володя спустился ко мне. Его разговорная речь сияла и вертелась невероятным кувыркком вымысла и красивых слов. Всякий раз он выдавал изощренные образцы русской словесности и ничего определенного.

Таков поход гения!..

Никакого трепса по душам, сугубо личное нас совсем не трогало, и первые пробы маслом он лихорадочно стирал тряпкой, несмотря на мои просьбы сохранить их. После его ухода я прятал «говно» и подставлял свежую картон-

ку, нарочно купленную у матерщинницы в Ермолаевском подвале. Стандартные картонки, затянутые льняным холстом. Таким образом я спас от истребления штук тридцать работ без переписки и порчи, несмотря на угрозы «свернуть мне набок челюсть».

Раз Володя привез с собой молодую учительницу русского языка Руфиму Глуховскую. Она, озираясь по сторонам, вошла в подвал, посмотрела на «масло» Яковлева и спросила: «А что это такое, Володя?»

Очевидно, художник мечтал получить «пятерку» по письму, но огонь и ветер искусства она не могла оценить.

В кресле спал Борух. На пишущей машинке стучал водитель троллейбуса Виктор Синицын. Володя кипятился, пытаясь объяснить учительнице сущность масляной живописи, сыпал именами известных колористов — Коровина, Малявина, Архипова. Как об стенку горох. Записей я не вел, и весь словесный поток, бесконечный и острый, яркий и образный, наслаждаться которым мне довелось пять лет подряд, навечно потерял, а память не все держит.

Я учил Володю технике и сам учился, собирая драгоценный энергетический материал искусства, исходивший от его повадок, фраз и действий. Мои классические рецепты он усваивал с трудом, продолжая по-своему тыкать кистью в палитру, организуя свое неповторимое дело.

А вот и коммерческий пусячок.

Ко мне пришли итальянские аспиранты пить водку. Володя закончил пейзаж с белым цветком в правом углу и черным, страшной глубины, небом. Итальянцы уцепились за картинку и берут с условием, если автор подпишет свою работу. Володя, ненавидевший и не умевший подписывать, бросил на пол кисти и скрылся в соседней комнате.

— Парень хитрит, — пыхтел Толя Зверев, просыпаясь с похмелья, — набивает цену.

Разочарованные иностранцы выпили, закусили и ушли. Володя вернулся в ателье с криком, что его давят, насилуют и что он забыл, как писать слово «Яковлев», через «а» или через «о». Зверев ржал от восторга. Я написал на бумаге это слово. Володя скопировал в правый угол довольно коряво, но правильно.

Грамотно и разборчиво подписывать он так и не научился. Ровную подпись следует считать фальшивой подделкой.

Мой сосед Виталий Стесин пытался учить его под диктовку, ничего не вышло. Слова расплзались по сторонам, а в каждом было по две-три грамматических ошибки. Копировка по образцу шла лучше.

Миша Гробман опекал его, как нянька ребенка. Навещал в дурдоме, приносил передачи, дарил бумагу и карандаши, общался с родителями, собирал его картинки.

Позднее он мне писал: «Картины Яковлева — не украшение стены, а собеседник и соучастник. Расстаться с его картиной, как расстаться с любимой собакой, живым и беспомощным созданием. Картина Яковлева — это член семьи».

Лучше никто не сказал.

Художник Стесин снимал жилье в деревянном бараке на снос, где собиралась «вся Москва», готовая эмигрировать в Израиль. Бездомные евреи из Бухары, вечно пьяный живописец Игорь Ворошилов с одеколонной пеной во рту, приезжая француженка с блокнотом. Вокзальная сутолока не мешала Стесину рисовать абстрактные картины и подбивать Володю на эмиграцию.

«Стесин, я патриот Страны Советов, а ты предатель родины, — ворчал Володя. — На кого ты меня покидаешь, вокруг одни воры и шизофреники!»

После отъезда Гробмана и Стесина в Израиль осиротевший Володя влюбился в пианистку Ирину Ермакову. Очень решительная и деловая особа, отлично игравшая Баха и гладившая Володю по голове.

«Может быть, он некрасивый, может быть...»

Те, кто видел, что Яковлев — кусок червонного золота и личность особого покроя, выжимали из него как можно больше.

— Воробей, я влюбился, — раз заявил он мне, — моя невеста играет Баха и чистит мне кисти. Я не могу без нее жить!

Фальшивая любовь быстро развалилась. Как следует отоварившись шедеврами влюбленного художника, пианистка скрылась во Франции, не заплатив ни одного рубля.

В том же 71-м «простой советский человек», как он сам себя величал, убитый предательством Ермаковой, надолго слег в дурдом.

Эксплуатация человека человеком, чего там!..

Мне повезло. Опасным и больным я никогда его не видел. У меня он не бился головой об стенку, а молча красил. Для меня он был артистом особой породы. Адептам греческих пропорций делать здесь нечего, ну а мне он помогал жить и работать.

Простился я с ним за месяц до своего отъезда в Париж. Ко мне заехал мудрый итальянский маклак Микеле Руджейро и сказал: «Слушай, поехали к Володе, я договорился о встрече».

Родители Володи отлично знали о моем продуктивном сотрудничестве и без звука приняли нас в Черемушках. Дверь открыл Игорь Михайлович, в крохотной комнатухе сидел Володя, скрестив руки на коленках.

— Слушай, Воробей, приготовь мне холст побольше, иностранцы обожают большие картины и хорошо платят.

Огонь и ветер!..

Итальянец купил пачку небольших гуашей. «Мальвы», «ромашки», «лица», «абстракции». В знак особой благодарности Володя набросал с меня и моей жены портреты карандашом и подписал без единой ошибки в своем имени.



Выставились мы вместе первый раз в Лондоне, в 1985 году. С большим трудом мне удалось выпросить «мальвы» Володи у пианистки Ермаковой-Прешак. О нас англичане писали всякую чепуху. Лишь позднее он стал известен на Западе, но совсем не оценен по достоинству. Потом один за другим умерли его родители. Сестра Ольга Игоревна присвоила себе квартиру, счет в банке и заперла брата в дурдом. Там он и скончался. Как и где его похоронили, мне ничего не известно.

Умер он в 64 года, так и не побывав в Китае, о котором с детства мечтал.

## 15. Художник без постоянной прописки

Весной 2002 года в Париже я заканчивал серию картин, посвященных народам Центральной Африки, избравшим демократический путь развития, — много красного цвета в хороводе черных густых мазков, — часто валялся с приступом грудной жабы, и вдруг меня известили, что 15 марта скончался мой приятель, художник Эдуард Леонидович Зеленин. Он заглотнул пачку намбутала, запил его бутылкой водки, лег и не проснулся.

А сорок три года до этого в Москве на американской выставке меня поразила деловая ловкость сибиряка Эдуарда Зеленина. Крепко сбитый и стриженный под солдата крепыш каждый день прыгал через забор и продавал свои рисунки служащим и посетителям выставки. В американской прессе появилось его интервью. Художник без крыши над головой стал модным в столице. Он снял комнату в подмосковной деревне Новогиреево. Туда потянулся любопытный народ познакомиться с проворным сибиряком и посмотреть, что он творит. Я явился к

нему с тарусским кочегаром и начинающим живописцем Эдиком Штейнбергом.

Зеленин родился где-то в Сибири, в бараке ссыльных переселенцев, раскулаченных уральских купцов. Закончив семилетку, отрок был отправлен родителями на родину предков в Свердловск, где открылась художественная школа. Там он сошелся с молодым учителем рисования Эрнстом Иосифовичем Неизвестным, творчески мыслящим скульптором, лепившим статую знаменитого сказочника Павла Петровича Бажова. Беседы с ним о тайнах профессии не пропали даром. В 1957 году он добился перевода в Ленинград, в школу того же направления, где продержался всего два года и был отчислен по неизвестным мне причинам, но за это время успел перезнакомиться решительно со всеми оппозиционерами и искателями истины в искусстве.

...Михнов-Войтенко, Понизовский, Гаврильчик, Арефьев, Шемякин, Олег Григорьев...

В Москве, очевидно, он стремился возобновить учебу, но неожиданная мировая известность помешала этим хлопотам. Получить же прописку в Москве человеку, приезшему издалека, было невозможно. Пришлось отъехать за Московскую кольцевую дорогу, где временно прописывали иногородних. В деревне Новогиреево он писал небольшие натюрморты: стакан с бабочкой, тарелка с ложкой, бутылка с цветком — простенькие мотивы с бугристой обработкой поверхности, возможно, с примесью речного песка, и чаще всего в монохромной гамме. Такую живопись, особенно после ташистских композиций Поллока, авангардной никак не назовешь, однако на фоне московского академического маразма такие вещи смотрелись смелым опытом. На них нашлись и первые мелочные охотники, предлагавшие бутылку водки в обмен на картину. У модного художника появилась поклонница, «белютинка» Елена Каверина, белобрысая и круглая, как буханка хлеба, но окончательно сходить с ней Зеленин не

стал, порвал и уехал в родную Сибирь. От вожака нелегального художественного кружка Миши Гробмана я слышал, что Зеленин время от времени появлялся в столице, показывал картины по квартирам знакомых и клубам, что-то продавал и опять исчезал в Сибири, где у него образовалась семья.

В 1969 году известный артист Вова Фридынский, любивший общественные сборища, потащил меня в кафе «Синяя птица», где с позволения властей выставлялись начинающие художники. Кафе считалось «гэбэшным», или «зубатовским», заведением, по определению Гробмана, но молодые и алчущие известности самоучки и дипломированные живописцы, как Бачурин, Булатов, Кабаков, Брусиловский, Путов, шли на показ и обсуждение своих экспериментов, чего лично я всегда избегал в своей жизни.

Сибиряк Зеленин со своим путеводным принципом — ломиться во все двери, и все средства хороши в карьере художника — в апреле, обзвонив «всю Москву», устроил встречу художника со зрителем. Мы не нашли места за столиком и забились в темный угол. Рядом сидели супруги Гробман, супруги Гинзбург, пестрый Брусиловский с раскрашенной цветами девицей, Судаков и Стесин, грозный Марлен Шпиндлер, Бачурин с гитарой, Лешка Смирнов, плевавший под стол, и масса незнакомых людей, хлебавших какую-то темную бурду под названием «крюшон Космос». Поскольку пить водку в образцовом кафе не дозволялось, то ее тайком разливали из кармана в казенные чашки.

Художник выставил картины, нарочно рассчитанные на горячее обсуждение. Людям нравилась детальная тщательность отделки, но композиции, похожие на книжные обложки XIX века — помесь реалистических фигур с геометрическим орнаментом, — вызывали яростную критику и дикие крики возмущения. Разношерстная публика, не вставая из-за столиков, задавала автору вопросы. Молодой

комсомолец, ведший обсуждение, пытался за него отвечать, восторженные девицы что-то строчили в блокноты, огромную истрепанную книгу отзывов, пестревшую припадочными заклинаниями хранителей священного реализма вперемежку с искателями новизны, перекидывали из рук в руки. Таким образом власти пытались контролировать культуру в стране, составляя черные списки антисоветчиков и отмечая кандидатов на повышение в должности.

Герой вечера что-то мычал в ответ, успокаивая агрессивные натуры, а вечером их всех предал, передав картины лифтеру Лене Талочкину, собиравшему нелегальную выставку в особняке американца Стивенса.

В 1973 году наши дороги пересеклись. Зеленин пришел ко мне в подвал и предложил показаться в «доме Адамовича», что на Садовой-Спасской. Поскольку этот дом оказался рядом с моей мастерской на Садовой-Сухаревской, то я охотно согласился и повесил четыре картины. В день открытия выставки я застал там скульптора Неизвестного. Лет пять он был моим кумиром. В пивную на Сухаревке он приходил с высоко поднятой головой, шагом римского императора. Пьяный народ расступался, уступая ему пиво вне очереди. Строиться с ним мне приходилось не раз. Теперь же он был трезв и о чем-то говорил с Зелениным, вырядившимся, как павлин: огромный красный бант, очки с золотой цепочкой, черные туфли вместо лаптей. С Неизвестным у него была особая, уральская связь землячества, и шептались они о своем. Хозяин дома Адамович охаживал посетителей, угощая их заморской кока-колой.

В искусстве Зеленин от плотной фактуры натюрмортов повернул к сюрреалистическому стилю, практически доказывая, что этот источник еще не исчерпан.

Сразу после выставки я обнаружил утечку моих постоянных доходов. В мое отсутствие ее посетил французский консул Франсуа Тибо, а через месяц его секретарша стала

женой опытного маклака черного рынка Сашки Адамовича. Видный мужчина в черном парике, живший исключительно фарцовкой, завернул часть моих клиентов в свой карман. Немцы, постоянно покупавшие у меня, отоварились и картинами Зеленина. У меня же в тот раз ничего не купили.

Сибиряк давно подумывал слинять на Запад.

Бульдозерная схватка (1974), куда он явился пряником с вокзала, основательно подняла его престиж в мире искусства. Полтора года, ночуя у московских приятелей, Зеленин вел борьбу с советской властью за выезд за границу, но, не имея московской прописки, он постоянно отчислялся с профсоюзных выставок, и тянули с израильским вызовом, выматывая силы до предела. На Запад семья Зелениных в составе трех человек выбралась лишь в 1976 году под угрозы и преграды сибирской родни, не дававшей своего позволения на выезд.

Не зная толком ни культуры Запада, ни иностранных языков и не желая ассимилироваться, Зеленины основательно хлебнули горя до того, как устроиться в просторном, но колючем Париже.

Парижское начало было обещающим. Старинный питерский друг и ученик Миша Шемякин, сумевший при поддержке галерейщицы Дины Верни «покорить Париж», помог ему заключить денежный контракт с хорошей галереей «Альтман-Карпантье», но там сибиряк сорвался с цепи и понес околесицу о своей «первичности» и «вторичности» его питерского покровителя.

Дело житейское и обычное. Кто-то всегда заложит и продаст, но чувствительный Шемякин такого предательства не прощал и приложил все старания, чтобы вышвырнуть своего строптивого и болтливого приятеля из галереи.

Да, нет правды на земле!

Зеленин постучался к Дине Верни. Опытная торговка, выщедив из Зеленина все, что можно, в свою очередь отфутболила его в русский кабаk варить пельмени.

Советский художник — легальный и нелегальный — пролетарской властью был лишен рекламных средств: газеты, афиши, каталога, радио, телевидения. Уроженцы захолустных и забытых городов Совдепии проявляли особую жадность и страсть к рекламе. Я помню квартиру Арефьева в Ленинграде, заклеенную парижскими открытками Шемякина. Они производили ошеломляющее впечатление на гостей.

Уроженец тайги, Зеленин с большим почтением относился к печатной продукции, а слово «слайд» всегда произносил как чудодейственное заклинание.

Человек думал крупными величинами, в его разговоре постоянно мелкали имена Дали, Танги, Филонова, но подобная слава ускользала, как вода сквозь пальцы. Выставки сыпались одна за другой, но всегда бестолковые и бездоходные. Его артистическое предложение не соответствовало западной моде и не годилось на широкое, базарное потребление, а ведь талант надо орошать славой, как цветок водой.

В светлые от запоя времена он сутками работал в искусстве. Это была редкая квартира, где по ночам в окошке горел свет. Супруга Зеленина, Татьяна Алексеевна, умела держать хлебосольный дом.

«Русский кружок» в Париже — иначе не назовешь пестрый сброд кликуш и скуки, включая титулованную, — пронюхал, что у художника Зеленина по ночам светло и жарятся котлеты. К нему на огонек потянулась вся ночная шпана и цыганщина, завсегдатаи игорных домов и ночных клубов: Карловы и фон Лучики, Димитриевичи и Голдены-берги, Шестопаловы и Третьяковы, Поляковы и Потемкины, Ивановичи и Некрасовы, Адамовичи и Богословские. Это лишь часть пьющих, а сколько прошло бездомных и жрущих — не перечесть. Уму непостижимо, как супруга ночного артиста, не имея лишней копейки, в два-три часа ночи могла накормить и напоить ораву жлобов и жуликов. Помню, в 87-м, после панихиды девятого дня за упокой

души раба Божьего Анатолия Зверева, умершего в Москве, Зеленины завернули к себе на поминки не менее тридцати дармоедов и сумели их напоить самогоном и накормить пожарскими котлетами с гречневой кашей.

Сибиряк ухитрялся держать иностранные связи московской закваски. К нему приезжали немцы, бельгийцы, итальянцы, следы которых лично я давным-давно потерял. Однажды у него появился советский журналист Леван Кацешвили, в 74-м снимавший бульдозерное побоище. Теперь он жил в Гамбурге и помогал художнику наладить связи с немецким покупателем. В 1983 году, очевидно, по его наводке, состоялась выставка «Четырех» в разных музеях Северной Германии.

Бестолковщина и бесправие русского сборища меня удручает до сих пор. От него не спрячешься ни в горной пещере, ни в африканских джунглях. Тогда немцы пригласили четверых самых наивных и беспечных русских, живущих в Париже: Зеленина, Леонова, Шелковского и меня. Числилась в списке и Мастеркова, но ее не смогли найти. Нас окрутили, обдурили, надули, и за все это мы сказали большое спасибо немецкому начальству.

Короче всех выразился Игорь Шелковский: «Ишь, чего захотел — денег! Скажи спасибо немцам, что выставили!»

Меня удивляло особое, скажем точнее, потребительское отношение Зеленина к гражданским проблемам. В этой части существуют две тенденции: одна — «чем больше у тебя паспортов, тем лучше» и другая — «я гражданин мира, плевать на паспорта».

В 70-х годах французские власти охотно пускали в страну политических эмигрантов из тоталитарных стран, где числился и Советский Союз. Семья Зелениных воспользовалась такой возможностью и без задержки получила документы «апатридов» — людей без гражданства. Прошло семь лет, и при проверке паспортов на германской границе жандарм долго крутил и вертел удостоверение



Зеленина, внимательно разглядывая фотокарточку и оригинал. Я спросил приятеля, не собирается ли он получить настоящее французское гражданство. «А зачем оно мне, так жить лучше», — был ответ.

Сибиряк не пропустил и парижских скватов. В артистический скват «Аркей» он приехал с сыном Димкой, здоровенным парнем, ломавшим кирпичи, как спички.

— Вот отличный солдат для Франции, — с восхищением заметил я Эдику, — небось скоро в армию?

— Димка у меня — пацифист и апатрид, так что служить, да еще в колониальной, я его не пушу, — выразительно ответил он.

Так здоровый бугай Димка закосил армию и стал продавцом в книжном магазине.

В 86-м, в разгар боев сквата с парижскими бульдозерами, прошел слух, что самые видные и боевые скваторы получают бесплатные мастерские с высокими потолками. Зеленин с могучим сыном Димкой, лепившим горшки и тарелки, оказался тут как тут и установил гончарную печь в помещении сквата. Месяц они воровали у страны электричество, обжигая свое прикладное творчество, а раз обнаружили, что их завод наглухо запечатан кирпичами и попасть туда невозможно. Димка кувалдой пробил дырку в стене, вынес печку по частям и больше не появлялся. Отец и сын Зеленины, испугавшись наказания и штрафа, на раздачу мастерских — правда, не в Париже, но по-настоящему просторных и с высокими потолками — не явились.

На пороге советской перестройки началось время круглых столов. В Нью-Йорке «за столами» отличался Шемякин, а в Париже ведущее положение занял «стол» Зелениных. Ответственным советским работникам разных уровней не только дозволялось, а рекомендовалось встречаться с эмиграцией антисоветского направления. Велись бесконечные переговоры и беседы, чаще всего одноразовые и бесплодные. В квартиру Зелениных за-

частили сотрудники «советских фондов культуры», видные академики, туристы, экономившие деньги на еду и гостиницу. Гостеприимная сибирячка широкой натуры, но тяжелых деревенских мозгов, невозможных в среде парижских снобов, наладила связь с родной Сибирью.

Трудно представить себе титулованного академика «изофронта» Таира Салахова у Зелениных в сибирской глуши или в рязанской деревне, а вот в Париже он охотно шел к ним на самовар с баранками и трепался о величии эмиграции, единстве русской культуры и решительных переменах в политике Советской России.

Курс на Восток!..

Восстановить историческую справедливость и рассеять мрак невежества!

Эдик Зеленин, давний сторонник «всех дверей и столов», выжимал из перестройки все, что мог. В 1988 году по приглашению какого-то культурного фонда Зеленины совершили триумфальное путешествие на Родину. В обеих столицах у них было множество знаменательных встреч, а в Сибири художника принимали как самого желанного гостя бывшие гонители его творчества, ставшие верными почитателями.

Двести лет назад русский художник Иван Еремеев рисовал восставших парижан, баррикады, штурм Бастилии (1789). Художник Зеленин, сидя в Париже, рисовал русские церкви с бабочками. Я видел его картины. Меня смущала местечковость направления. Витебский уроженец Марк Шагал выжал из нее все возможное, но у Зеленина смесь супрематических мотивов с золотыми крестами и куполами выглядела нарочитым китчем.

В начале 90-х годов, с появлением частной мафии в культуре, имя Зеленина исчезает из списков известных авангардистов. Новые русские фальсификаторы дошли до того, что без зазрения совести исключили его из искусства. Драться с искусствоведами за свое законное ме-

сто художник не умел, да и не располагал средствами для такой недостойной борьбы. Настали темные и тяжелые времена. На Запад хлынули молодые и наглые продавцы «шарм рюс», где он всегда слыл большим авторитетом. Они перехватили кабацкие заказы на стенные росписи и портреты.

О его затее с выставкой в Ганновере (2000) стоит рассказать подробнее.

В начале этого «круглого» года Зеленин вызвал меня на серьезный разговор.

— Есть верный шанс показаться эмигрантам в Германии, на Всемирной выставке, — авторитетно заявил он.

— Кого ты предлагаешь?

Я вспомнил свой чердак, заваленный картинами Соханевича и Пролецкого, и назвал их имена.

— Отлично, — заключил он, — приготовь на всех хорошее досье. Кроме тебя, я посвятил в дело Сашку Леонова, он предложил своих учеников Путилина и Савченко, ты не против?

Я был не против, потому что доверял человеку, отыскавшему хорошую выставку, а Леонов — отличный современный мастер и герой ленинградского андеграунда, но все-таки спросил, каким образом мы туда попадем.

— Мы не художники, а пираты, выставку возьмем на бордаж. Наше досье будет первым на столе высшего начальства, — закруглил он.

Слух о Всемирной выставке без задержки проник в русские глубины. В парижском клубе «Симпозион» закипели нешуточные страсти.

— Да кто такой Москвин, вы слышали о таком художнике? — шипел и плевался фотограф Валька Тиль.

— А кто такая инсталлятор Виолетта Лягачева? — орал пьяный скульптор Олег Буров. — Я рубил гранит на Алтае, когда ваша Виолетка сосала лапку в люльке.

От незаслуженно забытого Володи Толстого я получил роскошный мейларт, со всех сторон пробитый почтовыми

штемпелями и украшенный пестрыми наклейками. Внутри лежал лист бумаги с вызывающей цитатой из Бориса Пастернака: «О, как я вас еще предам, глупцы, ничтожества и трусы».

Недовольные составили решительный протест, адресованный сразу двум президентам, Путину и Шредеру.

Конечно, желающих попасть на выставку было не менее сотни, но мы приготовили отличное досье на пятнадцать человек.

— Чем больше шуму, тем лучше для нас, — мудро заключил Зеленин и под охраной сына Димки повез досье в Германию.

Я знал, что у него имелся хороший блат в секретариате, и с двух сторон, с русской — Кацешвили, с немецкой — Дирк Вилке. Роскошное досье они сумели подсунуть начальству, но оно первым полетело не на выставку, а в мусорную корзину.

«Мы сделали все, что могли», — пораженные неудачей, рапортовали Кацешвили и Вилке.

— А я вам что говорил, — хорохорился Анатолий Путилин на аварийной сходке, — нас не считают за художников.

Считают или нет, не нам судить, но без официальной государственной заявки с оплатой выставочного места досье не рассматривалось, а специального приглашения за счет германского капитала никто из нас не получил.

Так позорно провалился пиратский абордаж Всемирной выставки.

Бывшие советские республики показали немцам свой фольклор, а Российская Федерация, потерпевшая финансовый крах, не смогла оплатить аренды помещения. Попытку Зеленина организовать сбор средств для специального эмигрантского отдела немцы встретили лукавой улыбкой и в помощи отказали.

Ох, как измывались в клубе «Симпозион» над позорным поражением пиратов. Поминки справлялись по всем

правилам, с ведром самогона и борщом, приготовленным из ослиных копыт.

Европа не Африка, с голоду умереть не дадут, но дом Зелениных постепенно пустел. Коварные и жадные гости испарились один за другим. Иногда я заходил к ним на посиделки. Они устроили мать Эдика в богадельню Земгора без всяких взносов на содержание. Он страдал от развала великой страны на независимые куски. Его возмущала украинизация Ялты Чехова и Севастополя Толстого. Нашествие совков с квартирами в Париже и дачами в России выводило его из свойственного ему равновесия.

«А вот у меня ничего нет, кроме картин!»

Жили Зеленины гораздо сытнее во Франции, чем в рязанской деревне. Трехкомнатная квартира с лифтом, торговая улица Сен-Мор, соседи, говорящие по-русски: Целковы, Заборовы, Карповы, Загребы, домик в Шампани с огородом, но не хватало удачной артистической карьеры. Все двери, куда ломился художник с работами высокого качества, оказались на замке. Парижская галерея «Блондель», облюбованная им для себя, предпочла выставить и продавать не всемирно известного борца за свободу творчества с юных лет, а никому не известного москвича Ивана Лубенникова.

Попытка определиться в московской торговле тоже не получилась. В фальшивом списке «великих художников Москвы» Зеленин не значился. Его сюрреализм русского разлива не находил там сбыта.

По ночам он работал, так что я ему звонил не раньше пяти дня. На последний звонок он философически заметил:

— Ты знаешь, старик, мне все надоело!

Хоронили Эдуарда Зеленина мокрой весной, на дальнем кладбище Пантен, и в тот же день к вдове пришел патриот Сибири, знаменитый таежный король, и на корню скупил картины покойного земляка.

## 16. Все в круге

(фраза Лидии Алексеевны Мастерковой)

В глухой французской деревне, в доме на кладбище, 12 мая 2008 года скончалась Лидия Алексеевна Мастеркова, по газетам «амазонка авангарда», «всемирно известный художник», «одна из самых дорогих в России», а я ее двадцать лет знал нелегальной и гонимой в Москве и тридцать лет легальной в Париже, но без билета на метро.

Впервые мы встретились зимой 1959 года на обсуждении ее картин, но сблизилась не сразу.

Мой преподаватель искусств Илья Иоганнович Цырлин часто приглашал к себе любопытных студентов и показывал картинку «гениев», открытые им по московским коммуналкам. Я изредка приходил к нему с Игорем Вулохом, моим сокурсником по декоративному факультету ВГИКа. В этих культпоходах мы познакомились с живописцем Володей Вейсбергом. Ученик Роберта Фалька и убежденный «сезанист», он, как пожарная каланча над крышами, возвышался над толпой и отчаянно спорил с

защитниками иных направлений. В то время он собрал «девятку» единомышленников и с большим успехом продвигался к славе и заработкам. В спорах ему не уступали знатоки профессиональной терминологии, бывший зэк Лев Кропивницкий, сын знаменитого композитора Олег Прокофьев и студент Юрий Злотников. В тот зимний сезон один и тот же «ликбез» перемещался по московскому треугольнику Цырлин—Костаки—Лианозово, но самые проворные, и я в том числе, успевали побывать в самогонном шалмане «мадам Фриде», послушать стихи передовых поэтов на Маяке и прикадрить чувих в студии Белютина.

Профессор Цырлин жил в бывшем доме певца Федора Шаляпина, превращенном в социалистическое общежитие. Он не имел права устраивать «квартирных выставок», да еще в двух шагах от американского посольства, и частные посиделки с обсуждением картин и рисунков были нелегальными, следовательно, подсудными самоделками. Раньше за такой ликбез давали тюремный срок, но в либеральные времена пострадал один устроитель. О нем сочинили омерзительный фельетон «Двурушник у мольберта» и уволили из идеологического института за моральное разложение.

Я был поражен, когда на старинном мольберте появилась картина Лидии Мастерковой, стройной блондинки лет тридцати с острым взглядом и твердой походкой. Начали обсуждать стиль ее работы, и любой мог высказаться. Помню, Вейсберг завелся о кубизме, и Мастеркова энергично заявила, что француз Жорж Брак первый начал это направление, а испанский ворюга Пабло Пикассо присвоил себе первенство. Меня удивила не тема разговора, а решительный, командирский тон блондинки, рисовавшей «чистые абстракции».

Позднее я присмотрелся к обеим знаменитостям, и правда, Брак казался ближе к кубизму в те годы, чем Пикассо, рисовавший гимнастов в реалистической манере,

но знатоки эпохи до сих пор не установили, кто начал первым, а кто ему последовал.

Сейчас очень модно и выгодно пристроиться к русскому авангарду 20-х годов — музейное искусство, высокие рыночные цены, — но то, что показывал Цырлин, этим и не пахло. Наоборот, с большим воодушевлением он говорил о «ташизме» Джексона Поллока, «графизме» Бена Никольсена и перепахивал Пикассо с его выставкой (1956), наделавшей много шума в отсталой Москве.

«А вот, друзья, это русский пример экспрессивного и беспредметного творчества».

Гости деловито обнюхивали масло Мастерковой с кривыми зигзагами, напрямую выжатыми из тюбика, и продвигались дальше.

На стене висели образцы крайних направлений: абстракция студента Театрального института Михаила Кулакова, кусок фанеры, засыпанный пшенной кашей, московского тунеядца Дмитрия Плавинского.

Эти одинокие опыты не тянули на самобытные шедевры живописи, выбраться из сетей подражания авторам было нелегко, но лет через пять Мастеркова добилась своего, одну за другой выдавая уникальные композиции первого сорта. Явился проворный грек Костаки и приобрел их для своей коллекции.

Старшая дочка краснодеревщика родилась в Москве (1927), в густо населенном доходном доме на Малой Бронной. Квартирантов было так много, что кастрюли с едой прятали под кровать и мылись под одним краном в порядке живой очереди.

Детство коммунального мировоззрения.

Папа мечтал о театре, о балете и в 37-м водил дочку на показ Константину Станиславскому, благословившему девочку на творческие подвиги. Рисовать она начала рано, и замуж вышла за сокурсника по училищу, без вести пропавшего на войне. Верный друг семьи, шрифтовик Володя Немухин, усыновил годовалого ребенка, и новая семья



получила от государства десятиметровую конуру для жизни. Уму непостижимо, как пара молодых живописцев творила в такой тесноте, в соседстве с грозными блюстителями социалистической законности. Кто-то давал займы спички, кто-то гадил в кастрюлю с манной кашей, кто-то доносил о фабрикации фальшивых денег. Родители мужа умудрились сохранить деревенский дом в Прилуках-на-Оке, где росла капуста и хорошо работалось на просторе. Именно там Мастеркова создала свои лучшие вещи.

Поскольку советская власть не считала ее профессиональным живописцем, то над головой постоянно висел закон о тунеядстве от 4 мая 1961 года. Приходилось подрабатывать на жизнь украшением рабочих и крестьянских клубов.

После развода с Немухиным (1966) начался одинокий быт в пригородной хрущобе без телефонной связи. Приходилось зазывать иностранных покупателей, унижаться перед всяким говном из Парагвая или Уругвая, а как иначе, если чемпионами такой торговли были старые друзья из поселка Лианозово?

Мы не раз пересекались на тропинках дипарта. Послы иностранных держав перед возвращением на родину обычно устраивали прощальные банкеты, приглашая московских знакомых и, конечно, художников, украшавших стены их квартир. Приходила и Лида Мастеркова с подкрашенной губкой и на высоких каблуках. Помню, у чилийцев незадолго до мятежа мы оказались рядом и наблюдали, как знаменитый актер кино Рыбников втыкал окурки в пасть разварной белуги, а его жена Ларионова запихивала под юбку заморские салфетки.

Эра духовной слепоты!..

Ее картины, выставленные в рабочем клубе «Дружба» (1967), на мой вкус, были абсолютными шедеврами «византийского стиля» — парчовый ассамбляж с блеском золотых нитей и оливковое сфумато по всей поверхности.

Наши современники, служившие советской власти не за страх, а на совесть, считали такие дилетантские упражнения бесплатной забавой «ради смеха», но Мастеркова творила всерьез и на вечность, не думая о путевке на Рижское взморье.

Участие ее, сына Игоря и бывшего мужа Немухина в бульдозерной акции (1974) — глубоко продуманная операция, связанная с эмиграцией на Запад. Теперь, когда постепенно объявляются ее актеры, хорошо видна их роль в этом предприятии. Сын входил в кружок молодых забияк андеграунда: Комар и Меламид, Надя Эльская, питерская пара Рухин и Жарких, — желавших встряхнуть ленивую Москву, раскрутить дипарт пошире, заявить себя Западу храбрыми защитниками свободы и демократии в тоталитарной стране. Лида, любившая своего задиристого сына, мечтала о его карьере где-нибудь в Европе, не забывая о своей собственной. К этой операции примкнул весь клан Мастерковых, повязанных родством и общими интересами. Младшая сестра с мужем-сионистом были готовы эмигрировать хоть на край света, но подальше от зверского антисемитизма. Племянница Ритка с мужем Виктором Тупицыным, одаренным математиком, дружившим с художниками, выбрали место выставки и на ночь приютили ее участников с картинами.

«На пустырь я вышла первой, — правильно освещает событие Л.А.М., — мою и Воробьева картины рабочие бросили в костер».

Пострадавших заметили на Западе.

Лида Мастеркова — единственная женщина искусства, рискнувшая на эмиграцию в зрелом возрасте. После лукавой уступки властей на бесцензурную выставку погромы возобновились с особым остервенением. Мастерковой пригрозили ссылкой в Сибирь за паразитический образ жизни. Опасного питерского буяна Евгения Рухина сожгли в его мастерской, карикатуриста Вячеслава Сысоева посадили на три года в тюрьму за изображение баллисти-

ческой ракеты на крестьянской телеге. Избиение на улице и разгром мастерской считались мелочами. Одним на подносе доставляли «израильский вызов», а другим с ним тянули месяцами, выматывая силы и нервы до последнего предела.

Мастеркова покидала родину по всем правилам «еврейской волны»: картонный чемодан с картинами и беспокойный сын в багаже. В славном городе Вене, в пансионе Беттины Торончик, в сжатом виде сошлись все шестнадцать советских республик. Там образовался небольшой артистический колхоз — подпольный академик Васька-Фонарщик (В.Я. Ситников), сибиряки Зеленины, питерцы Кузьминские и москвичи Мастерковы, готовые победить любую западную страну.

(Любопытного читателя отсылаю к повести К.К. Кузьминского «Пансион Беттины», превосходно осветившей это общежитие.)

Высоколобые гордецы утверждают, что высокое творчество не нуждается в общественном признании, и дают пример Ван Гога, но у него был зажиточный брат, снабжавший живописца хлебом и красками, — а кто их даст приезжему совку?

Чем ближе мы подъезжали к коммунизму, тем больше строили тюрем и лагерей. В Америке — колорадский жук, в Европе — канкан с голыми чертями, в Греции — турецкое иго... куда совку податься, кому морду бить?

В венском колхозе мало кто сознавал, что впереди не покорение Запада, а путешествие в никуда.

Философы уверяют, что с испугу пьяный может протрезвиться в одну минуту, но в пансионе жильцы по привычке воровали, зачитывали книжки и брали займы без отдачи. Все ждали, что решит эмиграционное начальство и где выгоднее пристроиться. Ваську-Фонарщика забрал себе мебельный фабрикант из деревни Кицбюль, Кузьминские подались за океан, остальных пригрел «город-светоч» Париж.

Франция — республика бюрократического устройства. Здесь важно иметь «документ»: апатрид, инвалид, безработный, и с ним вам не дадут умереть Армия спасения, «Секур католик», «Суп популер».

По приезде в Париж Мастеркову зачихнули в убогую гостиницу с африканскими неграми на временное содержание Толстовского фонда, и неприятные сюрпризы не заставили себя ждать. Американская почитательница Эвелин Баусман, обещавшая поддержать на чужбине, лишь горячо поздравила с приездом и повесила телефонную трубку.

«Какая сука, а я ее угощала солеными боровиками в Москве!» (Л.М.)

У дипломатов Махровых екнула совесть, они привели к всемогущей торговке Дине Верни. Дина любила героев. Сама героиня «Резистанс». Пораженная крутой натурой русской женщины — коня на ходу остановит, придушит бульдозер ногами! — взяла ее к себе на европейскую работу. Лида год смиренно фабриковала шедевры для выставки, а сын Игорь шастал по нужным адресам, разнюхивая, где пахнет жареным. Однажды он ввалился ко мне с бутылкой польской водки и батоном чесноковой колбасы. Днем я не пил, но под наглым напором земляка пригубил «за встречу в Париже».

Дальше — больше!

— Мы с тобой растоптали бульдозер в Совдепии, — заглотив кусок колбасы, начал гость, — а теперь надо покорить Париж.

— Ничего не выйдет, старик, — сопротивлялся я, — в искусство входят не колхозом, а по одному, и не все.

— Ладно, познакомь нас со всеми, — наливая по второму стакану, прижимал гость.

— Я всех не знаю и знакомить не стану.

— Ладно, не знакомь, а достань мне хороший автомобиль.

— Старик, я не раздатчик автомобилей, иди в гаражи сам.

— По глазам вижу, врешь, ну, ладно, дай займы сто франков.

— Вот тебе десять франков без отдачи, и больше не проси.

Две прямо противоположные линии русского сознания существуют во все времена. Одну из них я называю «простаковской» по имени фонвизинского героя Иванушки с его кредо: «Тело мое родилось в России, это правда, однако дух мой принадлежит короне французской», и другая линия, получившая высшее развитие в эпоху сталинизма, — «Мы всех краше, мы всех лучше», и вообще, телеграф изобрел Попов, спутник — Королев, и Москва — Третий Рим, а четвертому не бывать!

Лида Мастеркова находилась под гипнозом русского гения, мнимого и действительного. Она шла по миру как суворовский солдат: «ать-два, пойдём, братцы, за границу бить отечества врагов!»

Осенью 77-го года, подписывая каталог ее выставки, галерейщица Дина Верни мне так и сказала: «Я за это ее и взяла!»

Неужели выставляла не картины, а героиню, укротившую бульдозер?

А колесо времени крутилось иначе. Допотопных богатырей давно сменили невидимки капитала. Дина полагала, что ее русской героине хватит соображения принять новую расстановку сил, но просчиталась. Случайный успех, когда ее картина «Все в круге» попала в лучшие руки Парижа, не мешал ей видеть повсюду жуликов и мелких бесов. Покровительница Дина, год кормившая Лиду с сыном из своей кастрюли, оказалась лакеем Уолл-стрит и агентом мировой закулисы.

Что касается такой немаловажной вещи, как артистический имидж, то Лида не выделялась из толпы рядовых блондинок с короткой стрижкой и в длинной юбке. Од-

нажды на публичном представлении я увидел концептуалиста женского пола с голубыми наколками на груди и подумал, что Лиде будет очень трудно с оренбургской шалью на плечах. Конечно, истина в круге, но инопланетян встречают по одежке, а не по кругу.

Старшее поколение «третьей волны» не считало «корону французскую» образцом для подражания. На очень сложный мир Запада они смотрели с богатырских высот, где не надо платить за жилье, говорить с людьми, заполнять кучу административных бумаг (ох, пропади они пропадом!) и зарабатывать на жизнь. Во всех эмигрантских затеях Мастеркова принимала участие. В 1978 году президент Осеннего салона Макковой предложил мне показать бесплатно группу эмигрантов в Гран Пале. Я сразу поехал на отбор картин к Мастерковой. Она с сыном поселилась на окраине Парижа, в многоэтажном доме современной постройки. Работал лифт, прыгали кошки, но нужда смотрела из углов. Я ее, гадину, сразу узнаю по дареной табуретке и бумажным стаканам. По комнате расхаживал сын, засунув руки в брюки, и что-то бубнил о дороговизне бензина. Мистик Юрий Мамлеев, пять лет просидевший среди американских дикарей, восторгался европейской древностью. Супруги Тупицыны, Ритка и Витька, неловко разыгрывали туристов либерального направления. Ее новая подруга Татьяна Паншина, бойко писавшая в русские журналы и считавшая богатыря Лысенко изобретателем пшеничного хлеба, резала тощую селедку с луком. Как водится, все дружно заливали грязью Францию, ставшую раком перед африканскими завоевателями. Либеральный племянник пытался притормозить оживленный разговор, но получил решительный женский отпор: «Да ты что, Витя, ослеп, что ли, в футбольной команде ни одного белого игрока!»

Беседа по-московски, с хохмой и анекдотом, совсем не ладилась, мешали местные черти, летавшие за окном, и

очень скудный, совсем не русский стол — ни настоящей выпивки, ни солидной закуски.

После жидкого чая начался показ и обсуждение картин с монументального мольберта. Лида расставляла и внимательно изучала зрительный зал из семи лиц. Все новые картины с белыми кругами, как на подбор, были бесспорные шедевры и ничего, кроме восторга, не вызывали.

Мамлеев, племянники, я: «Лидочка, да это гениально!» — «Спасибо, ребятаки, за доброе слово, но почему Ротшильд берет их у Дины, а не у меня?» Я попытался объяснить: «У них есть общие интересы». — «Но ведь эстетика моя, а не Дины?» — «Эстетика — предлог для деловых отношений». — «Значит, по-твоему, я предлог, а не созидатель?»

Через неделю ее картины повесили в Гран Пале, и раздался телефонный звонок.

— Валентин, меня выселяют из квартиры французские бесы, нужны деньги на переезд, возьми у меня что-нибудь из графики.

Я покупаю кое-что из «кругов», спасаю человечество от нужды, и как результат — постоянное осадное положение.

Дать эмигранту займы — значит швырнуть деньги на ветер, но есть выход — покупать у него сломанные фотоаппараты, потрепанные книжки Госиздата, как, например, мемуары И.Е. Репина «Далекое близкое», или хохломские деревяшки с облупленным декором.

Судьба героини авангарда полетела кувырком, я спасал ее еще семь лет, пока не научился притворяться больным и бедным.

Пара дипломатов Галя и Кирилл Махровы, не располагая особыми связями в чудовищном мире торговли, предложили женщине, попавшей в беду, пустующую квартиру и дачу в Тунисе. Когда я навестил Лиду в помещении с прекрасным потолочным освещением и в самом цент-

ре Парижа, там опять толкались сын с безработной женой и неразлучная собеседница Паншина. Обсуждалась одна и та же злободневная тема: как и где достать денег, а в промежутке трепались по телефону с Польшей, Москвой и Америкой. Графика Лиды с белыми наклейками и мастерски разлитой китайской тушью была великолепна, но космические названия нелепы и смешны. Ведь мы не знаем, что такое космос. Глядя из окошка самолета, ничего, кроме кучевых облаков, не увидишь, но находятся артисты с пылким воображением и вместо них видят рыб, стрельцов и дев. Такая дешевая метафизика не имеет отношения к мастерству художника, но Мастеркова не избежала подобных спекуляций. Ее космические дали делились на две части: первая выпадала лицам, не ценившим ее гения и обреченным на вечные мучения в геенне огненной, и вторая почитателям — у ее трона.

Сразу после капитальной выставки «Париж—Москва» (1979) у французов проснулся интерес к русскому авангарду 20-х годов, а к супрематизму особенно. Мастеркова решила уклониться от американской эстетики 50-х, вскормившей ее молодое воображение, и примкнуть к модному поветрию. Она меня уверяла, что «мы» прямые наследники ее знакомого супрематиста Ивана Перуцкого, я же, не задевая ее честолюбия, пытался доказать, что 20-е годы — сплошной колхоз, а его дурацкие манифесты — бессмысленная абракадабра, но такой ереси она слушать не желала.

— Лида, ты вышла из богатырского колхоза, — говорил я, — но богатырь из тебя не вышел.

Вскорости ее счета за телефонные переговоры достигли пугающих размеров, и совсем небогатые Махровы деликатно попросили квартирантов очистить помещение, тем паче, что издалека возвращался их женатый сын. На них обрушился шквал обвинений в мещанстве и крохоборстве. Галя Махрова, сама хороший акварелист и женщина



полезных дел, пыталась спасти положение, вселив Мастерковых в шато Монжерон, но и там они не ужились.

— Слушай, откуда у тебя деньги? — спросила раз Лида у издателя журнала «А—Я» Игоря Шелковского.

— Как откуда, я реставрирую иконы для магазина.

Лида и сын взялись очистить икону от вековой грязи, но вещь загубили, и брак оплачивали знакомые гуманисты.

В Лондоне Лида и ее женатый сын поселились в бараке для беженцев, по соседству с гениальным Олегом Кудряшевым, скулившим от голода и зависти к богачам. Их навещал поэт и живописец Олег Прокофьев, «сын великого композитора» — титул, как вериги, висевшие на нем все время.

— Я привозил им краски и еду, — вспоминал былое О.П., — но ничего, кроме грязных сплетен об отцовском богатстве, в благодарность не получал.

Однажды он повез Лиду к известному торговцу русским искусством Эрику Эстерику. Хозяин с интересом полистал превосходные графические листы, осведомился о цене и судьбе автора. Когда ему сказали, что автор жив и сидит в автомобиле, галерист смутился и выпроводил просителя за дверь.

В буйном Нью-Йорке, где продавцов «идей» хоть пруд пруди, Лиду опять постигла неудача. Знаток России, усатый и толстый владелец кукурузных полей Нортон Додж, за картины предложил ей гараж для жилья, но такой подлый обмен ее не устраивал. Конечно, и так можно жить, но художнику нужны деньги на краски, бензин, транспорт. Родичи с гибкими мозгами, Ритка и Витька, давали совет жить по Достоевскому — «смирись, гордый человек!» — но Лида с презрением отклонила подобную тактику. Добавлю, что гараж не пустовал, его поочередно освоили питерские авангардисты, сначала Игорь Тюльпанов, а за ним Юрий Дышленко, умерший там от отсутствия медицинской помощи.

А годы неумолимо мчались.

— Я поспешила уехать из Москвы, — раз торжественно поведала она.

Честно говоря, я не замечал большой разницы ее московской и европейской жизни. Как там, так и здесь слава и деньги пролетали мимо, не забегая в кошелек. Находились чудаки, уверявшие, что на родине помогают стены, а на чужбине нет, но, зная ее богатырский характер, я был уверен, что ее ждут не стены, а горькая участь отщепенца, гнилой самогон вместо виски и давка за буханкой черного хлеба.

Ее сын Игорь не был окончательным бездельником, неспособным забить гвоздя в стенку. Он постоянно чинил старые автомобильные моторы, но в русском стиле, то есть сикось-накось, не так, как принято в Европе. В 82-м он подрядился ставить отопление на подворье Казимирыча (художник В.К. Стацинский) у кладбища Пер-Лашез, но батарею повесил криво, и она рухнула, раздавив курицу. В то же время галерея Гарига Басмаджана доверила ему исправлять иконные оклады, но вместо того, чтобы припаять серебряные венчики на изображение святых, он порезал оклад на негодные куски. После такого провала его с треском выперли без гонорара.

В 1983 году немцы решили устроить выставку русским художникам в трех музеях Северной Германии. Известный советолог Питер Шпильман составил список из пяти эмигрантов, где значилась и Мастеркова, но все мои попытки обнаружить ее местожительство не увенчались успехом. Бездомная художница бесследно исчезла.

Опытный советский график Виталий Казимирович Стацинский на территории капитализма играл роль помещика Плюшкина. Из года в год он расширял свое подворье, заваливая его всевозможным тряпьем и старым мусором. Иногда я навещал его с гостинцами. В октябре 83-го, в очень холодное и дождливое воскресенье, он мне приказал:

— Воробей, сегодня мой праздник, ты должен принести бутылку портвейна и сдобную булку.

Я купил бутылку отличного порто и, спускаясь к подворью, обнаружил новое приобретение с надписью белым по голубому фону «Отель де Руси».

— Иди позови Лиду, а я заварю чай, — победоносно отрезал график.

Я постучал в дверь «отеля», и на пороге явилась не Лида, а пожилая ведьма с поленом в руках. В глубине, рядом с раскладушкой краснела буржуйка. Через полчаса пришла покрытая шалью Лида и пригрозила :

— Казимирыч, как ты посмел посылать ко мне людей?

Довольный склокой, хозяин спрятал подальше порто и вместо вина выставил расписной абажур работы Мастерской.

— Воробей, покупай супрематический шедевр!

От участия в немецкой выставке Лида отказалась, сославшись на то, что плохо выглядит и никого не принимает.

Около полугода ее содержал Казимирыч, затем следы затерялись в предместьях Парижа. На мой вопрос, что между ними произошло, он отвечал:

— Я так высоко не думаю, как она, вот и нашла коса на камень.

Я был единственным коллегой Лиды в эмиграции без скандального разрыва с ней. Все остальные, успешные и пропавшие, смотрели на нее как на опасного конкурента, способного подчинить, разорить, оскорбить, как много лет подряд она подчиняла Немухина, мужика с усами и не робкого десятка.

После глупой выставки в Италии (1978) у меня стояла большая картина Немухина 59-го года, и вдруг галерейщик Басмаджан выразил готовность ее купить. Вместо того чтобы дожидаться появления Лиды, я допустил грубейшую ошибку и сдал картину за 10 тысяч франков, по тем временам значительную сумму, чтобы Лиде год продер-

жаться. За сделку я получил бутылку коньяка «Наполеон», а возник слух, что получил 20 тысяч, присвоив себе половину.

За хранение картины и хлопоты я стал «мошенником».

В Прилуках-на-Оке ее всегда ждал дом с кривым крыльцом, но Лида благоразумно предпочла французскую деревню Сен-Лоран-на-Отен, где пустовал церковный домик с видом на кладбище. Помыкавшись вокруг и около неприступного Парижа, Мастерковы подались в галльскую глубинку.

В любой глуши, по себе знаю, пережил Тарусу и Звенигород, люди не поднимаются, а опускаются: мыши и кошки, тучи и дождик над головой, лень чистить перышки. Светская жизнь заключается в походе за табаком в единственное быстро, где постоянно сидит парочка угрюмых мужиков в потертых кепках. Все знают, что в глуши не опускаются твердокаменные большевики, такие как Ленин и Сталин: они обливаются ледяной водой, спят на гвоздях, зубрят теорию Карла Маркса, но как быть тем, у кого кончилась краска, стерлись кисти, да это и не сибирская, а французская, каменная глушь — дома стена к стене без садов и огородов?

И оттуда Лида умудрялась поучать.

«О душе подумай, дурачок, ищи не денег, а свет фаворский!»

В старину столпники и отшельники играли заметную роль в высшем обществе. Их знал и слушал царь, а как сейчас, в космическое время? Попытки наладить сбыт картин в соседнем княжестве Люксембург закончились неудачей. Как только в магазине появлялась старуха со связкой абстракций, хозяин, смотревший на видение в щель, давал прислуге знак культурно ее отфутболить, подарив на память рекламную афишу.

Год 1987-й — год чудес!

Явились проблески истины на русском горизонте. Культуры художественного плюрализма в России никогда

не существовало, да ее и сейчас нет, но что-то треснуло в коммунизме, и посыпались стены, крыша, потолок. Интеллигенция запела хором: «Возьмемся за руки, друзья», московский кооператив «Эрмитаж» впервые показал народу картину Мастерковой, наладились регулярные связи с живыми людьми, в недоступный Париж полетели антисоветчики и водопроводчики, а на историческую родину потянулись бывшие бояре и купцы. Нагрывшая перестройка спасла великого мастера от преждевременной гибели в нищете.

На моей памяти «бульдозерный перформанс» вспоминали трижды и всегда по-разному. Первое десятилетие (1984) отмечалось у скромного эмигрантского стола под гитару Георгия Дионисовича Костаки; двадцатилетие — с официальным размахом. В сентябре 94-го Лидия Мастеркова и ее сын получили особое приглашение русского посла во Франции осчастливить своим присутствием юбилейный праздник, куда включалась выставка, банкет и ночевка в бункере посольства, еще год назад неприступной твердыни советской страны.

Мордастые бюрократы, сменившие мундиры на пиджаки, с нескрываемым подозрением осматривали странных постояльцев — «а что у вас в сумке, мадам?» — но горькую пилюлю пришлось проглотить. Самые орденоносные лица советской культуры — академики Церетели и Салахов, Обросов и Ерофеев — снимали перед Мастерковой боярские шапки.

Больше инициативы, товарищи!..

Российский официальный изофронт с необъятными казенными средствами был, есть и будет. Старинная традиция кормить с кремлевского стола многотысячную армию мастеров кисти и резца не исчезла, но рождение частного капитала было невиданной новинкой в стране. Если музейный официоз всегда был враждебен неофициальному творчеству, то новые меценаты и спекулянты по-

степенно раздували доходный миф «лианозовской группы», где когда-то состояла Мастеркова.

После первой поездки в Москву (1995) она горячо уверяла, что там как грибы растут музеи, банки, галереи. Один банкир купил тысячу картин, другой — пять, третий — все десять тысяч, что мне показалось многовато для яркой коллекции.

— К черту таких меценатов! — хорохорился я.

— Вот тебе и на, — обижалась Лида, — а как же отчий дом?

Я знал, что «отчий дом» встречал ее без колокольного звона, как допотопного динозавра. Она предлагала первоклассные вещи искусства, но корпоративная, музейная чернь опасалась предоставить ей почетное место.

В другой приезд она говорила, что московские галереи закрываются одна за другой, меценаты сбежали на Ривьеру, растет недовольство народных масс и «быть знаменитым некрасиво».

Мастеркова высоко ставила профессию художника, мечтала о мировом признании, как и ее нелегальные подельники, но новая русская общественность не спешила признать за ней высокое место в искусстве. Значит, опять рубить дрова, стирать белье и варить суп во Франции.

Когда я рассказал ей (1998), что видел картинку с коленопреклоненным королем Франции над умирающим Леонардо, ее лицо разошлось в блаженной улыбке. Мастеркова мечтала о почестях если не короля, то принца на коленях.

О каком искусстве идет речь?

Ее артистический дар был заквашен на лучших дрожжах, ее уникальный художественный опыт образовался в атмосфере тотального террора, где любой уклон от идеологического шаблона приравнивался к иностранному шпионажу, ее подпольное творчество не совпадало с официозом западных «измов», неизвестных в закрытой стране. Густой сорняк советского реализма на корню душил

любой росток индивидуальной работы. На Западе эмигрантская попытка пристроиться в общий профессиональный ряд получала дружный отпор музейных бюрократов, не знающих, где расположена Россия. В начале 90-х возникло если не полное приятие, то частичное понимание подпольного опыта, но творчество Мастерковой принадлежало другой эпохе и воспринималось как исторический курьез некой утопической страны.

В России народился новый руководящий класс, задававший вопрос: «А кто такая Нефертити?» Откуда таким знать о живущей в деревне Сен-Лоран великой художнице?

Каюсь, Господи!..

Лет за восемь до ее кончины я начал избегать прямых встреч. После своей выставки в Третьяковке (2006) Лида позвала меня на Северный вокзал помочь с багажом. Я лукаво сослался на высокую температуру, хотя был здоров и свободен. Просто я струсил и боялся увидеть ее старость.

Кто-то ее встретил и подвез. Из деревни опять возобновился монолог о «Святой Руси», о больном искусстве Запада и о том, что у нее под окном прополз дракон с длинным хвостом.

Она с сочувствием отозвалась о моих мемуарах: «Резко, но правильно пишешь о себе и других». Я ей заметил, что подражаю воспоминаниям И.Е. Репина, где главный герой не он, а его учителя и ученики. Она очень удивилась и обещала перечитать книжку гуманиста XIX века.

Газеты писали о потеплении на Северном полюсе — айсберги крошатся, как мокрая глина, белые медведидохнут с голоду, — а в деревенской глуши без страданий и в ясном уме умерла Лидия Алексеевна Мастеркова.

У меня сдавило горло, и хлынули слезы. Такие великие эстеты, как Мастеркова, не имеют права умирать, но у ворот нашего дома постоянно дежурит дракон с длинным хвостом.

## 17. Потомок царя Соломона

Московский живописец Александр Сергеевич Путов в Израиле узнал, что он потомок царя Соломона.

«В 1973 году, как гадкий утенок, я примчался в Израиль и вдруг узнаю, что моя мать относится к царской семье», — вспоминал он былое.

Абар-бан-ель — «сын сына бога»!

Всемирно известного царя Соломона представлять не надо. Великий человек, мудрец, строитель, воин, сочинитель. Оставил человечеству удивительные библейские поучения и пестрое многочисленное потомство — шутка ли поиметь семьсот жен, не считая кратковременной встречи с черной царицей Савской. Его единственному сыну удалось сохранить часть страны с Иерусалимом, а прочие его наследники и наследницы, «побивая друг друга камнями, разошлись по шатрам своим», — как утверждает Священное Писание.

Триста лет с грехом пополам род Соломона держался у власти, а в 587 году, естественно, до новой эры, явился



грозный вавилонский завоеватель Навуходоносор, ограбил страну, перебил всю знать и еврейский народ угнал к себе в Вавилон на рытье каналов. Согласно родословной Иисуса Христа (Иешуа бен Иосеф) часть пленных евреев вернулась в Иудею, следовательно, предки художника Путова уже не сидели на царском троне, а строгаги палки в галилейской деревне.

Путова же необходимо представить.

Все знают, как из солдата сделать маршала, из кухарки — министра, из нищего — принца, но никто не слышал, чтобы потомок великого царя Соломона стал местечковым закройщиком в такой дыре, как Кременчуг. Говорят, что польские паны и турецкие янычары, как стадо баранов, перегоняли евреев с места на место, но мне кажется, что они жили там вечно, по крайней мере до появления русских солдат и генералов. Цари оттяпали крупные земельные куски у соседей с густым еврейским населением, так что бесправные у янычаров евреи стали бесправными подданными русского царя.

«Конечно, мне льстит иметь такое родство, как царь Давид, Соломон, и другие гены этих замечательных предков я в самом деле размещаю в себе», — пишет Путов своему другу и поверенному Анатолию Ниссоновичу Басину в длинном письме, рассчитанном на публичное обращение.

Правда, Соломонова кровь и Христовы гены текли не везде. Отец художника, Сергей Иванович Путов, уроженец Тульской губернии, потомственный «левша», изобретательный механик нарасхват, вынужденный пить с непутевым народом, пропил желудок в Сибири, а вот мама, Сарра Исайевна Абарбанель, — девушка из местечка Гуляйполе (революционная вотчина батьки Махно), с кровью кого-то из семисот жен иудейского царя.

«Мои были простые, не пьяницы, но тоже жили плохо», — вспоминает она.

Пролетарская революция, как раскаленный утюг гниду, разгладила человеческую веру в Бога, непокорных загоняя на сибирские рудники, а послушным народам открывая ворота безбожного образования. Братья закройщика подались в горячую Палестину, а он с семьей — три дочери и сын — робко стал на новые советские рельсы пятилеток в четыре года.

Где встретились тульский механик Сергей Путов и комсомолка Сарра Абарбанель? Естественно, на стройке коммунизма, в дырявом бараке Днепростроя.

«Факт тот, что я захотела и поехала», — говорит мать художника.

Старшая сестра Дина родилась в каком-то Дзержинске, он — в Каменске, стало быть, семья не сразу, а постепенно, необычными географическими зигзагами подбиралась к стенам древней Москвы, ранее закрытой для обитателей еврейских местечек.

Саша Путов учился в простой советской школе, три года служил в Красной армии. Там он сапер, кочегар, санитар.

«О рисовании я не думал, — пишет он другу, — и выбрал медицинский институт, потому что маме очень хотелось, чтобы я был врачом». На удивление родных и знакомых, он легко туда поступил, снял угол у старушки «на Трубе» (Трубная площадь Москвы), но учился недолго, победило рисование. Ему удалось попасть в архитектурный вуз. Там он не чертил греческих капителей, на пять лет запершись в общаге, а «больше думал о рисунке, чем об учебе» (Александр Путов, далее А.П.).

1968-й — год особенный для Путова. Еще студентом института он впервые показал свои внешкольные опыты в знаменитом кафе «Синяя птица».

И что сказал народ?

«Художник считает нас идиотами», «по форме и содержанию это ужасно — куда мы катимся?», «я посмотрела выставку, и ночью мне снились кошмары».

Значит, человек получил идеологическую головной-ку на студенческой скамье. С трудом закончив вечернее отделение, он стал чертежником, умудряясь свои рисовальные опыты выставлять по клубам и квартирам знаковых эстетов, женился, приобрел московскую прописку и упорно учился профессии. Еще не уверенный в своих чудотворных силах, самоучка не блуждал в потемках, а стучался в двери нелегальных авторитетов, таких как Ситников, Брусиловский, Рабин, Шварцман, Костаки. Они или отвергали его опыты, или он уходил от них, потому что знал свое высокое призвание и шел к нему без наставников.

В длинном письме Басину (1992), путая имена и даты — например, хорошо помнит внешность Рабина, но его местожительство и как выглядят картины забыл, — в описании своих посещений нелегальных деятелей Москвы он совсем не знает, чего он хочет от людей с опасными иностранными связями и шатким общественным положением: подучиться, присоединиться, сдружиться? Создается впечатление, что он бродит, как призрак в пустыне, среди бесформенных теней.

Я помню, как начинающий рисовать дворник Сережа Бордачев сделал одну «абстракцию» и потащил ее на продажу в дом американца Стивенса.

Где же место Путова в Москве?

Блуждающий гений или лакей Уолл-стрит?

Примкни он к одному из московских кружков, к тому же Ситникову или Гробману, завались в мой подвал дипарта, и судьба его стала бы иной.

В Москве мой инструктаж прошли пятеро молодых людей, совсем не умеющих рисовать простым карандашом. Это киновед Игорь Ворошилов, дантист Коля Румянцев, столяр Борис Штейнберг, вахтер Сергей Бордачев и военный курсант Алексей Паустовский. Я их всех вывел «в люди» под лозунгом «догнать и перегнать Америку по про-

изводству абстракции». Я их учил не появляться на глупейших комсомольских выставках, а торговать, продавать картины и вещи иностранному потребителю. И все они, каждый по-своему, добились убедительных результатов в этом направлении.

Саша Путов не думал о продаже своих многочисленных творений. Возможно, его напугал Георгий Костаки, в 72-м посетивший его квартирную выставку у поэта Славы Льна и грубо брякнувший: «Вам надо не расплыться, а бить в одну точку».

Путов вывез в Израиль (1973) две тысячи картин и там решил кормиться искусством во что бы то ни стало, чего не делал в Москве.

В демократическом Израиле, где не сажали за Osborne рисование, возникла одна проблема: где и как продаваться?

Путов решил из зубного техника Жени Грейхеса «с акцентом завсегда тюрем» (А.П.) сделать торговца картинами. Формирование маршана началось с культпохода в художественную галерею.

«Что это за цифры висят по картинам?» — спросил техник. «Это доллары», — ответил Путов. Женя стал его импресарио и сделал двадцать пять выставок за один 75-й год.

«Мы с женой Мариной жили в глубокой нищете» (А.П.). Он преувеличивает. У нищего художника денежки водились. Это были не крупные заработки звезд «злободневной фени» (А.П.), не жизнь на широкую ногу, полочки артиста, а не лифтера, экономная жизнь счастливой семьи.

«Лучше смириться духом с кротким, нежели разделить добычу с гордым», — как говаривал его предок Соломон.

Родство с царями не помогало карьере, его не принял израильский профсоюз. Руководство этого учреждения освоило советское клише на культуру как народное при-

кладное ремесло. Путов не свалился с потолка, а пришел в искусство со своим самобытным опытом, но ему заявили: «У вас плохая карикатура на искусство». На что он ответил: «Я художник, а не сапожник!» Хлопнул дверью и ушел.

Его работоспособность и страсть постоянно действовать были воистину титаническими. Сотни картин и тысячи рисунков.

Посредственные парижские галереи, пользуясь историческим престижем города-светоча, по всему миру рассылали приглашения на участие в их, разумеется, платных выставках. Подобные приглашения получил Путов и его израильские коллеги. Пораженный парижским приглашением, он собрал деньги на поездку, упаковал кучу картин и сразу, как кур во щи, попал в общество нищих неудачников от искусства, творивших по парижским скватам.

Париж давно потерял первенство в эстетике, но остатки идеалистов продолжали традицию богемной столицы.

Ах, Франция, нет в мире лучше края!

В Париже он сразу нашел то, что давно искал, — бесплатное жилье с видом на крыши, необыкновенный свет и симпатичных полицейских, не бросавших картинок в костер.

Современные артистические скваты в точности соответствовали голодным и дружным общинам золотых времен парижской школы: Шагала, Сутина, Архипенко, но с одной существенной разницей — не то время! В наши дни с такого богемного дна наверх не поднимаются, а лежат там вечно, посасывая лапу.

\* \* \*

Весной 1986 года, пересекая парк Монсури, на лужайке с красивыми лебедями я обнаружил чернобородого мо-

лодца, с ног до головы измазанного краской. Кисти и тряпки в карманах пиджака. Он ловко крутил ими, расправляясь с холстом и пейзажем. Размах и подход штыкового бойца. Мне захотелось, как бывало в юности, стать рядом и от души покрасить с натуры, но такие упражнения я прекратил в 70-м, рисуя единственную корову в Тарусе. С какой планеты пейзажиста бросили на парижскую землю? Разговор не клеился. Я расслышал лишь три слова: «Москва», «Израиль», «Париж» — и распрощался. Мне показалось, что человек парит в облаках, а такому не до разговоров, не до знакомства, но судьбе было угодно свети нас снова.

За десять лет эмиграции я не видел в Париже пейзажиста. С натуры не рисовали лет сто, с красивых времен Сислея, Утрилло, Марке. Мой ведущий учитель живописи в 50-х годах Виктор Семенович Сорокин писал с невероятной яростью и быстротой, но это было в другой жизни. Попадались японские любители с роскошными этюдниками и дорогим красочным набором на палитре, но, чтобы в искусство вернулись темперамент и свежесть красок, такого я не ожидал.

За четыреста лет существования пейзажного жанра постепенно определились его фундаментальные правила, обязательные для всех: это композиция (горизонтальная, вертикальная, диагональная), цветовая гамма (полихром, монохром), тон (светотень), настроение (дождь, солнце, гроза) и прием (мазковый, лессировочный, корпусный). Этими правилами в совершенстве владели мастера прошлого — Рейсдаль, Тернер, Коро, Айвазовский, Левитан. В наше время пейзажное искусство, как и картину вообще, вывели из моды, отодвинув на задворки «злободневной фени». Пейзаж оставался на разработке отсталых любителей и самоучек. Куча нерукотворного и концептуального мусора заменила рукотворное творчество.

Пейзажиста звали Саша Путов. Работал он без знания капитальных правил, как бог на душу положит, не думая о процветающей моде. Ночевал он в сквате «Аркей», в пустующей мастерской турчанки Одет Сабан. Там же, по всем четырем этажам, перед нашествием бульдозеров, по просьбе скватеров мне предложили повесить сотню больших картин.

«Пусть знает мэр Ширак, — сказал крысолов Анри Шурдер, — что у нас выставляются герои московских бульдозеров».

Приезжий израильтянин Путов помогал мне вешать картины.

Дня через три он появился в галерее Басмаджана с пейзажем, сделанным на номерной почтовой мешковине.

«Сделай сто — заплачу!» — промышчал опытный маршан, друживший с оригиналами.

Через неделю заказ был готов. Получив по 10 долларов за мешок, довольный пейзажист улетел в Израиль. С той поры я стал присматривать за столь самобытной личностью.

Людям долго вдалбливали, что настоящий образ артиста — это мансарда, мольберт на колесах, овальная палитра, чахотка, неразделенная любовь. Романы Эмиля Золя зачитывали до дыр. Таких чудаков в романтическом берете было много. Я встречал их в самых глухих местах России.

Сразу после Второй мировой войны образовались артистические скваты, где местом вдохновения стали хозяйственные и строительные отбросы. Уроки Курта Швигтера и Марсея Дюшана не прошли даром. В руках созидателей никому не нужный мусор превращался в изящное искусство. Исписанные «бомбами» стены домов и заборов попадали в главные музеи мира; конфетка, сделанная из говна, украшала чистые гостиные богачей. Подобная антикультура процветала в Париже.

Сладострастный царь Соломон увлекался красавицами чужих стран.

«Ибо ласки твои лучше вина», — его Песнь песней.

Приезжий израильтянин ему следовал в этом деле.

Через месяц или два Путов снова появился в Париже. На сей раз с сияющей и острой, как бритва, говорящей на семи языках Одет Сабан. Они сошлись с первого взгляда и не расставались года два. Красивая богемная пара развалилась после «мюнхенского предательства» (А.П.) Одет, возможно придуманного впечатлительным артистом.

В кипучую жизнь парижских скватов Путов вписался, как давно недостающий фундаментальный кирпич.

«Мне интересно работать в обществе, нежели киснуть в полном одиночестве».

После разгрома сквата «Аркей» Путов и Сабан открыли новый скват в огромном гараже «Оран» в горячем негритянском квартале. Он держался весь 87-й год с постоянными выставками, банкетами и драками.

В 88-м, при поджоге сквата на Итальянской площади, у Путова погибли в пожаре более ста деревянных скульптур. Одно время, в 89-м, я раздобыл ключи от пустующей спортивной школы «Рекамье». Там он появился со смешливой русскоговорящей швейцаркой Сильвией Готтро, его подругой и импресарио. Мы горячо работали вдвоем в огромном зале. Я нарисовал стоящего медведя два на полтора метра, а он — десяток громадных абстрактных композиций.

Беспредельная свобода творчества в благородном квартале Парижа!

По вызову канадского маршана дешевых продаж он вылетел в Оттаву. В обмен на старинный дом в предместье Парижа ценой в 200 тысяч франков — «то же самое, что для Ноя был ковчег» (А.П.) — Путов сделал 830 холстов и 500 рисунков. О грохоте огромных самолетов, день и ночь летавших над крышей, и фабричной трубе, бросавшей черный пепел на живых людей, тогда он не думал.

В своем поместье под самолетами изобретательный художник выстроил «волшебный мольберт на колесах»



(А.П.) и обходил окрестные поселки, возвращаясь с десятком картин в свой ковчег.

«Меня часто спрашивают: сколько времени ты рисуешь одну картину? Отвечаю: один час сражения с холстом и натурой за внутреннее видение против внешнего» (А.П.). Так же говаривал чудотворец Володя Яковлев: «Живопись — это ветер, а не квадрат!»

Свои произведения он продавал за бесценок — а кто не клюнет на дармовщину!

Кроме натурной работы он охотно разрабатывал фигуративные сцены, «чистые абстракции» и всевозможные сооружения из отбросов древесины.

Себя он ценил очень высоко.

«Человек с таким талантом, как у меня, рождается один раз в тысячу лет», — сообщал он в 94-м своему канцелярскому маршалу Гельбману.

Его далекий предок, размышлявший о тщетности человеческой суеты, до такой гордыни не доходил.

«Все — суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем», — говорил царь Соломон.

Росла его семья, швейцарка Сильва родила дочь, а затем сына. Ковчег с самолетным гулом в мозгах пришлось оставить и перебраться в бретонскую деревню.

За четырнадцать лет парижских скватов мы часто встречались на вернисажах и бесконечно болтали, однако с его переездом в деревенскую глушь связь стала исключительно телефонной, а в его редкие наезды в «вонючий Париж» (А.П.) видались или в клубе «Симпозион», или в обыкновенном людном кафе. Как-то он сворачивал выставку в галерее Латинского квартала, сто тридцатую по счету. Я был ее единственным посетителем, если не считать его жены Сильвы. Тогда Путов сказал: «Неделя выставки обошлась мне в тысячу долларов, и ничего не было продано».

Я не задавал глупого вопроса, зачем такая кустарщина, не приносящая дохода, но в цифрах было что-то гран-

диозное: пятьдесят выставок в Израиле, восемьдесят в Европе и Канаде.

«Я сделал в своей жизни не менее двухсот персональных выставок в музеях, культурных центрах, галереях, кафе, виллах, и я могу сказать, что это была на 90% бесплодная трата времени», — говорил позднее А.П.

У каждого художника свой карьерный ход, и Путов, несмотря на бесплодность своих выставок, считал, что только так прославишься. Необходимо выставляться везде, где можно, гения заметят и в коровнике, и в ресторане.

Наш общий друг, мыслитель и живописец Анатолий Басин, постоянно живущий в Израиле, побывал в новой демократической России. Там ему и эмигрантам по его выбору предложили выставиться в грандиозном петербургском Манеже. Он мне позвонил и попросил составить список участников с биографическими справками на каждого.

На встречу в знаменитое кафе «Ля Палетт» на «ривгош» Путов пришел с больными зубами и вместо страницы паспортных данных развернул ослепительное, страниц на сто «досье» в кожаном переплете, с приложением высокого качества иллюстраций. Было такое впечатление, что я не редактор справок, а министр финансов, принимающий просителя пенсии. В бумагах подробнейшим образом значилось сто сорок его персональных выставок с адресами и датами. Путов отлично знал, что я противник подобных материалов, — ведь 99% артистического люда безбожно врет, из конъюнктурных соображений постоянно перекраивая и приукрашивая свою биографию, но Путов считал, что такие «обманные листы» «трогают» кошелек профанов и, следовательно, необходимы для дела.

Больше всего меня потрясли его данные за 1972 год с записями лекций московского любомудра Михаила Шварцмана. Я подумал: а при чем здесь Шварцман?

В свое время я навешал его мастерскую, ценил картины, но сразу забраковал теоретическое пустословие. В досье Путова красовались длинные выдержки теоретической абракадабры.

«Берегись закваски фарисейской и саддукейской», «Фидий — хороший художник», «Рембрандт великолепен на своем месте», «что лучше: магнитофон или велосипед?», «важно духоизъявление».

Со своей стороны, я считал, что для биографии художника достаточно одной даты рождения, и желательно точной, потому что и ее умудрялись менять.

Мы основательно выпили, зуб Путова успокоился, и его жизнеописание сократили до двух слов — «родился» и «уехал».

За 14 лет парижской жизни Путов прошел 18 артистических скватов. Перечисляю их по порядку для историков андеграунда — по списку самого участника: 1.«Аркей», 1986 — это бывшее бомбовое депо Первой мировой войны, действовавшее с 1980 по 1986 год. 2.«Ситроен» 1987 — гигантский автомобильный гараж в пролетарском районе Парижа. 3.Здание мебельной фабрики «Розали» на Итальянской площади, 1988. 4.«Рис Оранжис» — легализованное здание в пригороде Парижа. 5.Помещение «Монти». 6.«Буано». 7.«Рекамье», 1989. 8.Жюльетт Додю и 9.«Клавен», 1990—1992. 10.«Урк». 11.«Криме» и 12.«Клиши», 1993—1994. 13.«Бобиньи», 1995. 14.«Монжерон», 1996. 15.«Симпозион», 1997. 16.«Трините», 1998. 17.«Пастораль» и 18.«Бурса», 1999.

С тех пор как в 2000 году Путовы перебрались в Бретань, в глухую деревню Плелан, наше общение ограничивалось разговорами два раза в год. Он — мне: «Я чищу дом от блох»; я — ему: «Черные кабаны затоптали мой огород».

\* \* \*

В сентябре 2002 года музейные бюрократы решили повеселиться на территории маргиналов искусства, но игра обернулась неуклюжим фарсом.

Главный музей города Парижа, к удивлению горожан, превратился в фальшивый скват. Внутри ободрали музейные стены, директор оброс бородой и обулся в дырявые башмаки. Служащие развесили изображения и объекты без рам и подрамников. В престижное место мировых достижений пригласили 24 настоящих парижских скватеров. Не хватало главных неудачников искусства: Сезанна, Ван Гога, Зверева, Яковлева, но они уже не вставали. Лицемерная тусовка под названием «Искусство и скваты» началась и закончилась взаимным презрением. Галя Миловская сняла фильм под названием «Герои артклоша».

Несмотря на тяжкий недуг, необъяснимый и затяжной, — «меня замучили спазмы Паркинсона», — Путов с сыном Давидом и московским туристом Костей Семеновым явился в Пале де Токио. «Вожди» и «моторы» парижского «другого искусства» налицо. Анри Шурдер, Берта Брелингер, Боб Сегейо, Жан Старк, Коля Павловский, Одет Сабан, Рене Струбель, Валька Тиль-Смирнов, Лолошка, Майредек, Вовик Толстый-Котляров, Олег Соханевич, Лешка Хвост, Мишка Богатырь и Сашка Путов... Обнялись, выпили и разбежались. Дирекция получила награды за удачно проведенное мероприятие, побрилась и переобулась, а безымянные гении артистических скватов, как водится, остались без средств к существованию.

Грубый материализм!

Люди и неблагоприятны, и тупы. Шли годы, а слава не приходила. Самые верные почитатели прекратили помощь. За три года деревенской жизни Путов не получил ни гроша.

До меня, в глушь Прованса, доходили разговоры удручающего содержания, от которых хотелось рыдать: «глаза мои потухли», «я вошел в страну мрака», «Бог меня оставил».

В феврале 2004 года он принял смертельную дозу лекарств, но кто-то узнал и доставил его в больницу. Там его откачали, перебросив в психушку, а затем выпроводили под уход жены.

Пришло временное улучшение. Опять принялся за рисование. Много читал. Его снова захватил строительный бум — переставить, переложить, добавить. Приезжал в Париж навестить скватских товарищей.

В 2005 году я побывал в Москве, представляя книжку мемуаров. Переслал ее Путову в Бретань. Он прочитал, по телефону делал существенные поправки, не теряя чувства юмора. Я ему сказал, что Россия покупает картины, а он мне: «На меня у нее денег не хватает».

Чего вы хотите — эра духовной слепоты!

И стар, и чужд, и неуправляем.

Болезнь не затронула его страсти к хохме. Умирал он мучительно долго, с постоянным желанием побыстрее покончить с собой, в полном сознании записывая каждый смертельный миг, дважды перешагнув через сорванные людьми попытки к самоубийству. С ужасающими подробностями он описал человека, побывавшего в аду.

«Я вошел в страну мрака, и никакого луча света, ничего светлого не было видно нигде, и никакого провожающего не было со мной».

Путов заносил свои впечатления до той роковой черты, пока пальцы держали карандаш и разум окончательно устал.

За неделю до его кончины я ему влепил глупость: «Саш, ты знаешь, мне жить надоело» — а он в ответ: «И меня душит дьявол».

Его ждали новые, адские испытания, очередная попытка покончить с собой, а 17 ноября 2008 года он отмучился.

«Доброе имя лучше дорогой масти, и день смерти — дня рождения», — говорил царь Соломон.

По количеству самодельных выставок (150) и сделанных работ (7 тысяч холстов и 50 тысяч объектов) Путов превзошел всех артистов мира, но если артист оплачивает все это гигантское творчество от подрамника до афиши из своего кармана, не получая адекватного дохода, то невольно вздрогнешь от ужаса.

Теперь художник в раю, там, где пребывает его предок святой царь Соломон.

## 18. Возмутитель спокойствия

У нас художники — они как шпионы.  
*Н.С. Хрущев. 1962.*

Московский Манеж — это Элий Михайлович Белютин!  
И нет Белютина без Манежа!

До его полной и подлинной биографии еще далеко. В эпоху перестройки Элий Михайлович не удержался от переделки своей творческой и жизненной стези. Вместо служащих в родстве появились древние аристократы, князья Курбатовы. Его кровь сразу поголубела. Вместо официальных и вечных учителей советской культуры, Г.Т. Горощенко, И.И. Чекмазова и В.В. Почиталова, появились иные лица, ныне в большом фаворе художники Аристарх Лентулов и Лев Бруни.

Чтобы не вводить читателя в заблуждение, укажем, что художественная школа, с 1946 года ставшая Институтом имени В.И. Сурикова, в разгаре мировой войны влачила самое жалкое существование. Ее основной состав с дирек-

цией загнали в Самарканд, а остаток профессоров и студентов с нетерпением ждал появления немцев на Красной площади.

Учебные занятия института, куда попал молодой фронтовик Элий Белютин, продолжались с грехом пополам в осажденной немцами Москве. Рисунку учил некто Почиталов, живописец Горощенко в открытую писал портрет Гитлера, бывший царский офицер Глеб Смирнов и столп академизма Николай Машковцев готовили доклады на немецком языке. В Самарканде же, куда эвакуировался институт во главе с Аристархом Лентуловым, умершим в 1943 году от голода, он учиться никак не мог.

А первые я увидел его в пору расцвета и славы на гранитных ступенях Дома моделей весной 1962 года. Московским стилистам и модисткам раз в неделю он преподавал рисунок, а поскольку все они были красотки, то отбою от поклонников не было. Ухажеры встречали их у выхода, чтобы увлечь в кафе, в кино, домой. Передо мной был тщательно и со вкусом одетый мужчина, бежевый костюм и пестрая бабочка, плащ через плечо, суровый взгляд, пышные бакенбарды. Мне он показался человеком другой, не богемной породы, но и не директор кремлевского цирка.

Чужой, неприступный гуру!

Эта чуждость не улетучилась и летом, в порту Химки, когда художники арендовали пароход для артистического путешествия по Волге. Одет был он иначе — голубые джинсы, клубный пиджак, пестрый шейный платок, а его собеседник, знаменитый рисовальщик Валерьян Богаткин, в потрепанной соломенной шляпе и босоножках, казался лишним мусором в изысканной композиции. Потом был Белютин похорон рисовальщика Лени Мечникова, бывшего морского офицера, одного из героев Манежа. Стоял он отдельно от толпы, как монумент, в черном пальто. И позднее — Белютин дает



интервью польскому телевидению: повелительные жесты, грамотная речь.

Откуда явился этот возмутитель спокойствия, кто его породил и где он обкатал свой властный характер наставника и провокатора?

Родился он в 1925 году, в советской Москве, в коммуналке на Большой Садовой улице, в семье совслужащего с польским прошлым Михаила Павловича Белютина. Мать Лидия Ивановна — аристократка двух известных родов: Гриневых и Курбатовых. На итальянский манер сына назвали Элигием, или упрощенно Элием. Дед итальянец и директор театра в Привислянском крае, так в царские времена называлась Польша, благословил молодых «Мадонной с младенцем» — картиной итальянской кисти, положившей начало прекрасной коллекции молодой московской пары.

Семья благородной русской интеллигенции международных корней.

Много лет спустя, в эпоху перестройки, Э.М.Б. подчеркивал, что его отец был писателем, примыкавшим к литературному содружеству «Перевал».

Моя экскурсия в литературный мир советской Москвы увенчалась неожиданным открытием. Литератор с фамилией М.П. Белютин нигде по спискам «Перевала» — 60 членов — не числился. Есть самые неизвестные — Луппол, Миндлин, Пикель, Халопов, Таратута, а Белютина нет. Возможно, молодой человек писал не романы, а квитанции для конторы «Рога и копыта», но почему счетовода в 1937 году «люди в кожанках увели в соседний двор и расстреляли» (свидетельство Н.М. Молевой), остается очень темным делом.

Везде силы зла и мрака!..

Счетовод — активный участник троцкистской оппозиции? Служебная халатность? Расчетливое вредительство генеральной линии коммунизма?

Туманная субстанция!..

На вопрос Н.С. Хрущева: «Кто ваш отец?» — Э.Б. отвечал: «Политический деятель, репрессированный в тридцать седьмом».

Наверное, врать вождю не решился. Папа не писатель, а партийная шишка, троцкист и враг народа.

Два года потрясенная Лидия Ивановна Гринева-Белютина провалялась в психушке.

Ребенок рос на руках бабушки Марии Никитичны, хорошо учился и усидчиво рисовал, без уклонов и загибов. Прямая линия реализма соблюдалась безукоризненно. Когда грянула война, Элик одним из первых добровольно побежал воевать с фашистами. Там парня подстрелили и контузили. Прострел левая рука и орден Красной Звезды за храбрость. С 42-го по 47-й год старательно рисовал гипсовые слепки под руководством Глеба Алексеевича Смирнова, отпрыска известной артистической фамилии.

Метод советской академии — ближе к натуре!

Летом дипломник «Сурика» Элий Белютин месил грязь русского Севера, описывая и рисуя пострадавшие от войны архитектурные памятники. Работа получила высший балл и назначение на кафедру искусствоведения в Городской пединститут имени В.П. Потемкина. Там заправляла очень видная личность сталинской эры, Николай Григорьевич Машковцев, презиравший декадентов и французскую мазню в искусстве.

«Нам новшества ни к чему!»

Да здравствует генералиссимус Сталин!..

Работа под руководством колоритного шефа — парная баня в Сандунах, огуречный рассол вместо пива и брюнетка на закуску.

В 1948 году Белютин подрядился на грязную, но денежную работу в бригаду монументалистов. Страну охватила лихорадка монументальных украшений. Заводы, каналы, театры, клубы зазывали умелых альфрейщиков большими заработками. Бригада мастера широкой кисти

Виктора Борисовича Эльконина получила заказ на роспись Театра Красной армии, где собрались живописцы подозрительных фамилий: Меер Аксельрод, Семен Ковнер, Гельфрейх и Роман Кликс, и вполне возможно, что за псевдонимом Серафим Павловский скрывался Исаак Рабинович.

А куда смотрел политрук?

Товарищи, да это же не бригада советских живописцев, а кагал сионистов!

Почему Сталин окрысился на евреев?

Началась всесоюзная охота на сионистов, и осторожный Белютин смылся со строительных лесов в ученый кабинет Академии художеств, где составлялись учебники для начинающих художников под названием «Сведения о рисунке» или «Сведения о живописи». Там было почти тихо, если не считать наступавшего на пятки доносчика Борьки Неменского, наглого типа со связями в Кремле.

Сорок лет спустя в Париже я встретился с дочкой Эльконина, художницей Марией Викторовной. Она привезла показать французам свои выразительные «черные доски». Были и вернисаж, и разговор в кафе.

«Белютин — стукач и провокатор! — заявила она не моргнув глазом, — в 48-м он лишил моего отца работы».

Решительное заявление о всемирно известном деятеле искусства мне показалось грубым и прямым. При коммунизме такое понятие, как «донос», заменило суровое и острое, как ружейный штык, «бди!», то есть бдительность прежде всего.

Повсюду, как колорадские жуки, кишели немецкие, британские и югославские шпионы под видом смиренных советских граждан. Их выводили на чистую воду. Сидеть в общественной сральне стало небезопасно. Бдительный сосед доносил о составе подозрительного говна. Людей с запорами отправляли на излечение в морозные, сибирские лагеря, где все единодушно срали кровавым поносом.

Русская самобытность под советским соусом!..

От престарелого В.А. Фаворского и княгини Маши Чегодаевой я слышал не столь сокрушительные, но острые суждения: «Мерзавец и провокатор ваш Белютин». Здесь же говорила дочка пострадавшего, что придавало особый вес и основательность версии.

Знаменитая пара — Белютин и Молева!

В 1953 году Элий женился на красавице дворянских кровей Нине Михайловне Молевой.

Внучка боевого генерала, лектор Литинститута, активиста комсомола, комиссар агитбригады. Со школьной скамьи Нина состояла в отряде бдительных советских граждан, доносивших начальству о неполадках в комсомольском хозяйстве. Она не была «наивной утописткой», как сейчас принято обозначать кадровых стукачей коммунизма, а расчетливой и дальновидной девушкой, готовой в подходящий момент сдать и растоптать своего хозяина и притулиться к другому.

Жизнь в ритме эпохи.

Супруги приняли все правила советской игры, а с ней и людоедский строй Совдепии.

Связи с могучим московским кланом «левых», Голицына-Фаворского-Гончарова, совсем не получались. Клан презирал скороспелые, рекламные тезисы о какой-то «новой реальности», опираясь исключительно на вечное ремесло, а Белютин любил красоваться и поучать. Работа с молодежью оказалась подходящей дорогой к славе, но и там видные места заняли враги. В «Полиграфе», куда его запихнули по большому партийному благу, он продержался недолго. Мафиозник Андрей Дмитрич Гончаров сделал все возможное, чтобы выжить малахольного теоретика из стен своей цитадели. Белютин и его гениальная супруга считали, что искусство можно раздуть не только до человеческого лица, а гораздо шире, до особой духовности мирового уровня.

Бредовую выдумку безработного педагога — «теорию всеобщей контактности», — распространяемую на рисуя-

щих людей, независимо от возраста, супруги выдавали за новаторский почин, но ничего нового в этом бреде не было. Название, или обозначение этой теории, «новая реальность» супруги украли у французов, в 1946 году показавших свою геометрическую продукцию, да и коллективные контактные бдения придумали сектанты. Это была не универсальная художественная система, как классицизм, академизм, конструктивизм, и не злободневный «изм», а пастух и стадо, начальник и подчиненные плюс элементарный технический прием — побольше красок на картинке.

Не солдатская шеренга, а колхозный хоровод.

Сначала его общественный почин приняли как обычную кружковую работу по подготовке профессионалов карандаша и кисти, но через год-два власть обнаружила, что это не ортодоксальные курсы, а секта врагов народа.

Драться пришлось на два фронта. Против могучих адептов вечного реализма и реакционеров партийной идеологии. Молева, доктор и профессор всех наук, взялась разложить коммунизм изнутри, отхлопотав местечко консультанта по культуре при ЦК КПСС. Внештатный профессор Белютин организовал «студию» под прикрытием курсов повышения квалификации для шрифтовиков советских издательств, текстильщиков, стилистов и модистов.

Год 1956-й — год либеральных надежд и легкой «оттепели».

Со скрипом, покачиваясь с боку на бок, просторная и непутевая Совдепия куда-то продвигалась. Люди рыли каналы, собирали колоски на целине, рвались в комос. Модель советского счастья всерьез волновала западный мир. Русский язык, советские порядки тщательно изучались. Кто сказал, что русские носят лохмотья и живут в непролазной грязи? Гнилой ватник, дырявая шапка, свинарка и пастух, Штепсель и Тарапунька — злостная выдумка капиталистов!

Советская Россия — образец для человечества!

Вечная ученица Белютина, графист «Учпедгиза» Вера Ивановна Преображенская, до 90 лет приносившая свои опыты на суд учителя, с восторгом вспоминает вылазки курсантов на русскую природу.

«Белютин нам зажигал сердца!»

Очаровательная картина! — сотня энтузиастов рисования, взявшись за руки, «чтоб не пропасть поодиночке», творит чудеса в березовой роще.

Сердечный, колхозный Барбизон!..

Затем следуют веселые показы по клубам, обсуждения, выводы и почетные грамоты.

Литературно одаренные Леонид Рябичев, Борис Жутковский, Игорь Снегур оставили человечеству светлые, лирические описания героических дел белютинцев, нигде не упомянув о связях своего наставника с иностранными подданными.

Секта возникла в советском пространстве, без связи с внешним миром, но в дипарт Белютин вошел особым способом. На словах он громил и поносил своих питомцев за связи с ничтожными фирмачами, а на деле тихой сапой искал выгодного прохода в подлый западный мир. Копать он начал с Польши — родины его предков. Польские студенты и аспиранты московских институтов считались своими людьми, «ямщиками», как их презрительно обзывали кадровые фарцовщики. Они свободно и без слежки передвигались в метро и по улицам Москвы, торговали из-под полы и не уступали москвичам в пьянстве и дебошах. Белютин наладил связь с союзом польских плакатистов, рисовавших все, что им вздумается. У поляков водились и коммерческие книжные магазины — для выставок и продажи их продукции.

В 60-х годах за встречу с иностранцем уже не расстреливали, молодежный фестиваль 57-го перепутал все статьи и кодексы.

Выставка графических работ Белютина в варшавском книжном магазине «Кшиве Коло» прошла незамеченной (1961), но была прорвана блокада, образовалась персональная щель на Запад. В том же году работы показали в польском магазине Парижа «Ламбер». Много лет спустя я туда заглянул и листал скромный каталог белютинских работ в легком, экспрессивном духе.

О существовании свободного советского художника и педагога узнали на Западе.

Реклама — мама!..

Белютинский трудколлектив стал моден в Москве. Летом 1961 года 250 курсантов арендовали пароход, загрузили его артистическими причиндалами и погнали вниз по матушке по Волге навстречу солнцу, искусству и любви.

У меня, провожавшего в артистический круиз друзей и подруг, навсегда в памяти сохранилась пестрая картина отчала, крики, гам, свистки, гудки и музыка.

В ресторане оркестр наяривал буги-вуги. Элий Михалыч в голубых джинсах, с роскошными бакенбардами «а-ля Элвис Пресли» выразительно жестикулировал, стильно одетые чуваки и неотразимые чувихи сплелись в бешеном танце.

Лакеи Уолл-стрит!..

«Выполним план великих работ!»

Что привлекало в «студии» Белютина амбициозную молодежь?

Изобретательный педагог всем, независимо от возраста и образования, предлагал кратчайший путь к вершинам гениальности, логически обоснованный и простой. Ставилась одна техническая задача — «раскрепощайтесь!». При помощи мастихина и краски делай бугристую поверхность в любом жанре — натюрморт, пейзаж, портрет, — многофигурные композиции заранее исключались, как старомодная и бессмысленная трата времени. Сделай высокое напряжение на картонке — и ты в раю.

«Раскрепошайтесь!» — повелевал наставник.

Студийцы мусолили на палитре бесцветную фузу и втирали ее в поверхность холста до тех пор, пока не появлялись желанные бугры и ямки.

«Раскрепошенная вещь!» — было высшей похвалой гуру.

Нетрудно догадаться, что такая убогая и фальшивая система долго держалась в среде невежественного общества, лишенного прямой связи с мировыми экспериментами в искусстве, а как только рухнула стена вражды, белютинская секта испарилась, как лужа под солнцем.

Деспот. Псих. Гуру.

\* \* \*

В 50-х годах поп-арт, сфабрикованный нью-йоркскими галереями, еще не выполз из американского логова. Повсюду царствовало абстрактное направление, европейские наследники Кандинского, Мондриана, Малевича. В советском пространстве продукция Его Величества Капитала считалась очередной угрозой империалистов всему прогрессивному человечеству. Любые попытки подражать Западу без материальной поддержки государства были бессмысленны. Единичные опыты старика Родченко и молодых новаторов Слепяна и Злотникова (1956) без поддержки Кремля были обречены на забвение. Примитивный реализм фотографического типа Бродского, Кацмана и Лактионова считался образцовым народным искусством, и всякие попытки формалистов подправить его, расширить его живописные возможности пресекались голодной блокадой или просто физическим истреблением.

На первом съезде советских художников в 1957 году возникло равновесие сил, раскол на два лагеря — консерваторов и либералов, правых и левых. Правые постоянно



искали возможность дать бой левакам, сбросить сумасброда Хрущева, захватившего Кремль, и поправить положение в государственных делах. Левые потихоньку расширяли и разбавляли реализм в своих семейных интересах. В 1964 году, взявшись за руки, единодушно сбросили Хрущева, за космические заказы перегрызлись, как собаки за кость, в культуре наломали дров и разошлись по своим углам.

Одной из жертв этой драки в декабре 1962 года стала студия Белютина.

В том памятном году белютинцы выставлялись в марте (Литинститут), апреле (Дом кино), а в ноябре в Доме учителя состоялся творческий отчет о пароходном путешествии. Там выставлялись мои друзья: Снегур и Осмеркина, Огурцов и Аршавская, Галацкий и Киселева, Громан и Россаль. Большое кубовидное помещение, от высокого потолка до пола, в несколько рядов было завешано картинками — штук двести, — и все они походили друг на друга. Этюды поволжских берегов и дебаркадеров. Портретики рыбаков и грузчиков. Выделялся один холст с намеком на графическую абстракцию. Автор, опрятно одетый паренек, студент «Полиграфа» Володя Янкилевский. На самодельных ящиках, обитых холстом, стояли скульптуры Э.И. Неизвестного. Рисунков Соболева и Соостера я не заметил. Оставался загадочным один пункт: зачем, с какой стати видный скульптор, лауреат фестиваля 57-го года и самобытный молодой живописец примкнули к учебной студии?

Не из карьерных же интересов?

Так или иначе, Неизвестный и его юный друг Янкилевский сроднились с белютинцами и пошли с ними до конца.

В помещение набилось очень много народу. Казалось, что все самые умные и благородные лица Москвы собрались здесь, чтобы потолкаться и посмотреть в глаза друг другу.

В толпе восторженных зевак зашептались, в зал протиснулась пара польских друзей Белютина с настоящей кинокамерой.

«Старик, смотри, сам Раймонд Земский прилетел!»

Когда в польских и западных газетах появилось сообщение о «выставке абстракций» в Москве, правые проснулись раньше левых. Вот он, подходящий момент заклеить позором притон формалистов, декадентов и сектантов в святой советской культуре! Имелась куча компрометирующих данных: нелегальная связь с иностранцами, фарцовка на почте, валютные сделки в ресторанах, грабежи поволжских музеев, свальный разврат на советском пароходе. Безнадзорные курсы и дикий вожак годились для показательного наказания.

1 декабря 1962 года из отдела культуры Моссовета раздался звонок начальника Д.А. Поликарпова:

— Товарищ Белютин, вас приглашают на официальную выставку в Манеж.

— Это провокация! — завыл струсивший гуру.

— Нет, это приказ! — заключил начальник и повесил трубку.

Учитель подчинился партийному приказу и всю ночь лихорадочно отбирал и сортировал произведения своих подопечных.

На казенном грузовике в Манеж доставили 60 картин двадцати пяти авторов. Во избежание толкотни министр культуры Е.А. Фурцева выделила девять опрятно одетых авторов, умевших правильно говорить с высоким начальством.

Художник В.Б. Янкилевский, участник Манежа, вспоминает: «К девятке белютинцев в пожарном порядке пристегнули группу — Соостера, Соболева, Неизвестного и меня, показавших свои работы в гостинице “Юность”».

Таким образом за ночь сколотили народец для битвы и утром разместили в буфете Манежа, на фоне невинных, фигуративных картинок.

«Двенадцать из них были евреи, с кривыми носами и зелеными пальцами, — иронически замечает Неизвестный, — и лишь одна русская по фамилии Вера Преображенская».

Мне удалось установить точный список заложников Манежа, лично повидавших Никиту Сергеевича Хрущева.

1. Леонид Николаевич Рябичев (журналист, член партии, фронтовик, график).
2. Дмитрий Семенович Громан (фронтовик, график).
3. Леонид Мечников (бывший капитан морского флота, шрифтовик).
4. Алексей Николаевич Колли (сын главного архитектора Москвы, график).
5. Борис Жутовский (коллекционер и график).
6. Люциан Грибков (красивый бас, шрифтовик).
7. Владимир Шорц (храбрый и болтливый тип, шрифтовик).
8. Николай Александрович Воробьев (фронтовик, график и коллекционер икон).
9. Вера Ивановна Преображенская (худред «Учпедгиза», член партии).
10. Юрий Соболев-Нолев (инвалид войны, худред журнала «Знание — сила»).
11. Уло Соостер (эстонец, бывший зэк, график и живописец).
12. Эрнст Неизвестный (фронтовик, скульптор).
13. Владимир Янкилевский (график и живописец).

Академический официоз, мечтавший прихлопнуть опасную заразу, немедленно смекнул, что настал час легкой расправы, и явился в Манеж плотной командой, построившись к кремлевскому табуну Н.С. Хрущева.

Все тринадцать заложников с честью вынесли пятнадцатиминутный штурм советского вождя, несмотря на его воинственные вопли «расстрелять», «сослать», «пидерасы», «говнюки».

Для погрома академики подсунули Хрущеву самый слабый пункт московского новаторства, белютинцев, где мода и посредственность, апломб и пустота сразу бросались в глаза. Белютина, превосходно сыгравшего роль провокатора, пригласили на кремлевский банкет. Московские курсы назавтра рассыпались и никогда не поднялись,

но острота конфликта не снизилась, а накалилась, к ней подключились проблемы политические и идеологические, захватившие всю советскую цивилизацию. Непрерывные заседания и банкеты советского правительства с деятелями советской культуры длились весь 1963 год. Своенравного учителя рисования со сломанной психикой оставили в покое. Он купил барскую дачу в Абрамцеве и занялся основательно запущенным художественным творчеством. Закулисные интриги политиков кончились тем, что генсека Хрущева устранили от власти, а казенную кормушку академики разделили пополам — одну «правым», другую «левым» .

«Левые» — академик В.А. Фаворский и княгиня Мария Андреевна Чегодаева, ярые защитники «семейной линии» в искусстве, — пыхтели, как тульские самовары, публично обзывая Белютина «нищим духом дилетантом и провокатором». А княгиня пошла еще дальше: «Мерзавец, чтобы мы тебя больше не видели!» — приписав свою брань академику Сергею Васильевичу Герасимову. На мой взгляд, грубовато, я бы оставил героя Манежа на особом положении возмутителя спокойствия в советской культуре.

«Правые» и «левые» писали свои статейки в одной и той же газете «Правда» с оглядкой на цензуру Кремля, так что яркой полемики никто не читал. Все умудрялись жить в одной кормушке, а если появлялся чужак, то дружно разрывали его по кускам.

\* \* \*

Эпоха советского застоя, частая смена престарелых кремлевских вождей не коснулись прочного творческого быта супругов Белютиных.

Устав христианского жития!..

«Новая реальность» абрамцевских отшельников!..

Дачные затворники Белютины не качались в гамаке, а работали не покладая рук в литературе и в живописи. Белютинское «Зажечь сердца» — столбовая программа пророков всех времен и народов — работало безукоризненно. Крепко связанные сексуальные и материальные вопросы решались автоматически — членские взносы через постель гуру. К Белютину в Абрамцево шли отборные поклонницы в порядке живой очереди. Молеву не занимал гарем мужа. Она с увлечением сочиняла роман о гареме императрицы Екатерины Великой.

С 1964 года на абрамцевской даче открылся артистический салон с литературной читкой и обсуждением картин. Подпольный поэт Генрих Худяков, приглашенный на чтение своих абстрактных стихов, поделился своими впечатлениями.

«Привезла меня Нина Андреевна (советская жена американского журналиста Эдмонда Стивенса — в скобках мои замечания), а там за самоваром: Лиля Брик с Васей Катаняном (насмешница и балагур), “Бора” Бродский (ученый рассказчик), Борька Жутовский (большой шутник) и Виктор Луи с Дженифер (британские подданные). Сам Белютин с бантом на шее повторял крылатую фразу Хрущева: “Ну хорошо, вы все педерасты, а я кто?”

Шутка ли, такое избранное общество!

Старик, я разошелся, хватил стакан виски и прочитал своего “Гамлета” под аплодисменты».

Начинающий гений Сашка Курушин показал свои картинки.

«Раскрепошайтесь, пишите от живота», — поучал хозяин смущенного ученика.

Э.М.Б. написал 17 книг о вечном и фундаментальном реализме, а его супруга в два раза больше. Переписка с видными иностранцами, дружеские отношения с итальянским профессором рисования Франко Миеле и его очаровательной супругой Асей Муратовой кончились выставкой в Италии (1969) с живым предисловием итальянского

друга. Героя французского Сопротивления Жана Кассу интриговали опыты советского педагога с творческой интеллигенцией и массовый рисовальный психоз. Возникла переписка двух эспериментаторов.

Какой может быть арест, если вас сопровождает советник Кремля Виктор Луи? Не опасаясь ареста за нарушения границы передвижения, в Абрамцево приезжали поляки и французы, итальянцы и американцы. Приглашенные с женами восторгались старинными картинами, висевшими по бревенчатым стенам салона. Гости, развалившись в плетеных креслах, оживленно обсуждали опалу Хрущева, надгробные монументы Неизвестного, коллективное руководство страны, нашествие поп-арта на Европу.

Работа с профессором Римского университета Франко Миеле была особенно приятной и продуктивной. Профессор взялся составить историю неофициального искусства в современной России. Работали практически четвером. Опытные, начитанные жены и архив «студии» в придачу. В 1973-м этот уродливый труд вышел в Италии и доставил большую радость опальному гуру.

Волна еврейской эмиграции, захлестнувшая страну и увлекшая за собой белютинских друзей — Феликса Збарского, Марка Клионского, Юрия Красного, Владимира Галацкого, — не смутила прозорливого артиста. Жизнь в Совдепии казалась невыносимо скучной и серой, но везде стояли свои стены, украшенные старинными картинами и надеждой на лучшее будущее, а на Западе — сплошная неизвестность, без пенсии и родных стен.

«Через Абрамцево прошли 600 человек “Новой реальности”», — с гордостью вспоминает Н.М. Молева.

Вылазки на природу обставлялись как языческое богомолье с выпивкой и закуской, под музыку Баха.

Белютинские картины мне довелось увидеть не в Абрамцево, а в парижском магазине «Ламбер». Расчетливая

экспрессия на полпути к лирической абстракции. Белютин их не продавал, а дарил. Он отлично знал, что нелегалы Зверев, Рабин, Яковлев живут своим искусством, но опуститься до них он не мог, не хватало ни смелости, ни желания.

Раздвоение личности?

Нет, органический оптимизм! Белютин родился баринном и богачом. Хитроумный дед оставил ему клад старинных картин известных европейских мастеров на большие миллионы в твердой валюте.

«Я живая тварь в штанах и сумею постоять за себя!» — не раз повторял он.

Белютинцы рассыпались, притихли на своих штатных местах, поджидая момента для решительной атаки.

В последний раз я видел его на похоронах его любимой ученицы Гаяны Каждан холодной осенью 73-го года. На пригорке возвышался Белютин, плотно одетый в заграничное пальто с пояском, черная шляпа и неизменный красный шарф через плечо, а вокруг могилы — сплошные кандидаты на эмиграцию.

На встречу с бульдозером (1974) ни Белютин, ни белютинцы не пришли: кому охота мокнуть под дождем и драться с народными массами? Но как только Кремль попятился и объявил свободные выставки, они выскочили на руководящие посты выставкома, а Игорь Григорьевич Снегур стал заправилой модных и многолюдных профсоюзных выставок на «Грузинке».

До меня доходили слухи об эмигрантских успехах Владимира Галацкого. В Швеции его сравнивали только с Рембрандтом. Скульптор Неизвестный свой полутораминутный разговор с Хрущевым в эмиграции превратил в роман с доходным сюжетом — «спор мужика с царем».

Супруги Белютины не играли в диссидентские игры, а вкалывали, сочиняя книжки одну за другой. Их вышло очень много, около 400: статьи и романы, трактаты

и переводы, монографии и биографии, искусство России и Запада.

В раннюю перестройку, когда над нищей страной блеснул социализм с человеческим лицом, видную роль играл Борис Жутовский, рисовальщик и полиграфист с большими связями в старом и новом официозе — от генералов государственной безопасности до директоров центрального телевидения. Он без промедления занялся выставками белютинцев, распределяя фотоматериал и тексты по своему усмотрению.

Выставка «Новая реальность», собравшая группу белютинцев в новом здании Третьяковки, — результат его хлопот.

На продажу «Сотбиса» (1988) белютинцев не позвали, за исключением примыкавшего когда-то к ним В.Б. Янкилевского. Откуда-то вылезла темная, подвальная шелупонь — Кантор, Брускин, Капустянский — и завернула валюту в свой бездонный карман. Он, Белютин — лидер мирового искусства, — живет на нищенскую пенсию учителя, а эти молодцы гребут деньги лопатой.

Скажите, где же справедливость?

Как реванш над выскочками «Сотбиса» стала огромная выставка в Манеже на 400 участников (1990) и книга мемуаров Э.И. Белютина «Живопись и творчество». К этому славному времени — народных митингов и решительных общественных перемен — имя Белютина, дилетанта и провокатора, обросло легендами о непримиримом борце с косностью и мракобесием в русской культуре.

Мелочиться он не стал. Если Джексон Поллак брызнул кистью в 44-м году, то он, Белютин, в 41-м, историческом и грозном, назвал свою абстракцию «22-го июня».

Знай наших! Не американец, а русский — первый как в космосе, так и в мировом искусстве!

И самое удивительное — так и было на самом деле, но работы Поллака дорого оплатила Америка, а Белютина Россия обозвала провокатором и мерзавцем.



Умеренный успех, первые закупки.

А Н.М. Молева творила литературные чудеса — 35 исторических романов за пять лет!

В 1991 году супругов выпустили с выставкой в Америку. Пригласила какая-то «ассоциация художников». Об успехе говорить не приходится. Получилась не выставка 88 картин, а русская самодеятельность. Белютина уличили в подделке своих собственных работ. Он решил, что можно не только людей, но и время повернуть вспять, как поворачивают автомобиль. Картины, нарисованные в 90-м, он подписывал 50-м годом. Получался обыкновенный фальшак «вместо музыки».

Личное явление Белютина народу спотыкалось о чудовищные преграды: иная жизнь и новые люди. Крик души о «тридцатилетнем запрете на лидера мирового искусства» знающие люди воспринимали как неуклюжую шутку. Его призывы к спасению священной русской культуры не принимали всерьез.

Где сладкие советские времена? Где мусора и стукачи, фарцовщики и бомбилы? Где незабываемый Никита Сергеевич Хрущев? Где русская интеллигенция? С кем взяться за руки, чтобы не пропасть?

Не с кем!

И — зловещий факт налицо!

Надвигалась глубокая старость, а с ней и невзгоды.

К середине 90-х годов у русских людей появились деньги. Ясно обозначились бедняки и богачи. Прямолинейно мыслящие разбойники порешили, что пора образумить сумасбродного старика и освободить его от родительского наследства. Они атаковали квартиру Белютиных сверху, сбросив на спящих потолочную люстру. Конечно, взломщиков не нашли, но мэр Москвы предложил сдать антикварное наследство в верные, городские руки, что походило на вымогательство: картины и скульптуры классиков, китайские вазы и комоды идут в музей,

а Белютиным чинят потолок за казенный счет, без перевода в богадельню.

Драться с такой силой они не смели.

Несмотря на многолюдство, друзей у Белютина не было, а с подчиненным доверительно не поговоришь. Написаны мемуары в двух томах. Знаменитых европейских классиков присвоила грозная Москва. Выдали медаль Почета. С грехом пополам починили потолок. В гости пришла 90-летняя Вера Преображенская с новым рисунком.

Элий Михалыч лег на дно.

## 19. Белое на белом

Я учу живописи, а не индивидуальности.  
*Владимир Вейсберг*

Ореол величия сиял над его стриженной головой.

Светоносный артист!

Мистик белых сфер!

Нетленный образ красоты!

Владимир Григорьевич Вейсберг — центральная и масштабная фигура современного искусства России. Он умер давным-давно (1985), но до сих пор у него нет прочной репутации классика современности. Одни считают его «пустым» и «сухим» архаистом, «поверившим алгеброй гармонию», как выражался А.С. Пушкин о расчетливом современнике Моцарта, итальянце Антонио Сальери, другие — «гениальным шизофреником и новатором», не поясняя, что это значит. Последние свидетели его необыкновенной жизни уходят в мир иной один за другим, не оставляя воспоминаний.

При жизни о нем сочиняли лишь скабрзные легенды, а после кончины адепты новых интеллектуальных направлений, отвергающие ремесло художника как такое, записали его в лагерь академического мракобесия и отсталости.

Мой сугубо личный мемуар об этой удивительной и яркой личности 60-х годов не протокольный перечень его выставок, а дружеский шарж верного почитателя. Я пишу то, что знаю, что видел лично, не сгущая красок и не копясь в эстетике.

На долгие времена Вейсберг останется профессионалом высокой пробы, фанатиком не сумбурной, а системной работы и ярких и необычных пластических достижений.

Господа авангардисты, Вейсберг не устарел!

Его не сбросить с корабля современности, и вот доказательство.

Вейсберг — это чудо!

Вейсберг — урок свободного творчества!

Белое на белом — это он в искусстве!

Об этом надо писать!

\* \* \*

Год 1924-й — если не считать смерти В.И. Ленина, ничего хрестоматийного, разве что в семье молодого педагога Григория Петровича Вейсберга родился сын Володя. Мать, Мария Яковлевна, из сибирской семьи Бурцевых, — библиотечкарь в Институте труда и гигиены. Адрес: Спиридоновка, особняк модной архитектуры, реквизируемый у банкира С.П. Рябушинского.

Мне ничего не известно об этническом происхождении родителей художника. Розыск в этом направлении я не вел, но, по утверждению кинетиста Льва Нуссберга,

папа будущего художника был не местечковым евреем, как многие полагают, а курляндским бароном, с нетерпением ожидавшим прихода немецких захватчиков в Москву.

«Культурная Москва сорок первого ждала немцев», — подтверждает и знаток вопроса Алексей Раух-Смирнов.

В 20-х годах папа, свободно владевший немецким языком, увлекался модными идеями венского доктора Зигмунда Фрейда и с кучкой товарищей внедрял их в практику советского строя, публикуя брошюры с предисловием большевика Льва Троцкого, мечтавшего поставить фрейдизм на службу мировой революции.

Сублимировать секс на трудовой фронт!

«Без працы не бенды кололацы!»

Братцы, да это же не фрейдизм, а чистой воды фашизм!

Советские фрейдисты сидели в особняке Рябушинского, пока их лавочку не прикрыли, поселив туда в 31-м году эмигранта Максима Горького с домочадцами.

Пролетарская власть долго с ними возилась, оплачивая бессмысленную деятельность, а в 37-м adeptов «сублимации народных масс», припомнив цитаты Троцкого, «вычистили» из партии и упекли без права переписки в Сибирь, откуда они никогда не вернулись.

Отважный и ловкий Гриша Вейсберг очутился в разряде «полезных товарищей».

Был приказ Кремля: «Этого побить, но не убивать!»

Григорий Петрович довольно ловко сманеврировал от Фрейда и Троцкого к Сталину и Макаренко, от секса к труду, от абстракции к реализму. Из Наркомпроса, где он трудился под покровительством знаменитого бородача Отто Шмидта, его перевели на преподавательскую работу, где он показал себя прекрасным наставником студенчества и ответственным редактором педагогического журнала. Партийные чистки людей науки он обошел на редкость удачно, выскальзывая из самых хитроумных ловушек.

В начале 60-х, с возникшей модой на оккультизм, фрейдизм и метемпсихоз, сын всякий раз подчеркивал крупную роль своего отца в этой области. На самом деле вклад Григория Петровича в психоанализ был довольно скромным. Редактируя журнал «Советская педагогика», он лишь осторожно пропускал статейки знатоков вопроса в печать.

Сын беспокойного характера — у него секс, труд, утопия смешались в одну неразборчивую кучу, — в школе 1-й ступени учился плохо, пытался сбежать в Испанию драться с франкистами, но в одесском порту его выловили и под конвоем доставили в Москву на Канатчикову дачу, где содержались «трудные дети с отклонениями от нормы». Там ему довелось сидеть в одной палате с буйным Васей Ситниковым, бывшим надзирателем по морде.

Психоанализ детской души.

Шапки и ватник, свинарка и пастух, утописты Вася Ситников и Володя Вейсберг!

Мама Мария Яковлевна теперь вместо брошюр Фрейда выдавала пациентам «дачи» сказку А.С. Пушкина «О золотом петушке».

Бытует легенда о героических подвигах Володи на фронтах Великой Отечественной войны. Правда, он рвался на фронт, но неуравновешенного юношу признали негодным для войны и отправили на рытье противотанковых рвов. В сильную бомбежку его так сильно контузило, что он стал заикаться и нуждался в постоянном присмотре невропатолога. Периодически ложился в больницу — и не чтобы возобновлять инвалидную пенсию через ВТЭК (Временная трудовая экзаменационная комиссия), а потому, что физически и душевно страдал и нуждался в лечении.

Поразительно, что в Москве военного времени, холодном и голодном городе, осажденном немцами, люди учились рисовать.

«Рисуй, ты — Рембрандт!»

Рисунки психов Москвы.

В 1942 году, отошавший и депрессивный, Вейсберг записался на курсы рисования, где десяток окоченевших от холода фанатиков всех возрастов под руководством академика Сергея Николаевича Ивашова, человека старой культуры, склонного к мистическим озарениям, тушевали гипсовые шар, кубик, конус, розетку. Живопись вели некогда знаменитый «сезаннист» Илья Иванович Машков, а после его кончины — не менее прославленный «формалист» Александр Александрович Осмеркин, уволенный из столичной Академии художеств за разложение советской молодежи.

Надоели мне грязь, нищета, тараканы!

Осточертели тюрьмы, застенки, расстрелы. Потянуло на паркет и танцы!

В 45-м мы победили. От радости затагнули страну в мундир. Погоны. Лампасы. Ремни. Затагнули, но не до конца. Читали модные романы «Буря» и «Девятый вал» Ильи Эренбурга, играли в шахматы Ботвинник с Бронштейном, танцевали в «Лебедином озере» Лепешинская и Плисецкая, строили небоскребы Иордан и Черниковер, снимали фильмы Эйзенштейн и Райзман — и какие шедевры: «Иван Грозный», «Поезд идет на восток» (1947), — зло шутили Штепсель и Тарапунька, рисовали Фонвизин и Тышлер, в Сандуновской бане парились Ситников и Вейсберг.

А как играли в футбол! Сразу пять команд высшей лиги в одной Москве: «ЦДКА» и «Динамо», «Торпедо» и «Локомотив», не говоря о «Спартаке» с бессмертными нападающими братьями Старостиными.

А кто сказал, что тесно жили по баракам и подвалам? Спросите у Додика Маркиша, сколько у них было комнат в мраморе, бронзе, паркете?

В музеях висели «французы». Копируй, изучай мировой опыт.

Вековая жажда Запада!

В непогоду в профсоюзной изостудии мусолили гипсы с вечной и неприступной головой слепого Гомера или Давида великого Микеланджело, а с наступлением тепла учеников выпускали на пленэр, где они рисовали то высокое дерево, то кривой забор, то уличную перспективу.

В 46-м Художественный институт имени В.И. Сурикова по возвращении из эвакуации возобновил свои академические занятия. В первый послевоенный набор Володя Вейсберг и его приятель Вася Ситников не прошли по конкурсу.

Недостаток специальных знаний? Слабость общего образования?

Туда прошли люди, знаниями и талантами не блиставшие: Лев Кербель, Ефрем Зверьков, Эрнст Неизвестный, Дмитрий Жилинский, Элий Белютин и сразу два брата Ткачевых. Значит, душевнобольным в институт не судьба!

Но больной — личность!

Вася стал фонариком искусствоведения, а Володя работал натурщиком, подкармливая свои никому не нужные живописные опыты.

Рослого, горластого красавца знал весь институт, но самое поразительное, что натурщик знал «всю Москву», а такое знание — качество чрезвычайное у лиц творческого труда. Он пристально наблюдал за всеми битвами «реалистов» с «формалистами» в искусстве, однако лично оставался выше склок.

\* \* \*

Неужели большевики истребили высокую эстетику?

Позвольте сомневаться. Она оказалась неистребимой и в 27-м, и в 37-м, и в 47-м году. Как только ее вырубали в одном месте, она, как сорняк, поднималась в другом.



Жаль, что советские писатели, освоившие быт кубанских казаков и шахтеров Донбасса, заводы и корабли, не оставили потомкам ни портрета московской бани, ни описания паркетных квартир с гранитными подъездами.

Москва без бань — не Москва!

Из шестидесяти московских бань Сандуны славились парилкой и дворянским бассейном с мраморной облицовкой. Бани назывались в честь давно умершего купца Силы Сандунова, но никакая смена власти не порушила традиционного названия этого дворца мытья, где парились Пушкин и Денис Давыдов, губернатор князь Долгоруков и драматург Шумахер, Чехов и Гиляровский, Ситников и Вейсберг.

В Сандуны шли с душистыми березовыми вениками генералы и солдаты, профессора и студенты, богатые и бедные. Их объединял один банный идеал — «свобода, равенство, братство» в густом пару.

По субботам, в банный день, приходили два шизофреника, мускулистый и носатый Ситников со Сретенки и длинный дылда Вейсберг с Покровки.

«Вот твоему тупому долбоебу Сезанну — хрясь, хрясь по жопе!»

Натурщик пыхтел от удовольствия под крепкими ударами Фонарщика.

«А я вытру из тебя волшебную дымку с гуталином — шайкой, шайкой с кипятком!»

Фонарщик стонал и кряхтел под шайкой натурщика.

Репатриант из Сербии, граф Олег Толстой, в парилке безапелляционно замечал обоим противникам, что манера Леонардо пролетариату не нужна так же, как и небрежный, французский «импрессион» Сезанна.

Потом втроем мирно плавали в бассейне, а в буфете расслаблялись душистым жигулевским пивом.

Незабвенный Василь Яклич Ситников — «профессор всех профессоров» — любил записывать в свою домаш-

ную академию всех посетителей подряд, создавая невообразимую путаницу в биографии. Нельзя считать Лиду Вертинскую или Яна Левинштейна, раз заглянувших к нему в берлогу, его верными учениками.

Приятель Вейсберг — любопытный посетитель, а не ученик, а вот гипнотизер В.Л. Райков, рисовавший под палкой Фонарщика «подонок, не заплативший мне ни гроша» (В.Я.С.), многим ему обязан.

На выставке китайца Цибайши (1951), у свитков высокого мастерства виртуозной восточной кисти, Вейсберг принял наставления Ситникова с условием не отбирать работ себе. На Рыбниковский к Васе он пришел не один. Его сопровождал любопытный молодой невропатолог Виктор Леонидович Райков, впоследствии написавший книгу «Терапия психических заболеваний», отдав должное лечебному методу художника В.Я. Ситникова.

Фонарщик не учил, а лечил!..

Не стоит Вейсберга заворачивать в «волшебную дымку» Ситникова. Он социально опасная фигура иной фактуры. По четвергам он ходил в музей, как на молитву, и часами как замороженный простаивал перед «Голубой вазой» Сезанна.

«Вот она, форма, вот оно, пространство!»

«А вот и “формалист”», — думал я, с испугом глядя на высокого дядю, стриженного под машинку.

Я не искал с ним близости и смотрел из отдаления, как на монумент Москвы.

Артистическую технику, мировые секреты мастерства Вейсберг познавал самоучкой, без профессоров и наставников.

Весь мир под присмотром кремлевских мудрецов.

С 1952 года я постоянно навещал Москву. Отстрел «сионистов» и «космополитов» казался незаметным пятном на фоне физкультурных парадов и походов великого китайского народа.

Студенческий билет давал право бесплатного посещения музеев и выставок. На первой выставке под названием «Молодые художники» (1954) я впервые увидел натюрморт В.Г. Вейсберга и работы его единомышленников: Миши Иванова (сына писателя Исаака Бабеля!), Бориса Биргера, братьев Никоновых, Натальи Егоршиной и Николая Андропова, «селедки» совсем юного Кирилла Мордовина — адептов сезаннизма московских красок.

Бывший футурист и старый чекист Федор Семенович Богородский правил московским «изофронтом» в пять тысяч членов. Сразу после войны учебные заведения Москвы выпустили огромный отряд дипломированных художников. Запустить их на кормушку госзаказов было невозможно. По предложению хитроумного Богородского их завернули в отстойник «молодежных выставок», где они годами ждали заказов, ставших малодоступными.

Поль Сезанн снова вошел в моду. Он не умел толком рисовать, писать, компоновать, а стал реформатором мирового искусства. Самоучка, рисовавший кривобокие яблоки и деревянные лица, завернул искусство на ухабистый и скользкий путь.

И Мондриан, и Кандинский, и Пикассо, не говоря уж о русском «Бубновом валете» 20-х годов, в один голос признают учительство Сезанна в их разноликом творчестве.

Признали его авторитет Вейсберг и его сообщники, составившие выставочную группу «Восьмерку».

Сезаннизм как «школа» охватил огромный слой советских профессионалов от Еревана до Риги. Причем академический официоз считал это явление если не столбовым, то безвредным для советской доктрины приблизительного реализма. Постоянно посещая эти «молодежные выставки», а с шестой (1961) и сам их участник, я видел бесконечные ряды «букетов», «горшков», «селедок», «голов», где непременно был и Вейсберг, но мне в голову не приходило, что он выскочит из этой густопсовой кучи либерального совка.

Его выставка на квартирке Алика Гинзбурга перевернула мое представление о нем как о верном эпилгоне Сезанна.

Он решительно перешел в другой мир, к иным людям, в мир обысков, арестов и ссылок.

\* \* \*

У студента МГУ Алика Гинзбурга начисто отсутствовало чувство страха, свойственного простым советским людям.

Студент любил поэтов и художников. Одних он собирал в тетрадку под названием «Синтаксис» и распространял ограниченным тиражом, а других выставлял на Полянке, в комнате мамы Людмилы Ильиничны, разделявшей увлечения сына. Туда они нагоняли гостей и зрителей без разбора.

«Дело было новое, никто за это еще не сажал, и хорошо пошло», — вспоминает бывшее А.Г.

В своем «салоне», заваленном хозяйственным барахлом, он умудрялся показать фантазии фронтовика Николая Вечтомова, абстракции Льва Кропивницкого, бывшего зэка из поселка Лианозово, начинающего кинетиста Льва Нуссберга.

Подозрительную и нелегальную возню заметили идеологи власти, прокатив их в фельетоне «Бездельники карабкаются на Парнас» («Известия», 1960).

Там же появился и В.Г. Вейсберг.

Почему крепко стоящий на ногах художник, неуязвимый со всех сторон член Мосха, постоянный участник официальных выставок, преподаватель изокружка, решил показаться в конуре студента Гинзбурга? Ведь не рвались туда Егоршина и Биргер, Иванов и Мордовин?

Сговор врагов народа — это понятно, но такой странный шаг в другой мир грозил исключением отовсюду за

нарушение советской дисциплины, да и в психушке найдутся ядовитые лекарства для такого пациента. Показали несколько натюрмортов и портретов самого Алика и его мамы, но шумок вышел большой.

Ни исключения, ни насильственного привода в дурдом! Как с гуся вода и всемирный триумф!

Вейсберг всех победил!

И как на такой зигзаг смотрели коллеги по «Восьмерке»? Советские художники творили в горделивом одиночестве, никого не принимая, кроме закупочной комиссии. По опыту натурщика я знал, как они живут. Полгода красят заказной холст с изображением доярки или тракториста, потом отдыхают с семьей на казенной даче.

В 61-м, на 6-й выставке молодых, критики записали меня в «формалисты», в один ряд с Априлем и Андроновым, друзьями Вейсберга по выставкам. Мне очень хотелось познакомиться с ними, и раз подпольный поэт Генрих Худяков привел меня в мастерскую прославленного «формалиста» Николая Ивановича Андропова. Лифт доставил нас на чердак огромного дома на Чистых прудах. Дверь открыл кряжистый мужик с проседью в бороде. Свитер грубой вязки, замазанные краской штаны. Он кивнул и усадил нас перед незаконченной картиной, где черным углем фронтально и монументально изображались рабочие с головами как ведра и ногами, похожими на бревна. У подножия старинного мольберта с толстым металлическим винтом лежал ряд мрачных этюдов. Чтобы сделать такую мазню, за казенный счет он ездил в Архангельск, мерз там в порту, рисуя натуру, и было видно, что он горд такой работой. Апостол московского сезаннизма молча расставлял северные этюды, где зеленой и коричневой краской изображались какие-то виды Белого моря, похожие на мрачные пещеры. Судя по всему, этот дядя не считал нужным что-то пояснять, по принципу «подлинному художнику довольно одного мычания, за него говорит искусство», которого я не обнаружил.

Если коллеги по «Восьмерке» к себе никого не впускали, то Вейсберг открыл себя настежь.

После появления на частной квартире Гинзбурга он стал знаменит. В его жилье в Лялином переулке повалил народ в порядке живой очереди. Приехал главный грек Георгий Денисович Костаки и главный турок Назым Хикмет — большие любители незаконной гениальности. Турком в Кремле дорожили. После турецкой тюрьмы он выбрал не Запад, а Восток, Советскую страну, Москву. Грек научил Вейсберга не дарить, а продавать картины. Он первым предложил ему деньги: 50 рублей за холст — а такое на улице не валяется.

Иностранного покупателя Вейсберг не искал, он сам к нему проник без публичного объявления.

Отметились и Ольга Карлейль с другом, и Камилла Грей с мужем, и Лиля Брик с сестрой, и Анна Зегерс с переводчиком, и Генрих Бель со свитой, и Карл Проффер с женой, и Виктор Луи с женой, и Нина Стивенс с мужем, и поэт Роберт Фрост, и критик Мишель Рагон...

Тогда у него появилось нахальное и знаменитое: «А деньги у вас есть?»

Он растет, ищет и находит!

Со своим расторопным ровесником Элием Белютиным он цапался не раз. Давние профессиональные счеты. Он считал Белютина дилетантом и провокатором, неспособным понять величие системы Сезанна, а тот в свою очередь не искал дружбы с чокнутым торгашом святым искусством. В Манеже 1962 года, освященном скандальным визитом Хрущева, они оказались в разных лагерях. Вейсберг со своей «Восьмеркой» висел в главном выставочном зале, а Белютина с его выводком заперли на допрос в буфете.

В 63-м в картинах появилась новинка — «белое на белом». Худспецы вероломно шептались, что Вейсберг украл белизну у итальянца Моранди. А я думаю, что плотная группировка вещей в натюрморте идет у него от

И.И. Машкова, а Моранди он не знал и не видел наяву никогда.

Смотреть нового и «белого» Вейсберга кинулась «вся Москва». Гостей он принимал по часам, и главным образом женскую половину человечества. Мне доводилось видеть Вейсберга, но всегда на выставках, в толпе. Теперь предстояла личная встреча за парой широких женских спин, недотрог Аси Лapidус и Тани Киселевой, обладавших сильным антигипнотическим ресурсом против навязчивой мужской доблести. Хозяин, ослепленный красотой девиц, расплылся в улыбке, на мое удивление, перецеловал им ручки и усадил на белые больничные табуретки. Мне же сразу влепил выговор: «Вы опоздали на полчаса, следовательно, покажу не двадцать, а десять картин».

Я содрогнулся! Какой педантизм! Какой военный режим!..

Удостоверившись, что я люблю Сезанна, своим необъятным пузом он задвинул меня в темный угол с иконой Богородицы и приказал не лапать грязными пальцами его картин. От злости я чуть не лопнул, но вынес незаслуженное наказание, полчаса стоя в «красном» углу.

Обычная жилая комната с высокими антресолями, забитыми картинами, служила ему мастерской. Суетиться, бегать и кричать никому не позволялось, и только в гробовой тишине одна за другой на старинном мольберте появлялись белые и кремовые холсты.

Объяснить «белые грезы» Вейсберга трудно, но можно. Это не холст, замазанный белой краской, а взаимодействие полутонов, создающих волшебный туман. Духовная гармония, абсолютное молчание, фантом чистоты и невинности.

Привычные вещи, составлявшие их содержание, исчезли в светоносной, волшебной дымке.

Вейсберг перешагнул Сезанна!

В черных тренировочных шароварах и белом халате, похожий на санитаря дурдома, он, стоя у мольберта, ми-

нут пять уделяя каждой картине, крутил стриженной головой, пыхтел и потирал могучий оголенный пупок. Иногда он конвульсивно дергался, что-то бормотал, пускал изо рта пузыри и не отводил взгляда от гладких коленок рыжей Аси и белобрысой Тани. Мне очень хотелось положить ему на пузо лягушку, но обуял непрошенный страх: а вдруг этот верзила рухнет на пол и будет дергаться, визжать, вызовут врачей, милицию, и тут тебе — «Ваш паспорт, гражданин?», а я его потерял на вокзале! Визит обошелся без драки, девицы договорились о сеансе позировки. В двери звонили посетители, и только на воле я облегченно вздохнул.

Его встреча с Асей кончилась тем, что художник полез под юбку недотроги и получил решительный отпор, а придя в бешенство, распорол себе мастихином живот. С Тани Киселевой вышел отличный кремовый портрет — очевидно, девица ответила ему взаимностью, не допустив резни и обморока. Супруга живописца Светлана Викторовна, не раз накрывавшая мужа в эротической позе, развелась с ним, прихватив часть картин. В результате акробатических обменов и разменов жилплощади Вейсберг перебрался с новой женой Галиной Ерминой на Арбат, в отдельную квартиру с паркетным полом и высоким потолком.

Алика Гинзбурга уpekли в тюрьму за тунеядство, но на горизонте появился еще один студент, отчисленный из института Андрей Амальрик. Он жил фарцовкой, бесстрашно кадрил фирму и торговал картинами. По-моему, это был первый доморощенный дилер московского подполья, помогавший художникам жить и работать. В этом деле ему помогала жена Гюзель, вечная ученица В.Я. Ситникова. Они собирали картины подвального стиля и аккуратно и секретно продавали их у себя на дому, а выручкой делились, что было большой редкостью в безжалостном мире торговли.

Амальрики продавали и Вейсберга, ставшего центральной фигурой московского андеграунда. Литературно ода-



ренный Амальрик начал писать первую биографию живописца. Не знаю, что он написал и для какого голландского журнала, но однажды его поймали на валютной сделке и выслали в Сибирь за «паразитический образ жизни».

Не забывал его и первый летописец андеграунда Михаил Гробман. «В Вейсберге чувствуется некоторая внутренняя пустота» — довольно радикальная критика, но она не мешала им общаться, спорить и уважать друг друга.

Вейсберг, окруженный тяжелой артиллерией прогрессивного человечества — Илья Эренбург, Генрих Бель, Игорь Тамм, — продолжал алхимничать белое на белом без помех.

Казалось бы, с таким радикальным поворотом в творчестве, забвением заветов «святого Сезанна», он лишится места в официальной «Восьмерке», рисовавшей монументальные колхозы и фабрики, но нет — как только объявлялась их выставка, там всегда висел и Вейсберг со своим белым геометрическим натюрмортом или женским торсом в белой кофточке.

Его попытка создать школу подражателей увенчалась полным успехом, хотя, как известно, научить живописи нельзя. То, что мне довелось видеть, — а учеников было не менее сотни: Борис Турецкий, Андрей Тукманов, Яков Лихтенберг, Борис Касаткин, Алексей Калугин, Ян Раухвергер — это эпигоны, ничего оригинального не выдавшие, кроме надоевших «букетов», «бутылок», «кубиков», и навсегда застрявшие на полдороге от Сезанна к Вейсбергу.

Учитель выполнил свой план сполна — «ставил глаз» без индивидуальности и живописи.

Его объяснительная записка в Академию наук о «новых правилах хроматической живописи» напоминает причудливые объяснения Василия Верещагина к его огромным батальным картинам. Такие записки чрезвычайно вредны для начинающих и никакого значения, кроме куража, в искусстве не имеют.

\* \* \*

Иностранцев Вейсберг не боялся. Они у него появились сначала в сопровождении советских граждан с положением в обществе, а потом и по отдельности. Молодые модернисты вроде Нуссберга, Чернышева и Брусиловского считали своим долгом направить доходных иностранцев к нему, как паломников к святыне.

Чешские студенты, итальянские и французские коммунисты, британские дельцы и американские журналисты — все прошли вейсберговское чистилище, неподвижно сидя на больничных табуретках.

Жизнь в двух враждебных мирах.

Гариг Басмаджан, кругленький и рыженький армянин из Ливана, попал в Москву в 1969 году и сразу прошел культурную обработку на чердаке А.Р. Брусиловского, где собирались самые радикальные модернисты Москвы. Оттуда его направили к Вейсбергу, и тот его очаровал и картинками, и голым пузом. Если не считать нескольких рисунков Мартироса Сарьяна, купленных на скудные средства «иностранного студента», у Басмаджана ничего не было, но в 1972 году он семейно осел в Париже, средств стало больше, и, навещая Армению и Москву с женой и детьми, он делал значительные закупки картин советских художников, и в первую очередь Вейсберга. В конечном счете он собрал большую коллекцию, где было всякой твари по паре, включая пятьдесят картин В.В. маслом.

Советские чинуши сразу смекнули, что под крышей магазина Басмаджана можно обтяпывать и их темные делишки. До этого они потеряли магазин Нади Леже, время от времени выставявшей мусор соцреализма, а теперь взяли в оборот армянина. За десять лет до краха коммунизма выживший из ума Кремль упорно тащил на Запад идеологическую халтуру Налбандяна, Глазунова, Шилова, Ромадина.

В это же время в Москве появился настоящий граф, Степан Николаевич Татищев, потомок русских эмигрантов, представлявший французскую культуру в Москве. Отличное знание русского языка и родовитость открыли ему все московские двери. Степа храбро раздавал эмигрантские брошюры «Имка-пресс» с христианским содержанием, выполнял секретные поручения А.И. Солженицына и плотно сошелся с нелегальными художниками. Не располагая ни средствами, ни вкусом к современным искателям, свои связи он передал сотруднице Элфриде Филиппи, корсиканке родом и эстетке по призванию, сразу попавшей под гипноз Вейсберга. Он ей рисовал, дарил, продавал «при условии, что вещи не будут висеть лицом к стене». В результате она вывезла во Францию несколько десятков его холстов и кучу рисунков.

Красавец граф так нагло крутился на виду у властей со своими православными брошюрами, что его выставили из Москвы раньше срока (1974).

Об эмиграции на Запад не могло быть и речи. Домосед Вейсберг так прирос к Москве, к Арбату и они к нему, что разорвать их было невозможно. Доктора В.Л. Райкова он держал при себе. Очень сильному гипнотизеру удавалось снять головные боли и настроить на продуктивное творчество. Если кто-то из знакомых звал к морю или на дачу, он отвечал: «Пока есть Канатчикова дача, я на дачу не поеду». Однако ученики и знакомые уезжали на чужбину.

Один из верных и серых учеников Вейсберга, Ян Раухвергер, уехал в Израиль (1975), прихватив десяток картин своего сурового учителя. Там ему первому удалось показать эти вещи в главных музеях, к сожалению, без каталога и каких-либо письменных заключений. Он пытался привлечь к благородному делу искусствоведа Асю Муратову, хорошо знавшую художника, но по неизвестным причинам, скорее всего из-за отсутствия средств, выставка не осуществилась на достойном уровне.

Басмаджан работал иначе. Он начал с коммерческой выставки армянских живописцев (1978), арендовав помещение в торговом центре Парижа. Предисловие писал знаменитый американский прозаик Уильям Сароян, и часть выставки удалось продать. Через год он рискнул снять помещение на свое имя и назвал его «Горки Галле-ри» в честь зачинателя американской абстракции Аршила Горки и писателя Максима Горького.

Чтобы обеспечить себе свободный проезд в Советскую Россию, он умело компоновал закупки совершенно официальных с неофициальными артистами, по его словам, «как бутылку водки и гнилые консервы в придачу». Так и висели у него на стенах Грицай и Шерстюк, Ромадин и Куперман, Тулин и Целков, Сарьян и Вейсберг, Налбандян и Краснопевцев...

Одинаковыми были подрамники, но не содержание картин!

К персоналке Вейсберга готовились года два. Для каталога тщательно собирали биографические сведения, короткие воспоминания о встречах с художником написали Ася Муратова, Юрий Куперман и сам Басмаджан. Осенью 1984 года открылась первая в жизни московского мастера персональная выставка, и не в Москве, а в Париже.

Художник получил приглашение галереи, но ехать на свой вернисаж отказался, опасаясь провокации властей. Тогда выпускали непокорных, и отчаянных, как он, кричавших: «Коммунистов на осину!» — сразу лишали гражданства и возвращения в любимую Москву. Случаев было достаточно и среди близких лиц художника: Солженицын, Ростропович, Рабин, Аксенов, Лев Копелев...

Народ молчал, маразм крепчал!

Пришлось ему смиренно сидеть на Арбате и любоваться парижским каталогом.

Париж — город-светоч, страна любимого Сезанна!

Сообщение о его смерти 1 января 1985 года застало Басмаджана в Лондоне. Он привез часть его картин на

международную ярмарку искусств. Цены на вейсберговские вещи сразу подскочили вверх.

Вейсберг — расчетливый алхимик. Магазиновый тюбик краски он превращает в нетленную красоту. Его белая картина в ряду тихого безмолвия. Он светоносный.

Художник умел рисовать вечность!

В Москве выпал глубокий белый снег, когда он умер. Отпевали его в известном храме Ильи Обыденского на Остоженке. Было малоллюдно и тепло. Старые друзья по «Восьмерке», ученики и кучка людей гонимого искусства — Немухин и Штейнберг с женами. Поминали на древнем Арбате, в его белой мастерской. На мольберте возвышались белые грезы великого художника!

## 20. Главный сводник дипарта

Скульптор Эрик Неизвестный пил в народе.

В пивную на Сретенке он шел с высоко поднятой головой, шагом римского императора, летом, закатав рукава измазанной глиной рубахи, зимой в шапке, похожей на царскую корону.

Когда император входил в провонявшую гнилыми кроватками пивную, шум смолкал и народ расступался, пропуская без очереди. Строиться с ним мне приходилось не раз.

«Одна нога здесь, другая — там!» — давал команду император. И я, как птица воробей, летел в магазин за водкой.

Пил он мастерски. Не цедил, как пошлые пьянчуги, а вливал граненый стакан целиком и не моргнув глазом. Он арендовал брошенный хлебный магазин в Большом Сергиевском переулке, с выходом на тротуар, так что любой прохожий мог наблюдать за работой скульптора. Много батальных сцен. Угловатые, выпуклые формы,

трубы и бетон, штыки и солдаты. У него постоянно кто-то крутился. То помощник, строивший каркас, то подвыпивший коллега, размышлявший над пустым стаканом. Неизвестный был одержим бесом славолюбия и везде играл роль эстрадного героя перед восхищенной толпой зрителей. Как былинный богатырь, он воевал с шестиглавым злодеем, академиком Евгением Вучетичем, захватившим лучшие госзаказы на монументы и в Москве, и в Берлине, и в Нью-Йорке, и в Сталинграде.

Его постоянных собутыльников и соседей — Света Афанасьева (карманного вора и акварелиста), Вовика Фредынского (антиквара и живописца) и Сашку Завьялова (шахматиста и собачника) — я хорошо знал, но на сей раз в мастерской что-то лепил кудрявый крепыш цыганского типа, чуть косивший одним глазом. Аккуратно представился — Анатолий Брусиловский, харьковский художник, — и принялся что-то строить и лепить.

Выглядел он превосходно: пышные усы, переходящие в бакенбарды, как у аристократов XIX века, крупная кудрявая голова и умный взгляд.

И было в нем что-то былинное — «приехал Жидовин, могуч богатырь, сыра земля всколебалася, из озер вода выливалася».

Меня удивило, что этот богатырь наотрез отказался пить водку.

«Выпендрей, — подумал я и разлил по стаканам драгоценную жидкость, — в жизни не везет, богатырь чужих идей». Мне в тот день везло, в кармане топорщились деньги. Я нацарапал репортаж со съемочной площадки в журнал «Советский экран» и держал под рукой роман для иллюстраций.

«Старик, ты большой оригинал!» — восхищенно соврал я.

Такой была первая встреча с кудряшом Брусиловским осенью 1961 года.

О своем первом московском работодателе харьковчанин отзывался довольно резко и, естественно, за глаза: «Алкаш и марксист, проходимец и мерзавец».

Потом наши встречи притерлись, то в издательских коридорах, то в чьих-то мастерских и квартирах, на выставках и в клубах, но первоначальный образ опрятного трезвенника среди знаменитых алкашей навсегда остался в памяти.

Его художественные успехи не заставили себя ждать.

Магия слова много значит в человеческом общении.

Свои острые перовые рисунки он подписывал «Брусиллов» — именем царского генерала, в 1916 году разбившего австрийцев в Галиции, — но злоязычные коллеги между собой, да и в лицо, употребляли упрощенное «Брусок».

«А что на сей раз нам принес Брусиловский?» — спрашивали худреды.

Общее техническое отставание социалистической России от капиталистического Запада привело к тому, что не только ученики художественных школ, но и дипломированные профессионалы употребляли материалы пещерных времен — китайскую тушь, гусиное перо, — не имея понятия о коллаже, фломастере, рапидографе.

В главный журнал страны «Огонек» Брусок принес коллаж, патриотический по содержанию и новый по форме. Он наклеил на лист бумаги фотографию немецкого солдата в рогатой каске и перечеркнул его красным крестом. Худред Пинкисевич в испуге побежал к «хозяину» Анатолию Сафронову, адепту ортодоксального рисования, и был страшно удивлен, когда декадентскую композицию хозяин немедленно подписал в печать.

Харьковчанин сразу стал знаменит. О его героических коллажах говорила «вся Москва», а за ней Варшава и Прага. Выставлять свои произведения на публику без разрешения властей тогда категорически запрещалось.



Выставки коллажей в Польше и Чехословакии обставлялись нелегально и чемоданным способом. Подпольный поэт и художник Михаил Гробман, ставший приятелем Бруска и составителем первых каталогов, в своих дневниках осветил этот нелегальный процесс.

Доносить на друга некрасиво, а на врага — опасно.

И Брусок наотрез отказался доносить на зарубежных друзей.

Как тут не воскликнуть с восторгом: «О, моя-шкура-попа-жопа!»

\* \* \*

Ой, Одесса-мама!

О славном приморском городе Одессе я много читал, и лучше всех сказал Александр Сергеевич Пушкин, отбывавший там срок ссылки (1824): «Тогда боялись мы султана и правил Буджаком паша с высоких башен Аккермана». Значит, был татарский Буджак, а стала русская Новороссия. Русские солдаты отбили у турок часть территории в пользу царской короны.

В 1970 году я решил проверить, что это за Буджак на самом деле. Спустился на Одессу самолетом. Сразу поражал пыльный аэропорт и жестокий ветер, гонявший газетный мусор по площади. Город украшала единственная цистерна, крашенная ядовитой желтой краской, и при ней дебелая баба без признаков возраста, продававшая кружками теплый квас. Я благоразумно выпил эту жидкость, потому что позднее она не попадалась. Зеленый автобус доставил пассажиров в центр, на Приморский бульвар, и я вылез у сквера с каменными львами. Самец держал в лапах убитого кабана, и рядом самка, кормящая детенышей.

Одесса — главное окно в Европу. Я сел у каменного монумента и осмотрел тяжело нагруженный пешеходный

народ. Говорят, в недалекие времена каждый третий в городе был еврей, община в сто тысяч человек. Не обнаружив в толпе выразительных библейских лиц, ни Мурки, ни Япончика, я решил отовариться и закупить питье.

Не знаю, что здесь пил наш «бох» Пушкин, — наверняка привозное шампанское, все-таки аристократ, хоть и опальный, — а как питались простые люди: греки, сарматы, татары, евреи?

Я пошел по стопам Пушкина и купил в ларьке литровую бутылку «Солнцедара», плодово-ягодного напитка высокого градуса. Насквозь пробивает желудок, но веселит. О виноградных винах в ларьке не слышали со времен дюка де Ришелье, посадившего одну виноградную лозу в честь победы над турками в Аккермане.

От лвиной семьи меня, как скотину, отогнал хворостинной милиционер, правда, не проверяя паспорта. На всякий пожарный случай деньги я спрятал под стельку рваных ботинок, но бывало и так, что в «мусорной» и стельку отрывали вместе с ногой. Затем я забрался в пригородный поезд и вылез на последней станции под названием Холодная Балка. Тут начинался песчаный берег, заваленный мотками колючей проволоки времен Первой мировой войны, а за ним обширное море. С высокого обрыва я не заметил ни броненосцев на горизонте, ни игорных домов и заснул под шум морской волны.

Ночью мне снились знаменитости передового южного города. С сионистами — Верой Инбер, Яшей Хейфицем и Яшкой Япончиком — все было ясно, «черта оседлости», Москва не пропишет. А как дюк де Ришелье, де Рибас и де Ланжерон, образованные и родовитые французы, облюбовали себе столь пыльный и безводный кишлак для жительства? Да и мятежницу Жанну Лябурб (1919) почему-то похоронили на 2-м еврейском кладбище. Лучше места не нашли, что ли? Рано утром, хлебнув «Солнцедара», не заворачивая в музеи и катакомбы Одессы, я двинулся в

сторону легендарного Аккермана, столицы Буджакской Орды. Местечко, с развалинами некогда грозной крепости и водокачкой, заросшей крапивой и бурьяном, красиво расположено в устье широкого Днестра с крутыми берегами и текучей жидкостью, скорее похожей на нефтяные дары, чем на речную воду. Оказалось, отсюда пресную воду качают в Одессу. По реке продвигались ржавые баржи, груженные зерном. За мостом через лиман открывалась настоящая, километров на сто, до устья Дуная, сплошная пустыня без единого дерева, жилья и пресной воды.

Где же «шаланды, полные кефали»?

Вместо кефали — «дом отдыха», но туда не пускают отдыхать. Над крышей, как сломанный зуб, — огрызок минарета, в воротах — солдат с ружьем.

Я разделся наголо и наобум, как Робинзон Крузо, побрел песчаным пляжем, пока не наткнулся на живого человека в тростниковой будке. Мужик по выходным дням приезжал на румынском мотоцикле «отдыхать на море», то есть ловить бычков и пить водку. Бутылка «Солнцедара» спасла меня от ареста за бродяжничество в голом виде. Мы ее распили вдвоем, потрепались о международных делах и уехали допивать в поселок под названием Приморское. Переться к устью Дуная мне надоело — слишком унылой была местность. Если не считать лагеря заключенных, едва заметного на горизонте, ничего не возвышалось над землей, но село Приморское оказалось цивилизованным местом. Там торговали водкой в разлив, что строго запрещалось в столице. И закусывали сваленными в угол магазина помидорами. Мой собутыльник-рыболов, работавший по совместительству начальником аэропорта, уламывал меня жениться на его немой сестре и остаться в селе навсегда, но я сел на самолет и по небу вернулся в Одессу.

Не следует забывать, что Одесса не только город сионистов, французских «дюков», графа Потоцкого и графини Собаньской, но и внештатных художников. За десять

лет до моего появления, в 1960 году, городскую лечебницу «Аркадия» посетили нелегальные московские живописцы Михаил Гробман и Владимир Яковлев. Надо у них спросить, где они ночевали и чем занимались в этой «Аркадии»?

Бежали от погромов, искали лучшей участи?

Откуда явились Брусиловские в город на море, нам знать не дано, но, судя по фамилии, из местечка Брусилово на Волыни, отведенного для поселения русским подданным Моисеева закона. Одного из них забрили в царскую армию, откуда он вышел с правами кантониста на поселение в большом городе Новороссии.

В приморской Одессе кантонист пошел по торговой части.

Материнский род Кортчеков укоренился в городе порто-франко в портновской корпорации и, согласно семейной традиции, явился издалека, из немецких земель.

Семьи быстро шли к ассимиляции (свидетельство адвоката А.Я. Пассовера).

У всех людей по два деда и по две бабки. Очень проторный материнский дед Исаак Кортчек достиг видного положения светского портного. У него шили на заказ знатные дамы города, говорят, и супруга графа Витте, и семья процветала. Дом на Дерибасовской, в подъезде — лакей в ливрее, в покоях — голландские картины и китайские вазы. Очень может быть, там беженец И.А. Бунин заказывал себе пиджак с двойной подкладкой для бегства в Царьград. Дети отцовского деда, торговца пшеницей Моисея Брусиловского, получили отличное образование, а сын Рафик уже в гимназии проявлял литературные способности. На курсах Пролеткульта (1922) он научился писать оптимистические, революционные гимны.

Дочка портного Берта, красавица, названная в честь немецкой пушки, хорошо играла на скрипке, говорила по-французски и считалась лучшей невестой города.

Проклятая революция перевернула жизнь вверх тормашками.

В кратчайший срок большевики богатый город превратили в нищий.

Порядочным людям оставались воспоминания, хлеб по карточкам и работа с темными массами.

Брат мамы Семен, сменивший фамилию Кортчек на Кирсанов, оказался одаренным стихотворцем и опытным обольстителем. Он завоевал советскую столицу с первого захода (1926) и спал не в общежитии на столе, а на перинах княгини Клаши Кудашевой, мечтавшей о передовом еврейском муже. Быстро усвоив расположение правящих сил, он примкнул к модному «Левому фронту» и стал известен в Кремле. Жутких арестов и расстрелов 30-х, а также еврейских погромов 40-х удалось избежать. В 51-м за патриотическую поэму «Макар Мазай» ему присудили Сталинскую премию.

Как тут не зашаманить: о, моя-дура-попа-яма!..

Отец нашего художника Рафаил Брусиловский двинулся в Сибирь, на стройки коммунизма. Нажил там фурункулез и вернулся на родину. Берта Исааковна Кортчек, потерявшая богатое приданое, охотно вышла замуж за начинающего советского прозаика.

В 1932 году, 4 июня, в семье Рафаила Моисеевича Брусиловского родился сын Анатолий, будущий герой нашей оды.

Одессу советского времени лучше юмористов Исаака Бабеля и Льва Славина (оба одесситы!) не представишь. Пролетарская власть так зажала разбалованных жителей порто-франко, что ни бзднуть, ни перднуть. Аресты, облавы, расстрелы стали явлением обыкновенным и привычным. У кого были деньги, бежали в Румынию, у кого их не было — в Москву. Вместо буржуев с тростями на бульварах появилось множество гипсовых горнистов и львов с поросятами.

Отрок Толик отлично учился в школе, мечтал о морской профессии, о теплых морях и дальних островах, но грянула мировая война, и семья спешно на последнем пароходе скрылась на Кавказ, а оттуда в Башкирию.

Старики, не пожелавшие бросить нажитое, погибли в немецких лагерях смерти. Возвращались не на пепелище в Одессу, а в Харьков — столицу Советской Украины, где родителям обещали места на литературном фронте.

Доверие партии и явная столичная выгода.

Немецкие оккупанты основательно потрепали большой город, но на зеленой Сумской по-прежнему утопали в садах барские особняки, возвышался небоскреб Дома Советов и, как результат военных побед, — черный рынок, нищета и продуктовые талоны.

В 50-х годах имперский шаблон академизма был принят во всех видах культуры, литературы, изобразительных искусств, театра, музыки, кино, книги, керамики. В Кремле считали, что такая модель годится и для строителей коммунизма в России, и для прогрессивных дебилов всего мира. Вся творческая энергия советских артистов уходила на внутрицеховую драку за место у кремлевской кормушки. Такие орденоносные бойцы изофронта, как Герасимов, Томский и Вучетич, достигли высокого материального блаженства, сравнимого разве что с богачами западных искусств, как Дали, Пикассо, Шагал. В «братских странах народных демократий» дозволялось умеренное самовыражение артиста, но, лишенные официального заказа, самые отчаянные из них бежали на Запад, где еще находились меценаты и покупатели.

Не знаю, чему учили пережившие пролетарскую стрельбу декаденты, — наверное, той же академической жвачке, если посмотреть на плакаты Василия Ермилова, — но харьковчане, способные к рисованию, шли в художественный техникум. Записался туда и Толян Брусилковский.

А что читал отрок Толик, Толя, Толян? Естественно, лучшие книги времени: Василия Гроссмана «За правое дело», Илью Эренбурга «Девятый вал», стихи орденоносного дяди и оптимистические рассказы папы.

Пять лет он протирал штаны в искусстве, а на шестом (1953) загребли его в Красную армию. Там служил не в офицерском клубе шрифтовиком, а потел в танковой дивизии с уголовным сбродом, так что филонить не пришлось.

Провинция губит гений. В Харькове хорошо почивать на лаврах.

Первая попытка взять приступом Москву через высшее образование у демобилизованного танкиста закончилась неудачей. Он срезался на поступлении во ВГИК (1956), но на следующий год харьковский выставком отобрал у него рисунки для международной выставки в Москве.

Всесоюзный смотр молодых дарований!

Москва впервые за сорок лет решилась впустить к себе иностранцев со всего света и показать свои достижения.

1957 год — год всемирного борделя и безбрежной свободы нравов, невиданных в советской стране со дня ее основания.

В бараке Центрального парка рисовали русские и иностранцы. А.Р. Брусиловский в своих мемуарах называет это международное ателье «закутом», но я был в восторге от деревянного барака без потолка, ударной постройки 20-х годов, где творили невиданную живопись на твоих глазах.

Стильно одетые чуваки и чувихи из Барвихи. Знакомые лица из «дома Фаворского» — Димка Шаховской, Нина Жилинская, Илларион Голицын, Иван Бруни — и шеренги начинающих модернистов с бешеным Толей Зверевым во главе.

Советский авангард 20-х пытался создать новую художественную школу, но лидеры групп передрались между

собой за казенные деньги, и ничего, кроме малограмотного формализма, не вышло. Выросло поколение псевдохудожников без элементарных знаний и понятий об анатомии, перспективе, рисунке и живописи. Например, мой официальный профессор ВГИКа Ф.С. Богородский тайком от студентов проходил курсы живописи на тарусской даче академика Н.М. Крымова. Студенты кое-как справлялись с фронтальным изображением двух фигур, но большой ракурс уже не способны были нарисовать.

Как все студенты 50-х, Брусиловский работал по шаблону и жил в мире фантазий и грез о великом будущем.

Основательный вклад в развал советского колхоза внесли польские студенты. Их приехало много, их принимали как родных, отоваривая русскими иконами в обмен на журналы с разноцветными картинками. Заветный журнальчик «Пшекруй», где часто печатали мутные изображения западных артистов, в Москве листали с особым вниманием.

Москва — оплот мира и столица прогрессивного человечества! Вот где надо жить и творить для народа. Однако переезд в столицу упирался в главное достижение социализма — паспортную систему, обязательную прописку по месту жительства! Любой иногородний турист мог прожить в ней не более трех дней. День постоять в Мавзолее Ленина, день поглазеть на картину академика В.М. Васнецова «Три богатыря» и купить кусок колбасы, отстояв день в очереди. За нарушение закона сурово наказывали ссылкой в Сибирь.

Родственные связи с великим поэтом Семеном Кирсановым, а затем дружба с художниками Неизвестным, Бачуриным и Соболевым открыли харьковчанину многие московские двери.

И — повстречалась любовь с первого взгляда!

Тогда не надо ночевать в углу грязного вокзала и прятаться от милиции в общественной сральне.



Бравый Толик сошелся с юной москвичкой Галей Арефьевой сразу и по любви. Место встречи — кафе «Артистическое». Там собирался модный народ столицы, а Галя, дочка тамбовских кулаков, учила английский в пединституте и попевала везде, где интересно, весело и модно. Молодые жили тесно, в коммуналке, но одаренного мастера гравюры заметили в журналах и газетах. Неоценимую услугу оказал новый друг, знающий полиграфист Юрий Соболев-Нолев, по кличке Трубка. Общность взглядов на искусство, как цемент, скрепляла дружбу молодых и амбициозных артистов. Этот фронтовик на костылях бойко знал всех худредов столицы, читал по-немецки и на черном рынке доставал иллюстрированные журналы с картинками западных светил.

Множество графистов пытались модернизировать свой шрифт в модной студии Э.М. Белютина, однако Толик ею не прельстился, хотя общение с белютинцами, заполонившими советские издательства, было постоянным и продуктивным. Он упорно шел своим и особым путем.

Политически зрелый интеллигент!..

Его новые московские друзья рисовали по старинке. Техническая база Полиграфа, где они обучались ремеслу, была столь отсталой, что все пять курсов студенты учились рисовать брусковый шрифт ручным способом. Соболев считал, что любую гармонию можно проверить алгеброй, и делал очень сухие, черно-белые линогравюры с двумя-тремя лодками на берегу. Еще один модернист, эстонский уроженец Юло Соостер, отсидевший десять лет в советской тюрьме, тоже рисовал лодки, но на воде, а вместо солнца — оранжевый бублик.

Где они украли такой метод, в каком польском журнале, никто в темной Москве не знал, а издержки западного прогресса наивные москвичи принимали за откровения.

Коллаж, ассамбляж! — шо це таке?

Магия слова многое значит в человеческом общежитии.

«А что нарисовал нам гениальный Брусок?» — острил редактор «Огонька».

Я часто пользуюсь этим красивым прозвищем, несущим граненый, вещественный смысл. Что творилось в душе Бруска? Он — лидер широких трудящихся масс? Главный директор Горкомхоза? Слава в твердой валюте или рублевом эквиваленте? Пафос культурных побед или прозябание в тени?

А между тем советское искусство спускалось все ниже и ниже ремесла.

Высокое природное начало Бруска не позволяло такого падения.

Он легко и весело вошел в закрытый мир, именуемый дипартом, то есть рисованием для иностранцев.

Купить-продать, и дело в шляпе!..

\* \* \*

Советский мир искусства представлял собой уродливое и бесполое существо, зажатое чудовищным гнетом кремлевских правителей, выдававших себя за просвещенных марксистов. Даже робкие кубистические вольности коллег из Восточной Европы, вроде Ксаверия Дуниковского, советским творцам казались невиданным авангардом и образцом свободного созидания. Каждый гипсовый бюст горниста, этюд с натуры, расписной горшок и рисунок простым карандашом заказывал и оплачивал Кремль, и любые самостоятельные и бесплатные опыты «под стол» обрекались на забвение.

Кому первому пришла в голову шальная идея не сжигать в печке никому не нужных набросков, а попытаться продать их за символические гроши частнику, и лучше всего жителю капиталистических стран? Скорее

всего, бродячему живописцу со справкой психбольного Анатолию Тимофеевичу Звереву. По крайней мере, московский грек Г.Д. Костаки платил ему тройак за пачку выразительных акварелей. Нашлись и отчаянные последователи.

Харьковчанин, изучив передовое иностранное искусство, решил, что сюрреалистический коллаж типа Макса Эрнста можно приспособить для эстетических нужд иностранцев. Достаточно на бумагу репинских «бурлаков», надписать «сталинская гвардия» — и ядовитая критическая композиция готова. От таких изображений польские гости рыдали от восторга.

Вот что надо выставлять в Польше!

На показы московских модернистов в книжном магазине Варшавы или галерейке Парижа Кремль смотрел неодобрительно. Подобных шустриков вызывали по алфавитному списку каталогов — я держал в руках эти тетрадки на оберточной бумаге, издаваемые польскими читателями. Они походили на опросные листы и, попадая в руки кремлевских политруков, служили обвинительным документом: «Или пиши по-нашему, или убирайся из Советского Союза!»

Брусок и Польша — два сапога пара. Связь древнего и полюбовного происхождения. Наверняка кто-то из их далеких предков обитал в местечковой дыре на территории Речи Посполитой. Польский он выучил в совершенстве без наставников и первым пробил лаз в эту страну. Фестивальное знакомство с польскими студентами переросло в дружбу. Обмен информацией, неловкий товарообмен и вечное блаженство вместе.

В таких делишках мы не лыком шить!

Аспиранты Эдмонд Осиско и Метек Свенцкий!..

«Еще Польша не сгинела!»

Брусок не выпускал из рук полезных иностранных связей.

Встречи и переписка с фестивальными поляками были лишь тренировкой, разгоном для более серьезного общения с настоящей западной фирмой.

Брусок был «чист, как чекист, и кристален, как Сталин». Такими все дорожат. Дядя с красным носом и черным галстуком пригрозил Бруску изгнанием из Союза за связь с иностранной нечистью, но, притворно усыпив привередливое начальство, дипартист расширил культурные связи. Он был рожден для игры в прятки, и семена незамедлительно дали всходы.

Теперь я знаю, как мы играли в подпольное искусство. В 1958 году беспокойный живописец Володя Слепян, в классификации В.Я. Ситникова «отчаянный дри-стун», проскочив в Париж через Варшаву (фиктивный брак с полькой), встретил там настоящих, хорошо вооруженных боевиков абстракционизма — Жоржа Матье, Оскара Шнайдера, Оливье Дебре, — и у москвича волосы стали дыбом. Одна-единственная пылесосная композиция советского беженца была отвергнута Его Величеством Капиталом.

Неубедительно и слабо.

«Будь здоров, школяр!» (Булат Окуджава)

У новичка из Харькова были все данные: и материальные и духовные — для работы с капризным капиталом. Не коммунальный, а персональный телефон, приличное знание языков, высокая общая культура, прочное профессиональное положение, приятная наружность.

Советская нелегалыщина, разбитая на пестрые составные, нашла в нем ловкого распределителя, направлявшего доходные номера по назначению. Весь иностранный поток попадал в его распоряжение. Он решал, куда направить чехов, бразильцев, англичан. Первые выставки Э.И. Неизвестного в Польше были организованы с его помощью. Польский журналист Раймонд Земский и чех Арсен Погрибный паковали свои чемоданы в квартире Бруска.

На обсуждении памятной выставки четырех (1962) — Соостера, Соболева, Янкилевского, Неизвестного — в гостинице «Юность», где мне довелось быть, Брусок очень твердо и четко заявил народу: «Эти вещи должны висеть не в гостинице, а в Манеже». Через сутки четверку подключили к студии Белютина в Манеж.

«Свой свояка видит издалека!»

В 63-м Брусок закадрил оригинального француза. Сын французского коммуниста Поль Торез знал Москву как свои пять пальцев. Детство в зеленой Барвихе, где его отец скрывался от призыва в армию, пляжи Черноморского побережья, чай у Екатерины Фурцевой, водка у Никиты Хрущева, виски у Рады Аджубей. Французу хотелось встретиться с героями Манежа: один зажал Хрущу рот, другой — педераст, третий — фарцовщик, и ему выдали нужный адрес.

Победа света над тьмой!

Для французского издателя Поль подрядился составить путеводитель по матушке- Москве. Для такой операции он обложился пропусками в закрытые места, от Кремля до темных тупиков и барakov. Его сводником оказался Анатолий Рафаилович Брусиловский. Книжка вышла славной, красочной и полезной. Картинки и фото компоновал московский художник «Брусилов».

Эстет, полиглот, гастроном!

Враг или друг народа?

Дипкорпус, аккредитованный в Москве, конторы телеграфных агентств единодушно «поставили на Бруска» — артист по всем статьям подходил для цивилизованного контакта и знал всю подноготную темного, оппозиционного мира. Его образованная супруга стала почетным членом закрытого посольского клуба. Одевалась она у лучших кутюрье Франции и раньше, чем посольские дамы.

В 1964 году открылся первый в Москве салон с человеческим лицом, вскорости ставший знаменитым. Там

царили свободное творчество и доходная экономика, художественные выставки и литературные читки. Его украшали женские улыбки отборных красавиц — Регины Збарской, Милки Романовской, Галки Миловской. На неотразимый славянский шарм, как мухи на мед, полетели подданные британской короны, граждане Речи Посполитой и заокеанские ковбои. Человек гостеприимной культуры, Брусок царственно распределял иностранную клиентуру согласно цеховой солидарности. Одних сводил с чешскими аспирантами, а другим посылал доходных американцев со жвачкой в кармане голубых джинсов. Попасть в этот салон стало заветной мечтой фарцовщиков, лабухов и торговцев русскими древностями. Через диспетчерский пункт сводника прошли тысячи представителей мирового капитала, искателей новой эстетики и отбросов коммунизма, перечислить которых невозможно, но самых заметных необходимо увековечить. Это Георгий Костаки и Камилла Грей, Эрик и Саломея Эсторик, Польша Чеклоша и Ольга Карлейль, Нина Стивенс и Польша Торез, Дженифер и Виктор Луи, Дина Верни и Жан-Клод Маркаде, Никита Лобанов и Галя Махроva, Людмила и Генрих Шапиро, Ася Муратова и Франко Миеле, Жанна Никольсен и Мишель Рагон, Пегги и Дэвид Халл, Петер Шпильман и Рашель Соломон, Кристина Барбано и Микель Руджейро, Мелвин Левицкий и Макс Цимири, Карл Аймермахер и Ганс Людвиг, Альбрехт Мартини и Доминик Бозо, Ив Мишо и Жорж Мартен, Пауль Иоллес и мадам Томсон...

Я не упоминаю косяков поляков и чехов, бесчисленных Передних и Халупецких, Ламачей и Кукликов, Конечных и Дубровцов.

«На этих я смотрел сверху, как на родных якутов», — вспоминает былое А.Б.

Вы скажете, а куда смотрел brave угрозыск?

«Я его просто не замечал», — говорит А.Б.

Надо было оприходовать доходную иноземную массу, заработать на ней и покрасоваться широким жестом перед неуклюжими коллегами. Одних пригласить на иностранный коктейль с квартетом Алексея Козлова, к другим направить покупателя, третьих залить грязью.

Дружба народов в действии!

С появлением в Москве земляков — Крынского, Бахчаняна, Лимонова — литературно одаренный Брусок занялся и поэтическим авангардом, связав харьковчан с «барачными поэтами» Москвы — Холиным, Сапгиром, Кропивницким, Худяковым, Чудаковым, — и курировал их лет двадцать до легализации. Сложнее было с дикарями типа Путова, Ворошилова, Губанова — людьми способными и неуловимыми, но и они не выпадали из его поля зрения.

Поездку в братскую Польшу (1966) Бруску организовал писатель, бывший студент Литинститута в Москве Эдмонд Осиско (с псевдонимом Ежи Ставинский в прозе). Поляк был поражен совершенным польским языком советского друга и с восхищением показывал его везде, где можно. Отоварившись польскими гостинцами, образцовый советский турист вернулся в родные края, к жене и детям.

Как тут не зашаманить — о, сука-яма-мудазвона!

\* \* \*

В один светлый, весенний денек 1967 года в мою подвальную мастерскую постучались двое в черных плащах и с гитарой на плече. Я впустил неразлучных коллег.

«Слушай, — с ходу начал Брусок, — ты почему избегаешь наших выставок за рубежом? Я видел твои картины у австралийского посла — здорово, свое персональное лицо, присоединяйся к нам. Вот будет выставка в Италии, готовь картину».

«Старик, давай организуем вечеринку, — добавил бард Женька Бачурин, — сгоняй своих фирмачей, я поиграю и спою».

На вечеринку я согласился. Бачурин брэнчал и пел свои песни, ему хлопали приглашенные немцы, нелегальный поэт Генрих Худяков читал скучные стишки без начала и конца, и на этом собрания подобного рода прекратились. Я ничего не поимел с этого шумного сборища, кроме нагоняя участкового, заявившего, что я мешаю людям спать.

В 69-м Брусок вспомнил времена футуристов и раскрасил манекенщицу Галю Миловскую пестрыми растительными узорами. Присутствующие итальянские журналисты отсняли «перформанс» на пленку и тиснули в своем модном журнале.

По темной Москве пронесся слух, что Брусок изобрел новый художественный «изм», неизвестный на Западе.

Парижская галерейщица Дина Верни, взбаламутившая московскую нелегальщину, естественно, прошла через распределитель Бруска (1970) и двинулась по адресам, ей предоставленным.

«Я первый привел Дину и тут же направил на Шемяку и других» (А.Б.).

Он щедро сгребал всех в кучу, часто наспех: учителей и учеников, способных и бездарных, врагов и друзей. Дина пронеслась как тайфун, до основания разворошив брусковскую кучу, выдергивая из нее «своих» людей. После ее выставок в Париже (71-й, 73-й годы) на Западе иначе смотрели на артистическую оппозицию в России. Теперь выделяли смиренного Илью Кабакова и буйного питерского кабардинца Мишу Шемякина. Такого разбойничьего налета Брусок не ожидал от землячки из Одессы. Поляки и чехи были гораздо мягче и стоворчивей.

Одного парижского галерейщика Жана Шовелена он сделал миллионером. Парижанин по своему списку искал «забытые имена русского авангарда». Брусок знал



адрес забытого, но живого супрематиста Ивана Кудряшева, хранившего чемодан запрещенных абстракций на чердаке. Старик при словах «У вас будет выставка в Париже» вручил французскому жулику чемодан и облегченно вздохнул — осуществилась мечта жизни.

Брусок считал, что такая бескорыстная помощь укрепит его славу гуманиста, но просчитался. Француз вручил его жене пузырек одеколону и забыл поделиться огромной валютной выручкой.

«Да и друзья оказались суками» (А.Б.).

Британский коллекционер Никита Лобанов-Ростовский (светлейший князь, естественно!), посетивший студию Бруска (1974), заметил: «Самый культурный художник Москвы рисует эротические композиции, запрещенные советской цензурой».

В новой студии Бруска я был и картины видел. Две мясистые бабы, крепко обнявшись, бесятся на перинах. Смешанная техника, беспокойная манера письма с оглядкой на одалисок Леона Бакста. Выставлять такие сюжеты в пуританской Совдепии было запрещено, да и на Западе их показывали не всем.

Новое нелегальное поколение Москвы значительно отличалось от первопроходцев дипарта. Оно не опускалось до фарцовки с поляками, не стучалось в официальный салон, а шло на прямую конфронтацию с подлым режимом.

Летом 1974 года в мастерской Михаила Одноралова состоялась сходка нелегальных радикалов, названная ее участницей Ларисой Пятницкой «Ревкомом свободных выставок». Этот молодецкий «ревком» подготовил столкновение художников с бульдозерами, «измайловский вудсток» и серию выставок по московским и питерским мастерским. Оттуда выползли «мухоморы», «синие носы» и «злые собаки».

По складу своего смиренного, философского ума он не годился для баррикадных драк.

Брусок, со своей старомодной дипломатией, выпадал из острой игры, где заправляли сорвиголовы, или, как он их определял, «нахальные жидки, проходимцы и прохиндеи», — Комар и Меламид, Киблицкий и Оदनоралов, Пятницкая и Борух. К ним примкнули старички, которым нечего было терять, кроме грязного барака в поселке Лианозово. Авторитет сводника побледнел, но участия в авантюрных акциях он не принимал. Зрелый отец семейства предпочитал штатную работу на кинофабрике молодецким и опасным затеям маргиналов.

Правда, в 77-м его впутали в безобразное дельце с гравьюрами.

Эмигрант Шемякин окольным путем направил своему питерскому подельнику Женьке Есауленко пачку подписных литографий. Есаул кинулся в Москву на рынок сбыта. К прибыльному делу подключились подпольный поэт Святослав Лен-Епишкин и безработный сексуальный мистик Игорь Дудинский. Самостоятельные розыски денежных людей успехом не увенчались, и лишь Брусиловский согласился помочь с выставкой у себя в студии. Состоялся иностранный вернисаж без присутствия посторонних лиц. Что-то купили греческие дипломаты, а сводника неблагодарные компаньоны обвинили в мошенничестве и утаивании выручки.

«Вот сделай людям добро — будешь виноват во всем!» — говорит А.Б.

Участие в литературном и бесцензурном альманахе «Метрополь» (1979) с серией изысканных эротических рисунков — последний жест и сладость нелегального успеха — закончилось приводом в прокуратуру. Всем участникам, как бывало в старину, предложили одно из двух: ссылку в Сибирь или выезд за границу. Комсомольский писатель Вася Аксенов выбрал за границу. Остальные присмিরели на родине. До ссылки в Сибирь дело не дошло.

Говорят, что купец Савва Мамонтов для одной актрисы содержал целый театр, лет десять он кормил и выставлял

Михаила Врубеля, «тратил на его капризы огромные деньги» (свидетельство князя Сергея Щербатова). Меценаты нашего времени — танцор А.А. Румнев, студенты А.Г. Васильев, М.Я. Гробман и Вадим Столляр — за шедевры давали символическую бутылку водки, а лифтер Леонид Талочкин за картины выдавал черно-белые фотокарточки.

И Брусок собирал красоту. Со школьной скамьи, с пионерских значков и спичечных коробок. Обширные знания и вкус безошибочно определяли ценность вещи там, где профан и невежда ничего не видел. И в результате собралась куча всякой всячины: этнография, история, эстетика, утварь.

От коллекции до меценатства один шаг. На Русском Севере Брусок откопал в деревенском коровнике самородка наивного жанра по имени Гребенников и выкупил его живопись, утерев нос всем собирателям страны. Сработала традиционная практика мецената, если вспомнить всемирно известного торговца красками на Монмартре, папашу Танги, бравшего за тюбик кармина картину Ван Гога.

К лихорадке эмиграции, охватившей страну в начале 80-х, он относился с философическим спокойствием, но взбесилась его русская супруга, презиравшая русскую жизнь. Она забрала сына и улетела в Америку. Там она чуть не умерла от скуки, сидя у американского телевизора. Спасая блудную жену от американской тоски, Брусок кинулся на выручку.

«Я переправил всяких вещей миллиона на полтора, чтобы иметь запас на всякий случай там, и весь запас украли».

Жена вернулась к верному мужу.

Припадочная перестройка основательно потрясла нелегальный мир, перестроив иерархию подпольных ценностей. Банкиры и спекулянты, хлынувшие в Москву, как в золотой Клондайк, выбирали товар по своему усмотрению. Грязный чердак «мудреца» И.И. Кабакова особо привлекал парижских и немецких торговцев.

Дипарт незаметно слинял, как говно под дождем. Одни романтики подполья вышли на хорошие европейские доходы, а другие впали в нищету. Можно с хронологической точностью говорить о дате его смерти — 15 июня 1987 года. В парижской галерее с высоким коммерческим рейтингом советский академик Дмитрий Жилинский, вождь вечного реализма, сказал:

«Мы больше не воюем!»

И правда, через полгода в парижских галереях выставались нелегальные артисты.

Великим в России назначают!

Вот она, эра Калиюга!

«Общение с пьяноватым и глуповатым Эдиком Штейнбергом не слишком меня забавляло» (А.Б.), но, пытаясь переломить неприятную ситуацию, Брусок ввел в бой секретную артиллерию в виде Швейцарского банка (1986), и банк его предал. Вместо благодарности друзья по цеху — Булатов, Кабаков, Гороховский, — охмурив швейцарцев, залили грязью своего благодетеля и сводника Брусилковского.

Для меня остается загадкой, почему Брусок так старательно перегонял фирму с одного адреса на другой, заранее зная, что благодарности не дожждаться?

Его ответ мне — «из цеховой солидарности» — не убедителен и лишен смысла. От Неизвестного — как от козла молока, от Соостера — ничего, от Кабакова и Гробмана — тоже пшик.

Списки «великих» поручили составлять «хитрому бердянскому цадику» (А.Б.) Илье Иосифовичу Кабакову.

Сволочи, режут без ножа!

В 1988 году известный торговый дом «Сотбис» решил поработать с Москвой. Был составлен список официальных и подпольных авторов для публичной продажи их произведений. Чемпионами торгов стали никому не известные шрифтовики, тайком рисовавшие еврейские

звезды на кремлевских башнях. Какой позор — пригласить какую-то Беллу Левикову, а не знаменитого Брусиловского!

В коммерческую обойму московского авангарда Бруска не взяли, но он с достоинством вышел из щекотливого положения. Он атаковал Германию, сломавшую его дом в Одессе (1941), и она открыла кошелек. Квартирка в Кёльне, мастерская в Москве, покупатели в Европе и Америке. Взрослые сыновья при деле. Внук Никита Максимович — видный русский журналист. Счастливый дед принялся за поэтические и туманные мемуары в классическом стиле.

Эра распределения кончилась. Наступила эра бессмертия.

Как сказал дядя Семен Кирсанов, «Смерти больше нет!»

## 21. Подарки кабардинского князька

Притесняя других, мудрый делается  
глупым,

И подарки портят сердце.

*Екклесиаст, 7, 7*

4 ноября 2009 года в Московском Кремле, в обстановке вокзального размаха и официозного холода, при звоне медалей и шорохе мундиров, президент Российской Федерации вручил художнику Шемякину Михаилу Михайловичу, с 1971 года живущему на Западе, высокий орден Дружбы «за заслуги в укреплении дружбы народов» и за «значительный вклад в культурное развитие России». Медаль подобного типа — пятиконечная звезда из серебра с пучком золотых лучей — получили многие достойные люди, укреплявшие дружбу народов, но кто-то схватил и по блату, а какой-то негодяй демонстративно отказался от высокой награды.

В златоглавом Кремле, среди закованных в броню министров и генералов, появился человек в сапогах и черном картузе. Как посмел легкомысленный чужак заползти в святилище царей, бояр и пузатых вояк?

Шпион гуляет по Кремлю!

Братцы, куда катится держава?

Поговаривали, что этот нахал в картузе подарил русскому народу десяток бронзовых монументов, все привез и поставил. Наверняка не за свой счет, а за счет американской разведки. Знаем мы эти подарочки с ядовитой начинкой, нас на мякине не проведешь, мы врага определяем по запаху.

Награждение — не только медаль на грудь и под зад коленкой. Это особая, торжественная встреча с президентом, знакомство между собой под звон бокалов и официальное фото на память, много значащее для будущего. Художник Шемякин снялся с президентом в полувоенном мундире и черном картузе особого покроя, по мнению знатоков церемоний, неотъемлемой части его натурально-го образа — как, скажем, чалма у индийского мудреца.

Ох я и хохотал, глядя на эту пару!..

Кто же этот молодец в вызывающем черном картузе?

\* \* \*

Питерский писатель Володя Марамзин напросился в гости. Он искал новые парижские связи, явился с молчаливой женой, передал мне записки московских знакомых и поспешил к выходу.

«Кстати, ты выставляешься у Шемякина?» О шемякинской выставке я слышал впервые. «Старик, как так, я сейчас скажу Мишке, он отведет тебе лучшую стенку, ты же единственный “бульдозерник” в Париже!»

Марамзин не соврал, сказал, и Шемякин меня ждал.

Молодой двадцатисемилетний художник прилетел в Париж осенью 1971 года.

Подробности этого удивительного переезда с протокольной точностью описал свидетель и его богемный друг, поэт Кока Кузьминский (К.К.К.).

Коротенькая, полненькая пятидесятилетняя парижанка, и «вполне вдувабельная» (К.К.К.), появилась в Северной Пальмире областного значения по наводке художника широкого общественного диапазона Анатолия Рафаиловича Брусиловского. «Дина могла дать Мишке и Есаулу, но мне не предлагала», — разъясняет Кока. Где, в какой подворотне «давала» Дина питерским молодцам, не важно, но милицейский кортеж шел по пятам проказников, и «на нас гэбэ наехало, из “Астории” привезли, кому по почкам приложили, думали притон накрыть с наркотиками и бабами, а мне брюхо выбили, практикуясь в карате в ночь на 14 января 70». «Мишка на моих глазах 3 года дрожал», — добавляет К.К.К. «Ривка с Доськой (со мной не попрощавшись) по Дининому фиктивному приглашению тихо слиняли. <...> Год Мишка жил один (с фарцовщицей — “мамкой” Татьяной Шаповаловой), виделись по нескольку раз на неделе, а потом тоже слинял».

Что все это значит: «дрожал», «слинял», «тихо»?

Провожали его без обычных в таком случае буйных банкетов, тайком, в компании какого-то Сергея Усика «от Питера» и Ильи Кабакова «от Москвы». Улетал Шемякин в конце декабря 71-го года по особому приглашению знаменитой галеристки и остался в Париже навсегда, стал невозвращенцем, по советским законам врагом и предателем Родины.

Мистика русских душ!..

Знаком с ним я не был, но его произведения видел дважды. Раз в «академии» В.Я. Ситникова папку, набитую графикой, — подкрашенные офорты и рисунки черной тушью. Острые и содержательные иллюстрации к рассказам Н.В. Гоголя с твердой опорой на эстетику мирискус-



ников с их символизмом, стилизацией и театральностью, с культом «волшебной линии» в ущерб колориту.

Как ни сравнивай, а советская книжная иллюстрация была лучшей в мире и скончалась непревзойденной. В 60-х годах придирчивые редакторы «Лениздата» считали рисунки юного Шемякина недостаточно зрелыми для печати. Им казалось, что одного года академической подготовки маловато для профессиональной работы в искусстве.

«Вот бельгийские киношники на оставленные у меня (1964 год) шемякинские раскрашенные офорты в виде старых русских лубков не обратили никакого внимания», — горевал Василь Яклич Ситников.

Почему наезды питерского эстета в Москву не давали желаемого результата?

Почему Шемякин не вписывался в дипарт?

Эти красивые вещицы в арабесках просились не в подполье, а на витрину официального салона рядом с Билибиным, Нарбутом, Фаворским. Парадокс заключался в том, что петербуржец, отлично зная расположение дипарта — Ситников, Гробман, Кабаков, Щварцман, Рабин, — ломился не в те ворота.

В 72-м в Ленинграде, на квартире А.Д. Арефьева, его друга и наставника, я впервые листал каталог его выставки в парижской галерее Дины Верни. Вещи, не замеченные и не проданные в Москве, расхватывали зажиточные парижане. Вот воистину — хорошо яичко в пасхальный день!

Дашь деньги и славу!

По самым скромным подсчетам, выставка питерского диссидента принесла 300 тысяч франков выручки, но художник не получил и 30. Скромная жизнь, организованная галереей, мало прельщала удалого эмигранта. При беглом знакомстве с богатыми витринами легкомысленного Парижа и обширными владениями Дины питерская семья решила, что можно и нужно жить лучше и веселее. Они могли угостить человека пивом за свой счет, но хоте-

лось заказать бутылку шампанского, на пол бросить десяток персидских ковров и сидеть не на пластмассовых табуретках за 10 франков, а в кресле Луи Каторза за 100 тысяч. Метафизическая связь художника и галерейщицы портилась день ото дня. Бездушные «бабки» разводили замечательных людей для затяжной «холодной войны».

Несмотря на неизбежный разрыв с влиятельной Диной Верни, державшей своего художника на голодном пайке, Шемякин не потерялся на чужбине, как Слепян, Прокофьев, Титов, а сумел установить связи с галеристами и обзавестись почитателями его творчества, включая видных политиков Франции.

Жить — значит иметь!

Его успех в Париже неотделим от феномена А.И. Солженицына.

Боевой учитель из Рязани, Александр Исаевич Солженицын, своими лагерными романами растряс спесивый Запад. Политически острый, мятежный советский писатель с начала 60-х вступил в единоборство с советским атомным монстром, в 70-м получил Нобелевскую премию, вопреки протестам Кремля, а в 73-м парижские эмигрантские издатели выпустили его главную антисоветскую бомбу, капитальный «Архипелаг ГУЛАГ», разваливший коммунистические иллюзии западной интеллигенции.

Шемякин самостоятельно, без издательского заказа, сделал огромную серию иллюстраций к этой великой книге, выставил отдельными листами и сразу прославился. Парижане раскупили их в день вернисажа.

Его имя стало неотделимо от имени нобелевского лауреата.

«Солженицын русской графики», — правильно писали газеты.

Кирпич в руках Господа!

Художник возвысился и возгордился!

Просторная и больная держава в отлив «третьей волны» эмиграции бросала не только непокорных корифеев,

но и сорняки советской культуры, сотни незрелых и перезрелых артистов. Из таких отбросов в центре Европы образовался особый антисоветский лагерь блатного покроя, со своими ворами в законе, мужиками и придурками, совершенно несовместимый с ходом мировой культуры и лишенный товарной ценности.

Шемякин, укрепившись в парижской торговле, вошел в диссидентский аэропаг на правах нарядчика русских выставок, стал их видным авторитетом. Новоприбывший толкач советского нонконформизма, забубенный комсомолец и фарцовщик Сашка Глезер, вывез за границу шестьсот произведений разного калибра с намерением протолкнуть их в мировую культуру и хорошо заработать. Он предлагал подпольные картины, как продают березовые веники на базаре. Кооперация с Шемякиным сладилась без особых хлопот. И тот и другой мечтали покорить западный мир. План выступления «под Дягилева» продумали в секрете, подальше от провокатора Льва Нуссберга и прочих «независимых» типа Купермана, Злотника, Кульбака.

«Я не люблю Запада!» — постоянно повторял Глезер.

И вот ненавистник Запада в содружестве с популярным Шемякиным под вздохи цыганской гитары решили показать весь блеск советского подполья.

В конце 76-го Шемякин раздобыл выставочный зал в здании Palais des Congrès для показа подпольных достижений необъятной Совдепии.

\* \* \*

Иду по адресу.

85 Av. du General Leclerc, Paris-14

Вполне буржуазный дом, с просторным лифтом и высокими потолками. Двери открыл паренек с пронизательным взглядом. Облик средневекового мастерового —

очки в роговой оправе, длинные волосы под ремешком, хромовые сапоги выше колен, мускулистые руки. В нем нетрудно было узнать Шемякина по многочисленным фотографиям, расставленным в каталогах. Я вспомнил итальянца Бенвенуто Челлини и проникся уважением к мастерскому.

На подстилке просторного коридора, свернувшись калачиком, спала белая собака с красным носом. Бегала девочка с подушкой на голове. Женщина с острым подбородком издали кивнула. В одной совершенно пустой комнате пара тружеников что-то мусолила на бумаге, а в другой, на ветхом диване, спал козлобородый философ Володя Петров, за неделю до этого всучивший мне сломанный фотоаппарат «Зенит» за 200 франков.

«Ты опоздал, — лукаво ухмыляясь, сказал нарядчик Челлини. — Отдельные стены разобрали коллеги».

Я, опасаясь на выставке грабежа, попросил расписку за сданные четыре картины по 10 тысяч франков каждая. Он подмахнул на бумаге «о. кей» с тремя завитушками и протянул на прощание крепкую руку.

3 декабря 76-го года состоялся пьяный вернисаж этой коллективной выставки. Как повелось, артисты выясняли отношения в буфете, древний цыган брэнчал на гитаре, дочка Шемякина, получившая самую большую стенку, как угорелая носилась в толпе.

Утром в видной парижской газете «Quotidien de Paris», за подписью верного друга России Поля Тореза появилась статья под названием «Тьма есть тьма», где с особым остервенением шельмовался нарядчик выставки, его жена и дочка. Журналист обвинял Шемякина в плагиате у московского затворника Шварцмана, создавшего какой-то «мистический синтетизм». Приказ затравить и растоптать выскочку он получил от Дины. Узвленный артист, зная, где зарыта собака, подал в суд и процесс выиграл, но для этого потребовалось потрудиться. Он ловко расставил свои сети. Купленные за кружку пива шпионы и стукачи,

как навозные мухи, кишевшие в эмиграции, распространяли сплетни, что Дина Верни — воровка и кадровый разведчик КГБ и гестапо, Польша — жулик и знаменитый педераст, чему есть «масса свидетелей».

Момент дурдома и пастораль братской любви!

В том же, 76-м, году итальянцы решили свое венецианское болото под названием Биеннале разворошить руками парижских совков.

ГУЛАГ! Нонконформизм! Солженицын! — звучит!

Устроители шоу знали два-три русских имени и вдруг получили досье на сотню имен, причем центральное место занимала неизвестная группа «Санкт-Петербург», где числилось сразу трое Шемякиных — Михаил, Ревекка и Доротея. Они обратились за справкой к Дине Верни, и, естественно, вся группа, в том числе Шемякин, была исключена с венецианской выставки. Так руками итальянцев Дина расправилась с предавшим ее питомцем.

Диссидентское Биеннале, или «бздинале», как выражался Ситников, ублюдочно организованное, выявило не искусство высокого полета, а невиданные склоки и маразм русского диссидентства, совершенно невыносимые даже в советском захолустье.

Шемякин потратил кучу денег для фабрикации печатного фолианта под названием «Аполлон». Внештатный летописец русского андеграунда Петров, давний шемякинский холуй, день и ночь строчил статьи, вымарывая из истории искусства неугодных лиц. Чаще всего его убогие тексты содержали известное словечко «и другие», хотя другим был самый главный в списке, например, Лев Нуссберг! Альманах попал в СССР и был забракован. Художник Э.А. Штейнберг мне писал: «Какой-то Петров — основной автор этого журнала — всем своим знакомым раздает из окна по гениальности, как в чайной на станции Чухлома». Остатки великих князей и дворян в свою очередь учинили разнос самозваному «Аполлону»: «ниже нуля» (Зинаида Шаховская), «неви-

данная мерзость» (Глеб Струве), «неуклюжая попытка» («Русская мысль»).

Александра Дмитриевича Арефьева, или попросту Ареха, я узнал и полюбил, когда он заявился ко мне в 1967 году. Он привез превосходные вещи экспрессивно-го реализма.

«Все отдам Арману Хаммеру и ничего — большевикам», — хорохорился он.

Хаммер не купил, а картины разобрали безымянные иностранцы — шедевр за бутылку виски.

В 1972 году в Ленинграде, листая парижский каталог Шемякина, Арех размышлял: «Мишане там мучительно скучно без меня, надо выручать».

В 77-м, выдав себя за еврея, он вместо Израиля спустился в Вену, где его жена предательски сбежала в Германию. Как побитая собака, с чемоданом набросков и язвой желудка, Арех прибыл в Париж выручать питерского друга. Шемякины не пустили его ночевать. Обосновавшись в мрачном отеле для беженцев из Вьетнама, обиженный вождь питерского андеграунда решил утопить свое существование в вине. Он с утра ходил по знакомым и пил. 5 мая 78-го мне позвонил писатель Марамзин и сказал, что Арефьев умер.

Потершись в западном меркантилизме, Шемякин просчитал, что тяжелый питерский алкоголик будет для него тяжелым хомутом, и перед носом лучшего друга и наставника захлопнул дверь.

Легко читать мораль и вешать всех собак, но струсивший Шемякин не явился на похороны!

Это что? — Грубость? Подлость? Хамство?

Дружеские отношения с известным актером и популярным бардом В.С. Высоцким были довольно короткими, лет пять-шесть, но очень ценными для обоих. Виделись они всегда в Париже, где появлялся бард у знаменитой жены Марины Влади. Это был сердечный союз двух великих артистов, «колдуньи» Марины, ос-

новательно потускневшей бабки с внуками, и советского барда Володи, державшего в Москве любовниц с детьми. В Париже Шемякин и Марина сумели записать три диска песен Высоцкого. Это были не любительские кассеты для шоферов дальнего следования, а настоящие виниловые, профессиональные аранжировки с музыкальным сопровождением. Очень важный рекламный материал для гонимого барда. Марина Влади в своих мемуарах пишет, что художник спаивал певца, что очень сомнительно, если учесть, что матерый алкоголик Высоцкий был старше парижского друга и с опытом специальных лечебниц.

В эмигрантских кружках поговаривали, что М.Ш. ищет контактов с масонской ложей, предлагает им выставку и дары, но постепенно сплетня сникла, и выставки в единственной, дышавшей на ладан, русской ложе никто не увидел.

79-й год был не менее пышным на юродство и склоки, и Шемякин снова нашел возможность лягнуть Дину Верни и ее мнимых сообщников на выставке в Германии (музей Бохума). С появлением в Париже Оскара Рабина (1978), самого главного нонконформиста Москвы, Шемякину стало тесновато в русском лагере, он автоматически сложил корону «Солженицына искусства» и попал в неприятную западную фининспекции.

Очень глупо повел себя друг его мятежной юности, сибиряк Зеленин. Он сдуру ляпнул общему маршану, что главный в «мистическом реализме» он, а Шемякин — его последователь. Узвлненный коллега круто расправился с претендентом, выдворив его из галереи.

Один раз бывшие разнорабочие «Эрмитажа» при финансовой поддержке и участии Шемякина собрались вместе (1980) — мистик Олег Лягачев, «казачки» Петроченко, Макаренко, Есауленко, — но на фоне модного европейского концептуализма выглядели таким пыль-

ным анахронизмом 1909 года, что без промедления рассыпались после единственной выставки в Доме престарелых артистов.

О, Россия, страна снегов и маразма!

В Париже он разыгрывал изгнанника: советский артист — жертва нечеловеческого режима, узник совести и гонимый рисовальщик.

Вперед, за океан!

Удирая в Америку, «Паганини рисунка» — новый титул М.Ш. — обеспечил себе парижский тыл. Галерея Altmann Carpentier аккуратно соблюдала его интересы, постоянно продавая работы на выставках и аукционах.

Женская половина семьи отправилась в Грецию, а сам должник, прихватив собаку с красным носом и рабочий стол, улетел за океан, в Нью-Йорк. Первое время пришлось обживаться и обнюхивать буйный город. Там он снял квартиру-лофт в модном Сохо и приготовил ряд выставок в Англии, Японии, Бразилии и Калифорнии.

Несмотря на коммерческий успех, он не считался актуальным артистом. В Нью-Йорке славилась иконы ино-го пошиба — Шнабель, Харинг, Баскиа — под покровительством «гуру» поп-арта Энди Уорхола. Попасты в этот заповедный круг, в большую игру мировых «измов» с питерскими карнавалами и незнанием языка аборигенов было невозможно.

Русские обитатели Нью-Йорка значительно отличались от парижских диссидентов. Люди группировались в одном месте, в районе Брайтон-Бич, или «маленькой Одессы». Квартиры, рестораны, театры. Повсюду пестрели вывески с очень выразительными именами: Фаина Комиссар, Эдик Хачатуров, Моня Эльцин, Рустам Садыков, Леня Абелис, Вовик Смертенко. Оттуда поступали заказы на красивое оформление гробов, могил, одежды и причесок. Шемякин поселился подальше от беспокойных земляков, но в пору загула всегда был там с верными оруженосцами Женькой Есауленко и Генкой Парфенюком.



Он держит некоторую дистанцию с русским искусством, где определились свои чемпионы — Нуссберг и Некрасов, Комар и Меламид, Тюльпанов и Косолапов, Бродский и Довлатов — с давкой и дракой у кормушки американца Нортон Доджа, имевшего дела в далекой Совдепии. Там же кормится Глезер со своим диссидентским музеем, таксист Эдик Нахамкин, закупающий те же произведения, и дантист Роман Табакман, продающий их же.

«Там все ссучились!» — выразительно и откровенно язвил Глезер.

Располагая значительными средствами, заработанными тяжким трудом художника, Шемякин постепенно увлекся скульптурой, мистикой и философией, собирая книжки на эти дремучие темы. Появилась новая подруга жизни, Сара де Кей, изучающая русский фольклор. Весь длинный американский период походил на холодную, дождливую погоду без проблеска света. Тягучий и монотонный быт, казалось, никогда не кончится, как вдруг, как гром среди ясного неба, грянула советская перестройка, а с нею новые жизненные перспективы.

\* \* \*

Фальсификация биографических данных — национальный русский спорт.

Уголовники, революционеры, артисты — все старательно исправляют даты и мифы, и Шемякин здесь не новичок. В 88-м, перекраивая свою биографию, сын перегнул палку, восхищаясь отцом, командиром Красной армии. В послужном списке командира оказались необыкновенные данные. Папаша знал о своем мусульманском происхождении: Файзулла Карданов из Кабарды, но предпочел сохранить фамилию приемного отца Петра Шемякина, офицера Белой армии. Сын утверждает, что в 9 лет

его отец перешел к большевикам, а в 13 совершил необыкновенный подвиг, разрубив противника от плеча до седла, и получил высшую награду Советской республики, орден Красного Знамени, — факт чрезвычайный и подтвержденный музейным документом. Затем второй орден, а где это могло быть: на Кавказе, в Туркестане, в Монголии? Мировая война застала храброго рубаку на польской границе. Никто не знает, где герой женился на актрисе Юлии Предтеченской и когда родился сын, в 1941 или 1943 году. Предположим, 4 мая 43-го, в Москве, в разгар великой войны, и был назван в честь боевого отца Михаилом. Судя по рассказам однополчан, бравый капитан состоял в дивизии знаменитого генерала Льва Доватора, отогнавшего немцев от Москвы.

Папа — военная косточка, лихой рубака Красной армии, шесть высших советских наград, представлен к седьмой, но ее затерли бюрократы. «Я добьюсь, чтобы отцу восстановили орден», — твердо заявляет М.Ш. Естественно, любимый отец должен быть первым героем страны, оставляя позади прославленных красных маршалов Блюхера и Буденного.

Не следует забывать о занятой биографической странице художника — десятилетия в оккупированной Германии, куда в 45-м назначили старшего Шемякина комендантом, сначала во вдребезги разбитый Дрезден, а затем в стертый с лица земли Кенигсберг. Жена и двухлетний сынок (осторожно, мадам, не простудите ребенка!) последовали за ним. Там Миша пошел в детский садик, там просидел семь лет за школьной партией, там родилась сестрица Татьяна.

«У меня не было детства, — вспоминает М.Ш., — были пьяные дебоши отца, крушившего кавалеристской шашкой все вокруг, — вот все, что я помню».

Герой войны пил и буянил, рубил не головы немцев и поляков, а кочаны капусты, пугая жену и детей. Эта постоянная пьяная рубка закончилась разводом. Юлия Никола-

евна не нашла театральной работы в Ленинграде, а только комнату в густонаселенной коммуналке. Способного к рисованию Мишку мама пристроила в школу одаренных детей на полное обеспечение, с питанием и общежитием, а сама завербовалась в далекий провинциальный театр. У Мишки началась беспокойная богемная жизнь с неписаными правилами и нелегальной субординацией. Кружком, куда попал впечатлительный юноша, коноводил опытный уральский шарлатан Эдик Зеленин, искавший известности в искусстве. Его, как тени, сопровождали одаренная Танька Кернер, Миша Шемякин и поэт Олег Григорьев. Они следовали его крамольным советам деформировать строгую академическую форму — пугливому начальству школы такое безобразие казалось опасной крамолой, и смутьянов попросили покинуть учреждение. Зеленин уехал покорять Москву, а кружок юных искателей оказался в руках тунеядца и пьяницы Сашки Арефьева, уже отсидевшего в тюрьме срок за торговлю наркотой собственного изготовления. Коллеги постарше — Володя Овчинников, братья Лягачевы — мечтали о великом будущем и хулиганили в живописи по-своему, подрабатывая на жизнь разгрузкой и упаковкой сокровищ «Эрмитажа». Их опыты не выходили за пределы «декадентов» из «Мира искусства», и дирекция музея позволила показаться публично. В этой группе сразу выделился Шемякин оригинальностью и новизной пастозной живописи. Мастерство он постигал самостоятельно, изучая музейные шедевры с карандашом в руках. Картинки Шемякина заметил композитор Игорь Стравинский, навестивший родной город в 1962 году.

«Я провел три дня с ним и с его женой Верой Судейкиной. Свои картины я ему не продал, а подарил. Стравинский обнял меня и сказал: “Вы знаете, с кем эти работы будут висеть рядом в моем кабинете? С моими любимыми Пикассо, Леже и Руо”».

От красивого свидетельства Шемякина можно проследиться, и оно верно освещает атмосферу того времени, когда подпольные живописцы, оглядываясь по сторонам, встречались с иностранцами в подворотне, чтобы бесплатно всучить им свои крамольные каракули.

Шемякин и Стравинский!..

И звучно, и красиво, и перспективно!

Здесь так называемая «питерская» связь. Объяснить эту линию в эпоху глобализации искусства совершенно невозможно, но попробую.

Триста лет шла невидимая вражда двух русских столиц, петербургской строгой, имперской «графики» и московской купеческой «живописи». Сейчас это противостояние кажется историей допотопных динозавров, но ее живучесть зависит от географических пристрастий человека и остается явлением специфически русским.

Ах, этот Петербург!..

Что же там творилось в 60-х годах? Если грубо, то ничего особенного! Глухая провинциальная дыра. То, что делали в стол самые радикальные Михнов, Виньковецкий и Дышленко, было ошметками большой американской школы экспрессионизма.

Системы сдачи — никакой! Галерей и музеев нет, о ярмарке искусств никто не слышал. Охота за фирмачом, чаще всего финном, приезжавшим за дешевой водкой, кончалась приводом в «мусорную» на Литейный, 4 и «спецучетом» в органах безопасности.

Питерские искатели истины и новизны один за другим тянулись в «купеческую» Москву, где открылось благодаря греку Костаки жалкое подобие «иностранного рынка». Кое-кто сводил концы с концами, приторговывая с дипломатическим корпусом, аккредитованным в столице Совдепии, остальным было трудно пробиться на казенную кормушку и на капли дипарта.

Француженка Дина Верни отличалась большой финансовой хваткой и эклектикой художественного вкуса.

Она выставяла наивный примитив и геометрию, сюрреалистов и фотографов, включая русских по симпатии.

В Москве 69-го года уроженка былой России, как все приезжие иностранцы, вышла на культурного художника широкого профиля и красная общественно-темпераментная — Анатолия Рафаиловича Брусилковского. От него шли тропинки в социально близкие места: в кружки Гробмана, Рабина, Кабакова, Нуссберга. Выходом на ленинградский кружок Шемякина — «единственного профессионала и, по большому счету, художника», по словам его друга К.К.К., — она обязана московскому гуманисту Брусиловскому.

Гуляем, господа, все вздор!

Посещение парижанкой питерских авангардистов походило на полицейский роман с любовной начинкой. Он продолжался с переездом семьи Шемякиных в Париж, для чего почему-то потребовался развод супругов, потом десять лет бесконечной склоки с галерейщицей.

О шемякинских успехах можно судить по многочисленным выставкам и галерейным ценам, прыгавшим в зависимости от финансовой политики рынка сбыта. Видно по всему, М.Ш. не голодал и галеристы не забывали с ним рассчитывать. Американский континент со всеми гавайскими островами, где он тряс денежные мешки, оказались отсталыми и снобскими странами. Русский художник всех нью-йоркских новаторов забраковал огулом как бездарных жлобов, лакеев капитала, недостойных внимания. Надо было потолкаться в неприступной и гордой Москве, да и родной Питер еще не был завоеван. Там начинался невиданный культурный расцвет, и надо было поспеть туда первым.

Он внимательно следил за политическими переменами в СССР и в 1987 году почувствовал, что настал его час, пора появиться на исторической родине. Поскольку Россия — страна особого покроя, где самые простые вещи имеют таинственный и многослойный смысл, скажем, не-

желательная встреча с советским журналистом, назначенным в Америке вчера, желательна сегодня, а что будет завтра, покажет время.

Кадровый международник Иона Андронов колесил по миру, как по собственному дому, с карточкой представителя «Литературной газеты». Что-то вынюхивал в Афганистане, где застряли советские военнопленные, легко шел на встречу с самыми свирепыми антисоветчиками и однажды напоролся на замечательного эмигранта Шемякина, угостившего его в кабаке за свой счет. Парень искал верные контакты с новой Россией и мечтал туда въехать по-человечески, то есть на белом коне, как его папа-герой в Берлин, а не по-жлобски, на унижительных четвереньках, как эти эмигранты-слабаки: Синявин, Голецкий, Клевер, Горюнов. 15 апреля 87-го года Андронов тиснул в «Литературке» заметку с интригующим названием «О русском из Нью-Йорка и еще кое о чем». Там в роли положительного героя русской диаспоры изображался известный русский художник Шемякин, страдающий по горячо любимой родине, где никто не видел его замечательных произведений.

«Меня сочли врагом соцреализма, — говорил М.Ш., — но это не верно. Мне нравятся лучшие полотна Иогансона и Герасимова, а особенно я ценю Лактионова... Сам же я был и остаюсь до конца русским художником».

Андронов пишет: «Свыше сорока цветных литографий Шемякина уже приняты от него с благодарностью сотрудниками ленинградского Русского музея и ереванского Музея современного искусства».

Был устроен эфемерный круглый стол в поддержку антиалкогольных реформ М.С. Горбачева, а в Кремле присмотрелись к финансовым возможностям этого мероприятия. Конечно, Запад — не совершенная машина, но возвращение в советский дурдом художника, крепко стоящего в профессии, озадачило абсолютно всех эмигрантов.

Ложный географический зигзаг или поход в подлинный мир искусства?

Бывший питерский туняец, к своему величайшему удивлению, вскорости получил приглашение из высших учреждений Советского Союза — Академии, Союза художников, музеев!

Удивительный улов, новая страница жизни!

Потрясающий факт: три неприступных монстра советской цивилизации добровольно стали раком. Правда, эти суки нуждались в таком говне, как деньги, и получили эти ничтожные 25 тысяч долларов — в самой унижительной позе. В 1989 году в голодную страну без хлеба и соли и с пустыми прилавками явился американский даритель Михаил Шемякин.

Это была личная и большая победа бывшего питерского разнорабочего. Значительный общественный резонанс, межэмигрантские склоки, суды и пересуды. К сожалению, наступление быстро пожухло, растянувшись на длинные годы, потеряло свою остроту и смысл и уже походило на отступление, но об этом ниже.

\* \* \*

Престарелый академик «из питерцев» Дмитрий Сергеевич Лихачев был приставлен кремлевскими звездочетами встречать и провожать земляков с того света. Он выдавал медали и грамоты самым глумным и настырным, таким как барон Фальц-Фейн, за свой счет искавший по миру пропавшую «янтарную гостиную» русских царей, или князь Никита Лобанов-Ростовский, за свои трудовые деньги скупавший театральный реквизит С.П. Дягилева, а теперь награждал Михаила Михайловича Шемякина за особые заслуги перед отечеством. Если не считать задатка наличными и кабаков, русский народ получил от него в дар шестнадцать больших картин, каждая по оценке эк-

спертов в 50 тысяч долларов. В знак благодарности щедрому дарителю вручили от имени народа гвардейский значок с красным вымпелом и титул князя Кабардинского. Мало этого, питерский горсовет обещал два квадратных метра священной земли для установки статуи великому основателю Петербурга, царю Петру Алексеевичу Романову.

Крутой поворот советского авантюриста заметили западные советологи. Французы писали в известной газете «Монд»: «Гигантские и на редкость бездарные картины Шемякина выставлены в советском бараке наподобие немецкого Кунстхалле, а было время в 1971 году, когда молодой художник показал в парижской галерее Дины Верни с любовью сделанные фантастические картинки».

Чувствуется вражеский укол.

Академическая критика России устами фрондирующего патриота Ильи Глазунова высказалась: «Работы Шемякина — это неумелые опыты психбольного человека».

Может быть, обласкали братья-авангардисты?

«Вот держу каталог выставки “Искусство Петербурга 50—80-х”. Меня там просто не существует», — с горечью изрекает художник.

«Как так? — спросит просвещенный гражданин. — Шемякин — существенная часть питерского андеграунда, вожак артели “метафизиков”». Справедливое замечание, но в пользу бедных. Эмигрант с валютой и без нее — всегда неприятель, двурушник, враг!

Платить и дарить мало. Ты, бля, понюхай наше родное дерьмо, хлебни народного горя, выпей и поплачь с народом. Ты дрался на баррикадах Москвы или загорал на гавайском пляже?

Ясно дураку, Россию надо сечь, а не гладить по шерсти.

Не будем спорить и гадать, когда художник лучше рисовал, но его патриотический пыл не убывал, а поднимался, как тесто на дрожжах.



«Я сын советского офицера, я сердцем и душой принадлежу своей стране, я русский художник до конца», — бубнил он всем газетчикам.

Очень трогательное заявление, никто не запрещает быть таковым, но где валюта?

Поимел великую державу, отдохни в Калифорнии, нет, он тащит по кускам бронзового императора в голодный город на Неве.

«Не сотвори себе кумира», — говорит Святая Книга.

Россия по количеству идолов и кумиров превосходит все страны мира. Были времена, когда их бросали в речку, но идолопоклонство поднималось снова, и с такой силой, что работы хватало всем ваятелям страны. Шемякин, тридцать лет просидевший в цитадели мирового капитализма, свято сохранил эту пещерную традицию.

Любимый Петербург получил от него статуи в полмиллиона долларов, но русские рабочие перепились и все переломали. Пришлось открыть валютный кошелек еще раз и пригласить непьющих финских мастеров.

Казалось бы, одарил великую Россию, валяй к себе в Америку — нет, увлеченный артист опять спешит туда, где «грязные трактиры и мрак невежества» (Н.В. Гоголь).

Оставалось существенное утешение — значок и титул. По этому поводу мазохист устроил банкет на Брайтон-Бич, в кабаке «Приморский». Яркая концертная программа, прекрасный оркестр под руководством Хаима Конатора, поет Миха Гулько, обильное угощение, танцы до утра. Кавказский центр наградил новоиспеченного кабардинского князя Михаила Шемякина Карданова-Черкасского почетной грамотой.

В марте 1992 года по фальшивому дипломатическому паспорту за океан нагрянул настоящий хозяин широкого русского размаха Славка Япончик. Он быстро навел порядок в Америке. Дураков, качавших права, замочил в сортире, одесских жуликов с Брайтон-Бич обложил револю-

ционным налогом, безработных черкесов и кабардинцев поставил в почетную охрану с кинжалами в зубах; в дома терпимости завез бесплатные гондоны, спасая население от СПИДа; рабочие получили фабрики, а крестьяне — землю, интеллигенция — кабак «Русский самовар», где самый главный поэт Иосиф Бродский читал стихи. Народ пил, жрал и танцевал до утра. Знаменитый бизнесмен обратил внимание на запущенные изящные искусства. Если верить газете «Нью-Йорк таймс», к пропаганде российских талантов Япончик приставил тюремного братка по имени Феликс Рувимович Комаров, эстета с большим опытом работы с трудными артистами. Для такой благородной цели сняли приличное помещение в логове мирового капитализма, на Fifth Avenue, назвали торговую точку Мировым центром российского искусства. Там повесили самых видных артистов вселенной: Неизвестного, Рабина, Целкова, Купермана и, естественно, первопроходца Шемякина, для творческого разгона получившего от Центра миллион долларов.

«Великолепное было время, — вспоминает бывшее парижанин Олег Целков, — наличные привозили чемоданом, знаешь, такой элегантный, черный с цепочкой — оторвать только с рукой».

Воспрянувший духом князек стал «шевалье искусств» во Франции, почетным доктором пяти главных академий мира, лауреатом разных премий, но в 1995-м какой-то полицейский ублюдок, страдавший манькой величия, обнаружил у Япончика фиктивный брак и поддельные водительские права, на лапу, гад, не взял, и хозяину пришлось сесть на три года и править картинками, кабардинцами и гондонами из гнусной американской тюрьмы.

Какие «тамбовцы» или «питерцы» побеждали в Кремле, история молчит, но в Америке настал глубокий духовный кризис — смерть с перепоя верного друга и помощника Есаула, ловко месившего глину для статуй, и проклятые долги за глину, бронзу и дрова.

С Сашкой Глезером князек не раз цапался по мелочам — подарит ему холст, а тот, не моргнув бесстыжим глазом, тащит его на продажу. В 92-м перед тем, как отчалить на горячо любимую родину, Глезер распродал весь так называемый «музей в изгнании», в том числе и картины Шемякина.

Бывший комсомольский поэт и собиратель подпольного искусства, человек с узким культурным кругозором, но горячий и откровенный, постоянно твердил «Ненавижу, ненавижу Запад» до тех пор, пока его не вытолкнули на Восток. Кабардинец, пораженный низостью своего напарника, решил его публично высечь, но не учел хитрожопых владельцев газеты, презиравших эмиграцию в любой ипостаси. В 96-м патриотически настроенная «Независимая газета» охотно поместила полемику двух чудаков без определенной прописки в культуре. Открылось настоящее полицейское досье с примесью мифических персонажей, какого-то «дяди» Олега Березкина, дантиста Табакмана и художника Соханевича, в 67-м переплывшего Черное море на резиновом матрасе.

Князек крохоборски требует: «Паскуда, отдай картины!» Сутяга Глезер упирается: «Говнюк, не отдам!» — и тут же подтягивает на выручку «порядочных людей».

«В 92-м на вернисаж огромной персональной выставки Шемякина в галерее Le Monde de L'Art в Париже, — толкует Глезер, — не пришел ни один известный наш художник: ни Штейнберг, ни Янкилевский, ни Кабаков, ни Булатов. Никто из порядочных людей, знающих Шемякина давно, не хочет иметь с ним дела».

Только непонятно, почему «порядочный» Штейнберг должен идти на выставку?

Раньше статуи ставили на высокий пьедестал, подальше от собак, вору и хулиганов. Шемякин, как все ваятели современности, поставил памятник строителям Петропавловки на траву, и ночью русские вандалы распилили бронзу на куски и сдали в утильсырье. Третий

дар, памятник советским зэкам в виде лежащего сфинкса, ждала та же участь, его увезли в неизвестном направлении.

И чем больше он одаривал страну негодяев и бесов, тем наглей она становилась. Одна сука с ужасным именем Танька Деготь публично заявила, что она не возьмет его, князя Адыгеи и Кабарды, в свое светлое будущее. Да как она посмела, мандавошка, заикнуться о такой недоступной ее гнилым мозгам перспективе, почему ей в колыбели не замазали пасть дегтем? Находились вшивые и гордые неудачники, не желавшие срать рядом с Япончиком. Да кто, когда и где, в каком парнике вырастил таких чистоплюев?

Подобная шелупонь ставила палки в колеса и отравляла жизнь.

Уголовного стиля новой России приезжий артист просто не мог усвоить, даже если ты с мэрами на дружеской ноге. Вспыльчивый князек много работал, дарил, а неблагодарная Россия не упускала случая натравить на него вандалов и не купила ни одного рисунка!

Подумать только, эти музейные сволочи не считают его за художника!

А новые гастролеры с грин-картой в кармане — Брускин, Дышленко, Пролецкий, Африка, — зубастые и наглые совки без всяких комплексов трясли западных богачей, не думая о многострадальной родине.

Шемякин не забыл и родной кабардинский край. На встречу с земляком из Америки согнали 15 тысяч потомков Чингисхана, всех князьков Кабарды и Адыгеи. Супруга Шемякина, знаток русского фольклора Сара де Кей, с волнением сказала: «Миша, они все похожи друг на друга, а ты на них!» Народ охотно танцевал, пил, ел шашлык, клялся в вечной любви и вручил приезжему гостю шапку, саблю и коня.

Живописный кавказский прикид! Отличное фото для рекламного плаката!

В 98-м комаровский «мировой центр» слинял с буржуазной улицы Нью-Йорка, раздарив картины русским музеям. Недовольные артисты во главе со штыковым бойцом Неизвестным пытались поймать его за карман, но след неуловимого директора простыл в заоблачных высях.

\* \* \*

В искусстве театральной декорации русские первенствовали с подачи великого Сергея Павловича Дягилева. Какие таланты он вытащил на сцену в далеком 1909 году: Рерих, Головин, Коровин, Бенуа, Бакст, Ларионов, Судейкин, Челищев!

В дружеском общении Шемякина со звездами театрального мира — Рудольфом Нуриевым, Мариной Влади, Владимиром Высоцким, Мстиславом Ростроповичем — разговора о декоративной работе в театре не возникало, Гран Опера, Ла Скала, Ковент-Гарден ничего не предлагали, хотя в театрах шли прекрасные карнавальные постановки. В Нью-Йорке он начал переговоры с балетной труппой Барышникова, но они заглохли в самом начале. Лишь в 1999 году хозяин Мариинского театра Валерий Гергиев позвал поработать над сценографией «Шелкунчика» на обновленную музыку П.И. Чайковского. Шемякин, любивший и Гофмана, и Чайковского, с увлечением принялся за дело, не заключая никакого письменного контракта. Несмотря на постоянные склоки с балетмейстером, кричавшим о тяжести нарядных костюмов, спектакль вышел славным триумфом сценографа и танцоров, пошел во всех театрах мира, но гонорара Шемякин не получил! Оказалось, в бухгалтерии театра он не числился в штате, а словесный договор с дирижером не считался документом. Москву он одарил большой сюжетной композицией «Дети — жертвы взрослых». Скульптуры

поставили без пьедестала, бомжи быстро их обосрали, и пришлось бороться за установку непроходимой ограды вокруг монумента.

Денег на установку забора не последовало.

«Денег в государстве нет!» — заявил самый главный в Кремле.

Вон из дикой Москвы!..

Да здравствует русская глубинка!

Самара! Сибирь! Кабарда!

Вот где непочатый край талантов, вот где тебя поймет простой и сердечный народ.

В 2007 году супруги Шемякины приобрели поместье во французской глубинке. Роща, поле, речка, архитектура смешанных времен. В двух местах протекает крыша, древняя канализация нуждается в починке, но их легко исправить и превратить поместье в дом творчества Кабарды, однако кабардинцы предпочли строить себе сакли в долине Эльбруса, а не исправлять канализацию на французской территории. Потомки Чингисхана оказались на редкость прижимисты, клятвенно обещали исправить дом, но попросту лажанули князька.

Сегодня, чтобы стать знаменитым артистом, не обязательно рисовать карандашом или красками. Достаточно ошеломить банкира гениальной идеей, и ты знаменит на весь мир.

М.Ш. считает, как все традиционалисты, что надо уметь рисовать если не человеческую голову, то глиняный горшок. Почтенный взгляд на изобразительное искусство. Линия вечного реализма. Проверено вековой традицией.

Для искусствоведов Шемякин — сюрреалист, модное направление 30-х годов, в 70-х ставшее музейной классикой, далекой от злободневности.

Крупный академик неоклассицизма Дмитрий Жилинский (суровая школа Павла Корина!), гуляя по Парижу, напоролся на витрину с Шемякиным.

«А это что за каракули? — удивился он. — Человек совсем не умеет рисовать, а выставляется... ну, на Западе докатились до полного маразма!»

Классификация искусства не мой жанр, но с первого взгляда бросалось в глаза неумение Шемякина рисовать все тот же злополучный горшок. А когда он берется изображать одну фигуру, реже две, в простой фронтальной композиции, то они качаются, как набитые ватой тюфяки, нарочитая литературщина лезет из всех дыр, и лихая деформация в виде арабески не спасает изображения от художественной пустоты. Это беспомощное рисование заметил профессионал многофигурных композиций, прямой перспективы и точного мазка — Д.Д. Жилинский. В его клубе Шемякин — чужак и самоучка.

Во французском языке есть чудное, короткое слово «фу» — сумасшедший.

А не «фу» ли Шемякин?

Так и крутится князек с дарами своего искусства, не зная, куда приткнуться.

«Ну что, брат Путин?»

А не купить ли нам саклю с видом на Эльбрус?

Попытаюсь добыть денег.

## 22. Дурдом гонимой культуры

Я комментирую чужое творчество.  
*К.К. Кузьминский*

Рабочий армянского магазина Котляров, по кличке Толстый, привез из Америки рукопись с намерением издать ее, заработать и прославиться не в качестве чернорабочего, а открывателя новых литературных талантов.

Шел 1983 год. В Париже распускалась весна, магазин готовил ударную выставку под заманчивым названием «Эротика», художники вместо зимней водки пили весенний портвейн, закусывая свежей клубникой. Под россыпью ягод, среди машинописных листов я разобрал странное название «Хотель цум тюркен», обрамленное красной рамкой. Полистал и удивился содержанию.

Коллаж всевозможных полиграфических шрифтов напоминал опыты дадаистов и футуристов, но свежий и горячий сюжет — быт советской эмиграции в одной, от-



дельно взятой венской гостинице. Автор перетряхивал русское правописание и пунктуацию, срезая заглавные буквы, как шапки у подсолнухов, глаголы и подлежащие летели, как щепки под топором, гласные он дергал как сорняк на грядке, согласные собирал в яркое и неизвестное словцо, точки, запятые и прочие знаки препинания разлетались, как мухи над навозной кучей.

Глава называлась «О деликатесах», и читал я не отрываясь, удивляясь и восхищаясь писательским мастерством. Остроты и каламбуры вперемежку с народным лексиконом, называемым в ученом мире «ненормативным», густо сыпались со всех листов.

«По части всеядности человек сравним только с одним животным, а именно со свиньями».

И понесся по «анчоусам и сырам каприз де дье, пахнувший конюшной», по сибирякам, «понимающим толк в деликатесах, — спирт аптекарский (или питьевой, если чудом случится, а то больше тормозуха) крошеным мухомором с голубикой закусывают, строганиной из нельмы мороженой» — тут и «иосиф сталин — самый лучший в мире паровоз», и «на брюхе бродит вошь и песенку поет». «Торговали тут же, в номерах, божились и били себя в грудь, переводя советские рубли в австрийские шиллинги».

Казалось, автор с остервенением кромсает слова, чтобы погубить русскую грамоту, а они у него сходились гармонически в один замечательный, веселый хоровод.

Имя сочинителя удивительной гастрономической прозы — не XVI век, не Франсуа Рабле, а Константин Кузьминский, и не знал его только последний скобарь. Поэт Леха Хвостенко, сменив свой Питер на Москву, все уши прожужжал: «В Питере есть один локомотив — Кузьминский». Кинет Нуссберг: «Локомотив Костя — наш человек». И питерские эмигранты в Париже: «Ну, старик, этот локомотив живет, не вылезая из постели!»

И я сразу представил постельное логово в виде Кавказских гор, а вот куда и что тащил локомотив, понятия не имел. В армянском подвале, под россыпью клубники человек сразу открыл свои локомотивные возможности, и поставил я его на самое высокое писательское место.

Через год или полтора рабочий Толстый своего добился. Появился первый номер журнала, разрисованный пестрыми узорами невозвращенца из Минска Коли Павловского, затем второй, оформленный коллажами Вагрича Бахчаняна. Назывался он по-испански «Мулета», издатель величал себя матадором, а участников издания — бандерильерами. Роман Кузьминского размещался на парадных страницах двух номеров. Из краткой биографической справки я узнал имя и отчество питерского локомотива — Константин Константинович, — год рождения (1940, Ленинград), в эмиграции с 75-го (Вена, «израильский вызов»), с 76-го — Америка и пять лет Техасского университета, затем переезд в Нью-Йорк — год 81-й, не указано местожительства, на момент составления анкеты (1983) — какой-то «подвал» на Риге Парковой.

Этот К.К.К. — составитель «Антологии новейшей русской поэзии у Голубой лагуны».

Мне довелось держать все девять томов этой антологии — настоящий архипелаг русской культуры. Ничего подобного раньше издатели не производили. Этот памятник походил на картину Павла Филонова, лучший образец мирового структурализма, — огромный автопортрет, коллажем сбитый из гармонических частей: подполье и власть, цензура и книги, Питер и Москва, Бродский и Ахматова, народ и колбаса, живопись и поэзия, чужбина и ингуш, кинеты и нимфетки.

После второго похода в Америку издатель вернулся порожняком — ни стихов, ни романов. На мой вопрос, почему нет поразительной «рубленной прозы», К.К.К. — матадор — отвечал: «Клеветник, интриган и подонок —

твой Кузьминский». Такое решительное заключение не сбило моего интереса к заокеанскому «клеветнику». По рассказам европейских туристов, К.К.К. о Толстом говорил тоже грубостью: «Парторг — он и есть парторг: хитро-жоп, лжив, льстив, подл, — но организатор, за что дадим медальку на толстую жопу». После неисчислимых хлопот с изданием многотомной антологии возник мистический союз с Василием Яковлевичем Ситниковым, самым загадочным артистом современности. Они снюхались на пересылке в Вене. В.Я.С. застрял на пять лет в австрийской деревне, а в Америке они снова сошлись на подворье сибирика В.Г. Некрасова. Очарованный и озаренный ситниковским гением, К.К.К. решил написать о нем не вульгарную монографию, а невиданную доселе книгу жизни и творчества.

«Не сдохну — сделаю!»

В 1987 году В.Я.С. тихо скончался в своей американской постели, не беспокоя людей капризами воображаемых болезней.

К.К.К. клялся, «не сдох» и свое слово сдержал. Угробив все свои нищенские средства, здоровье святой супруги Эммы Кузьминичны Подберескиной и каторжников полиграфии и мультипликации Когана и Доната Берзинского, он выпустил литературный труд, невиданный по всем временам, посвященный уроженцу глубинной России, безумному врачу психбольного искусства современности, художнику неведомого направления и главе большой школы подражателей. Это книга его удивительной жизни и тщательно прокомментированных творений, собрание неисчислимых писем и трактатов, тюремных по форме и филигранных по содержанию, не считая свидетельств современников и сотен репродукций провидческих произведений.

\* \* \*

Ох, этот Петербург!..

Кузьминский родился в Ленинграде, в больнице имени большевика Моисея Урицкого. В 1940 году о бывлом Петербурге вспоминали с глубоким вздохом только древние старички, чудом уцелевшие от большевистского разбоя по углам и норам великого города. Уже в разгар Первой мировой он стал Петроградом на патриотический манер, с 1924-го и Петроград стал Ленинградом в честь умершего вождя мирового коммунизма и 70 лет был таковым, пока олигархи не вернули ему первоначального наименования.

Папа будущего «локомотива», Константин Петрович, рядовой советский художник, не отличался особым воображением, назвав сына в свою часть, да и мама — учитель словесности и рукоделия — не возражала против такого повторения. Как все законопослушные и порядочные семьи, Кузьминские строили счастливое будущее.

Два раза город пустел. Раз его выкосил тиф и революция (1917), и раз, но до дна, ужасающая немецкая блокада (1941).

Советский послеблокадный город был не «полночных стран краса и диво» (А.С. Пушкин), а голодное и опасное обиталище советских граждан, как муравьи ползущих на работу, разброс алкогольных ларьков и колонны солдат и матросов под гнилым северным дождем.

Классические петербургские трущобы — бледный литературный сюжет для благородных девиц в сравнении с новым бытом, когда целый город с классическим фасадом, набитый жильцами, как бочка балтийской селедкой, стал образцовой советской трущобой.

По возвращении в родной и голодный Ленинград беженцев загоняли в холодные дома без дров. Практику коммунизма на уплотнение жилья законопослушные гражда-

не принимали как должное. Спотыкаться при коммунизме не рекомендовалось. За выход из строя полагался расстрел. Осиротевшая семья Кузьминских — пятилетний сынуля Костенька и мама Евдокия Петровна, сохранившая девичью фамилию Захарычева, — с невероятным упорством учится жить в густонаселенном доме на Профсоюзном бульваре.

Квартира в 11 комнат — недурственно размещалась когда-то графиня Кульнева на Конногвардейском бульваре! — 9 семей и 28 ртов всех советских размеров, никогда не мытая ванна и одна кухня на все примусы, тазы, кастрюли. Мама основательно закрепилась в культурной надстройке, постепенно поднимаясь по карьерной лестнице советского педагога.

Работник умственного труда!..

Ребенок весь в книжках. Он не играл на деньги ни в стукалку, ни в пристенок. Его не трогали дворовые игры в пятнашки и бесовские радения шпаны. Из чтения не вылезал. Оттуда заокеанские дали, теплые острова Тихого океана, парусники и дикари, крокодилы и жирафы вместо питерских крыс и собак.

Жизнь своих далеких предков Костя видел в кочевых шатрах живописной Бессарабии, среди казаков и кантонистов, разночинцев и строителей коммунизма в одной отдельно взятой стране.

Отец погиб, храбро сражаясь с захватчиками, а гордая мама — какой высокомерный взгляд и твердый узел густой шевелюры на пожелтевшей фотографии 40-х годов! — на окладе педагога решила тащить сына в лучезарное будущее, без опоры на мужскую руку.

Костя — начитанный папуас!..

Будь счастлив, родной!..

В школу с английским языком (Фонтанка, 213, бывшее Коммерческое собрание, мраморные лестницы, потолки до небес!) — «первую и сугубо мужскую школу, организованную в 49-м, чтобы пополнить ряды вы-

битых дипломатов, меня мать, размахивая похоронкой на отца, с боем запихала». Учился кое-как — «По истории стабильную “тройку” имел, а по арифметике — пару, с уроков пения выгоняли: “Костя, пойдй попой где-нибудь в коридоре”, и потому ни в какой хор-мелодию я никак не вписывался» (ККК).

Все предметы подавались по-английски, этим языком он овладел в совершенстве.

О Россия, страна штыков и мороза!..

Темные и тупые сверстники танцуют «на костях» буги-вуги, дергаясь до изнеможения, орут как оглашенные: «От Москвы и до Калуги все танцуют буги-вуги». В Питере тоже «музыка духовной нищеты»: Коля Минх у моряков, Вайнштейн и Атлас у киношников, Стас Пожлаков и Фрейдлин в «Астории» — стильный народ пляшет и поет, а Костя читает Эрнеста Хемингуэя!

Какой выпендрож!.. Тоже мне единоличник нашелся!..

Чувак, заткни фонтан!

Надменная поза, а поджилки трясутся. Нежное интеллигентское воспитание, несмотря на коммунальную тьму.

Он что, собирается в космос?

Мы, дворовые ребята, так высоко не думаем.

«Мы Фолкнера и Хэма не читаем, давно уж фраеров мы этих знаем. Раз-другой их почитаешь, как зараза хохотаешь, ничего совсем не понимаешь».

Когда-то, в пещерные времена, стихотворцы тусовались на «Башне» Вячеслава Иванова или в «Собаке» Бориса Пронина. Туда приходили старые мастера (Бальмонт) и начинающие подмастерья (Ходасевич) и, соревнуясь друг с другом, выступали перед изысканной публикой ценителей изящной словесности. Эстеты тянули шампанское, Михаил Кузмин музицировал, кривляясь на крохотной сцене, расписанной символическими каракулями Сергея Судейкина, все единогласно шептали мистические бредни о загробной любви и темных соловьиных ночах.

В пролетарской России с кустарными посиделками символистов покончили раз и навсегда. Одних выслали за границу, других перебили на месте, третьи с испуга попрятались по таким темным углам, куда не заглядывал ни один милиционер. Поэзия, как броненосец в океане, плотным творческим союзом, «широкой штаниной» пошла в народ, на стадионы и площади, на радио и телевидение. Там полагалось не мурлыкать, а призывать строить плотины и корабли, пахать целину и поворачивать реки, беспощадно бить врагов народа и прославлять прогрессивное человечество.

И... партия — их рулевой!..

Правда, дружба с Кремлем не спасала от преждевременной смерти. И чем выше знакомство, тем ближе смерть. Литературные снобы вроде Николая Иваныча Харджиева считали, что поэт Борис Пастернак превосходно начал, но к старости скис и опустился.

Судьба распорядилась так, что не страдавший храбростью Пастернак — «быть знаменитым некрасиво» — рискнул жить, любить, пить, печататься и получать премии, не шагая по команде Кремля. Непослушный поэт, получив «Нобеля» (1958), взбаламутил кишлаки и аулы, лесорубов и охотников, рабочих и крестьян.

Пастернак — ядовитая змея за народной пазухой!.. На нары, бля, на нары!..

Народ поворачивает реки и возводит плотины, поднимает целину и собирает колоски, а этот подонок гребет валюту лопатой!

Вреден и не нужен!..

Костя Кузьминский — студент и поэт. Он учится расправляться с лягушками и очарован не комсомольскими гимнами, а шепотом злодейски убиенного Н.С. Гумилева (1921), а за ним целый косяк подозрительных шептунов: Кузмин, Мандельштам, Нарбут — всех не перечесть, а в живых одна Анна Андреевна Ахматова, сидит

она, как Баба-яга, в «комаровской будке», и у чайника располневшей героини Серебряного века окопался молодняк — Найман, Бобышев, Бродский, Рейн. На читки в Комарово Костя не ездил, но следил, когда появятся небывалые стихи. Классик Ахматова писала: «Я научила женщин говорить. Но, Боже, как их замолчать заставить!»

Стихи Кости той поры:

Давай уйдем на лодке в море,  
Как тот корсар,  
С волной и бурями не споря —  
Не кот нассал.

Оригинально, но лучше сочинял рабочий от станка Оська Бродский: «Мы в горах тебя искали, скалы тяжкие дробили...»

Или: «Собака лает, ветер носит, Борис у Глеба в морду просит...»

Такие стишки шли по рукам, попали в самиздат москвича Алика Гинзбурга (1960). Опытные и трусливые литературоведы, листавшие тетрадку, прочили рабочему великое будущее. Поэтической судьбой друга занялся Костя Кузьминский.

Неподдельный интерес к «маленьким людям», к запретному и необычному — высокое человеческое качество — было присуще ему со школьной скамьи, когда формируется характер. Он собрал листки слесаря Бродского из любви к настоящей поэзии. Помогали Гришка-Слепой и Боря Тайгин, дружки по литкружку.

«Бездельники карабкаются на Парнас» («Известия», 1960).

Где, на какой литературной читке сошлись юнцы, не имеет значения. «Пересечений было полдюжины лито», — вспоминает К.К.К., но с 59-го года они неразлучны, при-



чем, чувствуя поэтический напор недоучки Бродского, Костя решил тетрадку его стихов переправить на Запад и добиться премии для своего одаренного товарища. Стихи через московских друзей попали в Америку, где вышли в 65-м году. Пока сборник продвигался тайными тропами на Запад, имя составителя по дороге затерли, о нем забыли, но не все.

Светило питерской психиатрической науки, усмиритель навязчивых идей, профессор Азерецковский, обожал поэзию и карьеру начал в 25-м году, выбросив пьяного Сергея Есенина из окна. В 60-х это был умудренный муж, глава школы последователей, кормивший ворчливых пациентов галоперидоном, — очень эффективное средство от быстротекущих стихов и навязчивых шизофренических планов.

Присмотр за Профсоюзным бульваром поручили опытной генеральше Матрене Карповне Барковой. От нее не скроешься, выловит, и доставят куда надо послушные санитары.

Еще в начале 50-х, при жизни свирепого кавказского деспота, саботировать службу в рядах героической и победоносной Красной армии было немислимо. Адепты пацифистских сект сразу получали «червонец» рудников на Колыме. В середине 50-х от армии «косили» все, желающие от нее избавиться. В 58-м я получил «негодный билет» за час медицинской проверки. Удивительно внимательный полковник нашел у меня что-то, связанное с дефектом зрения. По его мнению, я сильно галлюцинировал, не отличал своих от чужих, не говоря о светофорах.

О совершенной психиатрической системе в стране знал весь мир, от невменяемых алкоголиков до страдальцев за правду-матку. Вот туда (питерская «Пряжка»!) в апреле 60-го попал студент Кузьминский. Просидев среди убийц и душевнобольных месяц, он получил членскую карту собратства «шизофреников».

Терпи, Евдокия Петровна, береги сына!

За выход на улицу с лозунгом «Долой Красную армию!» сразу повяжут и наматывают срок от трех до семи — и добавят, если выкнешь наперекор представителям власти. Отдубасят мусора в милиции и сошлют лопатить золото на полуостров Камчатка. Для получения желанного «белого билета» необходимо взаимодействие пациента с врачом. Опытный психиатр — культурный человек, посещающий филармонию и выставки в «Эрмитаже». Ему не следует вешать на уши лапшу и валять примитивного дурака, такой без промедления полетит в пехотный полк на афганской границе. А вот ваше расхождение с политикой Кремля в культуре он близко примет к сердцу и спасет от службы в пограничных войсках. Ради такого надо малость потерпеть в грязном и буйном номере психбольницы.

Костя убедил врачей, что любит антисоветчика Пастернака, а не комсомольца Евтушенко. Он, Кузьминский, не человек — а «локомотив».

«Старик-ты-гений!»

Через М.К. Баркову «локомотив» не выходил из поля зрения профессора Азерецковского до самого выезда из советского рая в западный ад.

В 64-м поймали Бродского, замели по кругу фарцовки и тунеядства и сослали на лесоповал в Карелию.

Враги народа глухо зарычали: Кремль душит поэзию!..

В начале 60-х шизофреник Кузьминский играет битника автостопом. В советской глубинке он сезонный геолог и землекоп, а в родном городе на Неве — рабочий зоопарка и театральный грузчик. Потом решил стать сценаристом и пять лет без всякого толку пробивал сценарий на телевидении. Бросил безнадежное занятие и пошел гидом по историческим улицам и знаменитым окрестностям. В Павловске выловил пару иностранцев Сюзанну и Роберта Масси — «первая серьезная иносрань» (К.К.К.), — запряг их на издание по-

этического сборника «Великолепная питерская пятерка» (1967). «Пятерка» секретными зигзагами продвигалась на Запад и вышла с большим опозданием в 72-м. Такова нелегальная практика издательских дел и литературного карьеризма.

В конце 60-х поэтические симпатии «локомотива» переключились от «ахматуль» (Бродский и К<sup>о</sup>) к «абсурдистам» (Анри Волохонский, Хвостенко, И.С. Холин).

Сам он писал:

Плывут морями капитаны  
 А как лежит  
 Люби меня capitoлина  
 Но не по лжи  
 А на Таити тискал тити  
 Не я но тот-с.

«Ну куда Anne Андревне с ее рукоделием дамским до “Дыр бул шил” Алексея Елисеевича Крученных?» (К.К.К.)  
 Явный уклон, бегство из символизма в футуризм.

Редких иностранцев питерские шизофреники встречали как посланцев иных планет. Квартирка «ингуша» Мишки Шемякина, строившего свой мир барочной графики, стала нелегальной иностранной приемной. Там пили и торговали, дрались и любили, там паковали чемоданы на заветный Запад.

1971 год — год «проводов» первых эмигрантов.

Тихой сапой улетел в Израиль юный художник Вилем Бруй с женой и сыном. Чуть позднее с треском и шумом отвалил поэт, и художник, и все, что хотите, Мишка Гробман с семьей. Художника и поэта Олега Прокофьева выпустили в Лондон лишь с гробом умершей жены Камиллы Грей. Через три месяца, почти тайком, слинял в Париж «ингуш» Шемякин. Его вытащила парижская тетка с высокими связями Дина Верни.

«Провожали его я с Кабаковым» (К.К.К.).

За год до бесповоротной эмиграции (1975) Кузьминский решил хлопнуть дверьми погромче. На сей раз в качестве защитника и покровителя подпольной живописи.

«В параллель бульдозерной я открыл выставку 23 художников на площади 24 кв.м 128 работ», — вспоминает он.

О каких-либо открытых выставках в стране не могло быть и речи. Для творений начинающих психбольных были закрытые показы в клубе «Труд и Гигиена», но и там сидел цензор, исключавший антисоветчину и «голых баб».

Что же выставляли питерские авангардисты?

Несколько слов о нелегальном искусстве Питера. Оно началось с карикатур Александра Арефьева (1950). Он рисовал карманного размера анонимную толпу городских низов: баня, драка, пивная, танцы — запретные сюжеты коммунизма.

Технически образованный Михнов-Войтенко (театральная школа Н.П. Акимова) следовал американской абстракции (1957). Третье течение «петербургского модерна» представляли Гаврильчик, Шемякин, Овчинников, Геннадиев, Лягачев (1964).

Все три тенденции были самого примитивного размера, и с выходом не на люди, а под кровать, и очень далекие от современности, от могучих западных «измов».

Вот такой парад звезд каморочного андеграунда и показал «локомотив» у себя дома.

Сплошная мертвая натура: горшки, шары, бутылки, тряпки, пузыри.

Не над чем мозговать!..

Где положительный герой?

«Входа нет, ходи с бубей!»

Европа оказалась глуха и слепа к хлопотам К.К.К. Выбивать деньги — занятие творческое, но обязательно обзовут жуликом, хоть лезь на стенку. Утопист Кузьминс-

кий на издание русских книг выбивал деньги у малочисленных любителей русской самобытности.

Велика сила протекции!..

В 1976 году он получил штатное место лектора в университете штата Техас. Несмотря на помпезный вид и вес, на занятия он приходил совершенно голым, с гирляндой бумажных цветов на шее, как индийский йог. Садился на стол в позе лотоса и читал студентам абстрактные стихи по-английски. В советском раю за такое поведение ссылали корчевать пни. В богатом и свободном Техасе лектора-нудиста терпели пять лет и затем лишили заработка. Библейские принципы. Нагота — запрет со времен ветхозаветного Ноя. Вместо кафедры — подвал в доме работяги Вальтера Некрасова. Там, на дне Бруклина, сошлись русские корифеи — черноморец Сах (О.В. Соханевич), безработный «лорд» Генрих Худяков и «профессор всех профессоров» Васька-Фонарщик (В.Я. Ситников).

Что может быть ярче такого дурдома?

Почему знаток мировой культуры, ценитель английской грамматики со школьной скамьи на благодатной американской земле возводит пирамиду русских ценностей?

Опять русская мистика и тютчевское «Умом Россию не понять...».

А плевать нам на ублюдочную шайку Энди Уорхола — разве что словак, тем и интересен, а все остальное — выпендрож, говно и музей для дебилов!

Ну, а мы? — «мы простую воду пьем, хвалим солнце и поем!»

Над девятью томами «Голубой лагуны» (полное собрание нелегальной русской поэзии) работали с питерских времен Григорий Леонович Ковалев (Гриша-Слепой), киевлянин Очертянский, незаменимая Мышь (супруга-архитектор) и американец Джон Болт, открывший со скидкой свою типографию.

Ну а деньги?

А этот «локомотив» показал кукиш всему миру — деньги ему не нужны.

«Я выпустил первый том в 600 стр. (экономя при этом деньги издателя на фотках — а зря!) и за шесть лет грохнул еще 8 томов, по 700 и 900 стр. каждый, и все это — на зарплату жены-уборщицы (в нью-йорке чертежницы)». Уточнение К.К.К.

В 1987 году награждение друга бесшабашной юности, эмигранта И.А. Бродского, Нобелевской премией он встретил с большим достоинством, не опускаясь до унижительного восхваления до небес своего подопечного. В сущности, награду получили все тунеядцы и шизофреники Совдепии, не инженеры советского Литфронта, а бесцензурное творчество русской словесности.

В том же году тихо скончался В.Я. Ситников.

И «локомотив» провозгласил себя «бабкой» в честь знаменитого анархиста Нестора Махно.

Связь «бабки» с В.Я.С. мистического характера. Располагая полной информацией на «говнопека Шемякина» и «херра Нуззберга» (К.К.К.) — знаковых фигур русского андеграунда, он о них много пишет, но не прославляет. Гимн и славу он готовит одному Ситникову.

Вася — туча! Вася — зверь! Вася — солнце! Вася — дверь!

Вася — «волшебная дымка» и «безумная радость бытия»!

Их первая и короткая встреча (Вена, 1975) осталась без последствий. Шли годы — у одного пять лет в австрийской деревне, у другого «пятылетка» в университете Техаса, — и лишь в 83-м они сошлись на кухне сибиряка В.Г. Некрасова, где Вася давал уроки кулинарии хозяйке подворья, а Костя выгуливал борзых собак. В общепитии «некрасовка» — крохотном островке русской цивилизации на американской земле — Ситников не

жил, а считался почетным гостем. Блаженный Вася из расы шармеров — походка ловеласа, глаз с прищуром, скрип сапог, низжайший поклон обществу — и шизофреник Костя — тяжеловес и грубиян с виду, но послушный, как Санчо Панса, с головой, набитой мусором мировой культуры. Повелевал «мускулистый, сделанный из бронзы» Вася. Он всегда выступал Дон Кихотом в чистом виде, и в том, как нарисовать «монастырь под снегом» или женскую жопу в степи, и, естественно, вся связь с внешним миром легла на плечи К.К.К. — гости, газеты, буфет и никогда не пришедшие слава и деньги. Как строитель египетской пирамиды, К.К.К. выкладывает «агиографию» В.Я.С. — камень за камнем, от основания до верхушки. С самого начала ему пришлось разгребать безобразное и циничное вранье его учеников, адептов русского, базарного китча, выдаваемого за главное изобретение учителя, тупые происки брата-«гэбухи» и советы престарелой сестры, пустые пожелания анонимных московских искусствоведов, груды рукописных шедевров эпистолярного жанра со всех концов мира, аннотации и трактовки художественных произведений — все заняло годы тяжкого труда и не менее четверти века.

Великая книга коротко называлась «Вася» и вышла тиражом в 15 экземпляров!

\* \* \*

Кто ты такой, «Вася-солнце», да и «Вася-туча»?

Уроженец ушедшей России (1915) Василий Яковлевич Ситников — большая загадка для дипломированных искусствоведов. В 35-м он попался на особый учет в два людоедских учреждения. Военкомат обнаружил у него заметный уклон от образцового поведения советского юноши призывного возраста — «антисоветский тип с манией величия». («Глянь не в пределы тысячелетий, а в миллиар-

ды!» — призывник Ситников — врачу.) А в художественной школе, сокращенно ВХУТЕИНе, он рисовал сапожной щеткой, что не соответствовало методу социалистического реализма, принятого на вооружение советской культурой. В 41-м психбольной Ситников на рытье оборонительных заграждений не ковырял землю лопатой, а собирал в мешок огнестрельное оружие и листовки враждебного содержания. Кто донес «куда надо» — руководитель И.Э. Грабарь, «бдительный товарищ» или родной брат Коля, мечтавший о карьере в милиции? — четыре года он просидел в казанском дурдоме на голодном пайке. В 51-м, не имея ни соответствующего педагогического диплома, ни патента кустаря, он собрал на пятиметровой казенной жилплощади подозрительных лиц для обучения нелегальному рисованию. С 55-го, без позволения компетентных органов, вошел в сношения с иностранными гражданами, аккредитованными в Москве, на предмет обмена вещами по ценам черного рынка, наказуемого статьей 154 УК РСФСР — «спекуляция». Неоднократно подвергался приводу на излечение в психиатрические больницы Москвы, но снова возобновлял преступную деятельность в педагогике, забракованной спецэкспертизой как не имеющей идеологической и академической ценности.

Жизнь вне регулярного общества, каким бы уродливым оно ни было, — подвиг аскета и юродивого. До 59-го года В.Я.С. числился в советской казенной машине штатным фонарщиком кафедры искусствоведения, с гордостью носил кличку Васьки-Фонарщика, но однажды демонстративно и публично обозвал министра культуры СССР «ослом», за что был наказан увольнением с должности в художественном институте.

Лишенный гражданских прав и продовольственных карточек, он был совершенно исключен из рядов советских граждан. Началась жизнь отшельника, изгоя в сугубо личном географическом пространстве, но с постоянной



угрозой насильственного заключения в психбольницу, единственное место его встречи с государством. Много лет подряд скупал русский антиквариат, главным образом иконы, у грабителей церквей и частных квартир. По сообщениям штатных опекунов, В.А. Мороза, затем сменщика А.Р. Брусиловского, его собрание русских древностей достигло столь громадных размеров, что русские иконы упаковывались в американские штаны на предмет обмена и продажи. В 62-м в американской прессе отмечен как «оригинальный художник нового видения мира» (Джимми Эрнст), хотя в списках МОСХа никогда не числился из-за полной профессиональной непригодности.

Кто покрывал его подпольную деятельность? С каким профессором психиатрии этот опытный обольститель делился вырубкой? Штаны дырявые для понта, а молодые «жены» в жемчугах и норковых шубах. Квартиры, автомобили, дачи! А чем занимались опекуны? Роль этих двурушников еще необходимо выяснить. Почему сажали мелочовку, а эта зубастая акула безнаказанно разгуливала на свободе, прикидываясь малограмотным дурачком в рваных штанах? Наконец, куда смотрели штатные кремлевские мусора — вот проклятые вопросы, требующие безотлагательного выяснения.

В 75-м подпольный миллионер, ловко ускользнув от правосудия, эмигрировал по так называемому «израильскому вызову» и пять лет прожил в австрийской деревне Кицбюль, окрутив мебельного фабриканта Фердинанда Майера. По письмам некоего В.И. Воробьева, адресованным московским корреспондентам, В.Я.С. там нищенствовал, собирая у прохожих туристов деньги на хлеб и краски. Расплатившись с хозяином большой картиной «Мешок денег», в 80-м вылетел в США по фиктивному приглашению слависта Игоря Мида из Калифорнии, а поселился в Нью-Йорке, у эмигранта Л.А. Мильруда, наркомана и вора по кличке Чаплин, бравшего с четырех коечников по 100 долларов в месяц. По доносам предателя

родины Николая Гридина, убитого в Гималаях (1981), В.Я.С. жил на жалкие подачки ЦРУ и не работал в искусстве. Все его попытки научить эмигрантов рисовать сапозной щеткой шар в пустоте ни к чему не привели. На подворье дорожного рабочего В.А. Некрасова проживающий там шизофреник К.К. Кузьминский, изгнанный из американского университета за порнографический образ жизни, в 85-м устроил выставку поделок Ситникова, не имевших никакого коммерческого успеха. Верный друг нашей страны, доктор Нортон Додж, его не покупал, а спекулянты Нахамкин и Глезер брали, но без оплаты за труд. По квалифицированному донесению товарища Н.Я. Ситникова, бывшего сотрудника НКВД и редактора англоязычной корабельной газеты «Балтика», его старший брат страдал тоской по родине и был готов в любой момент поселиться на кладбище в Лебедяни. Этот пикантный запрос поставили на рассмотрение тамбовских органов власти, но в связи с внезапной кончиной В.Я.С. (1987) сдали в архив мировой литературы имени Максима Горького. В начале нового тысячелетия произведения В.Я.С. и его многочисленных учеников и учениц появились на престижных аукционах Запада, и цены на них из года в год поднимались к миллионной отметке в твердой валюте, на что мы обратили особое внимание русских патриотически настроенных олигархов. Кроме того, пришлось наладить производство фальшаков высокого качества и загрузить мировые аукционы, пока не угас интерес к этому психбольному искусству. Совершенно недопустимо, чтобы китайцы, индусы и прочие турки обошли нас в международной торговле подобным дерьмом.

Мировой финансовый крах 2008 года существенно подорвал русскую эстетику. Он больно ударил и по «фальшивым Васям», сфабрикованным в кремлевских мастерских.

Говорят, что только оригиналы Ситникова лечат от затяжного поноса, но где их достать, если мошенник все

продал за границу еще до эмиграции. Его неподражаемой и уникальной «волшебной дымки» в России нет.

Это заключение беспартийного «народного контроля» и обсуждению не подлежит.

\* \* \*

Всемирно известный герой романа Мигуэля де Сервантеса, испанский рыцарь Дон Кихот из Ламанчи, — клинический идиот с манией величия, без присмотра врача и без прописки разъезжает по стране, топчет крестьянские поля, ломает мельницы и частные заборы, пристает к замужним женщинам, однако остается любим всем миром, от старого до малого. На своей кляче, в компашке с тунеядцем Санчо Пансой, они украшают все театры мира, киномастограф и оперу, живопись и скульптуру.

Почему подобной участи не удостоились «рыцарь печального образа» Ситников и его верный оруженосец и пропагандист Кузьминский?

«Батька Махно» — К.К.К. — тунеядец и утопист с мизерной пенсией «по шизе» живет под американским мостом. Он много лет эксплуатирует труд своей жены Э.К. Подберезкиной и клянчит подачки у слабонервных людей якобы на литературные проекты, а на самом деле на алкогольные напитки и табак. Из 70 лет жизни 35 он проспал в СССР на иждивении своей матери, заслуженной учительницы РСФСР, ведя паразитический образ жизни. Состоя на учете в психдиспансере, неоднократно лечился от психического расстройства на алкогольной почве. Считает себя поэтом, но в профсоюзе не состоял и не состоит и членских взносов никогда и никому не платил. В Соединенных Штатах получает от государства так называемый «велфер», паспорта не имеет и отказывается от собственности, как всякий антисоциальный элемент.

«Не дай бог поиметь мне деньги или собственность!»  
Гений-невидимка!

Опознав гения, ты сам превращаешься в гения. Почему из четырех полных досье — Шемякин, Нуссберг, Некрасов, Ситников — Кузьминский выбрал последнего, зная его нос к носу всего четыре года? — Да, острый нюх привел к гениальности!

Архивный ящик гонимого искусства пуст — легенды и хохмы, разговорчики и один чудак Нортон Додж (США), не подумавший обо всем коллекционер русской пестряди. Пустой ящик андеграунда по крупицам стал собирать бесплатный энтузиаст и шизофреник Кузьминский. Он понял, что любая промокашка и кашка тунеядцев гонимой культуры — перлы мировой истории.

Казалось, что в 1991 году рухнуло 70-летнее господство большевиков, — 10 лет сифилитиков plombированных вагонов, 30 — кровожадных деспотов с Востока, 30 — темных курских шахтеров — сдохла «партия», умертвившая полчеловечества на глазах стыдливой демократии.

Весь мир дрожал, как воробей на ветке, когда пердели в Кремле, и вдруг облегченно вздохнул.

В 1992-м К.К.К. предложил (закинул удочку!) «перестроечной» России 20 картин и 80 «пустячков» покойного художника, но она отказалась от дара под гнусным предлогом: Ситников — никто! Его пачкотне место не в культуре, а на помойке!

Нью-Йорк молчит, Москва мычит!..

Почему в Кремле любят тощего испанского шизофреника, сломавшего мельницу, а не тамбовского мужика Васю Ситникова, закопавшего социалистический реализм?

Анархист без документов, «батька» без денег, послав всех на «три буквы» — и Россию, и питерскую гэбню, захватившую Кремль, — один принялся за «Васю» с особым остервенением. Однако вследствие отсутствия средств титаническое предприятие ползло медленно, как цыган-

ский табор в непогоду. Озлобленный труженик поучал меня в 96-м: «Пашем тут “Васю” — мозги раком — в каждом его письме — жемчужинка, а без денег ни на шаг, а их нет и не будет».

В новом тысячелетии Ситников стал чемпионом аукционных продаж, на спекулянтов посыпались большие деньги. набросок — 25 тысяч «зеленых», холст — 250, за «монастырь» первой эпохи — положите миллиончик, если хотите. Хорошие цены для профессионально непригодного художника, но могли быть и выше. Ведь В.Я.С. — это Питер Брейгель нашего уродливого времени, — и книга Васиной жизни заметно продвигалась к своему завершению.

Многотысячная армия «инженеров человеческих душ» оставила после себя кучу навоза вместо духовных ценностей, а шизофреник русского авангарда оказался нужным и ценным.

Вася — жопа! Вася — книга!

Осторожные и продажные эксперты поспешно заключили, что это не столбовое искусство говенной современности, а «русский курьез». Прямо сказать, что Ситников — откровение, озарение, лечение и гомерический смех, у них не хватает ни духу, ни приказа сверху. Злободневные лжепророки, торгуя модными идеями, быстро выходят на деньги и славу. Картинщик В.Я.С. (холст «Жопа», нарисованный голубой, сапожной щеткой, — не просто пышный женский зад, а явление Христа народу!) остается непризнанным музейным официозом.

Его пылкий и дальновидный защитник Кузьминский, раскусив величие московского юродивого, считает В.Я.С. не только подлинным авангардом нашего времени, но единственно неповторимым и великим, как творчество его предшественников — Босха, Брейгеля, Терборха. Таким он и показал его в «книге жизни» со всех сторон, сзади и спереди.

Гений обнажен и представлен на суд истории — но где деньги?

Если люди не последние скоты, то богатырский труд К.К.К. будет вознагражден. Небесное сияние славы он увидит при жизни.

Вечная память психбольному первой категории Василию Яковлевичу Ситникову!

Слава шизофренику и тунеядцу Константину Константиновичу Кузьминскому!

Да здравствует книга «Вася»!

Все встают! Бурные аплодисменты, переходящие в продолжительную овацию!..

## 23. Знаменосец авангарда Гробман

Михаил Яковлевич Гробман!

Какое звучное, громоподобное имя: Гробман — могильщик Кремля! Гробман — генерал авангарда! Гробман — глава семьи! Гробман — левиафан! Гробман — самодержец!

Я всегда восхищался Гробманом, с первого взгляда в 60-м году. Он появился в тихом московском дворе с бревном на плече. Естественно, шапка, фуфайка, валенки — сказочный персонаж из букваря. А чувашский поэт Айги прошептал за плечом: «Да это поэт Мишка Гробман».

У пожилого литератора Аркадия Акимыча Штейнберга читали стихи все кому не лень. Гробман вошел без бревна, но руки в брюки, великолепная стойка бульдога, вцепится мертвой хваткой, не оторвать: «На полигоне красоты / Я был загадками обстрелян»; «Душа серебряного неба / В туманах, птицах и снегах / — Она, как узник в день побега, / Таит тревогу, боль и страх».

Для начинающего недурственное футуристическое начало. Его пытался поправлять Женя Терновский, поэт

мистического толка, но Гробман отбрил критика: «Не морочь мне голову, я сам себе бюрократ!»

Двадцатилетний Гробман женился на Ленке Минкиной, на безотцовщине, как и он.

Поселок Текстильщики, 3-я улица, барак 17, крыльцо 2, квартира 7.

Летом 60-го он устроил в своем бараке свадебный сабантуй. Я привел к ним отборных женихов из ВГИКа — Тюрина, Вулоха, Ворошилова, Каневского, Коровина, — но невест не оказалось. Женихи с горя напильсь и попрыгали с деревянного балкона в канаву. Коленки невесты целовал поэт Генка Айги. Гробман обнимал пару приезжих чувашек, по имени Ева и Луиза, и вышла богемная свадьба с мордобоем. За фанерной переборкой тряслись от страха мама, сестренка и брат — а вдруг явится милиция и всех заберут в тюрьму? На сей раз обошлось без арестов, но невестка Ленка Минкина не привыкла голодать и топить дровами печку. Зимой она сбежала к маме под юбку.

Мишка рос в семье среднего достатка. Папа — инженер подмосковной химфабрики, мама Инна Львовна, брат Захар, сестра Баська, квартирка в бревенчатом бараке с печным отоплением. Все как у людей. Увлечение литературой в этой семье не считалось преступлением. Маршак и Михалков достойно представляли советскую поэзию. Так мог бы и Мишка, подучившись у старших товарищей, но его жизнь пошла кувырком. Отец преждевременно скончался, учиться Мишка не стал и связался с подозрительными типами, сочинявшими странные стихи, и домой приходил в стельку пьяным.

Кроме поэзии он рисовал черным сапожным гуталином на оконном стекле диковинных зверей и зазывал к себе дружков и собутыльников. В Москве его принимали сын знаменитого киношника Сашка Васильев, киновед, большой книголюб и фарцовщик; пианист изысканной барочной музыки Андрей Волконский и молодой компо-



зитор Вадим Столляр, все трое собиравшие картинки некоего Володи Яковлева, жившего у стены Бутырской тюрьмы.

На первый взгляд гуаши Яковлева казались топорными, но чем больше ты вглядывался в них, тем глубже затягивало очарование. Смелый рисунок, энергичный мазок, решительная хватка. Московский гений с маху, в один присест, выдавал «цветок в стакане». Не пустой, легкомысленный букет, а вещь, написанная обнаженным сердцем.

Ромашка в стакане — как приговоренный к казни.

Угрюмый и головастый живописец у них считался бесспорным гением изящных искусств и главой мирового авангарда.

Как я попал под эти знамена, объяснюсь коротко: по бедности!

С 14 лет от роду у меня был опыт платного натурщика и приживальщика на подхвате — сбегай в магазин, помой полы, погуляй с собаками. Первым человеком, открывшим мне дверь богачей, был скульптор Димка Шаховской, естественно, недобитый князь и зять гравера В.А. Фаворского. Сам Владимир Андреич вышел из поповской среды, но породнился с баронами Дервизами, богатейшими людьми России. В его доме постоянно крутился огромный очкарик, князь Илларион Голицын, кадривший внучку скульптора Ивана Ефимова, на чердаке жила молодая семья Жилинских, потомков польских магнатов, постоянно приезжали важные и титулованные гости — верхушка российской знати былых времен. Они все давно перемешались между собой, но ценили прямое родство с Рюриком и Чингисханом. Надо сказать, что тогда, в 50-х годах, отпрыски родовитых фамилий жили своей профессией и охотно принимали у себя разночинцев и пролетариев, соблюдавших их домострой «прогрессивных взглядов». У них я задыхался, они мне мешали жить и творить, и я укатился оттуда подальше в бегему.

В кружке моих новых друзей царила непроходимая бедность, и настоящая демократия, и близкое моему сердцу равноправие. Никто не служил и не строил карьеру по старым стандартам. Там пили, но умеренно, ввиду полного отсутствия денег. На моей памяти было не более двух-трех случаев преждевременной алкогольной смерти.

У людей искусства независимо от общественного положения само собой образуется «двор» и «дворовые». В Текстильщиках, у Гробмана, собирались люди, имена которых мне ничего не говорили: Тюков, Фанталов, Грибков, Коновалов, Богомоллов, Семенов, Гуков, Слепков. Они несли к нему книжки, иконы, самовары, диски, картины, камни. Очевидно, его достойные и верные друзья, но я их не знал, их жизнь мне неизвестна.

Для меня там сиял один гений — Владимир Игоревич Яковлев!

Образцовый советский человек — домосед. Служба и телевизор. Пришел с работы, поел борща, и смотри «Голубой огонек». Так живут все, так надо строить коммунизм. Гробман с юных лет бродит, ищет, пьет, рисует, продает, покупает, меняет.

До меня дошли слухи, что он развелся с Минкиной, не вынесшей холода и голода. Новая жена Ирка Врубель-Голубкина продавала газеты в уличном киоске и читала запрещенную литературу. Если Мишка походил на карело-финна с топором, то его супруга на Клеопатру, фаюмский портрет новой эры, восточная красота с поволокой в глазах.

К ужасу пугливой мамы, их барак на снос сын Мишка превратил в «открытый дом», по его словам, а на русском языке в «проходной двор», куда в непотребном виде явились представители всех советских республик, автономных краев и областей, и не по праздникам, а ежедневно — жить, ночевать, кричать, пить. Лохматые, боро-

датые, грязные, пьяные. Как их терпели соседи, уличный коллектив, уму непостижимо! А за ними потянулись поляки, чехи, словаки, итальянцы, якобы коммунисты, свой народ, а попробуй проверь, что у них за пазухой? Такой бешеный темп могли выдержать лишь лица крепкого здоровья, привыкшие к пьяным посиделкам и ночным бдениям.

В тарусской выставке московских авангардистов (1961) Гробман принимал самое деятельное участие. Он привез туда багаж, набитый шедеврами самого высокого качества. Картины Володи Галацкого, гуаши Яковлева, композиции Пятницкого, папку своих монотипий.

Список составляли следующие лица: 1. Борис Свешников, 2. Иван Митурич, 3. Лев Курчик, 4. Анатолий Коновалов, 5. Надя Гумилевская, 6. Вл. Галацкий, 7. Эдик Штейнберг, 8. Мишка Левидов, 9. Валька Воробьев, 10. Миша Гробман, 11. Вл. Яковлев, 12. Вл. Пятницкий.

Выставка получилась скандальной. Адепты «вечного реализма» постарались прикрыть обсуждение и осудить ее как вражескую вылазку и порнографию. Директора дома культуры уволили с работы, художников ловили по одиночке и беспощадно били. В избе поэта Аркадия Штейнберга, где хранились картины, перебили стекла в окнах.

В 65-м, на богемном банкете в «сталинском доме» (квартира редактора детской литературы Ирины Васич) Гробман мне сказал, что наконец-то он прорубил окошко в Европу.

Были отдельные и неудачные попытки — Слепян, Белютин, Неизвестный — проползти на Запад персонально. Настоящее окно в Европу прорубил Гробман, используя чешских друзей. Он повел за собой весь табун авангарда, тридцать пять человек, как пастух тупых овец.

Гробман победил страх. Мы все тряслись от стука в дверь. Ситников, Зверев, Рабин, Кабаков, Шварцман,

Плавинский, Харитонов, Мастеркова, но не он. Он шел напролом и с открытым забралом. Пылкий новатор не лег на подпольное дно, не спрятался в безопасной щели, как его предшественники, а пошел в наступление на два фронта. «Восточный» он засыпал рассказами, стихами и картинками, попадавшими то в печать, то под запрет, а «Западный» — нелегальными выставками и первой информацией о деятельности московского артистического авангарда, вызвав гнев кремлевских владык.

В 67-м году мне довелось его слушать публично на собрании московских художников. Своим красноречием славился график Борис Алимов, но, когда слово брал Гробман, он немедленно превосходил того в диалектике и силе свободного слова, хватая заслуженные аплодисменты.

Прекрасный оратор и полемист, отлично чувствующий аудиторию, не раз выступал в защиту гонимого искусства, где фаворитом всегда был Яковлев, и все попытки лягнуть это необыкновенное творчество он разносил в пух и прах.

\* \* \*

В середине 50-х годов спесивый Запад узнал, что Советская Россия умеет не только бомбить Европу, но и рисовать. Эта загадочная страна то и дело меняла свои идеологические ориентиры, запрещая одно и восхваляя другое, но, как помещик Плюшкин, строго хранила в своем сундуке сокровища самобытной русской культуры. По первой просьбе международных выставок Кремль давал то, что просили. В 58-м на выставке в Брюсселе показали супрематические шедевры Казимира Малевича, казалось бы, не нужные советскому народу, но тщательно сберегаемые в музейных запасниках. Как только приоткрылась страна, любопытный иностранец кинулся на розыски

эстетических сокровищ. Появление англичанки Камиллы Грей стало хрестоматийным фактом, а ее сумбурная книжка «Великий эксперимент» (1962) — первым путеводителем для искателей художественных ценностей.

Наши польские и чешские друзья, пользуясь привилегией соратников по борьбе с мировым империализмом, смело шли на контакт с живыми людьми, без различия субординации и профессий.

Погрибный и Святославский, Ламач и Падрта, Кукил и Шпильман, Халупецкий и Шетлик, Осиска и Дубравец, Кагоун и Конечный, Погорский и Козакова.

Зачем чешскому журналисту барак Гробмана с кривыми окнами?

Гробман — музей и ликбез, писатель и сводник, купец и демократ.

Желанные братья-славяне с Запада сразу попадали в цепкие руки передового художника, с личным телефоном и обширными связями.

Да здравствуют страны народной демократии!..

Да здравствуют вещи!..

А где деньги? — Денег нет!

В дипарте Гробман занимал видное положение биографа. Он стал не только организатором «чемоданных выставок» в странах народных демократий, но и единственным писателем, грамотно излагавшим концепцию московского авангарда. Высокое положение в подпольном мире ставило его в сердцевину артистической элиты, в гущу московского модернизма.

Он бесстрашно сочинял обзоры квартирных выставок и публиковал в журналах «Витварны праце», «Пламен», «Эспрессо».

«Ирка за стирку, я — сочинять!»

В гнилом подвале эстонца Юло Соостера на Малой Бронной собирались по вторникам пить чай и водку. Не успел я войти, как хозяин, путая русский с эстонским, спросил: «Картины есть?» Я выдернул из кармана блок-

нот с зарисовками. «Отлично! Сейчас придет Арсен Погрибный и заберет. Готовится очень важная выставка в Европе!» Ввалился толстый мужик в потертом пиджаке с выдавшим виды чемоданом. Отборные московские авангардисты, толкая друг друга в бока, забили чемодан картинками. Толстяк, как заправский кладовщик, переписал имена дарителей, вытер вспотевшую шею и скрылся с чемоданом в Европу.

Через полгода я с удивлением листал каталог на оберточной серой бумаге с бледными картинками москвичей и теоретическими заметками Гробмана.

Сейчас я задаю себе вопрос: кто на самом деле были эти студенты и аспиранты, сидевшие на крючке кремлевских рыбаков, — наивные друзья, лукавые враги, мелкие спекулянты?

Душевнобольного живописца Володю Яковлева считали чемпионом квартирных выставок, но это были неуклюжие показы, без всяких объявлений, по слуху, для своих. То, что устроил для него Гробман 28 марта 1968 года в зале официального Дома художников, в Ермолаевском, стало явлением публичным, с вернисажем, до предела забитым знатоками искусства и в присутствии самого мастера. Порядочного нейтралитета держался председатель столпотворения — академик Д.Д. Жилинский. Картины горячо обсуждали и осуждали, но равнодушных не было. «Это было большое событие, триумф гениального самоучки Яковлева», — вспоминает бывшее М.Г.

Дурдом — неотъемлемая часть русской культуры.

Подпольный художник, страдающий шизофренией на сексуальной почве, стал духовным вождем московского авангарда, а Гробман — его верным знаменосцем.

К сожалению, современное поветрие фальсификаций биографических данных не миновало художника Э.А. Штейнберга. Приглашенный на выставку Гробманом, тогда никому не известный живописец сегодня забыл о

своим покровителем. В угоду русским толстосумам и западным властителям мира он вычистил лучших друзей своей нищей молодости, более двадцати лет тянувших его «в люди», но вырубить их из искусства у него и кишка тонка, и денег не хватает.

Гробман стоял и будет стоять на корабле современности.

В подпольном мире много пили, но еще больше работали. Правда, были случаи удивительного превращения трезвенника и спортсмена в богемного артиста и алкоголика. Расскажу о горькой судьбе нашего общего друга, могучего уральца Игоря Ворошилова.

Среди фаворитов М.Г. он занимал не последнее место в коллекции его нелегального музея.

Раз я заехал в Текстильщики. Комната и коридор были битком забиты картинками, от пола до потолка. Поэт и художник Гробман стал видным московским собирателем его работ. Тут же рядом, постелив на пол газеты, дремал сам Ворошилов.

\* \* \*

Жить с кем-то в одном помещении — не значит любить и дружить, но стены сближают.

Парень богатырского роста с огромным кривым носом приехал из уральской дыры учиться в Москве. Он стал студентом модного института ВГИКа, а в 58-м, когда я появился в его комнате по указке коменданта, он сочинял вальс, стуча по клавишам аккордеона. Примерно через месяц, пораженный видом моего этюдника с пахучими тюбиками масляных красок и щетинных кистей, он начал рисовать, сначала робко в свою рабочую тетрадку, а потом на картонках остатками моих красок. Его страсть замазывать все, что попадалось под руки, росла на глазах. Выбираясь в московские музеи, мы бежали смотреть са-

мых красочных французов — Ван Гога, Гогена, Сезанна — и по московским квартирам Васильева, Столляра, Гробмана, где главным был Володя Яковлев, постоянно попадавший в дурдом по просьбе родителей. Игорь благополучно получил диплом киноведа и службу в хранилище фильмов — Госфильмофонде. Там вместо трактатов о величии советского кинематографа он день и ночь рисовал картины, совершенствуя свой персональный стиль. В 62-м он показал свои первые опусы на квартире композитора Столляра и сразу стал знаменит. О нем заговорили в кружках знатоков как о самобытном и совершенном мастере. Потребитель его творчества Гробман всячески тащил его на мировую славу, однако продуктивно распорядиться таким расположением художник не мог и постепенно опускался в богемное пьянство. В 64-м я навестил его в поселке Белые Столбы, где он жил и работал. Вместо богатыря и спортсмена навстречу вышел заросший густой щетиной мужик, измазанный красками. Я что-то схохмил по поводу его вида. Он грубо прервал: «Не залупайся, старик, а тащи поллитру».

Тогда ничего не предвещало, что бравый спортсмен, музыкант, знаток кино и философии, ничего не пивший, кроме молока, умрет от затаянного алкоголизма.

Потом мы встретились в Москве, в Ботаническом саду. Он опрятно приоделся и протрезвел. Я вел его свататься к богатейшей невесте Москвы, дочке сталинского лауреата по живописи Оксане Обрынбе, с огромной квартирой на проспекте Мира. После первого стакана его воображение разыгралось, говорил он ярко и образно, невеста была очарована, и двери ее жилища распахнулись настежь и в любое время. Как-то я заглянул к ним и обомлел. Просторная квартира превратилась в трущобу нищих людей. Есть нечего, ни чая, ни хлеба. Горы пустых бутылок, и одно спасение — персональный телефон. Склонная к полноте Оксана раздулась до неприличных размеров и требо-



вала от сожителя свежего пива. Ворошилов звезданул ей по уху и с криком: «Мирра, Миррочка, где ты?» — вылетел на улицу.

Моя роль наставника и свата закончилась самым печальным образом. И.В. действительно сбежал на Урал к любимой Мирре, потом снова появился в Москве. Кочуя из одного места в другое, он опускался все ниже и ниже, везде буянил и дурачился. Дело дошло до того, что всегда принимавший его Гробман вышвырнул под зад коленкой.

«Вон, пьяная морда! Ступай с глаз долой!»

Забегал он и ко мне. Бросит картинки и просит трояк на поллитру. Его вид вызывал глубокое отвращение. Он ничего не ел и высыхал на глазах. Если у меня были деньги, то давал. Раньше мы говорили о Боге, Шёнберге, Пастернаке, а теперь он что-то мычал о злой милиции и трясся с похмелья.

В 70-м Ворошилов уже не годился для таких духовных бесед. Он напивался до скотского состояния, мычал, рыгал, бесился и мешал людям жить. Попытался обосноваться на Урале, не вынес провинциальной скуки, вернулся в Москву и умер на улице.

Большое количество его оригинальных произведений сейчас постоянно выставляется по всему миру.

\* \* \*

Год 1967-й — год Яшки. 27 марта Ирка родила сына, так названного в честь деда.

«Олицетворение абсолютного добра и нежности», — как сказал папа Гробман.

О появлении Яшки на белый свет знала «вся Москва». Теперь Гробман показывал картины и сына.

Ребенок осветил холодную барачную жизнь, как солнечный луч глубокую тьму. М.Г. в постоянных разъездах и встречах, хлопотах и работе — собрать деньги для больного

Яковлева, нарисовать афишу, поговорить с чехами о выставке, помочь сестре с новорожденной дочкой, женатому брату с жильем. Игра в обмен и торговлю продолжалась, но денег не было.

У гнилого крыльца загудели вражеские моторы империалистов — англичан, американцев, греков, израильтян. К доносам он привык. Доносили коллеги начальству Союза художников, доносили барачные соседи, доносили конкуренты и родня, тоже доносившая куда следует. «Удивительна глубина падения Инны Львовны» (мать М.Г.). Унылое советское болото. Разразилась барачная война с родней и соседями. Его женатый брат Захар сбежал в ближайший поселок, а материнскую большую комнату разделили на две части.

Преступный сговор!..

Секут мусора — плевать!

Не обошлось дело без Г.Д. Костаки. Он осмотрел впечатляющее собрание Яковлева и с горечью признался: «Да, я ошибочно считал его слабаком, а теперь вижу, что это художник Божьей милостью».

Высокий духовный взлет!

В 60-х годах национальные вопросы решались на уровне пародий легендарного «армянского радио» и неисчислимого множества еврейских анекдотов типа «папа — рикша, мама — гейша, а сын — Мойша». На официальном уровне что-то писали о еврейских погромах в царской России (романы В.П. Катаева), и ни слова о 6 миллионах евреев, истребленных в нацистских лагерях. По-моему, и сейчас, в годы безбрежной гласности, власти уклоняются от такой колючей темы.

Мой анархизм и вольтерьянство не мешали любить Библию и постоянно ее перечитывать, восторгаясь могуществом и мудростью царя Соломона с его царицей Савской и гаремом из семисот жен; чтить Будду за гимнастику секты дзен, лечащей от мигрени; удивляться Египту за

колоссальные пирамиды, обожать православие за парную баню с березовым веником и католиков — за остроглавые соборы до облаков, но лавировать между острыми камнями, как Вася Полевой (Великая Украина), Сашка Проханов (Великая Россия), Мишка Гробман (Великий Израиль), было нелегко.

«Мы окончательно решили переехать в Израиль», — сказал М.Г. в 1969 году.

Что значит переехать?

Купил билет и полетел!

Из советского рая, с дровяным отоплением и атомной бомбой, просто так никто не вылетал, да еще в капиталистический ад, с горячей водой.

Вечная Россия, «святая Русь» — страна махрового, от народной гущи до кремлевской верхушки, расизма («черножопых на мыло!»), воинственного шовинизма («япошек шапками закидаем!») и примитивного антисемитизма («бей жидов, спасай Россию!») — твердо стояла неподвижной вековой крепостью. Лозунги мировой революции, указы большевиков о равноправии наций ей были как об стенку горох.

Выбраться из такого рая было не так просто. Выпустили после пыток на износ. Вынес — прорвался, нет — сдохни в раю. Кремлевские режиссеры нашего либерального времени нехотя выпускали комсомолок, прикадривших в московской общаге вождя африканского племени, зубрившего марксизм, и попадавших в благословенный гарем.

Танцор Рудольф Нуриев не вернулся с парижского спектакля. Пианист Владимир Ашкенази застрел в Англии, в постели любимой девушки. Живописцы Олег Соханевич и Генка Гаврилов вплавь и без билета подались в Турцию. Писатель Аркадий Белинков, усыпив доверие товарищей, стал невозвращенцем.

Вот такими маневрами выбирались отчаянные одиночки из Советской России в начале 60-х.

Спонтанно, но шумно — «отпусти мой народ!» — выступили советские евреи из всех областей и республик. Их выпускали по выбору, обдирая как липку. Выездных виз не получали ученые люди: физики, инженеры, математики с хорошими мозгами. Они пытались штурмом брать самолеты и получали большие тюремные сроки за нарушение советских правил.

За год или полтора до эмиграции Гробман психологически разошелся на две половины: одна гуляла по парижским бульварам и широким американским дорогам, а другая рубила дрова в Текстильщиках, меняла шило на мыло, давилась в очередях за картошкой. Мало этого, Ирка родила дочку Златку, и прибавились детские заботы и проблемы жилплощади.

С получением вызова из ада, 17 марта 1971-го, началась бюрократическая пытка на износ под кодовым названием «оформление документов». На сцене появились персонажи Гоголя и Салтыкова-Щедрина, вместе взятые. У стола так называемого Отдела виз и регистраций (ОВИР) после трех часов ожидания чин в синем мундире выдавал ничтожный листок бумаги с таким важным видом, как выдают банковский чек на солидную сумму денег. Эти синие нелюди употребляли все пыточные средства, чтобы притормозить дезертира райской жизни, то зловредно придираясь к каждой букве «анкетных данных», а то и с лицемерной улыбкой, отфутболив вас к началу «оформления» — не того цвета чернила, неразборчиво заполнено, год и место рождения родителей ошибочны, нет справки с места работы, отсутствует печать профсоюза.

И, как водится, поток грязи от родни!

За женатым тунеядцем Гробманом, жившим вызывающе открытым образом в своем бараке, давно велось наблюдение. Его сионистские взгляды раскусили коллеги по рисованию и вовремя донесли. О желании эмигрировать в Израиль не знала разве что курица во дворе. Перед тем

как дать разрешение на отъезд, хранители советского рая решили подловить его на дохлого червяка: «Чекисты дали о себе знать в открытую, пытаясь меня завербовать в качестве осведомителя» (М.Г.).

С завидным хладнокровием он обошел все препятствия и получил разрешение на выезд из Советской страны, устроил шумные богемные проводы в Текстильщиках, собрав большую толпу и в канадском посольстве из самых близких друзей.

В 1958 году М.Г. поднял знамя московского авангарда — Владимир Яковлев! — и не выпускал его из рук, отбиваясь от атак оголтелых академистов и консерваторов всех рангов и положений, лукавых и завистливых друзей. Ему удалось спасти творчество великого художника от гибели в советской коммуналке и вывезти ценный архив по искусству в Израиль.

\* \* \*

Первоначальный израильский этап семьи Гробмана ускользнул от моего внимания, но можно проследить по дневникам М.Г. — это устройство на новом месте, изучение языка, воспитание любимых детей, первые легальные выставки и организация артистической группы «Левиафан» с одноименным бюллетенем ручной работы.

Изображая в своей неповторимой манере марку «Левиафана», Гробман постарался. Черное (цвет вселенского могущества) на Красном (символ огня и жизни) безукоризненно по пластике. Рисунок стал фирменным знаком не только объединения, а всего русского авангарда. Теперь яркая марка гуляет по всем учебникам человеческой культуры.

В Израиле М.Г. оказался в положении возмутителя спокойствия. Деятели искусства держались консервативного реализма и бездушного ремесла. Песенки Симоно-

ва и Евтушенко считались последним криком русской словесности, в то время как Гробман предлагал культуре авангардный путь Велимира Хлебникова, барачные стихи Холина, заумные верлибры Айги. В живописи царил подобный застой. Работ Яковлева никто не принимал всерьез.

Экспериментаторов нового московского авангарда М.Г. упорно толкал в народ и пробивал!

Далеко от Москвы он командует, учит и творит.

В 75-м в Москве я заглянул к поэту И.С. Холину. Квартира завалена вещами. «Это на обмен, а это на продажу», — сказал он мне. Кресты и кадила, иконы и книги, оклады и картины, ковры и шубы. Поэт принял эстафету скупки и обмена вещей от Гробмана и умело действовал на этом поприще. Непрерывно трещал телефон, приходили и уходили странные люди с мешками на горбу, с тяжелыми чемоданами и свертками.

«А это подарок Гробмана», — сказал Холин, развернув голубые заграничные штаны.

Московских друзей новый израильтянин не забывал.

«По гроб ему благодарен, — пишет мне кинетист Лев Нуссберг, — Гробман выслал мне тринадцать, если не четырнадцать израильских вызовов».

Подпольный очаг московской культуры, перекочевав в Израиль, действовал вовсю.

В 79-м году он спас в Германии (музей Бохума) выставку авангарда от позорного провала. В результате предательского бойкота парижского коллекционера А.Д. Глезера, отказавшегося дать картины, образовались экспозиционные дыры, немедленно заполненные его собранием лучших яковлевских работ. Сам спаситель, рисовавший в Москве книжные обложки и монотипии, представил монументальные вещи, композиции большого формата в новой технике. Участник множества выставок, Гробман спокойно, как океанский пароход, плыл в будущее.

Мы дружески встретились после длительного перерыва, восстановили отношения и переписку.

Я получал от него рукописный «Левиафан» и отправлял с туристами в Москву, держал его в курсе скандальных парижских событий. Он описывал свои похождения.

В 84-м мне выпала честь выставяться с В.И. Яковлевым в Лондоне. Организаторы решили, что три русских «экспрессиониста» — туда ввели и А.Т. Зверева с подачи Костаки — достойно представляют это устаревшее течение в передовой Европе.

Гробман написал короткую, но прекрасную характеристику Яковлеву, где были пророческие слова: «Картина Яковлева не украшение стены, а твой собеседник, соучастник и член семьи. Придет время, и начнется бешеная погоня за его именем, за частями его души, рассыпанными по миру и доступными в своем величии только избранным».

Время пришло, и Яковлев прославлен, но ни до, ни после никто не говорил о художнике так проникновенно.

Русскую политическую перестройку с радостью приняла вся эмиграция. Открылась навечно запертая страна. Первая радость немислимых встреч была горячей и искренней, но и парадоксальной. С постаревшими московскими коллегами мы говорили на одном языке, пили, обнимались, но в слова и понятия вкладывая разное содержание. И в Париже, и в Нью-Йорке, и в Иерусалиме русские гастролеры думали о приватизации казенных квартир и постройке дач в Тарусе. Они набивали чемоданы шмотками и колбасой и улетали к себе ловить рыбу, в то время как эмигранты, потерявшие прошлое, разбегались по своим делишкам в противоположном направлении.

Атмосфера чужбины и вражды!..

Ох, эта Москва!..

Возвращение не всегда поражение. Вспомним победоносного Ленина на броневике!

На моих глазах начался авантюрный курс на Восток, к истокам и большим деньгам. Известный художник Виталий Казимирович Стацинский добился французской пенсии в тысячу евро, купил дом на высоком берегу Волги и провел там счастливое бабье лето, собирая в лесу ягоды и грибы. Стоило ему вернуться по делам в Париж, как сообщили, что дом его сгорел дотла, а в московской мастерской ночуют бомжи.

Возможно, это случайное совпадение, но я думаю, что жить везде и на всех стульях не получается у самых проворных и деловых людей.

К открытию в России всевозможных «центров», «вин-заводов», «гаражей» надо относиться с большой осторожностью, никогда не забывая, что Россия — страна на особый аршин и «умом» ее «не понять».

В начале 90-х супруги Гробман принялись за издание иллюстрированных журналов: «Знак времени», «Звенья», «Зеркало», публикуя материалы исторического значения, как, например, беседы с Н.И. Харджиевым, поэтом Айги и Яковлевым. Я, сочинявший некрологи, с удовольствием писал для них рассказы о парижской богеме. Еще в 67-м проницательный ценитель Гробман открыл во мне литературные способности.

«Мы вместе со всем Израилем очень любим твои очерки, — хвалила меня Ирка Врубель-Голубкина, — и надеюсь, что будешь писать для нас».

От таких похвал волей-неволей возьмешься за перо вместо кисти.

После долгого перерыва мы увиделись в Израиле (октябрь 1995). Передо мной стоял не бородатый хиппи, а стриженный и помолодевший Мишка 60-го года.

Кульг насилия, револьвера, китча и порнографии, поставленный на пьедестал злободневного успеха, не коснулся московского авангарда.

Знаменосец Гробман победил!



В.И. Яковлев официально, по всем русским календарям признан величайшим художником нашего времени. К сожалению, он не дожил до своего триумфа, в 1998 году умер в московской больнице 65 лет от роду, не побывав ни в Европе, ни в Китае, куда мечтал попасть в детстве.

О новом XXI веке, принесшем много сюрпризов, следует говорить отдельно. Свой гимн знаменосцу русского авангарда я закругляю на XX столетии.

Да здравствует великий Гробман!

Бурные, продолжительные аплодисменты. Все встают.

## 24. Цеховая солидарность леваков

В погоне за иностранцем леваки превзошли всех охотников пощупать и понюхать запретный западный мир. Рекордсменом стал молодой художник Лев Нусберг, красавец и спортсмен, презиравший советскую власть. На знаменитом фестивале молодежи в Москве 1957 года, собравшем 35 тысяч молодых иностранцев, используя фальшивый пропуск комсомольского активиста, он закадрил сразу четырех девиц, парочку француженок, учивших русский язык, Дениз и Жаклин, и пару немок, Эльгу и Жанну, из Ганновера.

За встречи с иностранцами простых советских граждан уже не расстреливали, как бывало в 30—40-х годах, но Уголовный кодекс стоял как скала. Политическая статья 58 не менялась, но высшая власть постепенно теряла бдительность. Молодежный фестиваль перепутал все уголовные статьи и светлые достижения коммунизма. Столица мировой революции Москва на две недели превратилась в огромный международный бордель, где все переоблилось. Черный рынок бушевал, как никогда, — от

обмена памятными значками и американской жвачкой до торговли валютой и червонным золотом.

Вековая жажда Запада!..

«Лев, немка — твоя!»

Лев Нусберг (до 76-го года с одним «с») — тайный поклонник Пикассо, редкая и запретная птичка в зоопарке социалистического реализма, естественно, стилиста, брюки дудкой, кок на лбу, — не менял подруг как перчатки, а внимательно и аккуратно обрабатывал девиц, влюбленных в загадочные русские души, растянув любовь и дружбу на несколько прибыльных лет, с товарообменом и романтическими встречами.

Казалось бы, такому молодцу без страха и упрёка любое море по колено, но первая встреча с иностранной подданной повергла богатыря в шок. В письме ко мне от 15.05.08, или, скорее, в длинном трактате о творчестве, он пишет: «Это был восторг, невероятное событие в моей жизни. Каждый вечер к гостинице “Метрополь” подкапывали роскошные, граненые автобусы и из них не торопясь выходили пришельцы иного мира, иностранцы и иностранки невиданной красоты. Знакомились сразу на остановке, или на выставке в Центральном парке, или в “Клубе интересных встреч”, а после буги-вуги и горячих поцелуев я не спал ночами, прокручивая райское событие, как в фильме».

От его революционного девиза «Догнать и перегнать Америку по производству картин, скульптур и украшений» сжималось сердце у стажеров гнилого западного мира.

Если литературное творчество Бориса Леонидовича Пастернака досконально изучено, со всех сторон освещены каждая поэтическая строка и «Доктор Живаго», то «дело Пастернака» — нелегальная публикация прозаического романа в Италии (1957 г.), Нобелевская премия (1958 г.), гонения советских властей (1959 г.), литературная дама Ольга Всеволодовна Ивинская, принимавшая

самое деятельное участие в «деле», — остается темной и неисследованной областью.

Муза и любовь!

Информация Л.В. Нуссберга внесла некоторую ясность во тьму этого «дела».

У Ивинской был сын Дмитрий от второго брака с неким Александром Петровичем Виноградовым, номенклатурным работником среднего калибра, но все-таки с личным шофером и прислугой в доме. Позднее открылось, что этот бдительный работник донес на свою тещу за критику советского кинематографа, и ее посадили на пять лет в тюрьму (1940 г.). В квартире стало просторней и чище, но жировать пришлось недолго. Через год, совсем молодым (35 лет) и в разгар мировой войны, этот человек умер от «воспаления легких». Из заключения вернулась теща Мария Николаевна, ее встретил муж Дмитрий Иванович Костко, и жизнь, несмотря на послевоенные трудности — продуктовые талоны, дорогой керосин, отсутствие одежды, — потянулась своим чередом, в окружении дочки Ольги, внучки Аришки, малолетнего Димки и верной прислуги Полины Егоровны Шмелевой.

Ольга Ивинская, крупная блондинка славянского шарма, любвеобильная и сама доброта, многие годы трудилась на издательском поприще. Пастернак ее встретил в редакции журнала «Новый мир» в 1946 году и полюбил. Она его не очень. Работая в журнальном производстве, великим авторам она не отказывала в ласке. У влюбленных романтиков был перерыв на несколько лет. В 49-м блондинку сослали в Сибирь, но за что, я не берусь судить, а в 53-м, уже на воле, они возобновили любовную и профессиональную связь.

Любимой женщине великий писатель, или «классик», как его окрестила теща, поручил и доверил деловые встречи с официальными советскими лицами, гонцами иностранных издательств, журналистами, туристами и провокаторами всех жанров.

С самого начала издательской зарубежной авантюры (1956), когда итальянский журналист Сержио д'Анжело вывез рукопись Пастернака на Запад, финансовая сторона предприятия не обсуждалась и была пущена на русское авось. После издания романа по-итальянски мошенником и провокатором Жакомо Фельтринелли Пастернак, что называется, обалдел от счастья и небрежно, и беспечно отказался от денежного вознаграждения. Крупный жулик Фельтринелли объявил всему миру, что у него исключительные права на издания и переводы романа, автор бестселлера не нуждается в гонораре, и все доходы от тиражей держал в Швейцарском банке на своем счете.

Кремлевские шакалы, заливавшие грязью великого писателя, — «Иуда, вон из СССР!» — пронюхав, что дело пахнет большими деньгами, предложили ему свои услуги по денежному вопросу: матерых адвокатов и лавочку под названием Всемирный Совет Мира, принимавшую любую валюту планеты. Неизвестно, как поступил робкий Пастернак, но Ивинская, претендовавшая на итальянский гонорар, решила получить его лично, без советских посредников.

Простые советские люди поднимали целину, бдительно следили друг за другом, а школьник Димка Виноградов фарцевал у Центрального почтамта.

Иноземные пакеты, письма, бандероли! Все оклеено красивыми, красочными марками. Обмен и покупка марок, прибыль и убытки. Учился он плохо, но свысока смотрел на сверстников. В кармане топорщились деньги, на шведский свитер заглядывались первые красавицы Москвы. На буйном фестивале 1957 года его зацапали менты на сделке с иностранцем и сутки продержали в милицейском отделении, составляя протокол. Со студенческих лет располагая связями с органами правопорядка, мама Ивинская вытащила сына из цепких лап мусоров, но Димка не собирался покидать оживленных торговых сделок. Он курировал доходную плешку в центре Москвы в

качестве «бегунка». Там он пас фирму в пестром галстукe, а за них совки платили втридорога. Доводилось менять валюту по реальному курсу, выгодному обеим сторонам. Наглый ингуш Батак пытался его выжить с торговой точки, но Димка стукнул «куда надо», и ингуша упекли на сибирские золотые прииски. Зная крутые связи Димки, фарцовщики столицы уже не посягали на его территорию, но над ним постоянно маячил главный «бомбила» Москвы Ян Тимофеевич Рокотов, по кличке Косой.

Французский студент Жорж Нива, изучавший великую русскую литературу и особенно ее авангардные течения XX века, приехал в Москву в 56-м году и на семинарах сдружился с рыжей красавицей Ириной Емельяновой, дочкой Ивинской от первого брака. Сразу вспыхнула взаимная симпатия, общие литературные интересы и полезные встречи с московской интеллигенцией.

Классовая война дорого обошлась России, а кассовая — еще дороже.

Французского жениха запрягли не только в литературную контрабанду, но и в поставщики парижского «макияжа», имевшего в московском обществе бешеный спрос. С фирмой Димке повезло. Сестра невестилась с французом. В квартире постоянно толкались слависты настоящего Запада, а не чурки из предгорий Карпат. Эти люди со вкусом, как сговорившись, в обмен на губную помаду просили икону XV века, в худшем случае — тульский самовар с медалями по бокам. Приходилось налаживать связь с «фомичами», ломавшими церкви по деревням, всякий раз набивавшими цены на древние «доски».

Роман «классика», ставший в Европе бестселлером, переводили на все языки мира, в банках Швейцарии оседали большие гонорары, а Пастернак и его близкие сидели без денег. Ольга Ивинская дала знать издателю, что ждет от него авторского гонорара, а это 150 тысяч американских долларов. Советские компетентные органы, посвященные в операцию, приготовили провокатора с день-

гами. Зимой 1960 года к Центральному почтамту подошел красиво одетый иностранец с чемоданом в руке. Димка принял вещь, выдал подарок в виде матрешки и, оглядываясь по сторонам, вернулся домой. В чемодане оказалось 15 тысяч советских, основательно потрепанных рублей. Димка, отлично знавший, что валюту прикарманили иностранцы, решил отомстить им за причиненное зло. Деньги поделили поровну. «Классик» обеспечил свою семью. Ивинские купили холодильник и телевизор.

Советская власть поощряла бдительность своих подданных. Пионеру Павлику Морозову, донесшему на родного отца, спрятавшего мешок зерна, в городах и селах ставили бронзовые памятники. Оскорбленный Димка заложил иностранных контрабандистов д'Анжело и Бенедетти, но не рассчитал операции до конца. «Контора» выдворила полезных иностранцев из страны, но решила ударить и по Димке, и по его близким.

Вот тебе и российская самобытность!..

«Димка, не бзди, прорвемся!»

10 февраля 60-го Пастернаку стукнуло 70 лет. Из дома он сбежал в семью Ивинских, где ждали дорогих иноземных гостей — знаменитого агента всех разведок Муру Будберг-Закревскую, подарившую Пастернаку потрепанный галстук Герберта Уэллса, и Веру Алексеевну Сувчинскую-Трейль, дочку известного в свое время капиталиста А.И. Гучкова, принявшего у царя отречение от престола в 1917 году. За столом сидели влюбленные Жорж Нива с Ириной, Димка с бабушкой и дедушкой. Обильная выпивка, вкусная русская еда, много икры и водки. Назавтра француз Нива и его русская невеста покрылись волдырями, а «классик» жестоко заболел и попал в больницу. В апреле писатель снова заболел, и 30 мая как гром среди ясного неба пришло сообщение о его смерти. На его похороны в пригороде Москвы собралось около тысячи человек, от верных друзей до анонимных почитателей, хотя официального сообщения о его кончи-

не не появлялось. Заявились туда и художники Нусберг с Гробманом, снимавшие дачу в Переделкине.

«Около трех часов дня в гуще провожавших меня поразило мертвенно-бледное лицо русоволосой, с огромными раскосыми глазами девушки, — вспоминает день похорон Л.Н. — Мне удалось деликатно и постепенно разговорить ее, хотя она и была в отрешенном состоянии и убита горем, и проводить домой. Я получил от нее номер телефона с разрешением звонить и запросто заходить в гости. Это была Ирка Емельянова, любимица Пастернака, дочь Лары из “Доктора Живаго”».

А где был жених Ирины, француз Жорж Нива: прятался в лесу, сидел на чердаке?

«Я стал бывать у них в Москве, — продолжает Л.Н. — У них прочитал “Доктора Живаго”. Восхищался притягательной Ольгой Всеволодовной и подружился с Димкой Виноградовым, сыном Ивинской, но от другого мужа. 17 августа 60 г. (неточно, обыск был 16-го) я подхожу к их дому и вижу, как оперативники выносят из подъезда коробки с архивами, книгами и т.д. Обыск шел 5 или 6 часов. Ивинскую и Ирину арестовали и увезли. Димку оставили дома...»

(Свидетельство Л.Н. хромает на два пункта. Он скрывает свои истинные отношения с ровесницей Ирккой, в открытую жившей с французом Нива, и не упоминает о его выдворении за пределы советской территории 6 августа 60-го года. Емельянову арестовали позднее, на допросе в МГБ 6 сентября.)

Что же искали оперативники пять часов подряд?

Неужели тетрадку Б.Л. Пастернака с новой пьесой?

Опытный оболъститель и психолог Лева Нусберг за три месяца посиделок в этой семье вынес следующее впечатление: «Я был у них раз восемь. Их квартира на шестом этаже походила на склад потребительских товаров. В одном углу стоял ряд тульских, гербовых самоваров, в другом — ящики американских напитков, виски и джина,



горы фирменных шмоток. В третьем — кучи книг и журналов, в четвертом — штабеля икон вперемежку с расписными прялками. Где они прятали деньги и валюту западных стран, я не знал, да мне было и наплевать».

Народ молчал, маразм крепчал!..

В июле 60-го Ивинская с дочкой отдыхали в Тарусе, когда Димка принял второй чемодан с дубовыми рублями на пороге почтамта. Его повязали с поличным и круто прижали на допросе. «Чувак, — сказал грамотный мент, — выбор невелик: или нары на Чукотском полуострове, или чистосердечное признание, и поименно». Димка показал на иностранных жлобов, присвоивших валюту, на «бомбилу» Яна Косого и на всех завсегдаев «коктейль-холла», где собирались лакеи Уолл-стрит — упадочные эстрадники Дыховичный и Слободской, Миронова и Менакер, Марк Бернес и Эдит Утесова. За потертые джинсы московские интеллигенты отваливали по двести рублей, не торгуясь, а за флакон парижских духов давали икону XV века.

Любая революция начинается с непослушания и спора отцов с детьми. Беспокойные дети вносят неразбериху в стройный семейный лад. Кучка московских «бомбил» и «бегунов» внесла невероятную смуту в экономику пролетарской страны, спровоцировав правовой кризис и смену Уголовного кодекса, результат которой хорошо известен: Кремль с испугу дал обратный ход и вместо законных восьми лет, приговорил трех видных спекулянтов — Рокотова, Файбишенко и Яковлева — к расстрелу.

Димку Виноградова за хорошее поведение оставили в покое, но посадили мать и сестру.

Такова система цеховой солидарности.

Несчастную О.В. Ивинскую судили по статье номер 15: «контрабанда», повесив на шею восемь лет исправительно-трудовых лагерей в Сибири.

Верно говорит пословица: «Закон что дышло, куда повернул, туда и вышло». Достаточно плюнуть в морду

менту — и получишь тюремное заключение. Это называется «оскорбление должностного лица при исполнении им служебных обязанностей». Так случилось с горячей Аришкой Емельяновой, обозвавшей следователя сволочью. Студентке, оскорбительно базлавшей на допросе, впаляли три года тюрьмы.

От мусоров держись подальше!. Не мозоль им глаза! Скрывайся в тени!

Зэки валили лес, а вольняшки пели и пили от души.

«Всю зиму и следующую весну, вплоть до квартирной выставки у Алика Гинзбурга — июнь 61-го г. — я часто бывал у Димки, где мы: его приятель Кирилл “Серый”, сын композитора Никиты Богословского, и Серега, испытатель реактивных самолетов, — собирались на мужицкое застолье с чтением стихов под гитару и бесконечными тостами за маму Ольгу и любимую Ирку. Старая “баба Поля” наваривала большую кастрюлю жирного борща, ставила пузатую бутылку спирта, и мы пили за свободу творчества».

С дерзкой подругой, сидевшей в тюрьме «ни за что», Л.Н. вел деятельную переписку. Письма из мордовской зоны — «Милый Лева, с Новым годом!» — приходили два года подряд, пока интерес друг к другу не погасило время.

Нусберг всегда ценил цеховую солидарность и не забывал коллег по свободному искусству, творивших на вечность.

Спрашивается: зачем везти парижанку Дениз к какому-то Володе Вейсбергу? А затем, что Вейсберг — колдун, живописец и друг. Он опытный старик. Ему 35 лет. У него рост, брюхо и зычный голос. Гостей он принимает в халате больничного санитара и покажет кучу картин на старинном мольберте. Его ценят не только девицы, но и опытные эстеты, как турок Назым Хикмет, например. Вейсберг — московская гора и важный адрес, куда идут спасать грешные души.

А кому нужен гнилой барак в поселке Лианозово?

Там творят и живут без горячей воды поэты, художники и ээки, проклятые властями. Американцам Сэму Драйверу с подругой Клер (1959) такой адрес гораздо интереснее Мавзолея Ленина, и Нусберг об этом знал, сопровождая американских гостей в глухое подполье.

«На американской выставке я познакомился с шустрым Майклом Плитцкером. Его интересовали иконы. В обмен он предлагал роскошно изданные альбомы. С гидом Элизабет Валкенир мы не только встречались в Москве, но годами переписывались. Она присылала мне книги и диски с записями средневековой музыки, а я ей иконы и матрешек».

«Американского коммерсанта Пола, “мы обращались к нему Паша”, я и фарцовщик Валерка Лещинский повезли к великому и неизвестному Вадиму Столлярю, сочинявшему не оптимистические оратории, как все, а особые опусы, кулаками и пятками выстукиваемые по клавишам рояля. Это и музыкальный авангард, и модно, и смешно. На стенах у него висели работы Володи Яковлева, монотипии Гробмана, гуаши Нуссберга. Американец, воспитанный на Малере и Гершвине, от импровизаций Столляра в восторг не пришел, но приценился к картинкам».

\* \* \*

Дорогу чешскому народу!

Чехи строили коммунизм нехотя, с оглядкой на капитализм богатых немцев. Они редко убивали своих и не ломали прошлого своей крошечной страны.

Основательный вклад в цеховую солидарность московских леваков внесли чешские студенты.

До появления в Москве пражских певичек Эленки Дубовой и Зденки Главовой (1962), покоровших сердца Нусберга и Гробмана, московские леваки оприходовали выставку французского искусства с ее гидами: «Модно и

дорого одетая хохотушка Ани Люк, молчаливая и загадочная Жаклин Фонтэн, Элен Валабрег со страстным интересом к России, хорошо воспитанные и сдержанные Мари-Клод Басселье и Франсуаза де Сюржи. Нина Владимировна Гейц говорила по-русски без акцента, дочь русских эмигрантов преподавала русский в Ницце, богатая, из высшего французского общества, едва говорившая по-русски Анн Мазерель и 18-летняя Ольга Потемкина с русскими корнями. Наконец, на одном показе мод я смело познакомился с настоящей дамой лет тридцати, высокой и стройной. Звали ее Наташа Друэ. Она представляла знаменитый “Дом Кристиан Диор” и за полчаса разговора выяснила, кто я родом и с чем меня едят. Она объездила полмира и была хорошо информирована, что и как происходит в современном искусстве, моде и дизайне. Ее удивили мои геометрические работы в моей каморке 9 на 2. Естественно, весь этот изысканный цветник я развлекал по-своему: всех возил в Загорск, в русские монастыри, к другу Борису Диодорову, хорошо принимавшему гостей, и, конечно, в Лианозово, где в экзотическом бараке без проточной воды рисовала кучка нелегальных художников. Знакомство не пропало даром. Через 15 лет, в эмиграции, меня поддержала Наташа Друэ, а с Потемкиной возобновилась страстная любовь».

Барак поэта, художника и антиквара Михаила Гробмана, с косыми окнами и ветхим балконом, стал обязательным местом встреч леваков с представителями западной культуры. Начало 60-х годов оказалось особенно «чешским» на встречи и посиделки.

«Старик-ты-гений!»

Юных чешских певичек, прикадренных в театре оперетты, друзья щедро отоварили русскими сувенирами и всучили по десятку живописных произведений московских новаторов — просто так, на добрую память от братьев славян. Отец Зденки, знаменитый пражский архитек-

тор, с приятелем Душаном Конечным осмотрели рисунки москвичей и были приятно удивлены высокой исполнительской техникой их авторов. Им ничего не стоило звякнуть в нужные места и показать опыты московских модернистов публично.

Через чехов западный мир узнал о существовании современного искусства в Советской России.

Историк Арсен Погрибный, аспиранты Петер Шпильман и Иржи Халупецкий, коммерсанты Мирко Ламач и Юрий Прадта выезжали из Москвы с чемоданами, набитыми творениями московских художников. Взамен советские друзья получали журналы на оберточной бумаге, с короткими отчетами Гробмана о героических схватках советских «левых» с «правыми».

У юного красавца Мишки Чернышева, владевшего англо-русским наречием, начисто отсутствовало чувство страха, свойственное тунеядцам. Он брал на бордаж любого фирмача на улице, в ресторане и на выставке, за именем своих картин загоняя их в подпольную «академию» Васьки-Фонарщика, в бараки Лианозова, в подвал скульптора Неизвестного, где несчастные туристы проходили эстетическую обработку. Под конец их раздевали донага и в дар вручали свои каракули.

Двое калифорнийских славистов, Игорь Мид и Поль Секлоча, сопровождали выставку американской графики (1963). Любопытные ребятки осмотрели Царь-пушку и Царь-колокол и размышляли, куда им дальше податься, как из кустов вылез красавец Чернышев и позвал в модные места Москвы. Перед американцами открылись квартиры, набитые древними иконами и подпольными курсами рисования.

Разгул мелкобуржуазной стихии!..

В знак благодарности друзья из Америки постарались и состряпали книжку о «неофициальном искусстве в Москве».

«От Византии свет получившие и благочестие!»

Казарма коммунизма поставлена на века, кремлевские мудрецы решали за все человечество, как жить — от курной избы до космических далей. За контрабанду на Запад давали срок, участников нелегальных операций лишали въездных виз, а левакам — как с гуся вода.

Россия — страна чудес!..

Харьковчанин Анатолий Рафаилович Брусиловский вошел в московское подполье, как непреклонный штопор в бутылку. В 60-м году он прописался в столице и снял мастерскую, ставшую центром культурной жизни. Брюнет с пышными бакенбардами стал любимцем московского авангарда. В короткое время он сколотил коллекцию русских древностей и курьезов мирового фольклора. Его супруга из крестьянской глубинки в рекордный срок из застенчивой студентки превратилась в аристократку высокой пробы. Пара свежее испеченных москвичей, полиглотка и модный рисовальщик, очаровала дипломатический корпус и заезжих фирмачей. Посланники главных и второстепенных стран, журналисты-международники, галерейщики и банкиры — все прошли через веселый дом Брусиловских. Хозяин не зажимал фирмы, как это делало большинство леваков, а щедро делился доходными связями с избранными коллегами. Можно без преувеличения сказать, что он «вывел в люди» Соостера и Неизвестного, Булатова и Васильева, Штейнберга и Янкилевского, Миловскую и Шемякина.

«Ходило у меня их толпами, каждый день. (Гостевая книга — документ!) Всех не упомянуть. Я запоминал только тех, кто давал результат», — пишет мне А.Б.

«В декабре 1966-го моя парижская подруга Ольга Потемкина (наш жгучий роман вспыхивал на протяжении 30 лет!) прибыла со съемочной группой французского телевидения, — вспоминает Нуссберг. — Я устроил им съемки у Брусиловского. Он приглашал кучу народа. Снимали картинки. Ели. Танцевали твист до утра».

Мне повезло с докладами Брусиловского. Я получил от него исчерпывающий обзор главных явлений московского андеграунда, принципиальным деятелем которого он был с начала до конца. Пишет он резко, красочно и сочно.

«Зависти у меня нет и не было, и я не жадный. Я первый принял Дину Верни и тут же направил на Шемяку и другое совковое мурло. В 70-м из подвала на Казарменном я перебрался на чердак и построил там студию. Моя Галя всегда обладала исключительным вкусом, а ее подруга, баронесса Кристин д'Амбр, модель лучших кутюрье Франции, часто бывала в Москве и привозила последние образцы. Галя их надевала раньше, чем дипломатические дамы!

Никакого героизма. Никаких заслуг. Просто цеховое братство. Мне приятно было чувствовать команду, дружбу. Только один жлоб Янкиль (худ. В.Б. Янкилевский) злобствовал и рычал: “Ишь, Брусок строит из себя мецената, прислал мне итальянцев, я у него их не просил!”».

Немецкая галерея «Баргера-Гмуржинска» как на дрожжах поднималась на чешских чемоданах. Ее владельцы поставили европейские цены на анонимных москвичей, так что кремлевские счетоводы взоргнули от неожиданности: как так! за подпольные каракули сыпется валюта! Брусок целиком и полностью берет на себя ответственность за нелегальную переправку картин в славный город Кёльн.

«Галерея получала все от меня через дипканалы — и шито-крыто. Пресса была большая, часть работ они продали, но нам ничего не перепало. Потом Гмуржинска и Кенда разругались из-за денег насмерть, а с сукой Кендой не имею ничего общего».

Нуссберг, Гробман и Брусок перекрыли все иностранные каналы, питавшие подполье.

Контрабанда работала без перебоя. Для выставок за границей эта тройка составляла списки «великих» и «своих». Вылазки непрошенных и бесхозных дикарей, как это

было с живописцем Сашей Путовым, рискнувшим самостоятельно освоить дипарт, беспощадно пресекались. В темном переулке его встретили неизвестные и жестоко побили.

Англия (Виктор и Дженифер Луи), Америка (Нина Стивенс, Генри Шапиро, Г.Д. Костаки), Франция (Поль Торез, Дина Верни, Мишель Рагон), Италия (Франко Миеле, Жоржио Грино), Швейцария (Поль Иоллес, Мартино) и, естественно, Чехословакия с ветеранами Душаном Конечным и компанией.

«Звонил Левка Нусберг, чтоб в мастерской Бруска выступить перед французским телевидением, — в своем дневнике за 68-й год записал М.Я. Гробман. — У меня созрела идея, и ее поддержали Бачурин и Кабаков об организации взаимопомощи между друзьями. Два слона, на которых строили все здание: этика и материальное бытие. Я наделен тройным голосом на приобщении художников к нашей таинственной коалиции».

«Я никогда ничего не боялся, — пишет мне А.Б., — поляки считали меня за своего (язык без акцента!). Чехов я принимал за якутов и отношений не углублял — чего от них ждать?»

Группу кинетов, точнее, технических исполнителей его замыслов Нусберг создавал в безвоздушном советском пространстве, где она быстро развалилась от нищеты и предательств. В 67-м активисты Калинкина, Лопакон, Кривчиков занялись антикварной торговлей на черном рынке. В 69-м официальный Союз художников завербовал Пако Инфанте, мастера высокой кинетической техники. За ним ушли Правдюк, Зимин и Ковальчук, получившие желанную столичную прописку. Снаружи их осаждала «контора» — мусора, гэбня, соседи, а изнутри кинеты сводили счета между собой: кто первый нарисовал «спираль», кто первый предал, кто первый смылся с работы.

А как отомстить подлецу, испортившему тебе если не жизнь, то настроение? Как еще не стукнуть «куда надо»!



Стучали Фантик с женой, стучала переводчица Беби Орлова, стучал полковник Акулинин, сдававший им помещение, да и сам предводитель не молчал четыре часа на допросе в ЦК комсомола! А как замести следы доноса? Направить денежного иностранца к противнику.

И — как результат братоубийственной склоки — Фантик получил жирный заказ от полковника М.С. Малькова, а Нусберг — израильский «вызов» в эмиграцию.

Каждому — свое!..

Вот вам и романтика московского авангарда!

В 1969 году мой сосед и коллега Алексей Россаль-Воронов, служивший плакатистом в Центральном цирке, получил задание красочно украсить здание к 50-летию знаменитой труппы. Пожилой человек понятия не имел, как это сделать, чтобы не осрамиться перед народом и начальством. Я ему сказал, что красиво, весело и поучительно сделает Лев Нусберг. Так и вышло. Артель кинетистов с блеском справилась с украшением выставки в самом Манеже, посвященной советскому цирку.

Советский человек в мгновение ока из свидетеля превращается в обвиняемого, тут все зависит, с какой ноги утром встал следователь.

Главный архитектор Москвы, академик М.В. Посохин, пораженный ярким и современным оформлением цирка, заказал группе кинетов оформление Кремля, но с одним условием: кинеты вливаются в его организацию «Моспроект». Нусберг решительно отклонил соблазнительное и провокационное предложение и ушел в подполье, опасаясь мести академика.

Он отлично помнил издевательские допросы «конторы» в фестивальное время 57-го года, позднее в главном помещении Министерства советской безопасности на Лубянке: «в течение 11 часов без еды и воды», затем четырехчасовой допрос в Центральном комитете комсомола. Такие беседы значительно охладили пыл новатора и многому его научили.

Рви когти, чувак! Смывайся!

Зимой 1969 года в деревне Кусково на чужое имя он арендовал квартиру, где скрывался полгода, сочиняя книжку под названием «Смещение времен» — нечто вроде мемуаров вперемежку с манифестами. Как ему удалось выкрутиться из неприятного дельца с оскорбленным академиком, мне неизвестно, но он снова стал появляться в людных местах, навещая Гробмана и Бруска, и не один, а опять в обществе иностранных туристов. На новый, 1970 год в компании важных художников из Голландии — Жюльяна Вайса, Антуана Хилла, искусствоведа Франка Грибмкега. Их принимали в семье Фантика на Фрунзенской набережной. «Пока мы снимали картинки, его мать и жена готовили угощение и выпивон для таких гостей», — вспоминает Л.Н.

«Приехал Нусберг с художницей из Финляндии по имени Анна Лукелла. Холин. Чай. Показ работ», — запись Гробмана от 8 сентября 71-го года.

В 71-м Гробман навсегда покидал подлую Советскую Россию. Так называемые «проводы» состоялись в канадском посольстве, благодаря хлопотам дипломата Пьера Тротье. Пить, петь, танцевать пришел избранный, нелегальный народ во главе с Георгием Денисовичем Костаки. Нусберг и Брусиловский уклонились от приглашения. На «проводы Гробмана» они не пришли.

«Мастерской у кинетистов не было, — пишет Л.Н. — На деньги, заработанные тяжким трудом, я купил две квартиры в Чертанове. Там же происходили встречи с иностранцами в застойные 1971—1976 годы, время отката режима к сталинизму. После 12-летнего опыта опасных и конспиративных игр, навязанных “конторой”, там побывали не только студенты по культурному обмену, но и “дипы” и “коры” из Австрии, Италии, Франции, Голландии, Германии. Мой ученик Инфанте начал фальсифицировать историю московского кинетизма, выдвигая себя в качестве лидера. С февраля 73-го Фантик присвоил себе

единоличное авторство проектов и внедрил в европейское сознание свои фальшивки».

Чемпион «новой левой», кинетист Нусберг, взял курс на Запад.

А куда смотрели строители коммунизма? Туда же!

До появления парижанки Дины Верни (1969) во всех предприятиях первенствовали чехи. Не менее пяти лет они формировали выставки в Европе, подготовленные «тройкой» московских леваков. С репатриацией Гробмана в Израиль (1971), с развалом кинетической артели Нусберга «Движение» (1976) заправлять подпольем стал один Брусиловский.

В начале 70-х советская власть сменила идеологический курс на экономический. Погромы хрущевских времен канули в прошлое. Высшие чины государства с удивлением обнаружили, что нелегальные каракули леваков Запад ценит гораздо выше, чем произведения социалистического реализма. Открыли «Валютный салон» в Москве, образовали Профсоюз нонконформистов, издали рекламный журнал «А—Я», разрешили выставки и поездки за границу. Брусок неуклонно следовал этой новой экономической политике. Фильтрация иностранного материала шла через его домашний «салон», ставший не только модным, но и необходимым для артистической карьеры местом.

«На “Грузинке” (профсоюзный центр. — В.В.) никогда ни разу не выставлялся — там правил дурак Ашеулов, потом хитрожопый Дробик, а вокруг истерическая Лорик со своими “мамаськами” и крепким запахом наркоты, ширева и дури. Дура и уродина в вечно темных очках эта Лорик».

Не посетившие его «студию» на Пятницкой считались неполноценными людьми, совками и лохами самого низкого разбора. Оценки Бруска считались безукоризненно точными, яркими и бесспорными.

«Эрнестуля (скульптор Э.И. Неизвестный. — В.В.) был алкоголик, шустрил он безалаберно и хаотично, меч-

тая о месте Вучетича. Сделать свой “стиль” главным в Совке. Заказы получал советские, скульптуры делал гитлеровские, дружбу водил с мелкими жополизами и карьеристами. А Нусберг — вор и жулик. Он пытался, посылал смазливых девочек и плел интриги, чтобы выжить меня с Мосфильма. Выставка Шемяки в 77-м была типичной провокацией Костаки. Он хотел подставить меня под большой скандал...»

Брусок о первой встрече леваков с Америкой.

«Американцам очень хотелось “навести мосты” хоть с кем-то, и московские графики были чуть-чуть опрятнее, чем троглодиты-живописцы. В дальнейшем они осмелели и получили сполна от служителей муз. Чего стоили погромы и скандалы Миши Кулакова, превращавшего чистенькую квартиру в свалку мусора? Или Зверев, ссавший и рыгавший на персидские ковры?»

Об Александре Глезере, появившемся на артистическом горизонте в 1967 году.

«Глезер — дурак и сволочь, всем мешал, тянул в политиканство и глупые проекты. Предлагаю Глезера, Шемяку и еще пару-тройку мудаков повесить!»

«Я вывез в Москву кучу харьковчан. Сначала приехал Вагрич Бахчанян и жил у меня в подвальной студии до тех пор, пока не застучала милиция и мне пригрозили. Затем появился поэт Эдик Савенко, ныне известный как вождь “нацболов” Лимонов. Со своей женой Анной Моисеевной Рубинштейн он ночевал где придется, а меня посещал постоянно. Коренные москвичи издевались над близоруким и узкоплечим поэтом, шившим на заказ штаны и платья, а его дебелия еврейская бандерша охмуряла за него всех кто попадется».

«Сборник “Метрополь” (1978 г.) составлялся и оформлялся у меня в студии. Я нарисовал “Путы”, а мой друг Генрих Сапгир написал стихи по моим картинкам. Потом парткомиссия из ЦК сочла сборник и рисунки подрывным антисоветским преступлением».

«Миша Шварцман — типичный каббалист-цадик, успешно ебал мозги своими “иературами”. Мол, сам Господь Бог водит его рукой и пишет картины. На вопрос Костяки: “Сколько стоит?” Отвечает: “Сто тысяч долларов! Кандинский — говно по сравнению со мной! Сейчас жулик первого класса Киблицкий-сука (крадет работы у художников) создал Фонд имени Шварцмана и самовольно стал его президентом!..”»

«Рекламную камарилью с журналом “А—Я” задумала лубянская гэбня, и вся затея с первых звуков была ясна — рупор Кабакова, его дохлорожденный концептуализм. Договорились: мы вам это, а вы нам за то — то! Было заранее известно, что ничего, кроме Кабака и его прислужников Гройса и Пацюкова (пацюк по-украински — “крыса”!), да и вонючий Шифферс, который тут же сдох, — какие же это критики искусства?»

Жена художника Эдуарда Штейнберга вспоминает: «Министра экономики Швейцарии Пауля Иоллеса с огромной свитой сотрудников привез к нам Толя Брусиловский, лишь раз до того нас навестивший. Швейцарец намеревался ознакомиться с андеграундом советской столицы. Иоллес поддался уговорам Эдика заехать к его ближайшим друзьям Кабакову, Пивоварову и Янкилевскому. Затем он регулярно через сотрудников посольства направлял к нам своих друзей, сделавших много для карьеры Кабакова и Булатова. Иоллес сыграл большую роль в музейной биографии Кабакова, Булатова и Пивоварова, переехавшего в Прагу».

И далее Г.И. Маневич пишет: «Визиты Иоллеса в Москву в компании директора Бернского музея Ж.Ю. Мартена — также работа Брусиловского».

Неискоренимые пороки — зависть и месть — запущены в человечество навсегда. С особым буйством они цветут в среде профессионалов изящных искусств. Занятный эпизод цеховой конкуренции. Провинциал, человек без «стыда и совести» (Г.И. Маневич) Гороховский, тайно

следивший за передвижением французских гостей, поймал их у подъезда Штейнбергов и, сообщив французам, что художник уехал на рыбалку, быстренько увез их к себе, в то время как чета Штейнберг ждала гостей с вином и закуской.

Французы, директор Центра Помпиду Доминик Бозо и его помощник Ив Мишо, пораженные дикостью «русских людей», прекратили с ними общение.

В конце 70-х Брусиловский на светской вечеринке в своей «студии» познакомил чету Штейнберг с культурным атташе Франции Филиппом де Сурменом. От них нелегалы узнали о приезде в Москву (1985) знаменитого парижского галерейщика Клода Бернара. Парижанин приехал ознакомиться с работами академика Д.Д. Жилинского на предмет выставки в Париже и одновременно посетил ряд избранных мастерских, где отобрал для персоналки в Париже лишь Штейнберга, чем вызвал дикую зависть его закадычного дружка Володи Янкилевского.

«Эмигрировать я категорически не хотел. Я очень люблю Россию. И русскую культуру. Воспитан на русской литературе. Вот это и держало. В отличие от остальных я очень хорошо представлял себе Запад. Много читал на языках, смотрел массу фильмов. И тридцать лет Студии — единственный в Москве интеллектуальный клуб, салон. Ее реальный плод — “Гостевая книга”, где между прочим за 1967 год твоя обширная запись, — пишет мне Брусиловский. — На вонючие шашлыки, да еще в Тарусу, к Штейнбергам я никогда не ездил и не поеду, и общение с пьяноватым и глуповатым Эдиком не слишком меня забавляет. А его супруга Галя Маневич еще та сучонка!»

А вот о И.Б. Кабакове, получившем всемирное признание.

«Ну, что, Толян (студенческая кличка И.К.) — болтливый бердянский цадик, хитер и расчетлив, но художник среднего калибра. И вовсе не живописец, а график.

Его объяснительные записки к рисункам и дурацким кучам мусора, которые он называет “тотальной инсталляцией”, — полная абракадабра, бессмысленная для искусства. Я много раз бывал в его мастерской и говорил: “Толя, назови свою деятельность шарлатанством, и я скажу “браво!”. Но как искусство я твою работу принять не могу”».

Коммерческой выставкой «Сотбис-88» в Москве, самой грабительской акцией кремлевских экономистов, сорвавших крупную валюту с нелегалов — одну картинку никому не известного, не получившего ни одного доллара Гриши Брускина продали за 400 тысяч долларов, — закончилась сложная и больная эпопея артистической жизни в Советской России.

Вот так, леваки!

Вот тебе и романтика гнилого подполья!

...Бездари!.. Мошенники!.. Шпионы!.. Воры!.. Шизофреники!.. Лакеи!.. Двuruшники!.. Мазохисты!..

Ни одной светлой личности!

## 25. Наши в Лувре

Советский мусор выше Лувра.  
*И.И. Кабаков, художник*

Всемирно известный и самый богатый музей мира, парижский Лувр, пригласил Россию устроить выставку ее современного искусства. Время выпало подходящее. 2010 год объявили «русским». Музыка, театр, кино, история. Привезли и показали свое искусство.

Как водится, выставка начинается со списка участников. Тут особой давки не было. Команду составляли трое знатоков — московский галерист Марат Гельман; старый и опытный художник, живущий в Америке, Илья Иосифович Кабаков и луврский куратор, мадам Мари-Лор Бернадак. Финансовые затраты на аренду знаменитого подземелья, каталог и страховку обеспечивали просвещенные супруги Кесаевы, Игорь и Стелла, богачи, влюбленные в творчество русских концептуалистов.



На обработку русских олигархов, на ликбез табачного капитала запустили свору культуртрегеров и образованных жуликов. Я помню первое появление какого-то Кости Борового в Париже, в 94-м году. Он привез самое модное творчество Москвы. Его окружала толпа дипломированных холуев. Они читали свои доклады студентам Сорбонны, разъясняя особенности и величие русской культуры, но когда на выставку пришли любопытные коллекционеры, то были поражены низкими ценами. Никто не решался покупать такой дешевый товар. Теперь цены выше, но до мировых стандартов не тянут.

Деньги безжалостно убивают мир и дружбу, разводят людей, но за «особое» искусство надо платить хорошую цену, и чем выше цены, тем больше национальный престиж.

«Я во всем доверилась Кабакову», — заявила госпожа Стелла Кесаева.

Лучший друг и коллега Анатолий Брусиловский высоко ценит его мудрость — «бердянский цадик», — но на выставку записали не лучших.

«Обиделись» давние друзья организаторов, не приглашенные в Лувр: Гробман, Янкилевский, Куперман, Пивоваров, Шемякин, но кто сейчас считается с такой чепухой, как «старая дружба»?

Более полувека артисты советского направления старались свято держаться завета В.И. Ленина «Искусство принадлежит народу», единым «изофронтом» выгоняя километры пропагандных картин и монументов. Теперь русское искусство обходится без народа, напирая на частный капитал и всевозможные учреждения культуры, называемые модным словом «институции».

«Единственно живое — это институции, — заявляет И.И. Кабаков, — и только там сегодня может жить художник».

В музейном списке 15 лиц. Из них 5 мне хорошо известны, они патриархи и леваки московского андеграунда.

Кабакову и Булатову под восемьдесят, Монастырскому, Комару и Меламиду под семьдесят. О них и пойдет речь в моем очерке. О перспективном, пятидесятилетнем, «молодняке» у меня нет никаких сведений, и будущее покажет, кто из них попадет в искусство.

Выставку назвали «Контрапункт» и расположили в средневековом подzemелье.

Лувр — музей особенный. Закупки современного искусства он прекратил в XIX веке. Успели проскочить «романтики» — Гойя, Жерико, Делакруа. Новым искусством занялись другие музеи. Три года назад руководство Лувра решило увеличить приток туристов за счет скандальных артистов, приглашая с выставками новейших художников, комбинируя их творчество с постоянной коллекцией. Повезло фламандцам, англичанам и немцам, но не русским.

«У нас нет славянского отдела, — говорит заведующая этими выставками, мадам Бернадак. — Франция не приобретала ни русских икон, ни классических картин. Поэтому русскую выставку мы расположили в древнем подzemелье Лувра, идеальном месте для современных инсталляций».

Какой «славянский отдел»?

В стране царей и рабов тысячу лет безымянные монахи рисовали иконы. Персонально и по-человечески начали работать под палкой Петра Великого, подражая голландцам и итальянцам. Оригинальных исключений Запад не замечал.

Откуда в России концептуализм и инсталляции?

Деятельность концептуального характера, связанную не с грубой материей, а с готовым материалом, предложил Марсель Дюшан: в 1913 году — велосипедное колесо, не как механическая деталь, а как эстетика, в 1917-м — унитаз, в 1919-м — афиша Джоконды с усами. С тех пор десакрализация изящных искусств стала частью художественного творчества. В России эта разрушительная

тенденция не прижилась ни в царские, ни тем более в советские времена. Явилась она в 70-х годах, но в нелегальном и, следовательно, кустарном виде в подпольных мастерских. На обыкновенном советском плакате с изображением собаки добавили подпись «Лайка в космосе». Вот начало русского концептуализма. Но не этой проказой прославились отважные москвичи, а на политическом представлении под названием «бульдозерный перформанс» 1974 года.

На мокром пустыре кучка людей с мольбертами в руках столкнулась врукопашную с милицией, вооруженной лопатами и револьверами. Появление бульдозера и водомета, оросившего драчунов, вызвало восторг кучки иностранных зрителей, крутивших кинокамеры. Участники сумели выжать из этого «артфакта» максимум пользы для артистической карьеры в России и на Западе, особенно в Америке. Вот что пишет свидетель перформанса Виталий Анатольевич Комар: «Бульдозеры сыграли огромную роль в нашей западной карьере. За месяц до них “Нью-Йорк таймс” опубликовала статью о наших работах, а когда разразился скандал, журналы имели под руками фотки наших произведений, иллюстрируя московские репортажи. Бульдозеры нам помогли войти в историю с драматической стороны».

Итак, знатоки вопроса для Лувра отобрали не старомодные салонные украшения, а творцов и создателей новых течений и мод.

И мы не лыком шиты! Мы любых япошек шапками закидаем!

Наглость города берет!

Вход в подземелье украшает трехцветное полотно Эрика Владимировича Булатова с названием «Либерте». О красках и колорите говорить теперь не модно, но надо заметить, что их в картине нет, а композиция срисована с известной картины Эжена Делакруа «Свобода, ведущая народ» 1830 года. Булатов добавил по краям надпись ла-

тинскими буквами «либерте», и в этом слове весь концептуальный пересмотр известного произведения. Вещь, похожая на плакат пожарного депо, попала на выставку из музея Дины Верни, ее давнего владельца.

Родился художник в советской семье строгого подчинения. Несмотря на кавказскую фамилию, он природный москвич. Папа — политрук, мама — большевичка. После гибели отца на войне мать тянула семью одна. Десять лет академической школы советского образца. Героические сюжеты и приблизительная техника исполнения. В этом Эрик всегда был отличником и удостоился заграничной поездки на корабле (1958).

В 59-м году у моего однокурсника Сашки Васильева, книжника и коллекционера, я обнаружил красивый натюрморт «Агавы», сделанный в живописном духе позднего Роберта Фалька. Оказалось, рисовал его юный Эрик Булатов, искавший новых путей в искусстве. В начале 60-х его мастерская в центре Москвы — не гнилой подвал, как у Соостера и Кабакова, а просторная комната с окнами и паркетным полом! — стала проходным пунктом встреч и знакомств. Помню, в 64-м туда набилась толпа приезжих издаелека актеров с водкой и селедкой. Шум, гам, показ картин. Хозяин, с острой черной бородой и гибким станом, походил на кавказского джигита. Не хватало черкески с газырями и кинжала в зубах. У мольберта с картиной Булатов не стоял, а пританцовывал.

Работал он в паре с однокашником по «Сурику» Олегом Васильевым, молчаливым и тощим дядей с лошадиной физиономией. Тогда они бросили Фалька и рисовали черно-белые абстракции, причем совершенно одинаково. Распознать, кто автор композиций со световыми эффектами, сделанными с оглядкой на американцев, было невозможно. Тут же крутились их братья или племянники, молодцы неизвестных профессий.

Мне было 25 лет. Холостяк. Формалист. Антисоветчик. Их кружок казался мне очень тусклым, семейным и

совсем не богемным. С такими сближения я не искал. Потом, мне противно было невероятное словоблудие этого общества. Там несли такую абракадабру по поводу искусства, от которой начиналась чесотка в мозгах. А если шел на их выставки, как помнится, в клуб закрытого Института ядерной физики имени И.В. Курчатова, где Булатов выступал в компании Славки Калинина — автора сатирических картинок, — то повстречаться с другими людьми, главным образом с чувихами, разделявшими мой бродячий образ жизни. Выставку быстро прикрыли власти, обнаружив там крамолу, особенно в картинках Калинина.

(Этакий московский купчик, Калинин, желавший обвести всех вокруг пальца — и своих и чужих, — одно время пользовался спросом на Западе, а сейчас не знаю, что он рисует.)

В 67-м картины (Васильев, Булатов, Кабаков) обсуждались в комсомольском кафе «Синяя птица», где подавали жидкий чай, а водку тайком пили из-под полы. И туда я прибежал не смотреть картины, а на свидание с рыжей красавицей Асей Лapidус. Кажется, на этом мерзком обсуждении и закончилась их выставочная деятельность на родине.

Открывая советских художников, парижанка Дина Верни (1970) отобрала для себя картину Булатова, а не Васильева. Через семь лет, собирая выставку в Гран Пале, я спросил, чем объяснить такой выбор, она мне ответила: «С фамилией Васильев в Париже ничего не продашь!»

Затем потянулось длинное застойное время до судьбоносной встречи с швейцарцем Паулем Йоллесом в 79-м году.

Влиятельный швейцарский гражданин приложил немало энергии и средств, чтобы вытащить русского протезе из советской дыры в культурную Европу. От выставки в Цюрихе один за другим посыпались европейские музеи, контракт с богатой нью-йоркской галереей и тихая гавань

в Париже. Дружба и творческая связь с финансовым гигантом Диной Верни обеспечила Булатову прочный тыл и репутацию преданного друга. Родная Москва не забыла своего пасынка.

Хорошо зарабатывая книжной иллюстрацией, Васильев и Булатов своих картин не продавали, а копили их на вечность. В перестройку открылась возможность показаться на Западе, и ребята туда выбрались, чтобы основательно закрепиться в быту и торговле.

В первом проходе вдоль каменной стены расположены три инсталляции, о которых можно сказать одним словом — дежавю. Показ фильма с мужиком, сидящим на кучке навоза, затем завал поношенной обуви вдоль каменной стены с красной неоновой трубкой, — творение Игоря Макаревича с супругой Елагиной.

На древних камнях повесили расписные картонные ящики ростовчанина Валерия Кошлякова. Широкими мазками с подтеками под немца Базелица изображен фасад Лувра. Артист без особой фантазии, но непомерных амбиций, рисует огромные «объекты» на мусорных отбросах.

Далее большое бетонное помещение, похожее на средневековую камеру пыток. Там выделяется пара знаменитых — Комар и Меламид — единственные эмигранты в списке, в начале 70-х создавшие так называемый соц-арт, т.е. поп-арт совка.

Их лечебные картины на темы сталинских времен в 80-х годах имели успех в Нью-Йорке. Большие композиции, сделанные не очень умело, но с размахом, вызывали гомерический смех. Например, над картиной «Стук в дверь», где изображен гражданин, заползающий под стол, я обхохотался. И до сих пор хохочу, потому что это правда, так было со мной, я залез под стол от стука в дверь.

Исчерпав советскую тему, свояки обратились к «общечеловеческим» сюжетам и здесь опозорились, потому что получается не смешно.

Они повесили картинку размером с экран домашнего телевизора. В нарочито убогой технике изображен лес, коза на лужайке с невзрачной человеческой фигуркой рядом. Называется картинка «Выбор народа», она рассчитана на издевку и смех зрителя, но никто не смеется, а все молча проходят мимо.

Рядом висят четыре фотокарточки Андрея Монастырского (Сумнина). Мой старый московский знакомец когда-то сочинял занятные абсурдистские стишки.

«Искрыется снег, / И старость настает. / Так хорошо, когда никто не ждет».

Теперь он акционист. На фото снята кучка каких-то людей в снегу. Не то топчут красную тряпку, не то поднимают лозунг. Под фото название «Коллективные действия». Говорят, в будущем году он будет представлять искусство России в Венеции.

Ученик Кабакова и сын отсутствующего Вити Пивоварова Павел Пепперштейн нарисовал картины крупного размера. Там изображены квадраты с завитушками по краям и ничего не значащими английскими словами. Видно по всему, что он аккуратный чертежник, но зачем цепляться, как за соломинку, за давно ушедший супрематизм?

Большая редкость: на стене висит сюжетная картинка маслом! Артельная работа Владимира Дубосарского и Александра Виноградова. Им под пятьдесят. Суровая академическая школа «Сурика». В небрежно сделанной композиции изображены летящие книжки известных русских поэтов вперемежку с розами. Портреты поэтов — Есенина, Бродского, Мандельштама — нарисованы коряво и не похоже.

Двое безымянных и мордастых чудаков сняты на фото с раскрашенными геометрическими предметами в руках и называются «Синие носы». Что они хотят показать и доказать, непонятно.

\* \* \*

В конце 50-х годов появились акционисты и перформаторы на Западе — на Востоке (Москва) любопытные шизофреники «открывали» Пабло Пикассо! — Аллен Капроу (мусорщик), Жозеф Бойс (публичный землекоп), Ники де Сен-Фалл (стрельба из карабина по холсту), Ив Клейн (работа живого тела).

В провинциальности русского искусства никто и никогда не сомневался, но бывали прорывы в первый ряд: с иконой в XV веке и с конструктивизмом в начале XX. Да и в XIX русская живопись шла плечом к плечу с европейской школой и часто ее превосходила. Вот что пишет критик и современник художника В.В. Верещагина Владимир Васильевич Стасов: «Верещагин выставлялся в разных краях Европы и Америки. Успех его везде был громадный, ошеломляющий, ослепительный. Бесчисленные толпы народа со страстью и увлечением наполняли эти выставки, а иногда добивались входа приступом и штурмом. Печать везде гремела гимнами в честь невиданного, оригинального великого живописца и гениального великодушного мыслителя».

Советская перестройка открыла необъятное поле свободного творчества и реализации самых оригинальных проектов. Сотни русских художников выбрались за границу по приглашению «институций» — музеев, фондов, галерей.

О триумфе, подобном верещагинскому, наверняка мечтают наши русские современники — иначе зачем выставляться публично и в городах высокой культуры, — но ничего даже отдаленно на такой праздник не походит. На их выставках всегда пусто. Выставить современный концептуальный проект в Версале или Лувре — желание самых модных инсталляторов мира. Обозначить этих деловиков и мошенников как «великих» или «гениальных» в традиционном значении этих эпитетов — значит погрее-



шить против истины. За пределами московского «Гаража», «Винзавода» или парижского магазина их никто не знает.

В современном искусстве своеобразие национальных школ растоптала одна глобальная цивилизация американского образца. Всюду водворился один шаблон, непонятный и ненужный людям. Копиисты и манипуляторы великих оригиналов прошлого. Ядовитый китч вместо персонального стиля.

Провокатору не очень уютно жить в мире строгих правил и ханжества.

Один из них — Авдей Тер-Оганян — решил разворошить окаменевшие религиозные законы.

В 1998 году в помещении Марата Гельмана (Москва) он устроил публичный перформанс с рубкой русских икон, чем вызвал гнев православного люда. Темные «крестоносцы» решили размазать обидчика по стенке, да и официальный Угрозыск открыл охоту за наглым и грубым артистом. Авдей скрылся от преследований за границу, в Прагу.

Право на провокацию плохо принимается в этом мире.

Скандалист повесил шесть холстов с изображением ничего не говорящих геометрических знаков, а под ними надписи провокационного и очень дурного вкуса, с глупейшим до идиотизма содержанием. Один текст, «призывающий» к убийству В.В. Путина, и три с «надругательством» над государственным флагом России и ее этническим составом населения.

«Искусства в них — ноль!» — замечают посетители.

В отдельном проходе выставлены семь картонных макетов под стеклянными колпаками. Это Кабаков Илья Иосифович с супругой Эмилией.

Уроженец «потемкинской деревни» под названием Днепропетровск. Родился в 1933-м, как и его сокурсник Булатов! — десять лет академической школы, беспризорная жизнь в Москве, тяжкий труд иллюстратора и свободное подпольное творчество.

В Советской стране в 60-х, 70-х, 80-х годах дровами топили печи, а не строили дурацкие «инсталляции». Из кирпича воздвигали плотины, фабрики, заводы. Казенные лампы и лампочки воровали всюду, где можно, вставляя перегоревшие. О дорогостоящих забавах западных снобов, городивших свои утопии в порядочных музеях, копавших никому не нужные траншеи в пустыне, покрывавших зеленые парки и скверы непроницаемым брезентом, узнавали по слухам или тайком, листая иностранные журналы, получаемые дипломатическим путем.

Илья Кабаков рисовал в альбомы и не пытался делать инсталляций.

Он входил в клуб «гонимых», пытался выставляться в советском кафе с комсомольским осуждением и дарил свои опыты чешским студентам, чтобы Европа знала о Москве, всерьез размышляющей об искусстве.

В перестройку пришло его время. В «Литературной газете» (1987) он опубликовал программную статью о необходимости гласности и разнообразия в искусстве.

С памятного 1989 года (слом Берлинской стены!) началось триумфальное шествие И.И. Кабакова по Западу. Главные музеи Европы и Америки предоставили ему свое выставочное пространство для самых изобретательных «тотальных инсталляций».

Свою первую работу «Коммунальная кухня» он собирал в Париже.

Наш общий коллега Юрий Куперман замечает: «С Илюшей мы объехали все парижские развалы и баракхолки, скупая дырявые кастрюли и чайники, отдаленно похожие на посуду советского производства, все это мы расставили на тумбочки с омерзительной клеенкой».

«Коммуналку» показали на ярмарке искусств в Париже. Там я и встретил Кабакова после долгих лет. Он чуть поседел, но по-прежнему своей одутловатой, безволосой физиономией походил на хитрожопую старуху. Рядом стояла моложавая землячка и родня Милка Каневская, через

год ставшая его женой и соавтором концептуальных произведений.

Женился он трижды. Жены не домохозяйки, а работники умственного труда. Они не стирали белье, а промывали мозги.

Первая жена Ирина Ивановна Рубанова была не только образованной девушкой, знавшей наизусть всех киношников мира, но и с пропиской в Москве, правда в многонаселенной квартире, но для иногороднего Илюши и это коммунальное жилье казалось теплым и тихим пристанищем. Там у них родились дети, там же, на краю обеденного стола, художник рисовал свои первые иллюстрации, там же, на древнем сундуке, спала приезжавшая из Бердянска его мать.

Ирина — женщина регулярного типа. Человек телевидения. По ней определяли температуру советского режима. Если она запускала фильм Анджея Вайды «Пепел и алмаз» — пришла «оттепель», если давали фильм Ивана Пырьева «Кубанские казаки» — в стране наступали заморозки.

Со второй женой Викторией Валентиновной Мочаловой, уже побывавшей замужем и матерью пятилетнего сына Антона, его свела на своей кухне киновед Галя Маневич в 72-м году.

«Получился абсолютный тандем», — вспоминает бывшее Г.М.

«Тандем» действительно держался лет двадцать, но Виктория, несмотря на грамотность и общительный характер, совсем не подходила для международных и коммерческих игр. Ее занятия происхождением и религией эзотерических народов стали заметной палкой в колесах злободневного мужа. Милка Каневская, обкатавшая свой железный характер в чудовищном американском горниле, вытеснила ее без труда.

«Коммунальная кухня», «Красный вагон», «Советский барак», «Комната моего отца» — работы эфемерные, но с

ярким показом советского образа жизни — имели шумный успех в европейских музеях. Художник издал кучу мемуарных и поучительных книжек, а в 1992 году перебрался за океан на прохладный и зеленый Лонг-Айленд, связав свою судьбу с землячкой Милкой, ставшей Эмилией Кабаковой.

В бесчисленных выступлениях и беседах художник ловко обходит свою драгоценную сотрудницу, без которой его нет в искусстве.

А была тусклая, советская эпоха, когда Милка бегала босиком по траве, купалась в широком Днепре, ночевала на забитых пассажирами вокзалах, перебиваясь с хлеба на квас. Она училась музыке, стала знатоком испанской культуры и мечтала вырваться из советского ада на райский Запад. Умная и дальнзоркая Америка сумела продырявить советские стены, и в щель хлынула «еврейская волна». В 73-м был Израиль — священное место человечества, но как жить в окружении диких и воинственных арабов? Стрельба, бомбы, поножовщина, да и дантистов в стране больше, чем землекопов. В 75-м, бросив бесперспективного мужа, Милка с новой фамилией Леках причалила в Нью-Йорк, выдав себя за борца с тоталитарным строем. В культурном мире Штатов не сразу оценили высокий уровень русской эмигрантки. Пришлось мыть полы и нянчить чужих детей. Наконец, в 79-м ее ангажировали в качестве постоянного сотрудника видной галереи Романа Фельдмана. За появлением дяди Кабакова с его успешным началом она внимательно следила, а в 89-м они встретились в Париже, чтобы больше не расставаться.

Работающий муж и прозорливая жена!

Совершенный дуэт.

«Институции культуры», о которых с мистическим ужасом говорит И.К., не что иное, как центральные и провинциальные учреждения, где проходят «финансовые потоки».

У жен Кабакова за спиной был советский вуз, но только Милка Каневская обладала удивительным свойством, достойным глубокого уважения: у нее был нюх на деньги. Она знала, где они лежат и как их взять. Не хватало ключа, и им стал «экзотический советский материал» русского мужа.

Они пошли парой, как океанский туристический пароход, в свете удобного быта и вечной музыки, на удивление аборигенам, живущим на деревьях. За «тотальные инсталляции» хорошо платили немцы, австрийцы, итальянцы. Французские жлобы вместо денег выдавали медали. Тупые русские олигархи не спешили раскошелиться, но пришло время, и «бердянского цадика» с Эмилией позвала гордая и неприступная Москва. Персоналки в музеях, ретроспекция в гигантском «Гараже» (2008) — 8 тысяч квадратных метров! — слава и деньги. Исчерпав советскую тему, ставшую скучной и далекой для нового времени, Кабаковы начали осваивать общечеловеческие ценности, вроде «Музыки воды» или «Полета Икара», но тут оказалось много конкурентов с разных островов и материков.

Несчастье «тотальных инсталляций», составленных из груды строительного мусора, в том, что после экспозиции остается на память лишь пачка памятных фотографий.

Стиль Кабакова легко определить по простому карандашному наброску — реализм советского разлива. Робкий контур и тусклая подцветка, театральная композиция, намеки на архитектуру и анонимные фигуры в ней. Когда-то он говорил: «Я археолог советской жизни», а в Лувре, в мрачном подzemелье, выставил семь картонных макетов о «жизни вообще».

«Рассказ для меня важнее показа», — заявляет И.К.

Макеты из серых деревяшек и картона сопровождают длинные и тусклые объяснительные тексты на французском языке.

Скука смертная!

Скандалист Тер-Оганян считает, что «нас Лувр подставил. Мы сидели в полной жопе и ничего, кроме нее, пока не видели и не увидим». Многозначительное замечание, достойное изучения.

Неужели и этих подставили, но кто и зачем?

«Эта выставка недостойна Лувра», — пишут французы.

Кто виноват? Решительно все участники операции. Выставки такого типа, организованные под национальным флагом, давно устарели и заранее обречены на провал.

Наши опозорились.

Советский мусор не выше, а ниже Лувра.

## 26. Харьковские прогрессисты

Кто такие? Да, трое уроженцев города Харькова — два артиста, Крынский, Бахчанян, и литератор Лимонов — три друга, завоевавшие Москву, трое рискнувших на эмиграцию по «еврейскому вызову» в начале 70-х, трое, и каждый по-своему, ставших знаменитыми в современном творчестве.

В резких чертах, без полутонов и оттенков, наш мир делится на языческий и библейский.

Плоть и дух!

А что происходило в современном, да еще в советском, пространстве?

Долгие годы для такого гибрида, как Россия, образцом общественного устройства служило «царство кесаря» и египетские фараоны, вечные мощи вождей коммунизма и идолослужение, плоть и рекорды, барак и рабский труд, блуд и убийства. Почти сто лет советский коммунизм с особым остервенением ломал, грыз и топтал библейскую культуру в России.

И вдруг в страну мировых рекордов и физкультурных парадов хлынула волна духовного возрождения. На спортсменов с бицепсами смотрели не как на героев, а как на поросят колхозной фермы, темных лохов, не посвященных в глубины высокой мистики. Молодежь до дыр зачитывала не опостылевшие доктрины «марксизма-ленинизма», а Священное Писание, эзотерические книги Индии, иудейскую каббалу, Якова Беме и Елену Блаватскую, изучали сексуальную жизнь пророков и православных юродивых. Шли послушниками в монастыри, пропадали в глухих шаманских местах Сибири.

Пепел и нищета, мир и дружба!

Духовные сокровища Москвы составляли не рекордсмены «социалистической культуры», а кучка чудаков, рисовавших абстракции в стол, барачные поэты и внештатные шизофреники, кричавшие на площади Маяковского «Харе Кришна, харе Рама».

Сопrotивление тотальной плоти кремлевских язычников началось с робких опытов этих людей. Костяк духовной жизни составляли коренные столичные жители — «идейно чуждые» Стас Красовицкий и Вейсберг, Холин и Агурский, Гробман и Пятницкий, Васильев и Столяр. Иногородние, чудом получившие столичное образование и московскую прописку — Кабаков и Соостер, Айги и Нуссберг, Ворошилов и Волконский, — значительно обогащали подполье своим напором и созидательным даром.

Ох этот «Харькив», ох эта Слобожанщина!..

Мешанина рас и народов. Казаки и кантонисты, хлеборобы и шахтеры, украинска мова и речь москалей. Культурные харьковчане старались писать по-русски, на языке огромной империи. Учились не у Григория Сковороды, а у Михайлы Ломоносова, в столичных школах, а не в киевской бурсе. Из прошлого были отличные примеры: Н.В. Гоголь, а не Тарас Шевченко, Казимир Малевич, а не Гордей Дерегус.



В середине 60-х годов в Москве по наводке эстета А.Р. Брусиловского, человека с высокими московскими связями, появилась группа харьковчан. Среди них выделялась совсем юная пара, Эдик Савенко и Аня Рубинштейн, начинающие самородки, поэт и художница. Московская богема, куда они сразу приткнулись, приняла их благожелательно. 7 ноября 1966 года Брусиловский, или фамильярно Брусок, назначил им смотрины с читкой стихов. В его подвале, в Солдатском переулке (Лефортово), творились судьбы московского модернизма. Этот адрес набирал вес и положение в богемном мирке. Туда направлялся и большой поток иностранных гостей. Внутри на видном месте красовалась расписная, вологодская прялка, покрытая черной цыганской шалью в красных букетах. Всем прочим артистам современности Брусок предпочитал Макса Эрнста, и репродукция этого сюрреалиста под стеклом украшала главную стенку. Рядом висели коллажи хозяина и его соратника, эстонца Уло Соостера. На читку собралась кучка гостей. Среди них выделялась пара чехов в потертых пиджаках. Сперва читали знаменитые москвичи Сергей Чудаков и Игорь Холин, и затем у прялки с шалью встал щуплый очкарик с простонародным лицом — опрятно одетый и правильно подстриженный, брюки дудкой, однобортный пиджак и некий персональный шик. Я запомнил стихи молодого харьковчанина: «Живите все в провинции, ребята. / И кормят, и гуляют там богато / И розовая кожа у людей / И больше наслаждения детей».

Правда, приезжий стилига не избавился от южнорусского произношения и оборотов — «гуляют там богато», но сквозь корявый харьковский говорок светился самобытный стиль. Его сопровождала кругленькая особа с выразительными фиолетовыми глазками и тяжелым задом. Звали ее Анна Рубинштейн, по кличке «царь-жопа». Дивчина чуть постарше своего парубка. Водила его за руку,

как мама непоседливого подростка. В тот вечер я видел их впервые. Затем они исчезли. Тогда харьковчан волновал сугубо каббалистический вопрос: где и чем жить в столице?

Михаил Гробман записал в своем дневнике 8 октября 1967 года: «Был Вагрич Бахчанян — художник, с женой и харьковским поэтом Эдиком Лимоновым, который читал вирши свои, где под толстым слоем Заболоцкого видны талант и самобытность».

Родители самородка — люди без особых примет. Папаша, Вениамин Иванович Савенко, добровольный служащий «внутренних войск», вертухай при тюрьмах. Как застрял там в 37-м, так и не выходил до пенсии. Бросали его с одного «объекта» на другой, из тюрьмы в лагерь и наоборот. Мамаша Раиса Федоровна — бабенка крестьянского племени, ценившая пост работающего мужа. В 43-м, год рождения поэта, они служили при исправительно-трудовом лагере городка Дзержинска на Волге («отец ловил дезертиров», по свидетельству сына), а главное, в глубоком тылу спасали свою шкуру от кровопролитной Отечественной войны, где гибли люди как мухи. В 47-м, с повышением в чине, папаша получил назначение в Харьков — город республиканского значения с квартирой при тюрьме. Так что детство нашего героя перемешалось от лагеря к тюрьме. Там же он пошел в школу и строил скворечники, мечтал о заморских странах и пристрастился сочинять вирши. Там же началась жизнь вольного артиста без определенной штатной должности.

В книжном магазине собирались харьковские эстеты и читали свои литературные опыты. Молодая продавщица книжек Анна Моисеевна Рубинштейн знала не только поэзию, но и готовила вкусные галушки и кормила ораву харьковских гениев. Красивый и похотливый паренек Эдик Савенко пришелся ей по вкусу. Он ходил за ней, как верный паж, куда она, туда и он. В кино и на танцы, в кафе и на встречу с друзьями. Это был не политический кружок

заговорщиков, а встречи студентов и молодых рабочих, увлеченных чтением книжек и рисовавших невинные картинки.

В начале 60-х высшее руководство страны объявило крестовый поход притонам полового разврата, педерастам и лесбиянкам, садистам и мазохистам. Парные бани высшего руководства легко улизнули от наказания, и кремлевский удар пришелся по невинным молодежным посиделкам с гитарой и скромной выпивкой. Появились сотни разоблачительных фельетонов. В Харькове в газетной клетеве под названием «Голубая лошадь» вывели кружок Рубинштейнов на Сумской улице, где читали модного Бориса Слуцкого: «Евреи — люди лихие, / Они солдаты плохие, / Иван воюет в окопе, / Абрам торгует в рабкопе». Бдительные соседи, подслушав нелегальные аплодисменты, донесли «куда надо», и безобразия на Сумской прикрыли.

Пришлось срочно рассыпаться кто куда. «Еврейская бандерша» (по Брусиловскому) Анна с Эдиком направились в Москву, где их никто не знал и не ждал.

Чтобы попасть в столицу, нужна штатная работа и прописка. Чтобы попасть в члены Союза советских писателей, надо издать книжку патриотических стихов типа: «Весь лиловый новый дом! / Весь лиловый кот на нем», или «Ночь настала, свет потух, / На дворе уснул петух». А так приезжий поэт не умел и не хотел. На хлеб насущный он шил штаны по моде, и рядом топталась безработная «царь-жопа» со сложным характером.

Об «общей культуре» московских «мистиков» и «леваков» говорить не приходится. Ею там и не пахло. Они отличались феноменальным невежеством. Я не помню, чтобы кто-то посещал театры или консерваторию. В кинотеатр забирались, чтобы спрятаться от непогоды. Редкие «леваки» могли сыграть на пианино «Чижик-пыжика». В литературном словаре чаще всего слышались слова «пивная», «вытрезвитель», «психушка». Вот в это густопсовое подпольное месиво и попали харьковчане.

Портновский талант шушлого и тшедушного подростка Эдика Савенко — «низкопробную фамилию» он сменил на Лимонов по совету художника Бахчаняна — многие оценили в Москве. Супруге Бруска он сшил замечательное черное платье с белыми кружевами, имевшее успех в дипломатическом обществе. Заказывал ему и Гробман.

«Эдик взялся шить брюки моему брату Зайке, а моей Ирке сшил экстравагантное платье из кружева, очень короткое, красивое, черное на золотой подкладке». Но, как заправский портной, он не только шил, но и пил горькую. И не только водку, а любую жидкость, что пахнет спиртом. Правда, в Москве не все пили тройной одеколон в темном подъезде. Ярко светились окна клубов и ресторанов. Там весело проводили время профессионалы советского смычка, пера и кисти. Стоя на тротуаре, под дождем и снегом, можно было видеть полет бильярдных шаров, дым кубинских сигар, лакеев в белых смокингах и дам в шиншиллах. Икра и водка, горячая солянка и шницель, арабский кофе и пахучие ватрушки. Не раз дрожа от холода и голода, с надеждой попасть в этот рай с хрустальной люстрой, стояли харьковчане у наглухо закрытых дверей столичных клубов.

Практически не вылезая из работы, я редко с ними виделся, но они близко сошлись с моим учеником по рисованию Игорем Ворошиловым, доносившим мне о проказах и похождениях «Лимоныча», «Баха» и всей бродячей банды. Родители высылали им по 30 рублей в месяц, но порядочный быт постоянно спотыкался на проклятой прописке. Без нее не сдавали жилья, и приходилось хитрить, снимать углы на чужое имя и постоянно ждать стука в дверь, ареста и высылки по месту жительства. И так в ожидании стука проскочило пять лет, пока не появилась на горизонте спасательница Лена Козлова.

Московский туз, деловик и богач, гонявший на новом «мерседесе», Виктор Абрамович Шершеневский, взявший

себе фамилию пятой жены Шапов, хорошо знал московскую богему, вылавливая там бесхозных «негров» для своих делишек. Они рисовали за него плакаты и мультфильмы, писали стихи и пьесы. Там же он выловил красавицу Леночку по кличке Козлик, дочку крупного военного чина, следившего за иностранным контингентом при помощи совершенного подслушивания.

В 1970 году столичный «диспетчер подполья» Брусок из подвала перебрался на чердак. Там он выстроил квартиру для жилья и «студию» с отдельным входом для творчества. Открытие нового интернационального салона отмечалось отборной Москвой. У него сходились всевозможные течения и кружки. Через студию проходила не только богемная публика, мистики и наркоманы, но и тузы советского кинематографа, комсомольские литераторы и «серьезная иносрань» (по Кузьминскому). Там засиял Лимоныч с новой прической «под битла», ему приветливо улыбались московские невесты.

Сестры Козловы, Лара и Лена, родились в доме сталинской архитектуры, с гранитным подъездом и огромной люстрой внутри. Папа служил советской власти, поднимаясь в военных чинах, старшая Лара снюхалась на танцах в Кремле с ливанским офицером и собиралась за границу. Младшая, спасаясь от невообразимой генеральской скуки, крутилась в обществе московских артистов, забуренных пьянчуг и бабников.

Лимоныч влюбился в дочку генерала с московской пропиской, а с харьковской «царь-жопой», да еще на семь лет старше его, пришлось расстаться. Анна Рубинштейн, как побитая собака, вернулась в Харьков, а ее место в жизни заняла красавица Козлик, сбежавшая от богача Шапова.

Сестры скорее по глупости, чем по наивности, решили устроить свои богемные посиделки, отсеяв мистическую пьянь и рвань. На первый «четверг» пригласили кучку московских деловиков: Шлепянова, Каневского,

Дробицкого, — разбавив их чернокожими девицами. Лимоныч читал стихи. Гости чинно пили чай. Стояла непроходимая скука, и «четверги» прекратились.

Гробман, тянувший харьковчанина в люди, с возмущением записал в дневнике (14.08.71): «Лимонов устроил чтение своих стихов на квартире сестер Козловых. Холин, Яковлев, я хотели приехать — отказал! Что это? Откуда это мелкое хамство?»

Через недельку они встретились у Бруска.

«Я встретил там Лимонова, — вспоминает М.Г., — и при всех ему сказал, что он ведет себя как жлоб, хам и провинциал. Он молчал».

Столь резкие повороты поведения сопровождали закройщика всегда. Он или нагелл на глазах, или, как нашкочивший подросток, молча выслушивал наставления старших. Его литературная судьба оставалась неопределенной, идейные воззрения расплывчаты, но притворство и ложь надежно свили свое гнездышко в душе.

На подпольных читках появлялись иностранные любители русской словесности. Посол Кубы писал стихи. Советскую «контору» безопасности интересовали не стихи, а антисоветские связи, мнимые и подлинные. В 73-м году Лимоныча прихватили менты с поличным. Он пытался передать послу тетрадку своих стихов для публикации за границей. С ней он угодил в ментовское досье и на пятиминутную «беседу» о свободе творчества.

В его сумбурной биографии гуляет фальшивая фраза, повторяемая попугаями журналистики, не задумывавшимися над ее абсурдностью. Как будто в декабре «начальник КГБ тов. Андропов сказал, что “антисоветчика Лимонова не сажать и сплавить на Запад”». Никто не задал вопроса: где, кому и когда он это сказал? Я не собираюсь разматывать жизнь поэта, открывать «тайны гения», тем паче что человек жив-здоров и еще не стал общественным достоянием, но харьковский тунеедец без определенной профессии не представлял никакого интереса для советс-

кой безопасности. Он сочинял скабрзные стишки, как сотни начинающих стихотворцев, но не был всемирно известным «литературным власовцем», да еще премированным «Нобелем», как А.И. Солженицын.

Сестры Козловы знают, доносом «куда надо» никого не удивишь, но тогда пусть расскажут, что было на самом деле.

Земляк Бахчанян был прав — «надо рвать когти на Запад»!

Эмиграция на Запад художников, мастеровых, людей безмолвных профессий, даже плохо подготовленных, у меня не вызвала особых сомнений, а вот литераторы всех сортов, покидавшие своих читателей, приводили меня в ужас. По Би-би-си я иногда слышал ахинею о свободе творчества невозвращенцев Анатолия Кузнецова и Мишки Демина (1969), но где и для кого они писали свои романы, не говорилось ни слова. Да и хвалиться было нечем. Русские романы там никто не читал. О ленинградском поэте Оське Бродском говорили, что его по блату устроили лектором русской литературы, для А.Д. Синявского нашли пост на парижской кафедре, но на какие места целились Некрасов, Максимов, Мамлеев, Худяков, Гладиллин, рискнувшие на эмиграцию, я не видел.

В 1974 году, за месяц до выезда на Запад, Лимоныч и Козлик появились на пустыре Измайловского парка, на «советском вудстоке», собравшем тысячи любопытных, глазевших на произведения подпольных живописцев. Они расфуфырились, как на свадьбу, и стояли только там, где снимали кино. Такими пестрыми павлинами я их и запомнил в Москве.

\* \* \*

Анатолий Тихонович Крынский атаковал Москву, минуя богемный мирок. Для начинающих это известный

путь: рекомендация знаменитости советского искусства, членство в Союзе художников, госзаказ, квартира, казенные дачи на Валдае и в Абхазии. Иного пути не было, нет и быть не может.

Письмо своего харьковского учителя Василия Дмитриевича Ермилова, адресованное академику К.И. Рождественскому, он вез, как ханский ярлык на княжение в Московии.

Ученик Казимира Малевича с кучей Гран-при в кармане, Рождественский был «главным художником Страны Советов». Он и Ермилов украшали Всемирную выставку 1937 года, где нахально ввели изобразительный «клин Малевича», ставший их фирменным знаком и пропуском на самые денежные госзаказы. Встреча с «главным» состоялась в его московской приемной. Лобастый и толстый академик милостиво принял ученика Васьки Ермилова, справился о здоровье приятеля, вспомнил былые проказы в Питере, Харькове, Париже и обещал помочь с работой.

Вот что значит протекция футуриста!

Солнечное завтра вставало перед приезжим провинциалом. Он вызвал в Москву жену Ирину с малолетней дочкой Оксаной, снял квартирку, правда у черта на куличках, на какой-то Камчатской улице, но с горячей водой. Работа предстояла нешуточная — советский павильон в Японии, естественно, с металлическим «клином», устремленным острым концом в космос, и дидактическими мелочами вокруг: портреты космонавтов, диаграммы и показатели достижений советской науки и техники. Вот «мелочами» и занялись молодой декоратор Крынский с опытными сотрудниками Витей Резниковым и Давидом Лейхманом.

В разгар работы, на заре 68-го, без всякого предупреждения в их мастерскую на Самотеке постучался харьковчанин Вагрич Акопович Бахчанян, сокращенно Бах, и не один, а с женой и чемоданом. Их прихватили мусора на нелегальной ночевке и выставили на мороз.



«Мы, — пишет в дневнике за 12 января 68-го М.Я. Гробман, — я, Ирка, Лимонов, Ворошилов — поехали к Бахчаняну, живущему в мастерской некоего художника Крынского».

«Некий» Крынский и фотограф Резников с подозрением осмотрели окоченевших земляков и милостиво впустили погреться у горевшего камина. Бездомная пара не собиралась так быстро покидать теплое помещение. Им позволили ночевать и смыться до появления милиции, но несчастные надолго застряли в гостеприимном «укривище». Бах бегал по издательствам, а его жена топталась на толкучке по аренде углов и комнат.

С японским заказом ребята справились и получили хорошие деньги.

Раз в столовой, где я обедал с соседом Лешкой Россалем, пожилым бородачом из белютинской студии, к нам присоединился крепыш с могучими бицепсами и гордым лицом степного орла. Так я познакомился с Крынским. Он просил запросто заходить к нему на Самотеку, где решалась судьба нового заказа, на сей раз американской выставки.

Не откладывая приглашения в долгий ящик, втроем мы пошли к нему. Нас встретила симпатичная, изящного покроя женщина с тетрадкой в руках.

Жена Баха, образованная харьковчанка из старинного дворянского рода, Ирина Ивановна Савинова, работать в столице вообще не имела права. Она тайком давала уроки английского языка совсем отстающим школьникам, но платили за это гроши. Мужу было проще: у виртуоза карандаша и острого слова не спрашивали паспорта, а работы по газетам и журналам хватало. Брусок из «цеховой солидарности» привел его в «Литературную газету», где искали юмористов для последней, шестнадцатой страницы, и там он стал сразу своим и необходимым.

Посреди просторного помещения стоял огромный, ручной работы стол с макетом «Америки», и вокруг него

не прекращались застолья до глубокой ночи. Табуретки и стеллажи Крынский делал сам, воруя доски на стройках коммунизма. О таких мастерах говорят: «Мужик золотые руки!» К моему удивлению, он не только рисовал гербы шестнадцати советских республик для Америки, но и творил на вечность «рельефы», как его учил супрематист Ермилов.

Я стал заглядывать к нему. Однажды я застал в подвале всю кодлу юмористов «Литературки» во главе с Виктором Веселовским, импозантным бородачом при галстукке. Несся шквал острот — Витя Песков и Сергей Приймак, Игорь Макаров и Олег Теслер, Илья Суслов и Давид Лейхман, — каскад ядовитых еврейских анекдотов и армянских былей. «Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью!» или «Бурят в стакане воды» — в таких хохмах Бах не знал себе равных.

Анатолий Крынский, потомок древнего казачьего рода, свято хранивший погромные традиции своих воинственных гайдамаков — «перетопить жидов в Днепре», — очутившись в Москве, вдруг оказался окружен «бедными сынами Израиля», как выражался антисемит Н.В. Гоголь. Широкий спектр изменников родины и безродных космополитов, врагов народа и поджигателей войны собирался на Самотеке по делам и просто потрепаться.

Однажды там я встретил нашего квартального техника-смотрителя Толика Шапиро, фарцевавшего израильскими «вызовами». За умеренную взятку — у художников чаще всего выбирал картинку, гравюру, рисунок — техник приносил «вызов» от несуществующей тети из Хайфы или дяди из Эйлата, и тогда начиналась волокита с отъездом за границу. Закупка велосипеда и швейной машинки, разрешенных к вывозу, оформление и заполнение стандартных формуляров для могучего и грозного ОВИРа, беседы с родителями о пользе эмиграции на Запад.

Что случилось с завоевателем Москвы? Как он доказал до того, чтобы прятать у себя под столом опасного

диссидента, как писатель Володя Марамзин, бежавший от облавы мусоров в Ленинграде, или сионистов, изучавших иврит? «Нет ответа», — как сказал бы великий Гоголь.

Одна сцена запомнилась мне навсегда. Гайдамак Крынский, засучив рукава, склонился над казенной бумагой с пером в руке, а над ним четверо постоянных гостей, «сионисты» Лейхман, Резников, Шапиро, Борух, с сияющими лицами — вылитая репинская картина «Письмо турецкому султану», — заполняют анкеты. В графе «Национальность» Крынский решительно написал «Еврей», и все вокруг дружно заржали.

Мучительно трудно было выдавать казака и его благородную супругу за «жидив», но это был единственный путь выбраться на свободу.

Постоянно остривший Давид Лейхман подвел черту: «Ну вот, теперь гайдамак Крынский стал евреем».

А при чем здесь Израиль?

На этот, в сущности, простенький вопрос трое харьковчан отвечают по-разному. Бахчанян, «армянин на 150 процентов», как он сам себя представлял, уезжавший первым весной 74-го, свою эмиграцию связывал с отсутствием «крыши над головой». А его решительная супруга добавляла: «Мне надоело ходить в холодную баню с веником, а на Западе есть отели с горячим душем». Лимоныч, улетавший осенью того же года, объясняется длинно и невразумительно: «Ну, старик, понимаешь, у меня это вековая жажда Запада», что лишь частично похоже на правду. У Крынского эмиграция связана с «изменой родине», где сплелись конфликты с бюрократами от искусства и отказы на заграничные поездки, а если прибавить всемогущего должителя Рождественского, тормозившего профессиональную жизнь амбициозного гайдамака, то получится весь комплекс измены пролетарской родине.

И как результат — новый курс, шаг в мир психбольных искателей истины, фарцовщиков и провокаторов, мистиков и предателей. Жизнь в ином ритме, с иными заботами.

Сплошная духовность вместо плоти.

В 1975-м на Самотеке появилась еще пара кандидатов на эмиграцию — знаменитый Василий Яковлевич Ситников и реставратор искусства Володя Тетерятников. Эти «вятичи», как выражалась Аида Сычева, получив «израильские вызовы» от маклака Шапиро, тщательно готовились к отъезду. На сортировку богатого собрания из шестисот икон уходили месяцы. На ликвидацию ненужного барахла необходимо время. Крынский помогал им в этом сложном и кропотливом деле. Ситников, уже сидя на чемодане, умудрялся маклачить и учить привлекательных девиц рисованию.

Озабоченные изменники родины с замиранием сердца ждали сообщений из пересыльных мест — сперва Вены, потом Рима. Оттуда приходили пестрые открытки с восторженными отзывами о красотах вечных городов Европы.

«Вот видишь, — рассуждали сообщники, — какие там красоты, хуже сволочной советской жизни быть не может!»

«Я там буду знаменит, как Шагал!» — не моргнув глазом говорил Вася Ситников.

«А я обойду самого Малевича!» — вторил ему Крынский.

Зимой 75-го года улетели Лейхман, Винницкий, Тетерятников, Ситников. Правоверный папаша Крынского, сидевший на заслуженной пенсии, не давал разрешения на выезд, и на обработку патриота ушло много времени.

«Крынский без мастерской, без разрешения на выезд от родителей крутится среди подонков, чтобы заработать на кусок хлеба», — писала мне О.А. Серебряная (октябрь 1975).

Крепкий гайдамак Тихон Гаврилович Крынский при слове «Израиль» схватился за карабин, разорвал все формуляры предателя «неньки Украины», прекратив все сношения с сыном-изменником. В конце концов старика

напоили коньяком и подсунули бумагу на подпись без упоминания Израиля. Он нехотя подмахнул и хлопнул дверью.

Как водится, предстояли традиционные «проводы на тот свет».

«Фридынского пригласил, но тот по трусости не явился, как и Веселовский! Пришли невыездные физики с дорогими мозгами», — писал мне в Париж А.К. В начале 76-го семья Крынских из трех лиц взяла курс на Запад.

\* \* \*

Красивые открытки с видами европейских городов сменились живым эмигрантским опытом. Крынский писал мне из Рима: «Ирина и дочь Оксана чувствуют себя прекрасно, полны энергии и жажды жить в свободном мире. Будем завоевывать новые земли, а Москва была пробой. Рим стал маленьким камешком, и дальше будет гораздо значительней и лучше сволочной советской жизни» (20 октября 1976).

И такой телячий восторг слышался не только от него. Ситников, застрявший в австрийской деревне Кицбюль, сравнивал себя с «птичкой, выпущенной из клетки в рай».

Чуть позднее оптимизм поубавился.

«Что касается Баха и Лимонова, то встречи с ними нас не радуют, и постепенно избегаем дальнейших контактов».

В нью-йоркском котле, варившем миллионы индивидуумов всех пород и талантов, чета Лимоновых, закройщик и натурщица, не были нужны даже нищим, получавшим заветные джинсы бесплатно от Армии спасения. Козлик быстро смекнула, что жить с милым в шалаше преступно, когда за ней волочатся не только эмигрантские шакалы, а порядочные мужчины с деньгами. Молодая семья развалилась. Правда, бывало и так, что, отработав постельную ночь у ковбоя из Оклахомы, она на часок за-

бегала к своему возлюбленному, чтобы успокоить его истрепанные нервы.

«Разочарование» — так называлась критическая статейка Лимонова, тиснутая в «Новом русском слове» (1976), — привлекла внимание советской разведки. Ее немедленно перепечатала советская «Неделя». В ней он сек и бил американский образ жизни. Его приятель Валентин Прусаков, также не усвоивший американских правил жизни, сочинил целую книжку «Прощай, ахиня» в том же критическом духе. Косяк питерских смутьянов — Сенявин, Голецкий, Клевер, Елена Строева (повесилась в 75-м) — артисты легкого веса, не сумевшие пристроиться, развернули оглобли назад, в советский рай.

Бахчаняны устроились прочнее. Он, не меняя русского ритма в творчестве, рисовал и лепил карикатуры на советский строй для эмигрантских изданий, где платили символические гроши. Она честно сидела на штатном месте, занимаясь переводами и редактированием чужих речей, что приносило скромные, но честные доходы. Так и ковыляли дружной парой до спасительной перестройки, распахнувшей границы пошире.

В новой Москве Баха любили и ценили, но что может получить даже самый знаменитый сатирик, да еще в безумной и бестолковой стране! Потом, его «работа со словом» так устарела, что никто, кроме стариков, не понимал ее смысла. Что сейчас значат слова «пионерпа», «севрюгославия» или «петухачевский»? Весь соц-арт, изобретателем которого он, несомненно, был, стал никому не интересен.

Вольнодумец Бах долго болел, а в 2009 году повесился, избавив себя от мучений, а супругу от волнений и хлопот.

Анатолий Крынский прижился в Америке, принял ее за новое отечество, но в профессии не смог доказать своей американской принадлежности. Знающие люди говорят, что это невозможно.

\* \* \*

Поздней осенью 1980 года, когда в Париже осыпаются каштаны и солнышко робко садится за трубы каминов на крышах города, мне позвонила «старая парижанка» Лариса Сергеевна Козлова, женщина широкого профиля и больших возможностей.

Девушки 60-х. Москва. Институты Мориса Тореза, Патриса Лумумбы. Дружба народов. Патриотизм и фарцовка. Заграница и блядство. Чемодан был не только у чехов, но и у сирийцев, иранцев, ливанцев. Его набивали «черными досками», часто хорошего качества и везли на западный торг. В иконном бизнесе «Козлиха» стала незаменимым экспертом, а икона — моя давняя страсть и любовь. Отдавала за полцены, а то и дешевле.

На этот раз она привезла не иконы, а приглашала в гости «просто так»: приехала из Италии сестра Лена, из Америки — писатель Эдик Лимонов, и будут еще гости, «посидим попросту, по-русски, с водочкой и селедочкой».

Лара собрала восемь человек. Я удивился, встретив там Юрку Купермана с москвичом Киркой Дороном, — они никак не вязались у меня с хозяйкой, но через три-четыре фразы выяснилась их продуктивная связь. Лара частенько навещала свою родную и доходную Москву и прихватывала небольшие посылки для родителей эмигрантов. На видном месте, в обнимку с Козликом, сидел приехавший «американец» Лимонов. Тут же восседали представительная Ирина Туринцева с мордастым сыном по имени Артем — русские люди, давно осевшие на Западе. Хозяйка приготовила ужин в русском стиле: водка московская, балтийская селедка, жирный винегрет, соленые грибы, ватрушки. Францию напоминало «плато» сыров и бордо хорошего качества.

Тут я увидел нового человека, не подпольного Лимоныча, а Эдуарда Вениаминовича Лимонова, скандально-го прозаика, автора повести «Эдичка», изданной по-фран-

цузски в серии скабрёзных романов. В ней он взвалил на себя тяжкую ношу литературного юродства. Решительно вывел себя в порнослóва и содомита, да еще с черным напарником. Такого подвига самоуничужения, связанного с поношением и глумлением над почтенной публикой, от него никто не ждал. До такого обличительного юродства сильных мира сего русская беллетристика еще не доходила, и для консервативной православной традиции это было воплощением кощунства, наглости и хамства.

Надо сказать, что до этой литературной бомбы он был незаметным эмигрантом, поэтом «с языком харьковских низов», как справедливо заметил К.К. Кузьминский, без читателя и естественной среды. Я видел его вирши в жалких эмигрантских журналах. В Нью-Йорке он снимал нары у моего приятеля Леньки Милруда, жил без имущества и перебивался временной и плохо оплачиваемой работой.

Теперь он стал неузнаваем. Срезал кудри до плеч и сменил штаны. Помесь ковбоя с гайдамаком. Небрежно одетый в потертый кожаный пиджак, подстриженный под малороссийского казачка, безумный мистик с блеском в глазах.

Уходя, он удивил меня, ввернув модные слова: «Старик, не о теле, о душе подумай, ограничение пороков ведет к духовной стагнации!»

Таким «порочным» он и застрял в Париже. К нему прилетела из Америки новая подруга жизни, блаженная Наталья Медведева, певица по кабакам. Скромно, тихо, по-студенчески они зажили в большом городе.

Суровый Владимир Емельянович Максимов, дядя с уголовным прошлым по кличке Обком, в Париже заправлявший журналом «Континент», где хорошо платили за работу, получая лимоновские рукописи, бросал их в корзину, приговаривая: «Педераст всегда предаст!» Но настырный «пидерас» находил издателей. Его с удовольствием тискала Мария Васильевна Розанова в своем домашнем



«Синтаксисе», враждебном благопристойному максимовскому курсу, но она не платила авторам ни гроша.

С четой Лимоновых я чаще всего встречался в «салоне» Аиды Сычевой.

Меня поражало косноязычие этой пары, помесь харьковских и американских словечек и оборотов. И он и она начинали фразу и, не подобрав подходящего слова, махали руками по сторонам, как будто собеседнику и так все ясно без всякого трепя. Вместо «квартиры» — «апартамент», вместо «любовницы» — «герлфренд», и так без конца, но в лимоновских романах нарочитая абракадабра звучала пророчески. И неуклюжие выдумки эротического содержания, и пафосные философские заключения густо кустились на страницах его сочинений: «русское коммюнити», «штаны устремились к земле», «несколько утр», «поглотили все изделия», «проявил эмоци» гуляли по всем книжкам и не вызывали читательского протеста.

В глубокую старину в народе бродили «юродивые Христа ради», босые и вшивые праведники, без узды и дисциплины, обличавшие порочный, погрязший в грехе мир. Этот вид аскезы — резать правду-матку в глаза словесным мусором — я обнаружил у обновленного Лимонова и его сожительницы.

Подвижники нашего времени!

У них начиналась не биография, а «житие праведных Натальи и Эдуарда».

Эмиграция во Францию в это время (80-е гг.) была исключительно политической, называлась «еврейской волной» и не сообщалась с прошлыми «белой» и «власовской», многочисленными и молчаливыми. Появление советских диссидентов с могучим капитаном артиллерии А.И. Солженицыным во главе заново всколыхнуло литературную и артистическую деятельность. Газету «Русская мысль» возглавили не малограмотные «казаки» и «власовцы», как кажется, а европейски образованные люди: княгиня Зинаида Шаховская, граф Серафим Милорадович,

затем Ирина Иловайская-Альберти, знавшая девять языков. Печатались там знаменитые диссиденты и работали профессионалы. Лимонову не прощали очерков в советской печати и заигрывания с коммунистами, хотя эти контакты были типичной «сменой вех», игрой живого человека, не заикленного на мнении советского или антисоветского начальства. Печатался он в независимом, хулиганском журнале «Мулета», издаваемом В.С. Котляровым, эмигрантом невысокой культуры, но смутьяном и искателем справедливости.

Его мистический опыт я не критикую и не возвожу в правило, а лишь отмечаю его существование. В независимой прессе Лимонов выдает такие перлы: «Зачем скрывать героев, как Герострат, спаливший священный для греков храм Артемиды Эфесской!», «Взорвать Мавзолей Ленина на Красной площади!», «Завалить пару американских небоскребов!». Приравнять антинародное преступление к высшему образцу творческого эпатажа может только юродивый безумец.

Призывами к разрушению никого не удивишь, бунт против зла и несправедливости в большой моде, но Лимонову очень хотелось быть международным авантюристом, таким харьковским Казановой, однако жизнь была гораздо проще и мрачнее. Жил он с русской подругой Натальей Медведевой, певшей в ресторане «Балалайка» «Мама, я жулика люблю», слонялся по парижским улицам, заходил в клубы «левых» и «правых», добился французского гражданства (1989) и продолжал беспокоить обывателя в богемной парижской прессе.

Белой эмиграции не повезло, на конях в «святую Русь» не вернулись, зато крупно повезло диссидентам: десять лет чужбины, и домой — в Симбирск, в Саратов, в Питер!

В перестройку Лимоновы дружно повернули назад, на московские баррикады, в народную гущу, по клубам и кабакам. Перемены в России для них оказались желанными и прибыльными. Повсюду засияло истинное благочестие.

Появились нищие и калеки, воры и спекулянты. Они перебрались туда в начале 90-х, но в 95-м разошлись. Наталья обошла мужа в благочестии и блаженстве, а в 2003-м умерла от одиночества и перепоя.

Вольнодумец? Смутьян? Матрос Железняк? Лимонов не прирожденный юридивый, он играет в Нарцисса, Герострата и Железняка. Пиарить на экране телевизора, быстрый и шумный успех у зрителя — вот задача современного смутьяна. О победоносной и громкой славе на «исторической родине» не могло быть и речи, все места заняты (Лжедмитрий на белом коне, Ленин на броневике, Солженицын на паровозе), но есть перспективы, и дозволено все.

К сожалению, о его подвижнической деятельности в России мне ничего не известно. Лишь раз, в 2004 году, его ближайший друг и почитатель В.С. Котляров (Толстый) попросил подписать какую-то ксиву в защиту «великого русского писателя, незаконно попавшего в тюрьму!». Содержание письма, адресованного президенту России, я нашел жалким, холуйским и отказался подписывать.

Профессор Н.Г. Чернышевский в царской тюрьме написал свой знаменитый революционный роман «Что делать?». Босяк Максим Горький в той же камере сочинил свою лучшую пьесу «Дети солнца». Советский доцент А.Д. Синявский в лагере написал замечательную вещь «Прогулки с Пушкиным». Смутьян и позер Э.В. Лимонов за два года русской тюрьмы настроил двадцать четыре романа — по книжке в месяц!

Я подумал грешным делом, а не сажать ли в тюрьму всех пророков и сочинителей, лишенных воображения?

А русский народ сам разберется, что делать и как дальше жить.

## 27. Другие и всякие

Всяк сверчок знай свой шесток.  
*Русская пословица*

Еврейская эмиграция 70-х годов XX века вывела на вольный Запад не только дантистов и кладовщиков, но и сотни деятелей искусства: архитекторов, реставраторов, живописцев, прикладников, фотографов, графистов, инсталляторов, скульпторов. В свободном мире они разбрелись по разным странам жить и творить, как умеют. Ровно 99 артистов осели во Франции, главным образом в Париже. «Колумбом», открывшим этот старинный город с романтической славой «мирового центра» культуры, был ленинградец Виллем Петрович Бруй (1971). Его предшественники, «невозвращенцы» москвич Владимир Львович Слепян и несколько прибалтов, выходят за пределы моей темы.

Причины эмиграции двадцатисемилетнего, женатого на красавице Сильве, с пятилетним сыном, легко объяс-

нимы. Когда из душной питерской коммуналки, заваленной примусами и кастрюлями, копотью и смрадом, вдруг распахнется заросшая лишаями и навеки забитая дверь, и не во двор с каркасом танка, а в волшебный мир твоих сладких видений, никто не устоит туда сигануть, ни о чем не думая.

Какое может быть прошлое у молодой советской семьи? У мужа коммуналка на улице Рубинштейна, а у супруги деревня на Днестре с грязью по колено, школа с пионерским лагерем, потом типографский станок и неожиданное приглашение родного дяди, живущего с 48-го года в молодом государстве Израиль, перебраться к нему на жительство. Молодая семья никак не думала, что в Израиле очень жарко. Особенно в кибуце, где дядя выращивал помидоры.

«Старик, я ведь северянин, — не раз повторял Бруй, — а там очень пыльно и жарко!»

Помидоров еще не хватало великому художнику!

Темпераментный Вилька и широкомыслящая Сильва быстро пробили место в международном «доме творчества», расположенном не где-нибудь, а в городе мечты — в Париже. Там течет прекрасная и прохладная Сена, упакованная в гранит, над ней дворцы и соборы, воспетые поэтами и живописцами всех племен и наречий. Сотни художественных магазинов и галерей, музеев и банков. Молодой художник решил, что питерское прошлое необходимо подправить применительно к нуждам современности.

Какая там, к черту, типография! Он прямой ученик Казимира Малевича. Витебский супрематист. Где он — там и Малевич!

Модно одетого крепыша (весь в белом!), с роскошной улыбкой и ловкими манерами, я впервые увидел на выставке русских художников в Париже (1976). В отдельном секторе Бруй показал огромные, многометровые парусины, без всяких подрамников, испещренные черной крас-

кой и висящие на кольях, как рыбацкие сети, — товар самого модного по тем временам парижского стиля.

Постепенно привыкая к играм всевозможных «измов», я определил, что творчество Бруя точь-в-точь соответствует последнему крику в живописи, так называемому «сюпорт-сюрфас», представленному в главном городском музее. Мне удалось прижать великого новатора в угол, чокнуться шампанским и побольше опросить. На мой вопрос, почему его великолепных тряпок и рванья я не видел в парижском музее, где выставили компактную группу парижских артистов, он мне прямо и без запинки отрезал: «Старик, а русских в музей не берут!»

Быстро овладев разговорным французским, а затем и английским (год в Нью-Йорке), Бруй не нуждался в опеке опытных товарищей, точнее, малознакомых питерских земляков из прошлого и настоящего. Эмиграцию он принял не как чужбину, а как подходящую территорию для художественной эксплуатации. Однако суровая действительность быстро охладила пыл питерского гения. На отчетных выставках «дома творчества» он выделялся самобытным даром и цепким понятием злободневности в искусстве, но бюрократы из солидных, денежных «институций» под разными предлогами тянули с выставкой в престижном месте, а зачинатели нового «изма» — артисты французской глубинки — Клод Вьяла, Дезес, Сайтур, — выяснив, что новичок антикоммунист и эмигрант, вообще отказали ему в месте, не приняв в свою экспозиционную группу.

Возмущенный Бруй улетел в Америку, штурмовать нью-йоркскую крепость, но и там счастливые времена, когда Америкой правили эмигранты, давно миновали. Вместо голландцев, армян и евреев к славе и деньгам тащили чернокожих граждан магометанской веры, жителей диких островов и городского дна.

В Америке обломал зубы не один Бруй, а и молодцы с крепкими кулаками — Соханевич, Гаранин, Бахчанян,

Нуссберг, Шемякин, Крынский, Неизвестный, Збарский, Куперман, Нежданов, Красный, Григорович, Одноралов.

Грубо говоря, Америка возлюбила африканцев.

Проклятие над совком!

И парижские власти совсем озверели. Требуют платы за мастерскую, членских взносов в профсоюз, денег за газ и телефон — какая наглость с творцами нетленных ценностей!

Возвращение в Россию походило не на позорное отступление, а на поворот к истокам, к музеям и магазинам новой страны — Рашки. Конечно, Рашкиным богачам далеко до патриотизма китайских магнатов, скупающих исключительно китайский гений, но можно и так. Бруй начал окружение частных капиталов издалека. Выставка в древнем Гродно прошла незамеченной — какие, к черту, деньги в этой полесской дыре! — но в Питере о нем помнили, вернее, давно забыли, но он им, говнюкам, напомнил, кто первый открыл глаза на Малевича, кто первый эмигрировал из Совка, кто вообще первый в искусстве. Откликнулся пивной король Миша Маневич. Ему показалось, что первый богач Санкт-Петербурга должен иметь первого художника, но, с удивлением обнаружив дешевизну бруевского авангарда, закупку прекратил, потому что конкуренты стали подшучивать над коллекционером дешевого рванья. Постепенно и неприступная Москва открыла свои ворота. «Винзавод» со своими магазинами показали его творчество, но московские мафиози, нерушимо сидящие на ключевых местах, финансовые потоки направили в свой карман, а в кошелек Бруя ничего не капнуло. «Монументальный король» Зураб Церетели, бесплатно прихвативший себе пять «городских объектов», либерально решил, что пора вручить почетный колпак академика русско-французскому новатору. Для этой цели устроили перформанс с коктейлем в одном из его особняков, куда согнали прес-

су и голодных посетителей. За полчаса все было выпито и съедено, а приезжий авангардист получил почетный красный колпак.

А где деньги?

Новатору такого калибра нужны деньги не на пустые капризы, а на хлеб, табак, краски, бензин!

На парижскую мастерскую Бруя наехал безжалостный финансовый инспектор. За долголетнее пребывание на казенной жилплощади без оплаты у артиста опечатали картины и лишили жилья. Жена сбежала с пробивным любовником. Сын скрылся в африканские джунгли. Дочка подалась за океан. Одному пришлось перебираться в глухую нормандскую деревню с дровяным отоплением. В деревенском доме артиста отрезали газ и свет за неуплату. Цены на бензин и на воду постоянно и неуклонно растут. Ладно, без лошадиной или моторной тяги можно существовать, живут же бомжи и не тужат, а вот кто оплатит проезд в метро в Москве или в Париже?

Гению Виллема Бруя остается встать с протянутым колпаком, авось добрый прохожий бросит мелочишки на жизнь.

Вот зверюга Калиюга!

\* \* \*

В 1974 году в Париже приземлился советский гражданин Гуджи Амашукели. По приглашению жены-француженки. Прилетел и остался навсегда. Стал невозвращенцем. В 78-м он получил французское гражданство, а о возвращении на родину и думать забыл.

Несмотря на лихорадочную суету русской эмиграции, участия в ней он не принимал. В диссидентских выставках не участвовал, на собрания антисоветчиков не ходил, а упорно трудился в полном одиночестве. Рисовал, лепил, ковал.



Грузию я не посещал. О грузинах у меня самые смутные, книжные представления. Кажется, они, как японцы, привязаны к своей чудесной земле. Древняя Колхида, волшебница Медея, царица Тамара, горы, солнце, виноград. Грузины неохотно покидали свою родную землю. Гроза всего мира, грузин Сосо Джугашвили, 30 лет сидел на троне в Москве, народы процветали, и только говнюки, наступившие ему на большую мозоль, скрылись на чужбине. Грамотная часть их осела во Франции и, как водится среди бластных и нищих, передралась и разошлась по своим норам. Одна кучка «правых» грузин собиралась в корчме Шалвы, а «левые» — в кабаке Шотки.

А где «Сулико» и лезгинка?

Для ностальгии по родным кишлакам и долинам в рестораник «правых» с тремя кривыми столами заходил и Гуджи. Там на стене висел засиженный мухами плакат «Витязь в тигровой шкуре», руками разрывающий дикого зверя. Хозяин с пышными усами подавал безвкусное харчо, но говорил на чистом картлийском наречии, что заменяло кухню и питье. Иногда приходили старики и напевали сладкое и родное «Сулико». Тогда посетители раскисали, горько плакали и, довольные, расходились.

В мой короткий опус не входит задача воспеть военные победы великого грузинского народа, гордых христиан, не раз бивших магометанских завоевателей, разбирать его культурные и научные достижения, но, почитая память доблестных людей, сохранивших свою цивилизацию в мясорубке мировых империй, я охотно встаю по стойке смирно.

Нередко одаренные натуры естественно и гармонично переходят из одного изобразительного стиля в другой, высокие примеры тому: Пикассо, Пикабия, Малевич, но меняющих кисть на молоток, краску на гранит, одну эстетику на другую — считанные единицы. Ныне знаменитый золотых и серебряных дел мастер высочайшего класса Гуджи Амашукели — один из них.

Этот французский художник (я настаиваю на определении «французский»), волшебник резца и молотка, начал в Грузии (родился в 1941 году в Боржоми, детство — в Батуми, академия — в Тбилиси). Там жили благородные родители, там он учился, там начинал с лепки и рисунка. Артистам с воображением Москвы не миновать. В столице Советского государства не так просто закрепиться провинциалу, пусть он и храбрый грузин со связями. Как нерушимая стена стоит прописка иногородних — уладят ее через взятку или брак, надо штурмовать «профессиональное членство», где берут не деньги, а своих, родных и близких. Амашукели оказался чужим, не смог туда пробиться и стал штатным макетчиком на кинофабрике. Там он лепил из картона военное снаряжение для витязей русского кино — Руслана, Фарлафа и Черномора.

В начале 60-х расселяли жителей подвалов, и арендовать нежилое помещение не представляло труда. Тут работали шарм и деньги, а они у Гуджи были. В подвальной мастерской в Тихвинском переулке он принимал гостей и творил для вечности. К таким заходили любопытные физики и лирики, иногда приценивались иностранцы, но покупали редко и платили мало.

Француженка Катрин Барсак работала секретаршей французского посольства и учила русский, язык своих предков, бежавших от революционных бурь в Европу. Ее неподдельный интерес к русской культуре — отец знаменитый театральным деятелем, мать Лидия Клячкина из рода декоратора Леона Бакста — вел в самые передовые салоны Москвы, к артистам театра, кино, живописи. Там ей приглянулся красавец-грузин, левый художник, мечтавший о покорении Запада. Они влюбились друг в друга. Гуджи развелся с русской женой и ее сыном Гошей. Официально зарегистрировать брак с француженкой удалось в 1969 году. У них родился сын Стефан. Затем три-четыре года шла бюрократическая волокита с визой во Францию, основательно портившая нервы молодоженам.

Покидая тяжелую советскую державу, Гуджи решил забыть о ее существовании вместе с Джугашвили, московским подвалом и суровой милицией.

Однажды, слоняясь по парижским салонам, в огромном здании Гран Пале я набрел на картину, подписанную «Гуджи». Автор выставил нечто темное и неразборчивое. О близости к сюрреализму напоминала одна-единственная деталь в виде рыболовного крючка, висевшего на шее мрачного, замазанного черными пятнами субъекта в зеленой шляпе, угловатой формы, очень модной в кавказском искусстве.

На сезонных Салонах выставляются все желающие за поместный налог. Туда никто не ходит, кроме авторов и воров чужих идей. Русский журналист (кажется, Татьяна Паншина) нашла в картинках Гуджи «грузинскую душу», но что значит эта «душа» для японского коллекционера или французского маркиза? Видные парижские галереи продавали звезд американского поп-арта. Маршаны поскромнее торговали «ню», «кошками» и «букетами». Оставался честный труд на вечность, а стоит ли годами вкалывать и тратить деньги на дорогостоящие и недоступные материалы? Ведь тюбик краски величиной с мизинец стоит 10 долларов — а если их нет? Чувство современности не раз ускользало от Гуджи, особенно в годы ученичества в Грузии, где обучали в духе прошлого века, в традициях давно умерших школ. От них несло невообразимой скукой, как от лужи мазута на дороге. В мире скоростных электронных игр мазут выглядел грязным пятном. Западные «измы» ковались в закрытых клубах, куда выходцев из большой и темной России не допускали. Но чутье его не подвело. Он пошел на огромный риск. В 40 лет сменил не только эстетику, но профессию и направление, на полном ходу перебрался из одного транспорта в другой, из самолета в автомобиль.

Ужасное время выпало на нашу долю. Где золотой век человечества?

Начинающий чеканщик за образцами для подражания не обратился ни к современным мастерам молотка, ни к маэстро Бенвенуто Челлини, ни к роскоши русского китча Фаберже, а окунулся в глухую древность — к безымянным мастерам Колхиды и Скифии, к истокам мировой цивилизации. Там начинался высокий и могучий стиль мировой пластики, от обручального кольца и острого кинжала до ритуальных чаш и царских тронов. Не бесовщина Запада, а высокая духовность Востока. Страна «золотого руна» и тонкого искусства. Волшебница Медея и скифское золото.

Признание пришло не сразу. Пришлось много попотеть в крохотном ателье на Монмартре, чтобы сделать что-то стоящее и необычное. О престижных заказах и заработках не могло быть и речи. До них был труд и упорство. И вера в свою звезду.

Кто свел его с видным маршаном Клодом Бернаром? Сам артист предпочитает помалкивать, но я думаю, что сводником был Юрий Леонидович Куперман («Купер» в искусстве). Мосье Клод, его сестра и все сотрудники галереи, очарованные личностью и творчеством Купера, приняли его в свою семью как самого родного человека. Друзья Купера стали друзьями Клода.

Первая выставка, а потом череда европейских галерей и музеев Европы стали не только триумфом Гуджи, а праздником всей Франции. О заказах я не пишу — они посыпались от Церкви и Академии, самые престижные и очень много, — мастер получил премии и медали высокого чина, начиная от папы римского и кончая президентом Франции. Ограничусь гимном великому художнику, сумевшему открыть новую страницу в мировой пластике.

Слава, почет, деньги!

Гул аплодисментов. Все встают.

Да здравствует великий мастер молотка Гуджи Амашукели!

\* \* \*

Эмигрант Олег Николаевич Целков — типичный апатрид на чужбине. Русский живописец в Париже. Тридцать лет жизни на французской земле и парижская квартира не сделали его французом. Контакты с внешним миром ограничились скупой жестикуляцией и криком неизвестного наречия.

Его московская деятельность хорошо известна. Учение в школе для одаренных детей, затем — в театральном институте, где заправлял известный постановщик Николай Павлович Акимов. Ловкая перебежка из официоза в подполье — Целков умудрялся делать декорации для советского театра и тайком рисовать картины, фрондирующие казенный и неподвижный соцреализм.

Что такое театральное мировоззрение?

Замкнутое сценическое пространство, коробка с действующими объемами — актеры, куклы, мебель, подсветка. Жизнь условного мирка.

Целков не только получил диплом декоратора, но и твердо усвоил театральные уроки своего учителя Н.П. Акимова. Его первые самостоятельные работы в живописи, начала 60-х годов, — натюрморт из круглых и гладких, как булыжники мостовой, рыл, веревок и гвоздей, фигуративная страшилка, — в точности соответствуют театральной постановке. Никаких радикальных исканий. Легкий сезаннизм не считался новизной в академической школе.

Как все, что творилось в нелегальном искусстве, живопись О.Ц. росла в полнейшем отрыве от мировой культуры, как капуста в темном погребе, вне «измов», школ и направлений, сама по себе, без закрепления в потребительском обществе. По возрасту (родился в 1934 году) он соответствовал деятелям поп-арта, но это широкое направление, захватившее множество национальных культур, не оставило в России следов, потому что не имело

почвы для естественного развития. Так художник и рос одиноким, бесправным, ненужным.

«Людей я ненавидел», — надменно говорит О.Ц.

В Советской России Целков работал более двадцати лет — срок достаточный, чтобы заявить о себе если не официальным, то нелегальным способом. И его заметили, и оценили. Просвещенные физики и лирики в рассрочку покупали картины и рисунки. С известным и влиятельным эстрадником Евгением Евтушенко сложились прочные дружеские отношения. За ними тянулся целый выводок комсомольских стилиг, как Белла Ахмадулина, Василий Аксенов, Булат Окуджава. Дружба с поэтом-трибуном оказалась судьбоносной. Песню Евтушенко «Хотят ли русские войны» распевала вся страна, и будущие олигархи в том числе. Поэт, полюбивший целковское творчество, во всем покровительствовал живописцу, устраивая выставки в закрытых клубах и загоня иностранных гостей на просмотр картин.

Партия просвещенного коммунизма с человеческим лицом!

Цвет советской интеллигенции!

«Приводит Женька как-то Сикейроса с Гуттузо», — вспоминает О.Ц.

«Однажды ко мне он привез Виктора Луи, знаменитого агента КГБ».

В речах звучит хлестаковщина, но кто от нее у нас освободился?

Однако шло время, и работа на вечность приняла угрожающее содержание. Десятки больших картин — рыло, гвоздь, топор, веревка — стояли в углу без всякого общественного востребования. Государству с его партийной узостью было наплевать на деятельность непослушного отщепенца, а частной культуры в Советской стране не существовало. В 1976 году Олег Николаич и его супруга, артистка театра Антонина, решились на эмиг-

рацию, и обязательно в Париж, где собралась большая русская колония.

После значительного перерыва я увидел Целкова (1977) в Париже, в новых обстоятельствах, в парижской атмосфере. Он снял квартиру в арабском квартале, в сером доме панельной постройки 70-х годов, населенном русскими эмигрантами и артистами в их числе. В хозяйстве хлопотала Тоня, рослая блондинка с решительным характером. У Целковых стали собираться эмигранты из всех шестнадцати советских республик, включая парижских цыган с гитарами. Я приезжал туда два или три раза. Там что-то решали, писали «телеги» в городскую мэрию, в полицию, в Дом художника. Просили помещение для русского клуба, заполняли какие-то больничные бумаги, требовали денежной помощи для первой выставки. В середине собрания всегда сидел местный грамотей, способный по-французски написать заявление, потому что никто из приезжих не умел ни писать, ни произнести двух слов на иностранном языке. После тяжелых административных трудов народ облегченно вздыхал, когда Тоня ставила на стол огромную посудину с красным дешевым вином. Выпивали все до дна, кричали, кому-то угрожали, выявляли стукачей и расходились по своим норам.

Художник не избежал и так называемых сезонных Салонов, когда-то знаменитых, а теперь ничтожных и платных, для зажиточных любителей.

Три-четыре парижские галереи — Попоф, Брюллоф и Николенко — торговали русским историческим товаром: самоварами, прялками, медалями, иконами, а современностью никто не занимался. В начале 80-го появился некто Жора Лавров, механик из Риги, открывший художественную галерею, — любопытно, что в русской эстетике Нью-Йорка тоже действовал механик из Риги Эдуард Нахамкин! — он брал диссидентский товар на продажу и, естественно, начал с «мастерища» Целкова, как он выражался, самой тяжелой русской артиллерии на Западе.

Единственный поэт русского происхождения Ален Боске (уроженец Крыма), ничего не понимавший в искусстве, сочинил к выставке такую объяснительную абракадабру, что сразу загубил каталог с картинками, так что показать его компетентным людям стало невозможно, — засмеют и забракуют.

И чем больше и дольше художник творил своих мутантов, ножи и веревки, тем точнее походил на них сам — гололобый, щели вместо глаз, кверху ноздри, беззубый рот.

Казалось бы, огромные картины с персонажами новой расы надо немедленно взять в Лувр, но нет, картины томилась в мастерской.

В чем дело? Запад ослеп, ему не по зубам русская метафизика?

Несмотря на клятвенные заверения художника — «я никогда не искал контактов с парижскими галереями», — Целков не раз пытался связаться с парижанами, но выходил на очень низкий уровень, вроде галереи «Бычий глаз», где в расшитой узорами юбке, на фоне произведений неизвестных артистов, сидела пожилая хозяйка в ожидании случайных клиентов.

А покупатели были. Единицы, но они ценили его творчество. Я не считаю коллег Тони Целковой по работе славынского факультета, бравших в рассрочку, покупали и природные французы, не знавшие, где расположена Москва.

«Вы счастливые люди, — говорил один чудак по имени Жан-Жак Герен, — у вас за Москвой бродят волки и медведи, а у нас одна химия».

Но на эти скудные гонорары жить было невозможно. Подъехали мама и теща. Подрастала падчерица, а ей надо развлечься с женихами. Вся семья села на заготовку сибирских пельменей для русских кабаков.

Советская перестройка произвела основательное расслоение эмиграции. Уже в 1988 году часть ее откочевала назад, в Сибирь, к диким медведям.



Появление русских олигархов оказалось спасительным для живописца. Они живо принялись раздувать цены на своих любимых артистов. Пришли они кружным путем, через Америку. Русский эстет и деловик с тюремных нар Феликс Рувимович Комаров, располагая значительными средствами самого темного происхождения — игровые притоны и бордели Нью-Йорка, — решил запустить их в изящные искусства, а поскольку охотников поживиться оказалось слишком много, то селекцию провел его друг, кабардинец Мишуля Шемякин. В его списке в одном ряду со штыковым бойцом Эриком Неизвестным, отбритым «царя Никиту» в далеком 1962 году, парижский «мастерище» Целков занимал видное место.

В 93-м господин Комаров посетил Париж. Известно, что время — деньги! Чтобы не тратить драгоценные часы на визиты к «худогам», как брезгливо отзывался тюремный эстет о живописцах, всю братву собрали в одно место, как бывало в тюрьме на нары к пахану. В квартиру Целковых потянулись обездоленные артисты с грузом картин, скульптур и мелкой пластики. За исключением двух-трех путешественников, все получили комаровские визитные карточки, где по-английски было написано: «Komarov-World Center of Russian Art». Шутка ли — ты простоял час в очереди и попал в искусство! Правда, пересылка произведений производится за твой счет, но ты не где-нибудь, а в Мировом центре!

По словам наивного Миши Бурджеяна, посланные картины бесследно исчезли. Вместо денег и мировой славы у «худог» в кошельке терлась комаровская визитка.

В городе Нью-Йорке, в огромном помещении на главной «файв-авеню» появилась парочка вооруженных вышибал в коже, и Комаров, окруженный картинами и скульптурами самых дорогих русских мастеров. Преступный бизнес возник и лопнул после ареста вора в законе Славки Япончика в 98-м году. Его «шестерку» Комарова как гнилым ветром сдуло в Москву, «мировой центр»

опечатала полиция, но Целков успел хапнуть свое и безбедно прожить лет пять подряд, попивая красное вино на даче.

«Старик, никаких “дубовых чеков”, наличные привозили в чемодане и лично мне!»

В Москве он крепко застолбил свое место. Поэтический трибун «мира во всем мире» Евтушенко всю старался раскручивать приятеля — когда у тебя куча работ друга или недруга, надо их постоянно рекламировать и набивать цены! — и москвичи как оглашенные бросились скупать произведения парижского отшельника. Поскольку покупали оптом — банкир Смоленский приобрел сразу две тысячи гонимых артистов по 10 долларов за штуку! — то через год-два оригинальный резерв нонконформизма иссяк, но не для проворных мошенников. На рынке сбыта появились самые главные картины Целкова, Зверева, Рабина, Ситникова — фальшаки, сфабрикованные в темных подвалах уголовного мира.

Воевать с такими производителями не легко. Часто за хорошие деньги надо только подписать отлично сделанный фальшак — и выставляй на мировых аукционах. При чем чем выше цена, тем больше шансов всучить вещь тупому олигарху.

Покажи кукиш этим галерейным и музейным сукам!

Остается выяснить небольшую проблему: почему спесивый Запад не признает искусства Целкова?

Будь счастлив, мастерище!

Старик-ты-гений!

\* \* \*

Искусство — материя очень растяжимая, от прикладного ремесла иконника и мастерства ювелира до создателя невиданных духовных ценностей самыми удивительными средствами.

В городе Париже возвышается холм под названием Монмартр, а на нем — остроконечный собор Сакре-Кёр (Священное сердце), а рядом — крохотная площадь с ветряной мельницей, а на площади плечом к плечу — рисовальщики с мольбертами. Когда-то монахи там пасли коров и выращивали виноград, потом пришел со своим мольбертом живописец Жорж Мишель (1843), без конца рисовавший и увековечивший мельницу на площади Тертр. За ним потянулись голландцы, испанцы и туристы. День и ночь в кабаках и клубах толчется народ со всего света и обязательно, как ни крутись, попадает в лапы хищников кисти и карандаша.

Человека с глубоким творческим потенциалом ждет или великая слава, или прозябание в небытии. Известно, что побочные заработки ведут к унижению творчества. Спасательной середины быть не может. Но напрасно чистоплюи от «святых принципов» бракуют уличных артистов. Эта профессия приносит доходы, регулярные и немалые. Застолбить выгодное место на площади Тертр трудно, но еще доступно беженцам с Валдайской возвышенности.

Уроженец славного Торжка, живописец Виталий Зюзин, в юности мечтал покорить Лувр, а пришлось покорять Монмартр. Борьба за существование для него разрешилась самым замечательным образом. К нему в чердачную конуру заглянул бывший питерский авангардист Коля Любушкин и сказал, ткнув пальцем в портреты жены и двоих детишек: «Ты рисовал? Пойдем со мной».

Зюзин, даровитый реалист и отличный портретист, с удивлением открыл, что на Западе давно не существует портретного жанра. Знаменитый генерал де Голль отказался от парадного портрета художественной работы, предпочитая фотографию, его примеру последовали сенаторы и депутаты. С тех пор серьезный портрет вышел из моды.

Умирая, уличный артист Любушкин завещал свое место в Париже соседу по чердаку, многодетному и бедному Зюзину. Он привел его на вершину Монмартра, как кры-

латый ангел Мессию на Фаворскую гору, и представил суровым коллегам, нерушимо сидевшим на знаменитом «пяточке».

Юмористический подход исключается в портретном деле. Для этого есть «секция сатириков». Поясное изображение на улице не практикуется: плечи, руки, пальцы — лишние детали в погрудном портрете. Главный символ — лицо: фас, профиль или три четверти. Всякие кубистические фантазии и «пикасятина» не практикуются, народ ее единодушно отвергает — от Камчатки до Аляски. Хочешь заработать — рисуй красиво и поэтично, выделяя глаза, губы, нос — первостепенные черты человеческого вдохновения. Польстишь клиенту и заработаешь больше таксы! Вот девиз настоящего мастера.

Как живописец из Торжка с женой и детьми попал в Париж, никто не знает. Скорее всего, кто-то пригласил в гости на свою шею. Сейчас это самый распространенный способ перебраться из тверской глуши в Европу, минуя неприступные и дорогие столицы Российской Федерации. Ущемленным московскими империалистами племенам и народам еще проще. Им свободен проезд в любой Лондон или Берлин. А там садись на площадь и собирай подаяние.

Рослый брюнет с кудрями до плеч и бородой до пояса произвел хорошее впечатление на выдавших виды завсегдатаев и работников парижской площади. Он завел широкополую шляпу, красный плед через плечо и стал артистом народной мечты. От наседавших американок из Оклахомы и Небраски не было отбоя. Он рисовал черным карандашом и пастелью с подцветкой, прищунив глаз и аристократически оттянув мизинец. Успех и деньги пришли сразу. Зная зависть коллег, особенно соседа-серба с высшим белградским дипломом, Зюзин частенько уклонялся от заказа. Скрывался на перекур с винцом в кабаре напротив, где хозяин и гарсоны знали его щедрость и веселый нрав. Там у него появился свой столик, где он при-

нимал друзей и давал международной прессе интервью на всех языках. Там-то мы и встретились.

На мой вопрос о святом искусстве Зюзин, потягивая белое вино, сказал: «Старик, я сейчас живу, а не вздыхаю. Три года я бегал, как ненормальный, по галереям, пытаюсь всучить сидящим там снобам свои работы маслом, и всюду получал от ворот поворот. Питался с клошарами в “суп популер”, обносился, как босяк, семья бунтует, дети плачут, а здесь, царство небесное Коле Любушкину, я стал человеком. У меня появились лишние деньги, я снимаю квартиру в центре, и семья отдыхает на Лазурном Берегу. Я не хожу пешком, а езжу на своем “Пежо”, а главное, люди довольны моей работой, и мне хорошо. Банк у меня в кармане. Что там возиться с чеками?»

Через час Зюзин ушел на работу, не заплатив за угощение. В кабаке он стал своим человеком, настоящим парижанином.

\* \* \*

Не мое дело прославлять или давить чуждых мне по всем статьям профессии адептов «социалистического реализма» — им подчинены финансы страны, целые институты искусствоведения, многочисленные музеи и дворцы культуры, но и там попадаются любопытные экземпляры, достойные дружеского шаржа.

Наивные люди полагают, что за границу бегут ненавистники России, мошенники и враги народа. А вот в 1988 году на заре перестройки на Запад потянулись отличники соцреализма. В Париж заявила величественная женщина античной красоты, не беженка с Кавказа, а заслуженный живописец Украины Ирина Леонидовна Вышеславская. Кроме туризма и артистических гастролей — ей без промедления галерея Басмаджана заказала станковую картину на революционный сюжет, — киевлянке выставили

холст два на полтора, где сразу проявился мазок бульдозерного типа.

Адепт так называемого «сурового стиля», ценимого в России и не продаваемого на Западе, — кому нужны пятнистые портреты прокаженных или пейзажи с чугунным небом и трактором, похожим на таракана? — за неделю сварганила сюжетную картину и потребовала денег. Хозяин пытался отвертеться дороговизной красок и быстротой работы, но, сраженный напором красавицы, раскошелился.

При первом знакомстве она приперла меня к стенке: «Познакомь меня со всеми!»

Я подумал, что с таким напором ей обеспечено бессмертие, если не в искусстве, то в Париже обязательно. Пока я скреб в затылке, с кем ее свести, хотя бы в постели, как в галерею завалился «черноморец» Сах (потомок Геракла, Олег Соханевич, переплывший Черное море в 67-м году) и бросился ее обнимать с таким чувством, как будто нужен и влюблен. После часовой беседы о жизни они скрылись в неизвестном направлении. Лишь через день-два постоянный работник галереи, минский «невозвращенец» Коля Павловский, шепнул мне, что влюбленная пара ночует в сквате на рю д'Аркей, обзавелась персональной кастрюлей и едой на недельку.

Сюжетную картину кисти красавицы Вышеславской повесили в витрину магазина, нашлись люди, знавшие ее биографию.

Ее начало было очень советским. Киевским, провинциальным, но видным. Родилась она (1939) в семье знаменитого комсомольского трубадура военных подвигов советских людей, автора сочинений победных названий: «Защитник родины», «Лирики и герои», «За нашу победу». Квартира на Крещатике, в доме сталинской архитектуры, с башней для наблюдения за народными массами. Рисовала она, как просили руководители «изофронта». Потом подросткую красавицу обрюхатил мастер спорта

по гимнастике, и родился сынуля Глеб (1962), будущий инспектор культуры. Мама понеслась выше, в Академию художеств города Ленинграда, в отборный класс профессора Бориса Владимировича Иогансона. Иногородние размещались в общежитии, напичканном посланцами автономных якутов, калмыков, ингушей и чукчей. Земляк из Тульчина Олег Соханевич и кавказец Заур Абоев, постоянно осаждавшие женскую часть общежития, не ладили между собой, тому и другому мешали непомерное самолюбие и безумная храбрость. Если Сах умел ходить по стенам, то Заур на удивление всей академии танцевал на голове лезгинку. Ирина считала, что и тот и другой годятся для любви, но для джигита такой расклад казался позорней смертельного кинжала. На летней практике 65-го, в морском городе Анапе, Заур застукал пару в густых кустах. Они ворковали и пыhtели в любовной схватке. Вместо того чтобы зарезать обидчика, джигит поднялся на высокую скалу и бросился в морскую пучину. Самоубийство, естественно, пустило на идейные рельсы. Виновным оказался идеологический отдел Академии, запустивший работу с молодежью. Студента Соханевича отправили на мыс Дежнева рисовать чукотских рыбаков, а киевлянка от греха подальше убралась на родину в Киев. Там поджидали ее влиятельные родители с внуком, Киевский институт, который она закончила с золотой медалью в 66-м году, и, естественно, членство в «советском колхозе художников». С новым мужем, живописцем Макаровым, жизнь семьи не сложилась. Муж оказался не только алкашом, но и дураком. Он связался с придурками, рисовавшими вождей черным контуром. У него в живописи появилась явная чернуха — враг народного оптимизма, — а с ней издевательства коллег и остракизм центрального заказчика. Такого идиота пришлось прогнать, чтобы не позорил видную киевскую семью. У меня не хватит бумаги для перечисления выставок и почетных

грамот Вышеславской в годы советского застоя. Заказы и приглашения сыпались от всех городов и республик, включая Москву, Ереван и Париж.

Советские идеологи научно доказали, что реализм — наследственное направление, и не одна Вышеславская неукоснительно следовала этой доктрине на практике.

Отряд избранных реалистов!

Сынуля Глеб рисовал, как велела мама, прошел все ступени живописного ремесла, но в Париже, куда его пригласили друзья в 90-м году, свихнулся с истинного пути. Он стал фабриковать «ассамбляжи» из богатых уличных отбросов. Получалось красиво, но неоригинально, то есть не замечали и не покупали. То же самое творили соседи по сквату, где он обосновался на бесплатную ночевку. Маме пришлось срочно возвращать сына в родное стойло, женить на состоятельной москвичке и определить в городской штат, распределяющий денежные потоки советского народа.

Когда-то женщина в пятьдесят считалась старухой, но Ирина в эти годы выглядела невестой на выданье. Стройная, мясистая, с гордой осанкой богини Афины Паллады. Она цвела и побеждала. Вдобавок она умела готовить красный борщ со сметаной, от которого кружилась голова у самых капризных женихов. Но ни московские ухажеры из самых порядочных семей, к примеру князь Шаховской, ни украинские казаки, к примеру доктор Глушенко, не тянули на красивую жизнь. Ее парижская подруга позвала на борщ француза с хорошим валютным счетом в банке. Давно разведен, но служит капитаном на корабле арабского олигарха. Вот кто нужен греческой богине в теле!

В подвале парижской галереи, где она рисовала, я заметил ее страсть к чтению. Ирина буквально поглощала оппозиционную литературу, так что я не успевал подбрасывать свежие книжки и журналы. А раз, открыв газету «Русская мысль», обнаружил ее полемическое сочинение



с романтическим оттенком. В газете оценили ее литературный дар и постоянно печатали без сокращений.

У нас завязались оживленные беседы, а затем и переписка после ее отъезда на родину. С заказами на Западе было совсем плохо, попытка обуздать Германию провалилась — «фрицы убили мою бабушку в Бабьем Яру, так что будьте любезны раскошелиться» — не сработало. Оставались глухие города и шахты Донбасса, где ценили суровый стиль с космическим сюжетом. Я получал от нее письма из Москвы, Краматорска, Коктебеля, и всегда с приложением изящного ангела в два-три цвета, куда-то летящего в простор с пальмовой веткой. Однажды в середине 90-х пришло расписное письмецо из Киева с новогодним приветом и приложением странного журнала, изданного ее сыном. В нем печатались киевские искатели истины, не знавшие толком, куда направить творческую энергию. На фотках были представлены образцы ловких подражаний западным «измам» — и ничего оригинального. Я предложил им копать истину не в отходах прогнившего Запада, а в фольклоре такой колоритной страны, как Украина, обратить внимание на «каменных баб» в степях, сельский примитив.

Вот тебе и вклад в мировое искусство!

Меня там не поняли и продолжали слать «досье» с дешевыми перепевами давно вышедших из моды направлений. На сем я прекратил контакты с киевлянами, но не с Вышеславской.

Шли годы. В 2009 году она мне позвонила по телефону в Париже. В каком-то книжном магазине ей удалось купить книжку моих мемуаров «Враг народа», просила подписать на память. Поскольку выбраться в Париже из одного квартала в другой для меня — целая экспедиция, я назначил ей рандеву рядом, в известном кафе «Ля Палетт», где сидят американские туристы в ожидании давно умершего Пикассо. Ковыляя, я отправился на встречу. Старый инвалид и мудак, я совсем забыл, что мы не ви-

делись двадцать лет, что ей стукнуло семьдесят и тут возможны самые неприятные психологические сюрпризы.

Я узнал ее издалека, но за столиком сидела не Афина Паллада, а древняя старуха в драной шапке. Надо же, и не постеснялась прийти в таком виде.

Меня охватил неподдельный страх с манией преследования — ведь надо целовать эту морщинистую кучу тряпья, публично улыбаться, заказать стакан минеральной воды, подмахнуть на книжке «горячо любимой Ирине». И я трусливо и подло развернулся назад и скрылся в подворотне.

Вот вам и сволочь, и подонок, и трус! Тоже мне, испугался старухи! Посмотри на себя в зеркало — ты не эстет, а старый, горбатый козел!

Несмотря на парижский провал, я опять получил от нее письмо с пестрыми французскими марками. На конверте стоял адрес славного города Антибы на Лазурном Берегу. Речь шла о борще под плеск морского прибоя, но я думаю, что борщ стал несъедобной бурдой, где вместо мяса плавает ослиное копыто в гнилой капусте.

К счастью, мечта реально мыслящей старухи осуществилась. У нее теперь квартира с балконом над теплым Средиземным морем, кастрюля борща на столе и муж в дальнем плавании.

## 28. Подвиг московского завхоза

Человек, связанный с искусством, никогда не должен торопиться с оценками, их расставляет время.

*Г.Д. Костаки*

И скажут: мы же говорили, что Костаки жулик. Вот, пожалуйста, доказательство.

*Г.Д. Костаки*

Как-то, заглянув в виртуальное пространство «живого журнала», я напоролся на удививший меня вопрос: «А кто такой Костаки?» Задал его не скотовод с Алтая, далекий от музеев и концертов, а высокообразованный человек, знакомый с мировой культурой, бывавший за границей и, судя по всему, готовый приобрести произведение современного искусства.

А что удивительного? Где село Костакино, улица, школа или броненосец имени Костаки?

Почему есть ледокол «Кизеветтер» (кто это?), а танкера «Костаки» нет?

Просто великого и неповторимого Георгия Дионисовича Костаки (Костакиса) не существует в рекламном пространстве русской культуры. Следы его пребывания вымараны из истории и никогда не обозначались в общественном сознании. Чего же тут требовать от непосвященных людей?

Полнейший абсурд — скажет придирчивый искусствовед! Всем надо знать, что Г.Д. Костаки — уникальный собиратель русского искусства первой половины XX века, подаривший Русскому государству тысячу картин! Да, но человеческая логика, математика, цифры и факты ничего не значат в данном случае. Здесь действует общественное невежество и звериный «закон джунглей»: побеждает и выживает самый хищный и хитрый, особенно в наше время.

Павел Третьяков и Георгий Костаки! И тот и другой собирали русские картины. Завещали их Москве, русскому народу. На этом их сходство кончается.

Богатый текстильный король царских времен Третьяков обладал неограниченными средствами для приобретения произведений искусства, московский грек Костаки собирал искусство в суровые советские времена на жалованье завхоза канадского посольства.

«Третьяков умер знаменитым не только на всю Россию, но и на всю Европу», — писал критик В.В. Стасов в 1898 году. Костаки умер в 1990 году знаменитым в Европе и совершенно неизвестным на родине, в России. Ни одной памятной строчки в русской прессе. Мне пришлось писать некролог для парижской газеты «Русская мысль».

Прошли годы, в России трижды поменялась власть, а о создателе и спасителе русских культурных ценностей ни слова памяти, ни бюста, ни медали, ни грамоты! Мои московские друзья посетили главный музей искусства Треть-

яковку, осмотрели все залы, перелистали все каталоги — имени Костаки нигде не значилось.

Создатель музея московский купец Павел Михайлович Третьяков сорок лет собирал русское искусство XIX века, за свой счет построил здание, открыл его для публичных посещений, а перед кончиной труд своей жизни — 2212 произведений — подарил городу. Москва с радостью приняла драгоценный дар и, несмотря на революционные безумства, сумела сохранить культурные сокровища, закрепив свою признательность памятником великому гражданину, не считая бесчисленных монографий и воспоминаний. Память об этом чудесном строителе и дарителе священна в русской истории.

Костаки за сорок лет собрал не меньше Третьякова, больше половины передал любимой Москве — и никаких знаков благодарности за щедрый подарок.

Русские ваятели, завалившие страну монументами вождей, коров и поросят, не додумались увековечить великодушного и щедрого дарителя.

Почему? Что за мистика?

Исследователям русской цивилизации придется долго копаться в специальных архивах, чтобы восстановить правдивое описание жизни и деятельности Г.Д. Костаки.

У меня нет ни желания, ни возможности составлять монографию о великом человеке, а поскольку мне довелось его лично знать и общаться много лет подряд, то постараюсь вспомнить и объяснить наши встречи, свидетельствовать для будущих поколений.

История Костаки есть история постоянных превращений. Он и грек, и церковный послушник, и шофер, и шпион, и коллекционер, и собиратель авангарда, и эмигрант.

Он огромный айсберг с видимой частью и темными и обширными подводными размерами.

\* \* \*

Странное имя Костаки я впервые услышал от моего сокурсника по Институту кинематографии Александра Васильева в 1958 году. Говорили мы о бродячем живописце Анатолии Звереве, приходившем к нему рисовать портрет мамы, Елены Ивановны. Я спросил, на какие средства живут бродячие художники, а он мне в ответ: «У Зверева грек Костаки скупает все».

Меня это потрясло. В Москве есть человек, какой-то грек, покупающий картинки шизофреников!

В феврале 60-го мне довелось увидеть этого фантастического мецената. Рослая и голубоглазая пловчиха Люся — к сожалению, не знаю ее девичьей фамилии — купила у меня картину «Саркофаг», вещь в сезанновской манере, сделанную в египетском зале Пушкинского музея, заплатила 40 рублей (400 до реформы 61-го года) и, несмотря на ревность Зверева, ставшего ее мужем за неделю до покупки, потащила на суд к Костаки. Втроем в трескучий мороз мы брели от Волхонки до Бронной, где в просторной квартире с высокими потолками жил этот таинственный «гуталинщик», как она выражалась.

Страх иностранца у меня давно испарился, появились знакомые иностранные студенты и студентки, так что никаких «греков» и «гуталинщиков» я не боялся. Наружность мецената была необычной: среднего роста, элегантно одетый и очень смуглый, чернобровый, с густой растительностью на голове, и не просто плотный, а круглый, как барабан, с «докторским» животом, копченые глаза, очки и сигара во рту. Вылитый буржуй с советских карикатур! Такие типы попадались и среди чистильщиков сапог, айсоров или халдеев, давно осевших в Москве и, говорят, знающих язык самого Иисуса Христа. Стены комнаты от потолка до пола были увешаны яркими супрематическими картинами Казимира Малевича, Ивана Клыуна и Варвары Степановой, а на самом броском месте последнее

приобретение — картина Климента Редько «Политбюро», скорее сюрреалистического, чем кубистического стиля. На огромном кованом сундуке лежала груда лихо закрученных зверевских акварелей.

«Вот откопала гения в музее Пушкина», — сказала Люся и открыла мою картину.

Хозяин посопел, подтянул штаны до подмышек, внимательно осмотрел изображение и сказал: «Для начала ничего, молодой человек, но делайте побольше “углов” и “квадратов”, видите, как у них, — тут он ткнул пальцем в стенку супрематистов, — потом я приеду и все куплю».

Профессиональный завхоз и деловик с повадками матерого дипломата, Г.Д.К. умело обрабатывал людей, с блеском добиваясь своих целей. Интерес к молодым талантам пришел к нему одновременно с охотой за авангардом. Покровительство уличному самородку Звереву гармонировало с приобретением абстрактной картины у какой-то старой няньки умершего в Париже художника Кандинского.

«Углов» я не рисовал, предпочитая искать «свое лицо» в общем источнике, в природе, в собственном темпераменте, в народном примитиве, а встретились мы через три года в Звенигороде. По моей наводке он приехал скупать «углы» и «квадраты» Любы Поповой, запряжанные на чердаке деревянной дачи. На сей раз грек купил у меня пару картин маслом, честно заплатив по 100 рублей за каждую и подарив французскую монографию Жоржа Руо издания «Скира».

«Валя, теперь ты наш, приходи ко мне на дачу, познакомлю с семьей, посидим, поговорим».

Его родовая дача располагалась в поселке Баковка, и вечером я приехал. Бревенчатый, вместительный терем в два этажа. Бревна снаружи и внутри. Огромные и красивые иконы на стенах. Стоял страшный шум от беготни детей — крики, плач, шлепки, как бывает в больших, многодетных семьях.

О судьбе этой большой русско-греческой семьи мне ничего не известно. По рассказам самого Г.Д.К., его отец, островной грек (о. Закинтос), торговавший чаем, появился в Москве в начале XX века, пережил революцию, сохранив греческое гражданство, устроил троих сыновей шоферами в иностранные посольства и умер в 30-х годах от печали и разорения. Третий сын в семье Жора Костаки закончил семилетку сельской школы (в 23-м году семья переехала из Москвы в поселок Баковка), женился в 19 лет на дочке московского купца Панфилова, красавице Зинаиде Семеновне, и начал шоферить у греческого посла. Пошли дети, сначала две дочки, потом сын Сашка и еще дочка.

Увлечение искусством, особенно современным, пришло не сразу. Сначала он пристрастился скупать обыкновенный антиквариат, от китайских ваз до персидских ковров и голландских картин.

Мы в Советской России, в стране чудес и парадоксов!

Антикварные магазины Москвы и других городов были забиты старинными вещами и никогда не пустовали. Как только покупали тульский самовар, на его месте появлялся новый и еще краше. Скупали иностранцы и новая советская буржуазия, оперившись в 30-х годах под солнцем «сталинской конституции».

«В России было все! — не раз говаривал Г.Д.К. — Некоторые дипломаты отправляли пульманы, груженные иконами и старинной мебелью».

Я не моралист и никудышный патриот, но часто задаю вопрос: а не ждала ли семья Костаки немцев в 1941 году? Почему православный верующий в годы великой истребительной войны вместо грязных окопов благополучно сидит в Москве? Тридцатилетний силач, бросавший двухпудовые гири, как пузыри, служит сторожем в финском посольстве.

«Я получил очень удобную квартиру с горячей водой, а кроме этого, специальную книжку на получение продуктов», — вспоминает былое Г.Д.К.



Никаких ополчений и окопов! Квартира с горячей водой и коньяк!

«А коньяк мы пили прекрасный! Это был “Наполеон”, настоящий, еще тех времен».

Тут есть о чем помечтать над коньячком. Вот приезжает в сожженную Москву фельдмаршал Карл-Густав Маннергейм — злобный враг советского народа, а сторож Костаки ему говорит: «Вот, ваша светлость, ключики от посольства, мебель на месте, ничего не разворовано». А фельдмаршал в ответ: «Большое спасибо, Георгий Дионисович, вот тебе медаль за верную службу».

Но все вышло иначе. Победили проклятые большевики, но и тут Костаки повезло. После войны с коньяком семья перебралась в советскую коммуналку с постом завхоза в канадском посольстве.

«В то время я знал по-английски два-три слова: хау-ду-ду, гуд морнинг, гуд бай — и больше ничего, но жизнь текла сравнительно гладко».

В 1946 году с Костаки приключился эстетический переворот. Где-то он увидел яркую, совершенно абстрактную — одна зеленая полоса! — вещь Ольги Розановой, потрясшую его, и приобрел для себя, но купить подобные произведения было нелегко.

Кубанские казаки сняли богатый урожай, сионистов перебили, а канадский завхоз пьет коньяк и курит трубку. Аресты космополитов (1948) и аресты сталинистов (1954) пронесли над ним, как ветер над травой. Тихой сапой он продолжал искать запрещенное в пролетарской стране дегенеративное искусство формалистов. Пожилые новаторы русского авангарда еще жили и работали в искусстве, запрятав проказы молодости подальше от глаз безжалостных кремлевских властей. Некогда знаменитый вождь конструктивистов В.Е. Татлин, став заслуженным советским художником, перед носом неизвестного посетителя захлопнул дверь, не говоря о продаже своих опытов приبلудному завхозу. Надо было дожидаться кончины Татли-

на (1953), чтобы наследники открыли заветные сундуки. В середине 50-х, в суматохе хрущевских реформ, весь состав костякинской коллекции кардинально поменялся. Голландцы и самовары ушли на продажу и обмен, а русские авангардисты 20-х заняли их места. Подобные политически вредные произведения в свободную продажу не поступали, их приходилось вынюхивать у людей, сохранивших в чуланах и на чердаках шедевры мирового класса. При покупке они ничего не стоили или просили совсем мало, не превышая месячной зарплаты дворника или землекопа, но надо было напасть на след и взять свое любым способом. Грек стучался во все мастерские и коммуналки Москвы, где пахло добычей, охаживал старух и стариков, потрепанных советской властью, как добросовестный благодетель, сват и брат. Туда, где не стоило появляться лично, он определял верных помощников, знатоков авангардной истории и русских древностей, как Савелий Ямщиков, Василий Ракитин, Лев Нуссберг.

Не вдаваясь в чуждую мне метафизику и мистическую белиберду, скажу, что двумя наводками на золотые россыпи авангарда я стал для него полезным типом, гражданином без шизофренических комплексов. Потом я попал в колоду молодых новаторов, где вне конкурса шел Зверев, затем «крестник» Краснопевцев, Вейсберг, Мастеркова, Кулаков, Харитонов, Плавинский, Рабин. Позднее он прикупил Зеленина, Немухина, Кандаурова, Яковлева, Шварцмана и последним Янкилевского — клуб избранных самоучек и шизофреников.

Его дача была украшена двумя иконами огромного размера и отличной сохранности. На фоне бревенчатой стены «черные доски» органично и прекрасно смотрелись, освещая помещение потусторонней святостью. Под ними, на полу, стояли мои картины под названием «Короли», опыты 62—63-го годов.

Вместо ожидаемых супругов Зверевых — оказалось, что они покинули Москву и живут в тамбовской глуши, —

меня познакомили с подтянутым парнем, похожим на королевского мушкетера — кудри до плеч и колючий взгляд. Представился он Дмитрием Михайловичем Краснопевцевым, но все звали его Димой или Димычем, а он хозяина по-родственному «дядей Жорой». Меня очень удивило, что этот мушкетер закончил Академию художеств, а считался нелегальным художником. Его сокурсник Д.Д. Жилинский давно греб деньги лопатой на казенных заказах, а этот рисовал пожарные плакаты. Тогда я ошибочно считал, что настоящее искусство создают недоучки и шизофреники, а не люди академического образования. Многолетняя академическая муштра убивает непосредственность творчества. Академия выпускает хороших ремесленников, но не творцов. Грека безуспешно и много лет убеждали, что работы академистов Белютина, Неизвестного, Кабакова что-то значат в искусстве, но покупать их произведения он не решился. Краснопевцев был исключением. Он и его жена, кажется, по имени Лика, были в доме своими людьми. Костаки свел их с пианистом Святославом Рихтером, звездой мирового класса с большими иностранными связями. Мушкетер завалил пианиста своими скучными, монохромными картинками. Супруги Краснопевцевы знали всех и легко перемещались в помещении. От меня Димка не отставал ни на шаг. Я не берусь судить, кем он состоял в доме греков — кумом, сватом, крестником, но свое насиженное место он ревностно хранил, затыкая мне сразу рот, как только я его открывал. Видел опасного конкурента, что ли? В салоне крутились и дымили табаком человек двенадцать опрятно одетых мужчин и женщин, копченого, восточного типа.

Супруга Костаки Зинаида Семеновна, статная женщина, в свои 50 лет не утратившая породистой красоты, пригласила гостей за огромный стол, сервированный персональными тарелками и серебром. Из хрустального графина разлили водку по стаканам. Костаки, без галсту-

ка, но в брючных подтяжках, встал и произнес тост в честь моего присутствия. Я смутился, но вынес пытку, выпил, закусил соленым огурцом и в свою очередь взял слово. Тогда я любил Святую Русь: иконы, лапти, прялки, читал по-славянски Псалтырь. Как обычно, я начал издали, чуть ли не от «солунских братьев Кирилла и Мефодия», осветивших дикую Русь своей мудростью, приплел князя Владимира Красное Солнышко, который «заповеда по всей Руси творити праздник святого Георгия», затем свернул на действительность и от себя лично, и от имени бедолаг, как я, рисовавших в стол, выразил сердечное спасибо спасителю свободных искусств от забвения, греку Георгию Дионисовичу Костаки. Речь мою горячо отхлопали, за исключением Димыча, угрюмо переживавшего мой застольный триумф. Я расхохотался, глядя на соседа, красневшего, как рак в кипятке, и провозгласил тост за гениального художника Краснопевцева. Слева от меня сидела Инна, замужняя дочка грека, а справа — незамужняя Лиля. Они дежурно улыбались всем глупостям, но я считал, что эти улыбки адресованы исключительно мне, и всячески ухаживал, подливая им то водочки, то пивка. Потом пошли тосты за всех сидящих и путешествующих. Дядя Жора сиял от удовольствия. Под конец пиршества он взял гитару и спел на пару с женой замечательный старинный романс. Все подпевали и хлопали в ладоши. Детей отправили спать, а крепкие мужчины продолжали допоздна курить и спорить, где достать бензин, черную икру и живую рыбу. Я засиделся в чудесной и дружной семье и опоздал на последнюю электричку. Только мелькнул ее хвост с красным фонарем. Спал я в куче мусора на полустанке Баковка до рассвета.

Костаки возродил забытый рынок, примитивный базар «трояков» и «четвертаков», то есть культуру капитализма, неизвестную советскому обществу. Начинаящий художник, уважающий свою профессию, уже не жег своих опытов в печке, а хранил на продажу.

Риторический вопрос: а что такое дипарт?

Решительный ответ: искусство для иностранного потребителя!

Потребитель был один — грек Костаки! Настоящий коллекционер в Москву не заглядывал. Дипарт был уродливым детищем суровой советской жизни с приблизительным настоящим и темным будущим. Любого иностранца встречали как посланца недоступного рая. Его ублажали и охаживали. За пачку американской жвачки и бутылку виски он увозил чемоданы картин.

Г.Д.К. за гением не гонялся, а создавал его сам, лепил его из навоза, как господь Саваоф пещерного Адама. Толей Зверевым он гордился как своим лучшим произведением. Он приручил его совсем диким, сырым и юным. Все остальные его открытия, а их было не меньше двадцати, не обманули его надежд, и каждый по-своему привнес свою персональную интонацию в искусство.

Более тридцати лет он вел скрытный образ жизни, орудуя в глубокой тени, мудро избегая публичности, но в 62-м, когда бойкая зверевская кисть очаровала европейского эстета Игоря Маркевича, он решил, что пора объявиться, вылезти на свет божий. Г.Д.К. принимал самое деятельное участие в их встречах. Скромная выставка его любимца, организованная Маркевичем в 65-м году в Женеве и Париже, подняла московского живописца на самый верх успеха. Его разрывали на части заказчики. Костаки ликовал. Он пустил утку о посещении этой выставки Пабло Пикассо, хотя привередливые историки такого «бесспорного факта» не обнаружили в биографии испанского гения. Как выяснилось, больной и старый классик такого рода выставок не посещал. Заграничной рекламы было достаточно, чтобы образовалась нескончаемая очередь желающих приобрести набросок нелегального светила.

Летом 65-го года я перебрался из Звенигорода в Тарусу. Мне сдали огромный танцевальный зал, метров сто в пустующем городском клубе. Там я рисовал заказные

панно и принимал гостей. Ко мне заглянул и Костаки со своим племянником, жившим в тереме Святослава Рихтера, — особый племянник, очищавший иконы от вековой копоти и мастерски расчленявший записанный картон на две части. Заглянули и «лидеры сурового стиля» Виктор Ефимович Попков и Карлуша Фридман. Я считал их огромные производственные картины кучей дерьма, но щадил за человечность и доброту. Рисовал я мало, но вещи были первого сорта. «Свечи» и «Гербы» залиты оливковой лессировкой в три слоя. Одну картину купил знаменитый Попков, прилюдно отваливший мне 50 рублей — большие деньги для изгоя без крыши над головой.

«Валя, — сказал Костаки, подтягивая брюки повыше, — твои “Короли” и “Свечи” производят фурор в дипкорпусе, но сам ты неуловим, как Лимонадный Джо. Пора обзавестись постоянным адресом. Ведь адрес для художника, вот и друзья твои подтвердят, как номер для автомобиля».

Тогда я искал трудностей в искусстве и жизни, но последовал мудрому совету грека, обзавелся постоянным адресом в Москве.

Советские коллекционеры с их ничтожным рублевым жалованьем — Мясников, Нутович, Гробман, Глезер, Талочкин, Дудаков — не представляли серьезной конкуренции для грека, получившего оклад, с постоянным повышением, от 200 до 1000 долларов, с доступом в закрытые распределители и возможностью всяких комбинаций на черном рынке, и только появление горячей и сумасбродной «американки» Нины Андреевны Стивенс с подобными средствами (на самом деле оренбургская комсомолка Бондаренко, в 1936 году вышедшая замуж за американца) основательно портило Костаки нервы. Она купила большой дом на Зацепе, завербовала пару компетентных советников — Мороза и Ситникова — и с чисто женским самолюбием ставила греку палки в колеса, скупая и русские

древности, и гонимое искусство. Большой ошибкой ее суетливой деятельности была выставка приобретений в Америке (1967), где знатоки обнаружили поддельных «малевичей», сфабрикованных в мастерской некоего Потешкина. Над русскими чудесами повисла тяжелая туча подозрений и остракизма. На Западе их прекратили выставлять и покупать.

Однако американская неудача не сломала железной природы Н.А.С. Она перебралась в просторный дворянский особняк на Арбате с показухой на особый шик. Мебель карельской березы и русские безделушки по стенам. О новых приобретениях не могло быть и речи, но артистический салон бушевал всюду. К ней приходили без предупреждения. Летом 70-го лифтер Леня Талочкин, освоивший «американский бар» Стивенсов, устроил там выставку авангардистов, развесив картины в крохотном дворике. В день вернисажа хлынул дождь, и картины потекли.

Вот что значит суровый русский климат!

Руки вверх, тетя вашу меть!

Через год я арендовал хороший адрес в центре Москвы, на Садовой-Сухаревской, у модного кинотеатра «Форум». Первым посетителем был посол Австралии, мистер Роулинг, с супругой — посланцы Костаки. Они купили две «Свечи». За ними потянулись австралийцы пониже чином, первый, второй и третий секретарь, атташе и архивисты. И так было всегда. За послами Уругвая или Парагвая набивались их сотрудники, чтобы не ударить лицом в грязь перед вышестоящим начальством.

Постоянно и незримо Костаки присутствовал на любых московских посиделках. Не проходило ни одного разговора, чтобы его не задели: «Ну, как там грек поживает?»

Противники и конкуренты Костаки, их было много в издательстве «Молодая гвардия» — Стацинский, Поливанов, Бродский, — распространяли «гадости», что «гуталинщик» — старый и заслуженный чекист, грабитель и

вымогатель, а мне нравился «грабитель» своим остроумием, гостеприимством и круглым, как барабан, пузом.

Раз или два в год я обязательно ему звонил и набивался в гости. Посидеть в семье, выпить стаканчик виски, посмотреть на Малевича и Татлина. И набивался не я один. Михаил Гробман записал: «Я, Ирка (его жена), Халупецкий, Ламач, Падрта, Куклик (чешские журналисты) и переводчица были у Костаки. У него был Миша Кулаков (художник) и сын Лисицкого. Костаки показывал свое собрание и работы Зверева, Кулаков свои работы показал. Мы все пили виски и водку».

Влиятельный «гуталинщик» Москвы!

4 июля 1967 года, на свой праздник Дня независимости, американцы решили пригласить нелегальных артистов, шумно выступавших с выставкой в клубе «Дружба». В резиденцию посла Томсона все 12 пришли, основательно поддавшие заранее. И для тонуса, и для храбрости Зверев и Плавинский распивали водку из горла и заметно покачивались по дороге в Спасо-Хаус. Костаки вел всю эту шайку, как курица цыплят. Часовым, обалдевшим от живописной оравы бродяг и нищих, он сказал у ворот: «Не волнуйтесь, товарищи, это мои художники».

И пестрая толпа последовала в посольский дворец с коврами и офицерами американской армии, приветливо приглашавшими на зеленую лужайку с огромным столом, заваленным напитками и едой. После продолжительного фуршета brave американцы развозили артистов, как бревна. Помню, при погрузке Зверев промышчал «Белорусский вокзал», и проснулись мы на травке зеленого сквера среди алкашей и клошаров.

Навсегда покидая московский пост, американский журналист Роберт Коренгольд и его французская супруга Кристина — мои первые покупатели и покровители — устроили прощальный банкет, пригласив к себе артистов и кучу иностранцев во главе с миссис Томсон, рисовавшей абстракции.



«А это ваша картина? — спросила она, глядя на мой холст «Шествие», последнее приобретение Коренгольдов. — Поздравляю, шедевр!» Тут же вступил Костаки: «Миссис Томсон, этого самородка я откопал в дремучем лесу и надеюсь, он оправдает наши надежды».

У огромной осетрины толпился весь цвет московского авангарда.

...Зверев и Сдельникова, Плавинский и Харитонов, Штейнберги всей семьей, человек пять, великолепный авангардист с пышными усами Анатолий Рафаилович Брусиловский, говоривший на всех языках. Сменщики американца — супруги Дорнберг. Звон стаканов, треп, крики на фоне удивительной музыки Телониуса Монка, звучавшей в невидимом месте.

Вскоре семья Костаки перебралась на окраину Москвы, на проспект Вернадского, 59, 15-й этаж, соединив три квартиры в одну. Со Зверевым, бросившим якорь в моей мастерской, мы посетили новое жилище грека. У него стало намного просторнее, но давили низкие потолки. На видном месте висело новое приобретение — штук десять холстов Любы Поповой. У входа — пара картин молодого ленинградца Евгения Рухина. Я поздравил хозяина с новой покупкой.

«Да, знаешь, Валя, эти картины я не купил, а мне их подбросили». Я удивился. «Да, значит, звонят в дверь, открываю — никого, а стоят холсты, упаковано, связано, все как положено. Подождал час, два — никого. Только тогда занес в квартиру, приоткрыл тряпку, а там подпись — Рухин. Вот жду, когда он явится и заберет».

Ленинградский абстрактивист так и не появился.

В суматохе эмиграции и «проводов на тот свет» он принимал самое горячее участие. В Москве их открыл тот же М.Я. Гробман (1971), и тянулись они до проводов самого Костаки в 78-м году.

Два советских «невозвращенца» — В.В. Кандинский и М.З. Шагал — занимали особое место в его авангардной

колоде. В начале 50-х, с появлением в Москве Иды Майер (дочка Шагала) и вдовы Кандинского великолепной Нины Андреевны, восстановилась связь с эмигрантами, сначала эпистолярным способом, а потом и личными встречами. У Шагала Костаки недельку гостил на юге Франции, в поселке Сен-Поль-де-Ванс (1962). В 1973 году престарелый и всемирно известный художник решил навестить покинутую родину. При встрече его «засыпали цветами», как выражался Г.Д.К., но выставка в Г.Т.Г. была куцей и тайной, для показухи — вот, страна открылась для всех! На встречу со знаменитостью грек пригласил двух непьющих молодых новаторов — Отария Кандаурова и Володю Янкилевского. Кандауров показал свои произведения. Шагал спросил молодых: «А почему вы не приезжаете в Париж?» Ответил Янкилевский: «Знаете, Марк Захарович, это очень сложно. Мы можем поехать, но если только навсегда». — «А вот этого не делайте, жизнь художника там тяжелая и сложная», — патриотически заключил знаменитый эмигрант.

Драка на мокром пустыре и особенно арест и осуждение коллекционера В.А. Мороза с сообщниками (1974) заметно взволновали Костаки.

В июне Мороз схватили во Львове с нелегальным товаром и доставили в Лефортовскую тюрьму. Прокуратура потащила на допрос «всю Москву», от Рихтера до безымянного дворника. Интеллигент Мороз выдал следствию список на двести человек с краткой характеристикой на каждого. Подходя к подъезду прокуратуры, я видел, как уходил оттуда А.Р. Брусиловский, а уходя, видел, как подъезжал Костаки.

«Вокруг меня стали возникать разного рода неприятности, — вспоминал Г.Д.К., — жить в Москве с такой коллекцией стало неуютно. Сановича ограбили, Холина ограбили, и меня ограбили дважды. Кто грабил, неизвестно. Милиция кражу не раскрыла».

Трескучей зимой 1976 года прозорливый грек решил убить сразу двух зайцев. Насолить журналисту Виктору Луи и стать погорельцем. В начале 77-го года газеты и радио Запада раззвонили о нападении «гэбистской мафии на коллекцию господина Костакиса». «Мафия» подожгла дачу, где сгорели все сокровища русского авангарда. Мой приятель, авангардист Лев Нуссберг, год или два ходивший в женихах у дочек грека, со знанием истины сказал мне: «Старик, какое нападение, какой грабёж и пожар? Грек придумал этот спектакль от начала до конца. Я принимал в нем участие. Муж Лильки гэбэшник Костя Струментов сошелся тайком с одной англичанкой, знакомой Виктора Луи, чем вызвал справедливый гнев тестя. Я, Лилька и мой верный Пашка Бурдуков на даче сожгли кучу осенних листьев и распространили слух, что дачу подожгли агенты КГБ, утащив коллекцию авангарда и сто сорок икон!»

Версия самого пострадавшего несколько иная. Костаки обвинил в поджоге советского журналиста Виктора Луи (В.Е. Левин), с успехом работавшего для двух британских газет. Журналист был на хорошем счету у властей. От его нелегальных спекуляций запрещенной литературой приходили густые доходы Кремлю, да и на скользкой дорожке защиты угнетенных и обездоленных евреев, хлопотавших об эмиграции в Израиль, капали дивиденды. Было невозможно представить respectable Луи по колено в дачном снегу, поджигающего сырые бревна костакинской дачи, где его спугнули соседи, и поджигатель бежал, теряя в сугробах зверевские наброски. В любом случае своей дымовой завесой Костаки надул Запад, и она сработала на общую пользу. Виктор Луи беспрепятственно и от греха подальше смылся в Англию, а главные музеи мира распахнули двери для выставок гонимого советской властью коллекционера. Еще долго пресса Запада долдонила о гру-

бых нарушениях прав человека в СССР и гнусном поджоге незащитного собирателя запрещенного искусства. Потом пришло самое долгожданное решение: кремлевское начальство позволило греку эмигрировать на Запад и вывезти часть своей коллекции — картины авангарда, первоклассные иконы (30 ящичков) и контейнер (два на полтора!) «молодых художников», присвоив себе основную долю.

Что же сгорело на даче?

Выходит, не «иконная стенка», а куча мусора!

Тридцать лет Костаки тряся от страха, платил, недосяпал и отдал невиданное культурное богатство, грубо выражаясь, русскому народу. Этот народ, музейщики — Халтурин, Тальберг, Пушкарев, — как шакалы, бросились рвать и растаскивать по своим вотчинам чужое добро.

«Дележка коллекции заняла несколько дней», — вспоминает Г.Д.К.

Перед отъездом на Запад он приобрел несколько картин Михаила Шварцмана и Соломона Никритина, но покупка произведений Ильи Кабакова сорвалась. Будущая знаменитость испугала грека, предложив ему бесплатно кучу картин с одной просьбой: вывезти за границу, спасти от гибели в дикой России — альбомы, рисунки, картины, — передав их в Париже Дине Верни, что походило на явную провокацию, и Костаки с ужасом отказался от ядовитого подарка. Ведь Кабаков сам собирался в эмиграцию и в любой момент мог потребовать работы назад!

«Ни сделка, ни покупка картин не состоялась», — отмечает свидетель Г.И. Маневич.

На прощальном банкете под названием «проводы» собрались все герои дипарта, и Г.Д.К. предостерегал: «Ребята, вы никому не нужны на Западе!»

«Им такие советы как об стенку горох!» — добавлял знаток мировой политики Анатолий Брусиловский.

\* \* \*

И вот цветущим парижским маем 1979 года, дня за два до открытия великой выставки «Париж—Москва» (Бобур), мне позвонил Костаки. Он приехал посмотреть на свои подарки Третьяковке, в большом количестве представленные на выставке. Сразу скажу, что наш грек был в шоке, когда обнаружил, что ни в объемистом каталоге, ни на стенных этикетках его имя не значилось. С гордо поднятой головой и слезами на глазах он кланялся направо и налево — это Сашка Халтурин (начальник советской стороны), это Понтус Юлтен (начальник французской стороны и директор Бобура), это Джудит и Сэм Пизар (адвокат Дэвида Рокфеллера и Жискара д'Эстена). У меня голова кружилась от таких имен и званий, я робел и всячески прятался в толпе, очень быстро охмелел и смылся домой.

Мы встретились с ним еще раз, потолкались по магазинам в поисках каких-то заветных сапог для его дочки Натальи, застрявшей с мужем в Москве. Поехали в гости к эмигранту Виталию Стацинскому, жившему в парижском «доме творчества» на берегу Сены. Стацинский попросту ляпнул: «Георгий Дионисович, у меня денег нет». И, к моему удивлению, Костаки вытащил кошелек и отвалил ему крупную сумму. Потом спросил, как Лида Мастеркова, и обещал «материально помочь», как только найдет ее местожительство. Слово свое он сдержал. Мастеркова за две замечательные картины получила от него щедрый гонорар.

Помыкавшись в Америке, отказавшей ему в постоянном жительстве, Костаки с женой, дочкой и женатым сыном обосновался в Афинах, в стране предков, где он никогда не жил. Выставки его личной коллекции с большим успехом продвигались от музея к музею, я получал от него восторженные письма, написанные острым и грамотным почерком человека с высшим образованием, а не

«семилеткой», а в 1985 году мы опять встретились, на сей раз в Лондоне.

Мало кто знает, что первую выставку «Три русских экспрессиониста» (Лондон, Виктория Миро Галлери) с самого начала сооружал я без посторонних толкачей. Операция началась со знакомства с Эдиком Шпайзманом — московским фарцовщиком, искавшим быстрого и большого заработка. Он устроился в богатой, только что открывшейся галерее столяром и советником по русскому искусству одновременно. Весь 84-й год я деятельно обрабатывал хозяйку и столяра, ссылаясь на Костаки, Пизаря, Юлтена. Отбор участников был правильным: Зверев, Яковлев, Воробьев — одна линия запрещенного в Совдепии искусства и очевидного качества, хотя никто из нас никогда не собирался равняться с великанами этого направления — Горки, Поллоком, Де Кунингом. Я просил написать для Зверева отзыв, и Костаки это сделал, но с такими провалами в памяти, с такими неточностями — стояла совершенно грубая фраза: «И вот молодой художник Толя Зверев (а художнику в тот год стукнуло 55 лет!) впервые выставляется в Лондоне». Заметку грека наш совет забраковал, и пришлось заказать парижскому критику Жан-Клоду Маркаде, написавшему мало-мальски приличную статейку.

Располагая значительными средствами, хозяйка галереи не умела распоряжаться деньгами, скупилась на гвозди и веревки, трижды переправляла пригласительный билет, то искажая фамилии участников, то пропуская даты, то меняя формат, не говоря уже о полностью отсутствующей рекламе.

На вернисаж из Афин прилетел Костаки. Шампанское разносили лакеи в белых перчатках, собралось много русских и очень мало англичан — иностранцы были, но мои московские клиенты и друзья, осевшие в Лондоне. Муж Виктории Миро был модным адвокатом, но своих друзей постеснялся пригласить. Меня поразил тот факт, что сам

Костаки, знавший пол-Лондона, никого не привел на выставку.

Московский покровитель дипарта неизлечимо болел, густая шевелюра испарилась под напором химии, и он постепенно впадал в маразм. Под новый, 85-й год я заехал к нему в скромный лондонский отельчик, где за столом дежурил пакистанец с загнутыми усами и вечной чалмой на волосатой голове. Мы выпили шампанского за здоровье друг друга, поговорили за жизнь, и вдруг он сказал: «Ты знаешь, Валя, я ведь стал живописцем. Дай мне совет, где показать работы?»

Я от удивления чуть не поперхнулся. Наш великий грек, владелец миллионов, ищет бесплатное место для выставки своих этюдов.

Мои нищие парижские коллеги — Гари Файф, Володя Бугрин, Мишка Рогинский — скребут по сусекам, лезут в кабалу, чтобы арендовать галерею для первой выставки, а богач Костаки ищет бесплатную галерею?

В 1986-м благотворитель русского народа по приглашению Третьяковки, устроившей выставку К.С. Малевича, прилетел в Москву.

В просторной квартире замужней дочери Натальи, рисовавшей иконы, он устроил прием для остатков дипартистов, застрявших в советском раю.

Зло и верно вспоминает очевидец его появления Г.И. Маневич.

«Это был жалкий, больной старик, потерпевший духовное фиаско. Сидя в инвалидном кресле, он произнес: “Имея все, я потерял родину”. Сказав это, он заплакал».

9 марта 1990 года 76 лет от роду великий собиратель русского авангарда и меценат московского дипарта умер в афинской больнице.

## 29. Живой артист Толстый

В 1977 году я получил письмо от моего друга школьной юности Серебряного Владимира Ильича, попросту от Серебра. В конверт был приложен листок с совсем незнакомым мне почерком, от некоего Владимира Соломоновича Котлярова, с самым ходовым по тем временам содержанием: «как там наши», «как идет русский товар», «все или не все делают выставки» и «стоит ли ехать на Запад»?

Мне показался забавным такой наскок незнакомого человека, и я ему ответил откровенно, что я думаю на эту тему, здесь суммируя общее содержание: «Если есть возможность, надо обязательно ехать!» Это письмо В.С. Котляров хранил и через восемь лет, уже проживая во Франции, тиснул его в журнале «Мулета» (1985), присовокупив к нему свой комментарий, — «страшное письмо».

А лично встретились мы осенью 79-го в Париже. Незнакомый зычный голос позвонил и попросил о randevu. Наученный горьким опытом общения с земляками, травившими мои нервы и время, вносящими неразбериху в



быт и работу, — Лево́й Коробицыным, Ленькой Мильрудом, Сашкой Арефьевым, — я назначил незнакомцу свиданку не дома, а в модном парижском кафе «Бонапарт». Такие места производят впечатление на новичка и позволяют рассмотреть человека поближе.

Пришел грузный мужчина в черном кожаном полу пальто и картузе шведского рыбака, с легкомысленной авоськой в руках. Угрюмый и озабоченный, не говорящий по-французски нетрудовой элемент. Он походил на директора овощной базы или члена обкома партии — ничего артистического с виду. К таким глыбам в Москве я не подходил. Боялся и презирал. А тут пожилой начальник сталинских времен в парижском кафе несет околесицу о Казимире Малевиче — вылитый Артемий Филиппович Земляника, гоголевский инспектор богоугодных заведений при встрече с А.И. Хлестаковым, «проныра и плут, услужлив и суетлив», несмотря на внушительный объем.

В отличие от шелкопера Хлестакова у меня после хорошей продажи картин хрустели в кармане деньги, я заказал две литровые кружки пива, называемые в Париже «формидабль», и стал слушать «Землянику», изредка вставляя вопросы.

«Это же очень дорого?» — вылупил глаза собутыльник и сразу отхлебнул полкружки, вытирая пену рукавом.

«Пейте, Владимир Соломонович, и не думайте о ценах», — играл я богача.

Между прочим, он раздвигал свою жизнь пошире: «Вы не думайте, что я беглый коммунист, я, бывало, с ребятами уезжал в тайгу и пил там горькую».

Наверняка этот кладовщик пил и горькую после парной бани, а вот на нелегальных выставках Москвы его не видели. Он не дрался за свободу творчества под дождем, не торговал с иностранцами из-под полы, а лез в советские начальники, расталкивая конкурентов и завистников.

Редкая «Земляника» эмиграции!

Затем он торжественно развернул авоську и показал «корочки», сразу три высших советских диплома, завернутые в целлофан. Когда-то и где-то он работал с турбинами, моторами, агрегатами, но всю сознательную жизнь мечтал о свободном художественном творчестве. В 75-м вышел на связь с кинетами Льва Нуссберга, сдал партбилет властям и улетел на Запад, хлопнув дверью коммунистического рая. Пять месяцев просидел в Вене, в известной гостинице Бетинны Торончик, принимавшей всю пеструю эмигрантскую публику, от великих артистов до воров и проституток. Приезд в Париж ему организовал все тот же Нуссберг, но сразу кинул на произвол судьбы. Теперь он на содержании Толстовского фонда, «у Эмилии Алексеевны Татищевой» — подчеркнул он, ждет приезда жены и дочки, и, естественно, «нужны деньги».

«Вот предложил Никите Алексеевичу Струве уникальную книжку, вез тайком на жопе, тряся на шмоне, а он дает мне смехотворные пять франков, бутылки пива не купишь», — грустил мой собеседник.

Я полистал книжку «Путешествия Лемюэля Гулливера» великого Джонатана Свифта, восхищавшую меня в детстве в замечательных гравюрах, и тут же купил ее, не торгуясь, за 50 франков, что уже не пиво, а бутылка водки. Мой собеседник намеревался заняться реставрацией икон, искал адрес семьи эмигранта Сергея Арамыча Есяна, и распрощались мы довольно холодно. Я не чувствовал никакой тяги к этому массивному советскому чиновнику, в 45 лет мечтавшему о славе артиста. О том, что этот дядя может зарабатывать деньги, не владея карандашом, мне и в голову не приходило.

Умереть с голоду в Париже невозможно. Армия спасения откопает и накормит, но на славу и большие деньги — настоящая давка с рекомендательными письмами наиважнейших лиц. Такими толкачами Котляров не располагал и пристроился «кухонным мужиком» в магазине Гарига Басмаджана, или попросту Басмы, армянского поэта, торго-

вавшего русским товаром — от дырявых самоваров до картин нелегальных создателей. Теперь все его звали Толстый, но я не поддавался и звал по-прежнему Володей. В этом учреждении постоянно пили и ели. В подвале сидели два реставратора, невозвращенец из Минска Коля Павловский и армянин из Америки Заре. Они чистили иконы от вековой грязи и тут же жарили кур с капустой. Иногда к ним спускался сам хозяин и выставлял бутылку самого дорогого коньяку — «Мартель» или «Наполеон». Холодильник ломился от съестных запасов самого высшего сорта. Все это поглощалось рабочими и многочисленными гостями без всякого стеснения и в любое время суток. Я с ними сблизился на предмет ностальгических бесед и бесплатной выпивки.

При парижской Сорбонне для русских эмигрантов образовали ликбез по изучению французского алфавита. Туда записались Павловский и Рабин, Путилин и Котляров, Макаренко и Жарких, Эйдельман и Лимонов. После того как они вызубрили главные французские слова — «мерси, сава, сильвупле», — ликбез диссидентов прикрыли, и земляки разбежались по своим норам. Павловский и португальский анархист Мануэль Родригес, сменивший в Париже бомбу на кисточку, к удивлению человечества, жили в Париже совсем бесплатно.

Огромный дом в четыре этажа, похожий на московский ГУМ, брошенное бомбовое депо, возвышался над прекрасным парком с лебедями. Во флигеле жил герой Индо-китая и Алжира, полковник Понпон. Француз сурового облика, заросший густой бородой, содержал кур и добровольно следил за входящими и выходящими. Володя Котляров, пораженный находчивостью белоруса Павловского, занявшего пол-этажа бесплатной жилплощади, заявил о своем желании устроить там себе «центр визуальной культуры». Полковник и старожилы уступили ему часть этажа. На стройку «центра» он согнал весь цвет русской поэзии, прозы, живописи и фотографии.

«Мой сокурсник по ликбезу, — вспоминает Н.П. — зачастил в наш скват то один, а то и с друзьями: Лимоновым, Эйдельманом, Еленой “Козликом” Шаповой. Мы отгородили ему “жизненное пространство”. В конце 82-го он в нем обжился».

Благодаря невозвращенцу Павловскому советский босс Котляров вошел в парижскую общину «артклошинтерна» и прославился там рядом визуальных произведений.

Наголо разделся он не сразу, а после многочисленных и неудачных попыток приткнуться «на работу» то в банду кинетов Л.В. Нуссберга, то реставратором в гнилое шато Монжерон, то поваром в грузинский ресторан и лишь потом решился на распятие.

«На что руку поднял, ублюдок?»

Что такое визуанс?

\* \* \*

На Западе, как все порядочные диссиденты, Володя стал выстраивать свою биографию по новому образцу. С происхождением он не стал мелочиться и замахнулся на самых «светлейших» предков, на потомков легендарных Рюрика и Чингисхана — князей Лобановых-Ростовских. Шутка сказать, но он объявил себя 33-м коленом этих прославленных аристократов, состоящих из сплошных бояр и генералов, дипломатов и меценатов.

О своем знатном происхождении Толстый объявил в Париже. Невозможно себе представить, чтобы он кичился им на партийном собрании института. Я подумал, чем черт не шутит, такие многодетные и знатные люди — у одного Лобанова Якова Иваныча было 14 сыновей и 14 дочерей — давно перемешались с подлым сословием, а пролетарская революция добавила равноправия во все слои населения. Видные аристократы охотно прятались

за бюрократов новой власти, ничего особенного в такой смеси не было, но Толстый не учел существования подлинных потомков этих людей. Такие, да еще на вольном Западе, могут не только пристыдить, но и морду набить самозванцу.

Смешно, да не очень!

Я сидел в библиотеке Басмы, когда туда ввалился благообразный тип в каракулевой шапке и представился Никитой Дмитриевичем Лобановым, не добавив «Ростовский». Я сразу смекнул, что это знаменитый коллекционер из Лондона, собиратель Серебряного века России и подлинный, 33-й, потомок Рюрика. Из подвала вылез Толстый, и я его представил гостю полным титулом. Два живых потомка Рюрика — англичанин Никита и советский апатрид Котляров — оглядели друг друга, точнее, свысока, как хозяин на работника, смотрел гость, а Володя чесал толстую поясницу.

«Ты кто такой? — вдруг налетел, как коршун, гость. — Ты что мне мозги ебешь о дедушке, сбившем немецкий самолет? В моих геральдических списках таких летчиков нет!»

По всему было видно, что говорит настоящий барин, а не профсоюзный трепач.

«Я иду по женской линии, — выкручивался работник. — У Якова Иваныча было 14 дочек, вот одна из них Татьяна Яковлевна Петрова — моя прабабушка».

До мордобоя разговор не дошел. Мнимые родичи мирно разошлись по своим местам. Никита махнул рукой и принялся листать книжки, Володя спустился чистить иконы от копоти.

Папаша его выполз в Москву из темного полесского местечка. В многодетной еврейской семье Соломона Котлярова с пеленок дрались за кусок хлеба без масла, а не составляли генеалогическое древо. Папа выучился на детского врача, прописался на москвичке Петровой, и поселились они в каменном доме на Фурманном, воз-

можно, в пустующей комнате забитого большевиками буржуя. По рассказам Толстого, его развратный отец любил растлевать малолетних девочек, за что и поплатился тюрьмой. Следы его затерялись на задворках империи, и Вовик рос сиротой у бабушки-княгини и дедушки — героя воздушных боев.

Советская школа, где он всегда был отрядным вожаком, затем технический вуз, орден за «картошку на целине», второй университет с гуманитарным уклоном и пост заведующего реставрационной мастерской. Никто не видел, чтобы он что-то делал, но бдительно следил за моралью коллектива — это точно, и никто лучше его не строчил доносы в высшие инстанции. Его подчиненный реставратор Владимир Тетерятников решил эмигрировать на Запад, но дорогу туда, как Змей Горыныч богатырю, преграждал директор Котляров, хранитель партийной совести, чести и достоинства. Вместо характеристики он настрочил высшему начальству донос о фашистских взглядах кандидата, давно и тайно разлагавшего здоровый советский коллектив. Последовал отказ в визе, и лишь после третьего захода «фашиста» и почитателя Запада выпустили с семьей за границу.

Нет худа без добра.

Сплоченный коллектив советских реставраторов таял на глазах. За характеристикой пришел самый верный соратник, положивший свою жену в постель директора, — Володя Серебряный. Ладно, сионист, убывай в свой пыльный Израиль, но из дела уходил мастер, и оставались без ремонта гнилые стулья Чехова и рваный диван Льва Толстого. Котляров пил горькую, метался из одного конца страны в другой, из Ялты в Саратов, оттуда в Пензу и Полтаву, и везде его душу терзала мысль — вон из советского рая в западный ад.

Оборотистый реставратор Юрка Лопак, промывавший фарцовкой икон, когда-то состоял в рядах кинотов Льва Нуссберга. Этот заика и шепнул, что его бывший

вождь решил эмигрировать и формирует команду толковых бойцов для атаки западной цивилизации.

Нонконформист В.С. Котляров — звучит!

Директор решил рискнуть и атаковать Запад с командой кинетов в качестве рядового. Перед окончательной эмиграцией ему поручили нелегальную транспортировку авангарда 20-х с вонючего Востока на светлый Запад. Израильский вызов, организованный сионистом Гробманом, лежал в кармане, но кинеты просили продлить работу переправки до предела, потому что, к их удивлению, Котляров не воровал, а действовал эффективно, честно и хитро, замазывая шедевры прошлого легкосмываемым мучным клеем, и советская лопухая таможня пропускала картины Малевича, как упаковку кирзовых сапог. Наконец терпение лопнуло, и хитрец лично явился на Запад, где кинеты очистили его от остатков контрабанды, вручили вместо обещанной валюты бутылку кока-колы и подло смылись в европейские дали.

Кинетист Лев Нуссберг стал смертельным врагом бывшего московского начальника.

«Сукин сын ваш Малевич!»

Когда и где он свихнулся на «визуанс», не знаю, да это и не важно, но, навещая новых друзей в Германии, Италии, Израиле, Франции, Толстый догола разоблачался, мазался бордовой краской, взваливал на себя две доски, сбитые крестовиной, и шел по улице до первого отделения полиции. На таком сеансе я присутствовал в Париже весной 82-го года. Краску и доски обеспечивал галерейщик Жора Лавров, из механики перешедший в эстетику. Живого артиста раскрасили красными и черными полосками и с досками на плече вытолкнули на тротуар. Там он сделал два-три зигзага перед соратником, фотографом Сашкой Эйдельманом, и вернулся в помещение пить водку. Меня поразило полное равнодушие пешеходов, спешивших по своим делам. Никто не остановился, никто не удивился толстому голому мужику —

ну а за рекламу надо платить, а Лавров славился своей жадностью.

Грубо, пошло и вульгарно!..

После ряда «голых перформансов», бесплатных и тупых, и одного привода в полицию Толстый прекратил таскать доски и обратился к литературной деятельности.

\* \* \*

В начале 70-х в было заглохшей русской словесности появились профессионалы советской формации — Синявский, Солженицын, Некрасов, Гладилин, Максимов, Марамзин. Они издавали журналы, газетки, листки крутого антисоветского содержания. Такие издания поощрялись американскими империалистами не только словами, но и средствами.

Литературного пыла я в Толстом не замечал. Наверняка в Москве он составлял доносы и доклады, но кто считает такие вещи беллетристикой? И вдруг, на большой тусовке у Басмы, посвященной «эротике в русском искусстве» (9 марта 1983), он опрокинул стакан водки, поднялся на трибуну и провозгласил: «Теперь, когда здесь собрались все свои, надо подумать о настоящем печатном органе русского авангарда. Я составил первый манифест. Вот послушайте».

Его выступление встретили на ура. Даже литературные завистники — Глезер и Шелковский, издававшие свои идеи, — поджали хвосты от удивления.

То в логове парижского сквата, то в подвале Басмы, то в типографии А.Д. Синявского над первым номером альманаха под названием «Мулета» усердно потели Павловский, Эйдельман, Лимонов, Шапова и больше всех Людмила Ивановна Савельева, грамотная супруга издателя. Журнал получался как крик русской богемы, самовыраженные амбициозных неудачников эмиграции. Общее содер-



жание состояло из винегрета юродства, невежества и порнографии. Святые понятия поворачивались вверх дном, как после силового обыска в советской коммуналке. Журнал не соблюдал общепринятой табели о рангах и славил нового «человека вселенной» Толстого.

Сначала я скептически присматривался к их издательской возне, а потом примкнул к этому убогому кружку.

«А почему бы тебе, Валя, не порисовать для нашего альманаха?» — толкал Толстый меня на преступление, и я согласился.

Фотограф Сашка Эйдельман, графист Олег Яковлев, поэт Леха Хвостенко, писатель Эдик Лимонов, живописец Вова Бугрин...

В этом пестром сбросе постоянно и невидимкой стояла нужда, но никто не кланчил подачек с американского или советского стола.

Хотим и будем жить!

Художники и поэты, реставраторы и философы пили много и беспорядочно, но старались пить хеврой в живописных местах Европы, отбирая для таких перформансов набережную Сены или Тибра, знаменитые острова и скверы Парижа, где полицейский не бил палкой по голове, а культурно отдавал честь отдыхающим, что всегда приводило их в неописуемый восторг.

Я иллюстрировал стихи и постоянно с ними выпивал.

«Володя, скажи откровенно, — пытал я Толстого в парке с лебедями, — почему ты ушел из сквата, где ты был гвоздем визуансов?»

«Валя, я не ушел, — заглотив стакан коньяку под горячие куриные пупки, отвечал он, — а меня отчислили за пропуски занятий».

«А что за занятия ты вел?» — пытал черноморский герой Олег Соханевич, уплетая ветчину с капустой.

«Занимались разными делами, но надо было обязательно ночевать, иначе бездомные артисты силой берут

пустую площадь. Мою забрал наглец из Питера по кличке Валька Тиль-Санки-Грек».

Человек от роду общественный, рожденный повелевать и хвастать, он не смог ужиться с неисправимым западным сбродом, не умевшим подчиняться.

Толстый строчил манифесты без начала и конца, забывая о содержании.

Я рисовал пером и считался мастером некрологов, составив шаблон на три эмиграции сразу. Редактор русской газеты, княгиня Шаховская, в трех словах объяснила мне их сущность. Для покойников «белой волны», дворян, казаков и церковных певчих, обязательно писалось «Царство ему Небесное», для бывших «власовцев» годилось «пухом ему земля», а для безбожников Совдепии, где бы они ни умерли, вроде Арефьева, Пятницкого, Радзиевского, Строевой, Зверева, Ворошилова, Ситникова, Михнова, только «глубоко скорбим» и по хорошему знакомству «светлая память» и куча подписей «группы друзей». Мои некрологи имели успех у русских читателей, а пожилой рисовальщик В.К. Стацинский заказал мне свой заранее, но с прочерком о кончине, очевидно, намереваясь всех пережить.

Почетным автором котляровских «мулет» стал беженец из ужасной Америки, тощий паренек в очках Эдик Савенко, с псевдонимом Лимонов, бывший харьковский закройщик, ставший модным поэтом. Я слышал от него вирши следующего склада: «Живите все в провинции, ребята! И кормят, и гуляют там богато». Или: «Мухи летают, и летают фразы! Ветер продвигается, но не весь сразу». Слышится что-то философское, как всегда это у запорожских казаков, но я не любитель харьковской мовы и таких стихов не ценил.

Да и «гражданская позиция поэта» хромала на четыре костыля.

«Главное печататься, — философствовал харьковчанин за коньяком Басмы, — а где — не имеет значения».

Я по старинке считал, что гуманизм — столбовое убеждение человека, и теория Лимонова и Толстого — «все средства хороши для славы» — охлаждала мой энтузиазм. Мировая слава любым способом, не важно где и чем — сжечь храм, убить президента, утопить жену, бросить бомбу в детский сад! Ничтожные людишки строят дома, дороги, самолеты, а нам начхать на таких строителей! Никому в голову не приходило оспаривать гнусную и убогую концепцию или просто звездануть по уху, наоборот, Толстый убеждал сотрудников и знакомых, что Лимонов — самый великий русский писатель, не более и не менее, а сам он — благодетель человечества.

Лимонов строчил статейки в обидчивом тоне подростка, задевая честолюбие известных лиц эмиграции, ташил в литературу певицу кабаков, «гулящую» Наталью Медведеву, писавшую бездарные порнографические рассказы, а чуть позднее, в эпоху перестройки, к «семейному мулете» пристали «король» бульварной московской прессы Игорь Дудинский и прочие слепки московского и питерского говна.

Авантюристам и мыслителям сортирных теорий было наплевать на верующих любых конфессий. Они постоянно дежурили у дверей телецентра, чтобы первыми прорваться на встречу со скандальными полководцами войны, как сербские головорезы и чеченские бомбилы, партийные «фюреры», как француз Ле Пен или русский Жириновский, и не полемизировать по существу их бредовых программ, а чтобы засветиться лишний раз в ящике телевизора. Так они играли с «модой», считая себя самыми прозорливыми людьми в мире, а на самом деле выдавая пошлятину и «сумбур вместо музыки»!

Курс — на православие!

Православный мир в 1988 году отмечал 1000-летие крещения Руси. По совету знатоков, в первую очередь Татьяны Горячевой, жены сербского попа, «мулечки» прозондировали почву московского патриархата, где

средств на юбилей было «гораздо больше», чем у «нищих зарубежников». В храме Трех Святителей — обыкновенной квартирке, расписанной евангельскими сценами, — делегацию проходимцев принял епископ Владимир Ростовский. Делегатов было пять человек — Толстый, Бугрин, Хвостенко, Горячева и я. Речь шла о вкладе «русской эмиграции» в знаменитый юбилей, о выставке в пользу сирот Гатчины и памятной доске для парижского народа на двух языках. Владыка был доволен появлением эмигрантов на советской территории, однако сразу замахал руками на фотки абстрактных картин.

— Ну, знаете, такими картинками вы распугаете моих прихожан!

— А вот Васнецов и Врубель шли еще дальше, оформляя киевские соборы, — робко заметил Володя Бугрин, сочинявший композиции на христианские сюжеты.

— Вряд ли сейчас их оформление найдет горячих сторонников в нашей церкви. Русское православие следует древним, освященным традицией образцам.

Богатая Москва ждала от нас щедрых традиционных подарков, а мы от нее денег. Мы не поняли друг друга, и спеться не удалось.

Эскиз памятной доски был готов — древний, осьмиконечный крест с черепом и костями в подножии, — но ни денег, ни простого мешка смальты для его воплощения московский епископ не выделил, хотя депутат XV округа отвел темный угол для установки мемориальной доски.

С юбилейным «тысячелетием православия» русский народ не справился.

Поскольку «мулеты» стали библиографической редкостью, стоит описать их, тем паче что вышло всего восемь номеров.

Первые два номера с оригинальным романом К.К. Кузьминского «Пансион Беттины», вещь бальзаковской и гастрономического разворота, оплачивал Басма. Но на третий, «хлебниковский», — покойному гению

всюду отмечали 100-летие со дня рождения, и «мулетчики» решили примазаться к юбилею своим «кирпичом» — издатель собирал по кругу с шапкой в руках. Конечно, отличался Лимонов, выступая в боевом духе: «За Хлебникова я бы многих перекошил из пулемета». Ну, если ты пулеметчик, коси траву, а не критиков — зачем же их «из пулемета»? В 86-м четвертый номер, посвященный «анархизму», Толстый оплатил из своего кинематографического гонорара, да и я вляпался, поддержал деньгами безвозмездно. Журнал «классически» славил анархию, но остался гнить непроданным в подвале, как вся подобная вышедшая из моды литература со времен Прюдона и Бакунина. Пятая, «имперская» «Мулета» печаталась в Париже, но готовил ее Игорь Дудинский в Москве на основе материалов московских авторов.

Год 1989-й.

Летом в московской клоаке пропал кормилец и поилец «Мулеты» Гариг Басмаджан.

Исчезновение главного мецената русской эмиграции больно ударило по изданию «кирпичей». Никто не знал, куда он пропал. Из бандитской Москвы он не вернулся. Еще один коллективный некролог.

Беспокойный кружок «мулетчиков» то и дело поводило из одной крайности в другую. В 89-м вышел шестой номер «Мулеты» под абракадаброй «имперского державного анархизма». Присутствие Дудинского в подборке материалов сразу бросалось в глаза. Появились «мыслители», о которых я никогда не слышал: Дугин, Гейдар Джемаль, Татьяна Горячева, Лев Мелихов и шобла неведомых «национальных большевиков» под водительством провокатора Лимонова, призывавших спасти «русское население» в дальнем и ближнем зарубежье. Журнал из «семейного альбома» уплывал в подземную тьму какой-то «Евразии».

Седьмой и восьмой номера прямо указали, что издатель Дудинский живет в Москве. Порнографические ри-

сунки и фотки уродливых натурщиц вытеснили остатки свободной эстетики. Дуда крупным планом показал свое мужское могущество и добавил надоевшие гимны Толстому — «первому человеку вселенной» в таком помпезном и запутанном слоге, что понять их смысл нельзя, потому что они лишены смысла.

В 30-х годах, когда русская эмиграция была большой и храброй, один кубанский казак Павел Тимофеевич Горгулов, вспоминать о котором без стыда не принято, без всякого трепана о метафизике укокошил из револьвера президента Франции Поля Думера (1932). Приезжий убийца говорил на суде: «Я — Поль Горгулов, русский писатель, ветеран войны, вождь ста миллионов крестьян — наказал Францию за мир с дьяволом».

А между прочим, казачок был не лыком шит, он написал два романа, терся среди поэтов Монпарнаса, издавал газету «Набат», проповедовал мировую войну, говорил по-французски.

«Мулечики» о таком решительном шаге, да еще на чужбине, лишь помышляли в пьяном бреду, а как только перестройка открыла телевизионные места, они кинулись туда гурьбой позировать с новыми олигархами.

Встречаясь с Толстым, я ни разу не видел, что он сам что-то рисует, но постоянное общение с хорошими и плохими художниками — Рогинским, Есаяном, Куперманом, Путилиным, Заборовым, Хвостенко, Тилем, Путовым и множеством других — подтолкнуло его к художественным подвигам. Раз я видел, как он грунтовал огромные холсты Купера, что-то подмазывая для мастера, заканчивавшего вещь своими решительными мазками. И вот, сидя на дачной лужайке, я смотрю на большой почтовый конверт, испещренный пестрыми точками и номерами. Он адресован мне. К нему приклеена фотография парижских скваторов у музея Пикассо в Париже. К ним подклеена фотка — Толстый в красных штанах на берегу моря. На обороте

картонки текст с концовкой: «Позвони, друг ты мой любезный, позвони! 30 окт. 1985. Толстый. Париж».

Говорить о каком-либо стиле или качестве работы тут не приходилось. В этой небрежной каше он умудрялся приклеить или свою фотокарточку, или карикатурное клише с надписью «Толстый».

Постоянный, родной «изоколлектив»!

В кино его привела отчаянная нужда. Французы, как все киношники мира, набирали на характерные фильмы фигурантов. Молчавший получал минимум. Кричавший зарабатывал уже больше, а выдавший тираду вообще считался актером кинематографа. На запись в кино Толстого привел художник Олег Яковлев, отчаянный выпивоха и проходимец. Внешность «живого артиста» в точности соответствовала облику русского олигарха или предводителя банды налетчиков.

Постепенно поднимаясь в профессии, Толстый выступал и в главных ролях, вызубривая непонятный текст наизусть. Гонорары поднимались, можно было сводить концы с концами.

Он зачастил в новую Россию. На баррикады не попал и ночевал в квартирке дочки на жестком топчане. О первенстве в обществе он уже не мечтал.

\* \* \*

Советский инженер В.Я. Красновский, друг котляровской семьи с Урала, припарковался в Париже с твердым намерением стать невозвращенцем. Время стояло смутное, 1991 год, гражданская война в России, пустые магазины, падение валюты. Его мне представили как активного «мулетчика» и фотографа. Невысокий и круглый, как валун, невозвращенец решил стать экспертом русской культуры. Возможно, он был знатоком ружейного производства, но его познания в изобразительном искусстве, где он наме-

ревался развернуться, равнялись первому классу начальной школы. Таких, да еще с легкоранимым самолюбием, учат осторожно, постепенно вдалбливая азы художественных секретов.

Гость Толстого, терпеливо дожидаясь приезда любимой женщины, известной израильской пианистки, вошел в круг русской эмиграции самым простым, но эффективным способом. Он деликатно объявил, что составляет словарь русских художников, и самые привередливые творцы открыли ему двери своих мастерских. За пять лет кропотливой работы с артистами В.Я. знал всех в Париже и провинции, живых и покойных, имевших русский продажный товар. Неуклюжие владельцы этнографических и эстетических сокровищ охотно доверяли ему вещи на аукционы и выставки, начиная с медалей царских времен и икон и кончая полотнами известных живописцев и знаменами казачьих дивизий.

Коммерческая кооперация двух «живых артистов» началась под звон стаканов, а кончилась войной. Обиженный в доходах и процентах, один компаньон обвинил другого в похищении и присвоении искусства русской выделки. Мелькали имена Добужинского, Кончаловского, Мирошниченко, Мансурова.

26 января 1996 года от Толстого пришел замазанный краской конверт с обычным грифом «произведение искусства», а внутри текст панического содержания. «Я передаю копию этого письма Эйдельману и Чернышеву, нашим общим приятелям и потому могущим выступить третьескими судьями в этом деле. Красновский ведь приехал во Францию туристом, по нашему приглашению, но не в состоянии идти по дороге доброго разума. Выбрав подпольный стиль жизни, сплетничая, завидуя, живя за счет эксплуатации несчастной женщины, ляг и предавая друзей, он разрушил свою душу. Красновский вынес из моего дома 9 полотен соцреализма, за которые до этого было



заплачено мною, и 19 полотен художника Мирошниченко, которые принадлежат по соответствующему договору четверем хозяевам. Возвращать их он отказался».

Такое признание для меня не оказалось сюрпризом. Одно дело торговать кирпичами или книжками — они похожи по объему, но «полотна соцреализма» — громоздкий эстетический товар, и там я никак не видел Толстого. Я был поражен ярой наглостью этих шакалов.

В свою очередь «вор Красновский» прислал мне свой протест с обвинением своего друга в воровстве и документацию с приложением фотокопий «академика эстетики» Владислава Льна.

Знаменитый московский житель, по паспорту Епишкин, по нелегальной поэзии Лен, писал: «Я прошу Толстого передать все девять работ Владиславу Красновскому немедленно и безусловно. Толстому же прошу передать дружеский совет не брать пример с Глезера, разворовавшего Монжерон и Нью-Джерси и ударившегося в бега. Что, как известно, бесполезно».

Гоните монету, сволочи!..

А если не придурки, то кто эти невежды?

Друзья жестоко рассорились.

Мирить склочников и копаться в темном воровском деле я не стал.

Самозваного «академика» Епишкина посадили в дурдом, где он воровал у санитаров сигареты и поштучно продавал психбольным курильщикам.

Эксперт Красновский сбыл «полотна соцреализма» олигарху с Колымы и занялся сельским хозяйством.

Упорный фанатик рисованного почтового конверта, называемого мейл-артом, Толстый засыпал ими человечество, и меня в том числе. Графика его письма была хорошо разработана, но художественные элементы — пятно, силуэт, линия, клякса, фото, коллаж — оставались неуправляемым материалом. Такого понятия, как качество композиции, он так и не усвоил.

«Я признанный классик мейл-арта, — говорил он о себе. — Я подлинный человек, всегда говорящий правду. Лай окружения и непрерывная клевета в мой адрес меня не задавят и с пути не сдвинут».

За годы общения у меня скопился сундук его крашенных конвертов из разных городов мира, куда его заносила судьба.

«Мир смотрит на тебя, Вал. Вор. И болеет!» — и не один, а шесть восклицательных знаков написаны бугристыми знаками на фотке какого-то стадиона.

В перестройку, приняв себя к новому общественному раскладу, он ошибочно приткнулся к кучке нищих анархистов, но быстро смекнул, что за дурацкий лозунг «Хлеб и Воля» можно схлопотать по шее, а вот за болтовню о «великой России», о «Ленине и Сталине» — респектабельное место на телевизионной программе и симпатии заживо погребенной в нищете интеллигенции.

По моей просьбе он прислал из Москвы фотографию вождей «национальных большевиков»: какого-то Гарика Осипова с гитарой в руках, рядом с ним и на фоне буфета сидит наголо стриженный теоретик партии Абель, а в скобках — «Линдерман после перелома челюсти», на первом плане Игорь Дудинский, и на малиновом диване развалился Лимонов. В расписном конверте довольно длинное объяснительное послание, где есть — «мой друг Володя Линдерман (Абель) один из идеологов нацболов, базовые положения созданы Дугиным и Лимоновым (программа). Газета “Лимонка” делается образованными мальчиками с высшим образованием и знанием языков. И Тишин, и Волынец — очень серьезные люди, Линдерман тоже грамотный, но главное, что я в нем вижу, — это организаторский талант. Он ихний Ленин».

Последняя «Мулета» вышла в виде тетрадки (2003) и была посвящена деньгам. Толстый и его новые питерские пособия в своих беспомощных мейл-артах атаковали денежные знаки всех самостоятельных стран. В каждом

манифесте, сопровождавшем конверт, автор прославляет товарищей Ленина и Сталина. Державник и сталинист Толстый пишет: «Иосиф Сталин — победитель и спаситель великой России, русский национальный идеолог и покровитель православной нравственности! Сталин — лучший в мире паровоз!»

Читать его патриотическую абракадабру противно, потому что он сам в нее не верит.

«Долой мироедов и кулаков, олигархов и банкиров, угнетающих великий русский народ! Люди русские, гордитесь! Плодитесь! Молитесь!»

Живой артист Толстый вернулся к себе, в свое родное партийное логово, к голодному большинству и жертвам мировой закулисы.

Альянс родных лирических душ!

Друзья и собутыльники один за другим отреклись от буйного человека. Он выходил в сад и пил горькую один, без Чернышева и Эйдельмана. Потом улетел в беспокойную и гнилую Россию, где шумела невинная и одуревшая молодежь.

Стояла ужасная парижская зима 2010 года. Дождь. Снег. Ветер. И вдруг меня запросила никогда не звонившая Людмила Ивановна Котлярова и задала вопрос: «Ты не знаешь, где мой муж Толстый? Вчера вышел погулять и не вернулся домой».

Конечно, я не знал и давно не видел. Оказалось, человек улетел на Мадагаскар греться на пляже. Оттуда он не вернулся. То ли съели акулы, то ли утонул в Тихом океане. Его искали в воде, в лесу, но не нашли. Ушел на тот свет, как вода в песок.

## Оглавление

1. Казанский сирота .....	7
2. Братья Штейнберги .....	18
3. Васька-Фонарщик .....	36
4. Чемпион дипарта .....	71
5. Живописец Зверев .....	92
6. Поэт Холин Земного шара .....	108
7. Гений подпольного Хвоста .....	133
8. Первый кинетист Совдепии .....	146
9. Черноморец Сах .....	178
10. Подворье Казимирыча .....	186
11. Тетка московского чердака .....	194
12. Счетовод подполья .....	204
13. Советский мусор выше Лувра .....	212
14. Петрович и Володя .....	227
15. Художник без постоянной прописки .....	245
16. Все в круге .....	257
17. Потомок царя Соломона .....	275
18. Возмутитель спокойствия .....	290
19. Белое на белом .....	310
20. Главный сводник дипарта .....	329
21. Подарки кабардинского князька .....	353
22. Дурдом гонимой культуры .....	379
23. Знаменосец авангарда Гробман .....	402
24. Цеховая солидарность леваков .....	421
25. Наши в Лувре .....	443
26. Харьковские прогрессисты .....	458
27. Другие и всякие .....	479
28. Подвиг московского завхоза .....	502
29. Живой артист Толстый .....	523

***Валентин Воробьев***

**Леваки**

*Дизайнер Т. Ларина*

*Редактор М. Алхазова*

*Корректоры М. Смирнова, Л. Морозова*

*Верстка Л. Ланцова*

Налоговая льгота — общероссийский  
классификатор продукции ОК-005-93, том 2;  
953000 — книги, брошюры

ООО «Редакция журнала  
“Новое литературное обозрение”»

Адрес редакции:

129626, Москва, а/я 55

Тел./факс: (495)229-91-03

e-mail: [real@nlo.magazine.ru](mailto:real@nlo.magazine.ru)

Интернет: <http://www.nlobooks.ru>

Формат 84×108<sup>1/32</sup>

Бумага офсетная № 1

Печ. л. 17. Тираж 1000. Заказ № 443

Отпечатано в ОАО «Типография “Новости”»  
105005, г. Москва, ул. Фр. Энгельса, 46